ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №6 | 2014

16+

Румяна Внукова | Притча о горчичном зерне | 2008

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 6 | 2014*

В номере

ДиН респект

«Куликово поле»

Николай Зиновьев
3 Час беды или победы

Денис Гуцко
6 Век Европы не видать

Дмитрий Новиков
9 Другая река

ДиН память

Ольга Карлова
14 Метароман длиной в четыре поколения

Анатолий Чмыхало
17 В тот самый час

Александр Щербаков
18 Жили-были на Амыле…

Марина Яблонская
20 «Мы ответственны за то, что прожили…»

Марина Наумова
22 Невыученный урок «Половодья»

Елена Рожкова
25 «Я вернусь к тебе,
тихий и чудный мой Ачинск…»

ДиН галерея

Марина Саввиных
24 Румяне Внуковой

ДиН диалог

Юрий Беликов, Константин Душенов
27 Ущемлённые телеса и спасённые души

ДиН ревю

Евгений Мамонтов
31 Безумный милиционер
& The Early Years

Айдар Хусаинов
54 Стихотворения

Евгений Минин
77 Прозажизнь

Александр Карпенко
Валерий Прищеп
179 Оправдание Лермонтову

ДиН пародия

Евгений Минин
26 Проблемная поэзия
46 Страшные тайны
148 В разладе и разброде
161 Игры с классикой
174 Горчицу с чесноком!

ДиН лит

Дни и ночи Литературного института имени А. М. Горького

Александр Орлов
32 Мне снятся Красноярск,
Смоленск и Ржев…

Карина Сейдаметова
34 Черёмуховый ветер

Сергей Арутюнов
36 Иприт

ДиН мемуары

Марк Фурман
40 Писательское Переделкино:
неизвестное

ДиН стихи

Людмила Щипахина
47 И верность, и долготерпенье…

Александр Кердан
49 В преддверье грозы

Юрий Годованец
51 Чужое сердце прокатилось

Юлиан Фрумкин
53 На землю заката, на небо восхода…

Владимир Мялин
55 Старые усадьбы

Наталья Ахпашева
57 С той стороны Вселенной

Светлана Мингазова
59 Ветер с верёвки

Дмитрий Мельников
118 Белый варан

Владимир Берязев
119 Равнина

Вадим Гройсман
121 Конец уроков

Лилия Газизова
123 Белые слова

Александр Петрушкин
124 Империя языка

Наталья Лясковская
127 Concordat aristos

Григорий Горнов
129 Уезжая в Крым

Мария Луценко
140 На взлётной млечной полосе

Мосты над облаками

Камиль Зиганшин
61 Страна улыбок

Сергей Курганов
76 Харьков сегодня: опера и балет

ДиН роман

Александр Астраханцев
78 Возьми меня с собой

Библиотека современного рассказа

Сергей Смирнов
131 Так провожают самолёты

Виктор Теплицкий
137 Из жизни сидящих на подоконнике

Евгений Мартынов
141 Вшивый

Марат Валеев
145 Золото

Юрий Серов
149 Снег

Олеся Рудягина
162 Подруги

ДиН дебют

Олег Посметный
167 Лицом к стене

Клуб читателей

Арсений Анненков
169 Нельзя не быть героем

Мария Бушуева
171 «Войду я в круг существ светопрозрачных…»

Вера Зубарева
173 Образ души

ДиН полемика

Владимир Яранцев
175 Один всегда прав?

ДиН детям

Наталья Черкас
180 Арбуз

Ефим Гаммер
182 Говорим по-русски

ДиН дети

183 Синяя тетрадь

193 ДиН авторы

«Куликово поле»

В конце сентября в Москве вручены награды Международной литературной премии «Куликово поле» памяти Вадима Негатурова, одесского поэта, погибшего в огне пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Новая для современной России премия, нацеленная на развитие гражданской литературы и журналистики, стартовала 2 июля 2014 года. 1 сентября закончился срок подачи конкурсных работ. Почти весь сентябрь жюри, в которое вошли такие известные литераторы, как поэт Юрий Кублановский, писатели Сергей Шаргунов, Александр Сегень, издатель Андрей Петров и другие, рассматривало работы конкурсантов. На соискание премии поступило более двух тысяч работ.

23 сентября на торжественной церемонии в Центральном Доме литераторов были названы имена победителей. В номинации «Поэзия» победу одержал Николай Зиновьев, в номинации «Проза» — Дмитрий Новиков. Первым в «Публицистике» стал Денис Гуцко. Специальный приз от оргкомитета премии получил писатель Игорь Вереснев, житель донецкой Макеевки.[1]

Николай Зиновьев

Час беды или победы

Мистическое

Нагрянет враг на нас в порыве злости,
Молитва полетит во все концы —
И вздыбятся все русские погосты,
И всех времён восстанут мертвецы!

Настолько вид восставших будет жуток,
Что враг рванёт, теряя свой рассудок,
Обратно в свой альпийский городок.
Он больше на Россию не ходок.

Попытка пейзажа

Плывёт по небу птичья стая,
Осенний воздух сух и чист.
Мой жалкий разум потрясая,
Слетает с ветки жёлтый лист.

Вокруг меня танцуют тени,
И, в довершенье ко всему,
Я опускаюсь на колени,
Не понимая почему.

Хотя, конечно, есть догадка,
Но объяснить её словами
Нельзя ни длинно и ни кратко.
А на душе так скорбно-сладко…
Такого не случалось с вами?

● ● ●

Не на гвоздь ли повесить мне лиру?
Ведь зачем — я никак не пойму —
Петь о чём-то безумному миру,
Уподобясь тем самым ему?

Кто же скажет, что мир наш прекрасен
И разумен, — я буду молчать.
Говорить, что я с ним не согласен,
Я не стану. Зачем огорчать
Своего легковерного брата?

Украине

Пусть кулачки от злости сжаты,
Пусть грязи на меня ушаты
Ты льёшь, но я сказать хочу,
Зачем тебя, сестрёнка, Штаты
Так нежно треплют по плечу.

И что бы там ни голосили,
Поймёт любой, коль не дурак:
На самом деле у России
И Украины — общий враг.

1. http://www.rg.ru/2014/09/25/premia.html

● ● ●

А если гибнут женщины и дети
Невинные — в угоду подлецам,
То всё ли промыслительно на свете?
Такой вопрос ко мне приходит сам.

Хоть в этом сомневаться и негоже
Читающему много лет Завет,
Но помню, как сказал другой поэт:
«Но всё же, всё же, всё же…»

Туман

На всю планету пал туман
Непримиримости и злобы,
Вошёл в умы, в сердца, в утробы,
Лёг, как Обломов на диван,
Вошёл, как хулиган в маршрутку,
Попал, как в телефон вода…
Я рад бы превратить всё в шутку,
Но не до шуток, господа.

Короче, всем желаю здравия
И вновь хочу вам повторить,
Что только солнце Православия
Туман способно испарить.

У реки

Несёт восточный ветер цаплю,
А мысль является сама:
Имеем мы хотя бы каплю
Непомрачённого ума,
Какой имелся у Адама,
Когда он знал язык травы?
«Конечно, нет», — скажу вам прямо,
И потому не имут срама
Не только мёртвые, увы…

● ● ●

Я задаю себе вопрос:
«В моей душе живёт Христос,
Иль в ней ночами бесы
Свои справляют мессы?»

Я не хочу вас, братья, злить,
Помочь просить занудно,
Но кто я, мне определить
Невероятно трудно.

Судить себя мне по делам?
Но если честно-строго,
То дел-то нет, какой-то хлам.
Я надоел, наверно, вам?
Простите, ради… Бога.

Пока вопрос не разрешён,
Немного страшно мне, но между
Тем я нисколько не взбешён,
Что подаёт надежду.

Ещё раз о человеческой глупости

Обгрыз мне заяц яблоню в саду,
И я теперь покоя не найду:
Четвёртый день хожу, пылая местью,
Соседей всех напичкав этой вестью.

Петлёй поймать ушастого кретина?
А может, из ружья достать мерзавца?..
А Бог глядит и думает: «Скотина».
Он думает, конечно, не про зайца.

Зачем по пустякам я создаю
У Бога о себе такое мнение,
Прекрасно понимая, что туплю?
Но зайца ненавижу, тем не менее.

Побег

Я в детстве жил в плену иллюзий,
Теперь живу в плену у Музы,
В плену тревоги за страну…
Вся жизнь с рождения — в плену.
Но всё на этом свете тленно
И предсказуемо вполне:
Удачный мой побег из плена
Железно предначертан мне
Под крик жены и плач детей
В кругу мерцающих свечей.

● ● ●

«Кровь людская — не водица», —
Это так лишь говорится,
А на самом деле крови
Столько пролито! — по кровли.
С давних лет она б стояла,
Не прими её земля.

Вопрос

Ответьте на вопрос невежды,
Планеты лучшие умы:
«Какие связывать надежды
С приходом ядерной зимы?»

● ● ●

Вот грибочки, вот капустка,
Наливай полней, аскет,
За мгновение до пуска
Баллистических ракет.

Может, мы ещё успеем,
Опьянев, обняться братски,
А потом горячим пеплом
Разлетимся кто куда.

Кто-то в ад, а кто-то в рай.
Не чеши так долго темя,
Поскорее выбирай,
Пока есть в запасе время.

* * *

Час беды ль, победы ль близок?
Однозначных нет ответов.
Как расстрельный, точен список
Всех значительных поэтов.

Изучать не будут в школе
Их стихов ни тьму, ни свет.
Я не знаю: хорошо ли,
Что меня в том списке нет?

* * *

Я, может быть, и не злодей,
Но и не Иов на гноище.
Я знаю множество людей
Душой меня намного чище.

И пусть они не пишут книг,
Но дом их выстроен на камне.
А как меня спасёт мой стих,
Не представляется пока мне.

* * *

За границу предлагает
Друг поехать. Не хочу.
Друг, конечно, полагает,
Что я лгу. А я ворчу:

«Всё старо в Бордо и в Ницце.
Если что и ново—
Это только за границей
Бытия земного.
Но туда спешить не надо:
Скажут нам, когда пора».
После этого расклада
Друг задумался. Ура…

Облака

Стою, слежу за облаками:
Вон то—похожее на за́мок,
А вон—точь-в-точь арба с быками,
А то—как след в снегу от санок.

А вон—как в белой бурке горец,
А вон—похожее на льдину.
А вон—как ангел-миротворец,
Мелькая тенью вдоль околиц,
Спеша, летит на Украину.

Судьба

Равнодушен стал я к миру,
Ничего мне в нём не светит.
Может, стоит бросить лиру?
Ведь никто и не заметит.

Пусть лежит она во прахе,
Онемевши навсегда.
Но не хватит сил в монахи
Мне уйти—вот в чём беда.

* * *

Плывут года.
Всё ближе к устью.
Тем слаще каждая верста.
Я по реке плыву не с грустью,
Я взял в сопутники Христа.

Крепчает власть метаморфозы,
И даль ясна, а не туманна.
И на лице моём не слёзы
Блестят, а брызги океана…

Денис Гуцко

Век Европы не видать

Советская юность

Как же всё-таки хорошо, что есть они — Европа, Америка. Как хорошо, что не повсюду «совок». И где-то, не вляпавшись в марксизм-ленинизм, люди сумели построить нормальное человеческое общество. Удобные города, чудесные автомобили, одежда, в которой так уютно, которая меняет отношение окружающих. «Помнишь, тот парень в настоящих „левайсах"?» Там можно говорить, что думаешь. Там можно быть самим собой. И музыка — какая музыка! «All you need is love, пам-пам-пара-пам. Summertime, and the living is easy».

Прочитал Сэлинджера — знаменитый сборник из девяти рассказов, и потом — «Над пропастью во ржи». Шок. Около месяца не могу ничего читать. Непреодолимая растерянность: меня не предупреждали… Теперь нужно как-то встраивать Сэлинджера и всех остальных в сложившуюся картину мира. Всё-таки проще было любить витрину: рок-н-ролл, «мерседесы» — хорошо, конечно, замечательно, зато у нас — Достоевский и Чехов. И вдруг понимаешь, что есть литература, равная русской литературе. Опыт почти мистический: ощутить, как тот, кто не понимал по-русски, всей пятернёй берёт твоё сердце и делает с ним вот так, а потом вот так…

Начал читать библиотечную «Иностранку». А ведь мог пропустить такое!

Всё-таки хорошо, что они есть. Что нормальное общество — не помеха великой литературе.

Афганистан — да, Афганистан несколько путает мысли. В Афганистане они помогают убивать наших солдат. «В Афганистане, в „Чёрном тюльпане"». Да, неувязка. Чьи-то сыновья, чьи-то братья… всё-таки это — наши… Но, с другой стороны, мы же туда сами полезли. Сами виноваты, не нужно было туда лезть.

Девяностые

Скорей бы всё это закончилось. Эти тупые животные в «мерседесах». Этот пьяный Ельцин. Скорей бы уже стать Европой, Западом. Всё ведь для этого затевалось. Возвращаемся в семью цивилизованных народов. Вот и хорошо, вот и славно. Ежу понятно: скинули партийную геронтократию, всю эту номенклатуру — значит, рано или поздно жизнь устроится и мы станем как все. Будем выбирать президента, будем жить по умным законам. Лишь бы не вернулись коммуняки.

Чечня тащит назад… этот средневековый ужас… Разве нельзя их отпустить? Пусть себе отделяются. Зачем они нам такие?

Я заканчиваю геофак Ростовского университета. «Ваше образование — это ваш счёт в швейцарском банке», — говорит на вручении дипломов куратор нашей группы «Экология и прикладная геохимия». Остаюсь в аспирантуре: а куда податься отличнику? Нетопленая лаборатория, образцы для спектрального анализа свалены тут и там, рано стареющая от алкоголя лаборантка с беспокойным тоскливым взглядом. У нас заграничный грант, составляем карту экологической обстановки Ростовской области — загрязнение почв и грунтовых вод. Мой научный руководитель появляется редко. Говорят, строит дом. Даёт переводить куски из английских статей — кажется, просто чтобы чем-то меня занять, без всякой системы и связи с проделываемой работой.

Соседи по общаге бросили учёбу и катаются в Турцию за шмотками. Каждый день обедают в шашлычной на углу.

Голодно. Безысходно.

Западная мечта навалена «сникерсами» и «жиллетами» по ларькам, свобода обернулась чёрт-те чем: в переходах — порнушка и пенсионеры-попрошайки. Всё разворовывается, всё продаётся. Ни воровать, ни торговать не умею.

Иду работать инкассатором в коммерческий банк. Платят раз в двадцать больше аспирантской стипендии. В кабинет к владельцу банка наведываются воры в законе и прочие криминальные «звёзды». Про них говорят: инвесторы. «Смотри, это Колёк Горелов. А это Аржан. В прошлый раз револьвер прикольный показывал, позолоченный».

Ну а кто нам виноват, что мы не можем иначе? Натура такая: нужно непременно до основанья, и только затем. Вот и начали от нуля, с самого что ни на есть Дикого Запада. Это пройдёт, это когда-нибудь утрясётся.

Отпустили Чечню. Так, кажется, ещё хуже. Теракт за терактом. Давайте уже быстренько наведём там порядок любой ценой — и начнём становиться Западом. Сколько можно?

Югославия. На Западе говорят: сербы зверствуют, это следует остановить. Наши в ответ: зверствуют албанцы. Демонстрируют видеодоказательства: западные каналы—о преступлениях сербских военных, наши—о преступлениях УЧК. И те, и эти доказательства выглядят убедительно. Но тогда непонятно: если в распадающейся Югославии все одним миром мазаны—почему Запад решил назначить злодеями сербов? Погодите, так нельзя. Давайте уточним: Запад—это про закон и свободу, так? «…And Justice for All»—«Моя свобода заканчивается там, где начинается твоя». Ладно, наши—«валенки», но вы же цивилизованная семья… Бомбят сербов. Разве так бывает? Совбез не дал мандата—но НАТО бомбит. Стало быть, нет самостоятельной Европы? И что такое Запад, в который мы все эти годы так верили? Мы так вам верили, товарищ Запад, как, кажется, не верили себе.

Нулевые и далее

Порядок, конечно, хорошо. Больше не взрывают дома, нелепый Черномырдин не кричит в телефон в прямом эфире: «Алло! Шамиль Басаев?» Зарплаты платят регулярно. Не свирепствует инфляция. Жизнь, наконец, вошла в размеренное русло. Но Запада за окном нет, как не было. А в России как она есть жить и чувствовать себя человеком невозможно. Душно, унизительно. Нас поделили на сорта: одни тянут лямку и отвечают по закону, другие жируют и делают дела. Это всюду. Мы живём в этом каждый день. Опусти глаза, отойди в сторонку, стой молча, не нарывайся. Если ты встроен в систему—по родству, по звонку, по исключительной шершавости языка—ты в шоколаде. Ты начальник. Ты хозяин. Ты ездишь на красивой машине со спецномерами, разворачиваешься и паркуешься где хочешь. Тебя провожают в кабинет к врачу в обход угрюмой очереди. Ты смело посылаешь к чёрту недовольных: всё схвачено, система за тебя. Всё иначе, если ты обычный—ну, обычный, невстроенный, ничей. Давай-ка соблюдай правила. Особенно негласные. Любая мелочь—за взятку. Каждый халдей куражится над тобой. Любой выбор ограничен тесными, не тобою выбранными рамками. Порядок, конечно, хорошо—но такой порядок невыносим.

Скорее стать Западом—единственный выход.

Начал писать прозу. Первый внезапный успех. Первые поездки за рубеж. Каждый раз—глоток свежего воздуха. Как же у них мило. Далеко не всё совпало с мечтой. В Париже грязно и неуютно из-за мигрантов. В Варшаве и Будапеште немало хмурых, неприветливых людей—совсем как дома. А всё-таки, если в общем и по существу,—другой мир. Атмосфера. Открытость. Комфорт человеческого общения.

Любимая история—про миланский аэропорт. Утомлённый толкотнёй в очереди на таможню, вышел на открытую веранду и встретил там служащего, который, отработав смену, курил, перед тем как отправиться домой. Итальянец улыбнулся, поздоровался, поинтересовался, откуда я,—и пока он докурил, поглядывая на вечернее полупустое шоссе, мы успели на обоюдоплохоньком английском поболтать о растущих ценах на жильё, о жизни в больших городах, о быстротечности времени и даже, самую малость, о Софи Лорен и старом итальянском кино. Пожали друг другу руки на прощанье. Случайное пересечение, незнакомый человек, которому не нужно от меня ничего, кроме нескольких минут общения,—помню до сих пор, храню… Вернулся в зал аэропорта и застал там ожесточённое переругивание соотечественников из-за места в очереди.

Я замечу несколько позже: моя мечта о Западе чаще всего не идёт дальше ворчания, подтрунивания над неустроенной мрачной родиной. А когда замечу—крепко задумаюсь. Сколько вокруг таких—ворчащих. Мы так виртуозно научились высмеивать собственное Глупово… каждый приличный человек хоть немного, но Салтыков-Щедрин… Но Запад это, увы, не приближает ни на йоту.

НАТО воюет в Афганистане, НАТО воюет в Ираке. Как-то нужно всё это правильно соединить. Или разъединить. Желанный Запад—и неуёмную НАТО. Нужно осмыслить. Не может свобода быть—насильно. Не может Justice for All быть импортировано бронетанковыми корпусами.

Конфликт в Южной Осетии. Вот те на! Западные СМИ брешут, как когда-то советские. Не верю своим глазам.

Ой, что это?.. финансовый кризис. Коснулось-то не очень. Больше попугали. Но как-то всё это нехорошо смотрится. Напоминает «МММ».

Десятые, начало

Какое-то транзитное время. Подготовительное. Что-то большое будет дальше, а пока так.

Путин закручивает гайки. Много говорят про происки англосаксов. С одной стороны—надоедает: топорно, параноидально. С другой стороны—НАТО снова повоевало, теперь в Ливии. Говорили: людоедский режим. Ладно, сожрали людоеда. Лучше не стало.

И ещё это упорное желание развернуть систему ПРО в Европе. Воля ваша, а как-то неуютно. Наблюдаю все эти годы, во что выливаются ваши демократизаторские проекты. Слушайте, ok, пусть мы никак не добежим до Запада. Тяжёлый багаж, плохая форма. Но всё-таки странно выглядит рука помощи, за которой маячат боевые ракеты. Давайте не будем нам так помогать. Нет, серьёзно, какой идиот это придумал: прищучим недемократичного Путина, обесценим его ядерный потенциал—и в России укрепятся демократические начала? Guys,

да вы с дуба рухнули?! Гляньте, это только сближает диктатора с электоратом. Вы что, специально?

Ушёл со штатной журналистской работы. Всё равно не кормит.

Немногим ранее

Белые ленты. Митинги. Протесты против фальсификации выборов. Подъём гражданских настроений. Воодушевляет. Вот оно, начало нашего Запада, мечта начала реализовываться. Митинги в Москве, кажется, проводят границу уже не только между оппозицией и прокремлёвскими, но между людьми самодостаточными, активными — и бредущими в общем потоке. Между теми, кто готов собственноручно менять страну, — и теми, кто коснеет в обывательском страхе «лишь бы не было хуже». Остроумные лозунги московских митингов — отдельная радость: всё будет хорошо, вон сколько наших, вон сколько у них куража.

Впервые выступаю на митинге протеста в Ростове. Особое воодушевление — когда ты слышишь дружный смех тысячной толпы в ответ на твои слова, когда тебя провожают аплодисментами.

Увы, всё закончилось пшиком. Революция креативного класса вылилась в трансляции заседания Координационного совета. Ни о чём. Ни малейшего контакта со страной за пределами МКАДа. Её пытаются поднять и сплотить лозунгом «Свободу политзаключённым». Она не поднимается. Плохая, несознательная страна. Креативный класс обижен. Начинаются разговоры о русских рабах и путинских зомби.

Эй, это же только начало! Всё ещё будет. Нечего ныть.

Иду в качестве члена избирательной комиссии на выборы в ростовскую областную Думу. На участке обходится без подтасовок. Люди действительно голосуют за «Единую Россию». Независимые наблюдатели раздражают мелочными придирками: урна не там стоит, плакат не так висит. Неожиданный опыт.

«Пусси Райот». Глупеньких пошлячек назначают символом протеста. Удивлён. Разве это — Запад? Что вы мне втюхиваете, граждане? Заберите сейчас же.

Сегодня

Майдан. В это сложно поверить. Это рвёт последние шаблоны. Милые, интеллигентные протестующие спокойно потеснились, пропуская ультраправых радикалов. Западные политики демонстрируют всестороннюю поддержку, рассуждают о своих инвестициях в демократизацию Украины — а демократизация начинается с «коктейлей Молотова» и публичного унижения всех, «хто нэ скаче»: милиционеров, чиновников, политических оппонентов.

Вот так так… Евроинтеграция, Запад…

«Москаляку на гиляку», — кричат крепкие озлобленные парни, в намерениях которых сложно усомниться. «Не нужно раздувать, — морщатся патриоты новой Украины. — Никакого национализма. Никаких бандеровцев. От силы один процент — посмотрите на результаты выборов».

И даже Дом профсоюзов в Одессе не становится поворотной точкой для людей, которых ещё вчера считал солдатами гуманизма, с кем связывал надежду на то, что когда-нибудь в России будет построено другое общество, по-западному дружелюбное, по-западному комфортное.

Нет, что-то тут не так. Люди, готовые закрывать глаза на зверства «своих сукиных сынов», повторяя как под гипнозом: «Это провокация, это рука Кремля», — будто на такое можно спровоцировать… нет, такие люди неспособны построить справедливое и дружелюбное… они, пожалуй, ничего неспособны построить.

Война на юго-востоке Украины. В кругах вчерашних единомышленников, с кем вместе стремились на Запад, принято не замечать того, с какой неадекватной жестокостью воюет украинская армия. Для них гибнущие под обстрелами мирные люди — не повод протестовать и требовать прекращения войны. Не те люди. Они бы не вышли с остроумными плакатами на Болотную. Они из тех, кто голосовал бы за Путина. В общем, рабы. «Колорады». Не до них. Уже, похоже, и не до Запада, не до провозглашаемых им ценностей. Здесь, похоже, своя война — с ужасным Путиным. А там хоть трава не расти.

И вот — сбитый «Боинг». И виновные назначены из Вашингтона задолго до результатов расследования. И никому не нужна правда, и западная презумпция невиновности отправлена туда, куда Макар телят не гонял…

Всё, хватит. Я — антиамериканист. Кто бы мог подумать? Докатился.

А знаете что, ребята? Никакой это не Запад. Где-то вы его профукали. Рассыпали на сквозняках истории.

И мы в России отнюдь не обречены навечно оставаться с опричниной и «Первым каналом». Прорвёмся. Увы, не скоро. Спасибо за это вашим и нашим геополитикам. Вашим и нашим обывателям — сонным, заглатывающим любую туфту. Отдельное спасибо нашим прозападным активистам, перепутавшим мечту с чужим интересом. Ничего. Перетерпим.

Опубликовано http://svpressa.ru/society/article/93236/

Дмитрий Новиков

Другая река

Ох и смешно же мне, братие, теперь, хоть и прошло времени совсем мало. Смеюсь я слезами, и ветер острый срывает их у меня со щёк и бросает в море подобно дождю мелкому, ничтожному. Смеюсь я над собой, над чаяньями своими, ожиданиями и надеждами, ибо не то человек существо, чтобы надеяться. Нет у него права такого—думать, что воздастся ему за дела благие. И только пройдя испытания многие, понимать начинает, что верой спасаться должен, а остальное отринуть, ибо слишком жесток мир, слишком мало в нём любви, и справедлив Бог в человецех: смири гордыню свою.

Был я, братие, Варлаам, кольский священник. И хоть говорили мудрые, силу и радость мою видя: «Ты, Варлаам, шаламат словно, живёшь слишком вольно, сам себе на заклание, ничего не боишься, страха не ведаешь»,—не слушал я их. Ибо всё, почитал, есть в силах человеческих и благоволении Божьем. Как же хорошо жилось мне на родимом Севере. Всё Бог мне дал: веру дал, надеждой не обделил, крепостью тела своего вдохновлён я был. А пуще всего благодарил я Отца нашего за свою Варвару. Такое чудо была она, такая красота, что порою не верил я своему счастью и вопрошал ночами белыми, бессонными: мне ли это? не ошибка ли? за подвиги какие? Но в гордыне своей успокаивался и отвечал себе: моё. Потому что не только красотой телесной блажила меня, но и всей душою своей, казалось, ко мне стремилась. Так и жили мы счастливо, и летом текла рядом Кола-река, а зимой замерзала, но пищу давала, красоту и удовольствие: сёмужкой баловала, медленным бегом своим среди сопок взор услаждала и гостей приводила всяких, добрых людей в основном, чтобы интерес мой к жизни разнообразной удовольствовать. А зимой хоть и холодно у нас, но всё радость: то баньку истопишь да в бодрящую прорубь окунёшься во славу Господа, а то лыжи наденешь—да на охоту за зверьём малым и большим. И служение своё искренне я правил, людей уча в бедах и радостях хвалу Создателю возносить. Верил я благодарно, братие, да, видно, недостаточно.

Сильно кружит, колесом юлит Кола-река, словно жизнь наша,—ни догадки, ни предсказа. Так идёшь по берегу, по лесу светлому сосновому—словно по кущам райским гуляешь, да вдруг глядишь—шаг за шагом попадаешь в дурную болотину. Мелколес кругом стеной встаёт, чёрная ольха да осина подлая хлесть тебе по глазам тонкой веткой до слёз, хлесть другой раз. И тут же комарья да гнуса рой налетает, в уши, ноздри, в рот лезет без счёта, и такой писк оголтелый подымается, что через мгновение уже не писк, а вой кругом стоит. И бредёшь во мхах, по колено в воду гнилую проваливаясь, плечами частокол цепкий раздвигаешь, горлом пересохши. Такой чепыжник настаёт, что и в голове твоей мутится, ничего не понятно, не знаешь ни сторон света уже, ни имени своего почти. Тогда только остановишься на миг, да переведёшь душу, да к небу глаза подымешь: Господи, спаси. И глядишь—успокоится сердце, и отчаянье уйдёт, и налегке вынесет тебя из дурной этой чепыги, и в прошлом останется страх. Только впредь не угадаешь никак, когда и где снова занесёт тебя в лихие места и смутит нечистый душу. И усомнишься.

…Долго я теперь не поеду на Север. Долго не буду даже думать о том, чтобы залить полный бак бензина на самой дешёвой заправке, включить погромче музыку и разогнать машину так, чтобы невольно нога притормаживала сама, потому что вот-вот готов был взлететь от ощущения счастливого и долгого пути. Не поеду, потому что на пути этом подстерегают меня реки. Первой весело прожурчит по камням Елгамка, а потом спокойно пронесёт тёмные воды Идель, мрачной красотой глянет сквозь ели широкая Тунгуда, и совсем уж душу разорвёт надвое изменчивая Поньгома. А после уж и сама стылая река Кереть спросит за всё и по делам воздаст.

А вот раньше часто ездил. Среди виденных красот дальних, чужих вдруг открылось, что искал я совсем не там. Оказалось вдруг—пятьсот километров всего разделяют меня и те места, где даже утлый чёлн не нужен: подъедешь на машине прямо к берегу морскому, остановишься, и в глаза сразу—дорожка солнечная, ночная по ласковой глади воды, в ноздри—воздух свежий, пряный и густой, в душу—восторг тихий, незапятнанный. Называется это всё Белым морем, и грош бездушному цена.

Последний раз в конце зимы это было. Ещё когда к Чупе подъезжал, уже знал, как вначале всё сложится. С кем бы ни ехал—разговор один:

«Давай только в бар местный не пойдём».—«Почему?»—удивляется попутчик. «Потому что зайдём на полчаса, бар в Чупе утлый и смешной, почти столовка деревенская. А там заполнят всё помещение чупинские девчонки—и глаз будет не отвести, будешь удивляться и радоваться, что в Богом забытом месте такие красавицы. И не заметишь, как невольно, неожиданно возникнет в тебе отчаянная надежда на счастье, и будешь сидеть всю ночь напролёт, танцевать будешь, уговаривать, и под утро разбегутся поморочки, обморочно ножками топоча, и будет муторно и тошно, и ехать ещё Бог весть куда с самого утра, десятки километров по морю или по снежным волнам—всё одно качка, и еле выживешь первый день на Севере. Давай хоть на этот раз в бар не пойдём».

У меня в Чупе знакомый—Юра. У Юры фирма—«Кереть тур» называется. Я его так и зову: Юра из «Кереть тура». Он весь маленький, улыбчивый, как медвежонок, но важным казаться пытается, значительным. Всё себе передряги устраивает. «Осенью на яхте шёл,—рассказывает,—сеть на винт намотал, пришлось у Шарапова мыса на берег выбрасываться. Хорошо, на песок выскочить умудрился». И все ахают, восхищаются Юрой, пока не проговорится напарник его, что вина много в тот день выпили, вот и посадил посудину на мель бывалый моряк; правда, да, удачно посадил, не отымешь.

В этот раз меня опять Юра встречал. Поздоровались, обнялись.
— Ну что, в бар зайдём наш?
— Да нет, знаешь, не сто́ит, дорога длинная завтра. Да и сейчас путь был неблизкий. Устал. Не хочу. Разве что на полчаса…

Так за счастьем своим, братие, не заметил я вовремя неладного. В нашей стороне изначально так: нельзя никогда взгляд свой рассеивать, сторожко нужно к миру присматриваться. А забудешься чуть, размякнешь душой—тут же обнакажет тебя так, что волком выть будешь, а поздно уже—проехали. Только когда стал я замечать нехорошее, уже давно всё случилось. И знали все вкруг меня об этом, да молчали, за спиной злые языки свои теша. А я как младенец был невменяемый. Потому что любил очень Варвару свою. Ведь как учат умные: любишь—не доверяй всё равно, ибо враги люди и нет промеж ними любви истинной. А мы же гордимся: «Есть»,—кричим и душу за милых своих продаём. Стал я замечать, что Варвара не в себе вроде временами становится. Норов её, как вода в реке, менялся: светит солнце—светла вода, чуть тучка наплывёт—чернее чёрного становится. И глаза прятать стала от меня—не испуганно, а с думой затаённой. Я и так её спрашивал, и эдак—молчит, а и ответит что—сама далеко-далеко от меня. Так и гнал я от себя дурные мысли, гнал и верил ей как себе, как матери, как Богу.

…Утром мы, как всегда, рано вышли. Снегоход Юрин уже наготове стоял—старый неказистый «Буран». Сзади прицеп—санки маленькие. Туда вещи побросали, я сверху сел, и покатили по улице заснеженной. Только за поворот свернули да из-за домов выехали—гляжу, новое что-то. На скалистом взгорке прямо над губой Чупинской поднялся уже в пяток метров сруб новый, ладный весь и свежий, словно хлеб утренний. Желтизной своей радостной сразу в глаза бросился, и утро хмурое посветлело словно.
— Юра, стой,—кричу, за мотором неслышимый,—стой, посмотреть хочу.

Юра остановился, недовольный:
— Чего? Только выехали. Ещё шестьдесят километров пилить до Керети—намудохаемся.
— Подожди. Что за строение? Я раньше не видел.

Он обернулся:
— А, часовню строят новую. Варлааму Керетскому. Не слышал? Святой здесь был веке в семнадцатом. История-то—жуть. Но он мужик настоящий, мужичара. Поехали, доро́гой расскажу.

Снова затарахтел «Буран». А я всё оглядывался и оглядывался на светлую посреди тёмных строений, весёлую и одновременно строгую какую-то, ветрам открытую и мудрую часовню. «Варлаам»,—в голове крутилось старое, забытое уже и будто бы чужое имя.

Маетно мне было в тот день. Не на месте душа, хоть и службу правил усердно, и работой пытался удушить тревогу. А всё равно: кричали чайки так жалобно, так пронзительно, что сжималось всё внутри в предчувствии недобром. Варвара с утра в близкий посёлок ушла, соль у нас кончалась, а скоро сёмге идти. И долго её не было, уж солнце на сон пошло. Не выдержал я, собрался мигом—и вослед, а сам ругаю себя: зря отпустил человечка слабого среди природы злой и людей недобрых. До посёлка добрался—как долетел, аж вёсла в руках гнулись. Там искать кинулся, спрашивать. Только не говорит никто, все глаза отводят с ухмылкою странной. Наконец, не вытерпел, за грудки схватил прихожанина бородатого, тот и показал тогда на корабль норвегов, что на недалёком рейде стоял.

Я опять в лодью—да к кораблику тому. Подплыл, а там шум, гам, веселье, ни вахты, ни приличия, шатается пьянь-сбродь по палубе да по кубрикам таскается. Человек семь их там было, и среди них Варвара моя. Я сначала даж не узнал её. Волосы распущены, глаза бесовским огнём горят, щёки румяные, да не от стыда, а от веселья низкого. И хватают её пришлые люди, и таскают, а ей всё в радость: то с одним кружит, то к другому прильнёт, как к другу любезному. Тут меня заметили,

сгрудились все, и она среди них. Пытался увещевать её, да недолго: хохочет, как ведьма, в руки не даётся, волчком кружится. И пришлые, нерусские залопотали что-то по своему, ко мне двинулись. Забыл я Бога в тот миг, забыл веру свою и упование. Только гнев чёрный внутри остался и поднялся волной наливной. Затопил всего меня внутри, глаза застил, в руки свинцом налился. Схватил я тогда анкерок малый, двухпудовый, что с вином на баночке стоял, и в толпу кинул с размаху. Разметались они, как брызги зелья, по палубе, к переборкам прижалися. А мне уж не остановиться было: попал в руки якорёк небольший—и пошёл крушить направо-налево; кто сопротивлялся—тому с большим пылом, скулящих тоже не жалел. Её первую убил.

Как очнулся немного—не стал думать долго. Разом кончилось всё для меня: жизнь моя, любовь моя—всё дьявол забрал и меня с собой прихватил. Завернул я Варвару мою в кусок холста, который рядом, будто нарочно уготовленный, лежал, положил её на нос лодьи своей и от борта страшного оттолкнулся. И пошёл—сначала по кольцам Колы-реки, потом в залив, а потом и в моря северные. Не было мне места больше на земле этой, и пусть пучина меня пожрёт. Ведь вечным укором передо мною любимая мёртвою лежит, сквозь холстину родными очертаниями светясь, а сзади—посудина чужая, кровью до бортов мной заполненная. Не знал я раньше ничего про дорогу страшную, да в момент узнал. Прости, Господи, душу грешную.

…Снегоход стремительно нёсся по укатанной лесовозной дороге, и прицепные санки мотало из стороны в сторону так, что дух захватывало, и руки невольно вцеплялись в высокие борта. Потом, когда съехали с трассы и пошли по снежной целине, скорость меньше стала, зато качка и тряска начались—только держись. Словно по мелким острым волнам, прыгали санки, и все внутренности сотрясались крупной дрожью, похожей за ужас. Зато снаружи творилась красота. Потихоньку, совсем медленно, вылезло солнце из облачных перин, сбросило их за горизонт и, сладко потянувшись, раскинулось по небу, лучи широко распластав. Хмурыми кочками лежавший утренний снег сразу заиграл, заискрился в ответ, словно нежданно обласканный дворовый котёнок. Чуть только отошли подальше от дороги и пересекли невнятную болотину с обиженно торчащим сухостоем—сразу взлетели на гребень длинной изгибчивой сопки и понеслись по нему, изо всех сил приминая рвущийся наружу нутряной восторг. Справа на далёкие мили тянулся лесной распадок с проблесками полян, старых вырубок и скалистых откосов. Всё это сливалось в хаотический, казалось, узор, в котором вдруг светилась такая строгая гармония, что только гордый ворон своим отрывистым «кра» смел выстрелить в эту красоту и остаться в живых. Слева сквозь частую рябь стволов стали исподволь, стыдливо выглядывать несколько лесных озёр. Берега их были круты и высоки, очертания сложны: казалось, они сплелись в какой-то тесный суматошный клубок. Редкие искривлённые сосны смогли забраться на самый верх тёмных первобытных скал и замерли там в страхе перед собственной смелостью. Заливы озёрные мелькали то тут, то там, всё казалось хаосом.

—Крестовые озёра,—гордо, словно приложивший руку, сказал Юра и, видя моё недоумение, остановился на взгорке.

Медленно достал и развернул карту. На зелёном поле лесов строго и радостно синели три крестика, совсем таких, что вешают на шеи младенцам при крещении. Они лежали рядом, чуть не касаясь друг друга, щедрой рукой брошенные на благосклонную землю.

Поехали дальше. Будто зная, что у нас нет с собой оружия, кругом кипела неистовая жизнь. За секунду до нашего появления затаивалась, застывала в испуге. Но её было много вокруг: в тесном переплетении длились заячьи суматошные следы и расчётливые лисьи цепочки; всюду виднелись куропачьи поскрёбыши—словно кто-то большими когтями скрёб снег по обе стороны птичьих тропинок; деловито и скупо резал поляны след внимательного волка; поверх всего разлаписто и по-хозяйски ступала росомаха. И чуть только я привык к обилию оставленных, остывших уже следов—из-под снегохода стали с грохотом выстреливать косачи. Так близко, что можно было сбивать их рукой, будь на то желание и воля к добыче. С десяток их вспорхнуло чёрной кровью из взрезанных снежных вен и расселось на ближайших деревьях в любопытстве и ожидании: что дальше—жизнь или смерть? Будь даже у меня ружьё, не смел бы выстрелить в резных, солнцем облитых птах, сидящих на ветках, словно в детстве прозрачные на палках петушки. Слишком красивы и доверчивы они были. Слишком невинны и далеки от желания, скользкой рыбой душу сосущего. Полгода уже мучило оно меня. Лечить его я забирался в эту глушь, подальше от людей.

Ох и смешно же мне, братие, было. Смеялся я слезами, и ветер острый срывал их у меня со щёк и бросал в море подобно дождю мелкому, ничтожному. Смешно мне было и путешествие моё внезапное, и благополучие недавнее, и волна морская с перехлёстом, и небо серое над головой, и груз мой страшный на носу лодочном. Смешно мне было несколько дней. Но не дал Господь мне в сумасшествии облегчения, разума не забрал, а понудил до конца путь свой идти, в рассудке и отчаянье. И когда понял я это—пропал мой смех, и стал я дальше жить в молчании мрачном

и упорстве. Решил я, ничтожный, что понял замысел Божий, и стал к северу лодью свою править, подальше от земли и людей. Не было мне прощения ни от них, ни от себя, и наказан я должен быть примерно — ледяными пучинами поглощён без остатка и памяти. Не помню теперь, сколько жил так — в ожидании бесчувственном. Всё молил Бога о смерти скорейшей, ведь каждый новый день начинался с вида укрутка страшного на носу, и каждая ночь воспоминаниями полнилась. И кричал порой криком звериным от тоски и боли душевной, но равнодушно волны мои крики слушали. Шторма страшные видел я, братие, где требуха воды взрывалась, вздымаясь бешено и небесам грозя. И радовался каждый раз, конец своим мучениям узрев. Но словно сила неведомая мою лодку над бездной поднимала и дальше несла. И богохульствовал я, кляня жестокого, и бился в корчах, и засыпал потом обессиленный, а когда просыпался — спокойно море было кругом, и я дальше жил. Голодал я много дней и воды не пил, да потом моря северные кормить и поить меня стали, хоть не просил я их. То капусты морской шторм надерёт да к лодке моей прибьёт, то к отмели меня принесёт, где накопаю пескожилов, да потом знай снасть в воду закидывай — треска валом шла. Снасть свою из холста я ссучи́л, что груз мой покрывал, да крюк из гвоздя сделал. Грубая снасть получилась, да только такой рыбной ловли богатой я в жизни не видывал. Из рыбы и сок выжимал пресный, пил его, а потом и дожди стали воду мне приносить. Не хотел Господь быстрой смерти моей, не бывает так — отмолить грехи и не мучиться.

Долго я ходил по морям, покоя не ведая: внутри рвалось и кричало всё, снаружи руки без устали трудились делом морским. Только донесло меня до горла Белого моря, узнал его по рассказам прошлым. Славилось место это червями морскими, что дерево корабельное точат в труху, и тонут здесь корабли без счёта. Вот куда привёл ты меня, Господи, вот смерти какой мне уготовил. И опять в гордыне своей ослеплён был, и радовался, что прозорлив. Только прошла моя лодья через горло, и ни одного червя я на ней не увидел, целёхонька она была, словно из рук мастера только вышла. А потом ветер был малый, ласковый и порывом тёплым и резким сорвал вдруг холст с носа лодочного, и зажмурился я в ужасе. А когда глаза осмелился открыть — не было ничего. Унёс ветер прах истлевший — и любовь мою с ним. И понял я, что другой мой путь — не в смерти, а в жизни спасение искать и трудиться вечно, неустанно, помня всё, здравствуя, других устерегая. И воздал в слезах славу Господню.

Тут открылась мне бухта малая, где посреди скал и лесов благодатных живая светлая река в море впадала. Закончилось моё странствие. Речку эту Кереть называли.

…У Юры, кроме мной придуманной, ещё и местная кличка была. Звали его все — Несун. Это потому, что на правой руке все пальцы у него пилорамой отрезаны были. И на место указательного большой палец с ноги пришит. Он ловко с этими двумя фалангами вместо трёх управлялся — цеплял за проушину любую, за ручку, а то и за пиджак в пылу пьяного разговора. Сильный этот палец был и какой-то страшноватый, хоть и родной. Так нелепо смотрится любой человек, сросшийся кожей с профессией своей и вдруг на другом месте оказавшийся — пожарный там какой на должности властителя дум. На кличку свою Юра не обижался и пальца не стыдился — значит, уродством не считал. Даже нравилось ему, похоже, испуганные взгляды собеседника ловить, когда он им кусок хлеба подхватывал или нос чесал. В любом случае проводник Юра был отличный. Не знаю, по каким признакам ориентировался, или просто уже настолько с местами своими сросся, что и признаков никаких не надо, — а только из леса вдруг вышли мы точнёхонько к устью реки. Была она ещё льдом покрыта, но тут и там вырывалась из-под него в бурном веселье и на спящую красавицу совсем похожа не была, скорей — на проказливую девчонку, которая, даже и одеялом накрывшись, выглядывает из-под него озорными глазками, хихикает и егозит, в любую минуту готовая выскочить и в пляс пуститься.

— Вот она, Кереть, — Юра любовно огляделся и снял шапку с мокрой головы.

Невысокие пологие скалы возвышались по обоим берегам реки, словно ласково держали её в серых натруженных ладонях. Несколько полуразрушенных домов у самого моря, заброшенное кладбище. Дальше к северу простиралась бескрайняя ледяная равнина, исчерченная порой острыми торосами. Совсем далеко темнела узкая полоска незамёрзшего моря и низкими облаками клубились острова. Лёд был бел и сверкающе ярок, а у самого устья Керети он темно и опасно синел и раздавался порой незакрытыми майнами. Тишину нарушало лишь шерстяное шептание ветра, шелестящего мелкой сухой позёмкой.

Ничуть меня одиночество не тяготило. Поселился я в местах этих благодатных, и пение любой пичуги лесной было милее мне, чем голос человечий. Род наш только и терпеть можно из-за детей наших да животных всяких, что тоже нам родственники, а значит, в чём-то оправдание наше. В остальном же народец мы пакостный, и нужна, ой нужна нам милость Божия — без неё смысла нет существованию. Но раз уж живём мы, суетимся, делаем что-то — всё не зря, есть в этом промысел, только недоступен он скудоумию нашему, значит, на веру должны принимать многое, иначе занесёт нас в гордыне куда Бог весть. Так и я жил с памятью

о страшном, с болью в душе и с надеждой ласковой. О питании не думал — всё под рукой уготовлено было. Одну вещь натвердо запомнил из жизни своей и опытов, мне данных: радостнее, легче, когда жалеешь. И потому молился ежечасно: Господи, прими слово моё за детей и животных!

…Снегоход Несуна затих вдали, и я остался один посреди снегов. Все эти дни я наматывал десятки километров по лесам, озёрам, морскому побережью. Широкие лыжи, подбитые камусом, позволяли с лёгкостью бегать по сугробам; лишь иногда, летя с горы, я не рассчитывал высоты ёлок, коварно засыпанных рыхлым снегом, пытался пропустить их между ног и за глупость свою бывал наказан нестерпимой и обидной болью. Я ловил рыбу, охотился, но не добыча была главным для меня. Мне нужно было каждый день изнурить себя до смерти, чтобы можно было ночью заснуть, чтобы хоть на время улеглась в душе обида, чтобы перестало дрожать нутро от животного желания рвать зубами, когтями драть, мстить. Я пытался разумно убеждать себя, что не нужно так, что виноват сам, что знал о невозможности любви в этом мире — и всё равно доверился, раскрылся полностью, подставил мягкое брюхо. И наказан был за глупость поделом. Что не должен больше никто страдать, что нужно пытаться забыть и жить дальше, что излечиться можно. Но лишь только отвлекался на секунду, отпускал себя — мозг тут же рисовал кровавые картинки, и, отмщённый, я ликовал, пока не вспоминалось, что всё ещё впереди.

Помогала только беготня лесная, до одури, до отупения, до страшной ломоты в спине и ногах. По вечерам, поужинав и падая в сон, успевал поспорить с Несуном, который все дни наблюдал за мной с тревогой и пониманием.

— Нужно попробовать верить, — говорил он убеждённо, — просто верить, не требуя доказательств. И боль свою Богу отдать. Станет легче, увидишь.

— Смешно мне это, — я не сдавался никогда и не боялся никого до этих самых пор, — в этой стране верить нельзя. Бессмысленно. Мы ходим по костям, здесь вся земля — труха, обломки тех, кто тоже верил, и надеялся, и ждал. Бессмысленно и тупо.

Вздыхал Несун, а я не засыпал, нет, — умирал на время, до утра.

До Крестовых озёр было далековато, не дойти пешком. Я упросил Несуна свезти меня туда и на день там оставить. Казалось почему-то, что будет здесь какая-то небывалая удача — под крутыми скалами берегов чудилась тёмная бездна, полная таинственных рыб. Несун, прощаясь, посмотрел на меня с каким-то сожалением:

— Если что, Варлаама проси.

Я усмехнулся в ответ.

Небольшого окуня я поймал почти сразу, лишь только уселся у первой лунки и опустил в воду наживку. Сразу смотал небольшую донку и достал хорошую, с толстой леской и мощным тройником. Насадил жалобно пискнувшего окушарика и стал опускать удочку в воду. До дна оказалось метров тридцать, такой же была чёрная скала, в тени которой я и примостился. Я сидел довольно долго и стал уже уставать, как вдруг взяло. Взяло сильно и уверенно, властно. Я подождал немного, потом подсёк и стал тащить. Из пучины поднималось что-то большое. Оно шло без рывков, но так тяжело, что где-то глубоко внутри у меня затрепетал, зачастил аорты пульс. Я подтащил рыбину к лунке — оказалось, что она в неё не проходит. Тёмная тень встала подо льдом. Я скинул рукавицу, полушубок и сунул руку в воду, чтобы развернуть рыбу головой к лунке и за жабры вытащить на свет. Дотронулся до тела и еле удержался, не отдёрнул руку. Голая противная кожа без чешуи, скользкая и холодная, — это был налим. Огромный, я таких не ловил. И вообще не любил их. Всегда отвращала медлительная уверенность этих трупоедов. Но не отпускать же его. Я продвинулся к голове, нащупал жабры. Вдруг рыбина мощно метнулась в сторону. Я вскрикнул от боли: в ладонь, в мясо глубоко вонзился крючок тройника. Я было дёрнулся, но в секунду всё понял: не выбраться.

Очень холодная вода. Боли не было, но не было и выхода. Я тянул порой, но крючок только глубже входил в руку. Другое жало его держало огромную скользкую рыбу. Я был сверху, она замерла подо мной. Она могла долго ждать. Я ждать не мог вообще. Руки я уже не чувствовал. Плавился гладкий лёд под щекой — и тут же замерзал, твердя о неизбежном. Я пытался кричать, но замолкал: бессмысленно. Несун должен был приехать через многие часы. Мне было холодно и жутко. Я хотел жить, и чтобы жили все другие. Я больше не хотел убивать. Я очень устал. Я ничего не знал про время. Я начинал засыпать — сами закрывались глаза. Иногда казалось, что слышу шум мотора, но это гулял ветер в соснах. Губы скорёжило в нелепую усмешку. Я с трудом разжал их и просипел:

— Помоги!

Прошептал еле слышно, потом закрыл глаза и отчаялся. Очнулся от сильного удара — рядом с моей головой глубоко в лёд вонзился багор.

Ольга Карлова

Метароман длиной в четыре поколения

К 90-летию со дня рождения А. И. Чмыхало

Анатолий Чмыхало, известный российский писатель-фронтовик, мастер исторической прозы, родился в 1924 году, воевал на фронтах Великой Отечественной, был ранен и контужен, после войны прошёл большую школу журналистики и театра. Он ушёл от нас в марте 2013 года на восемьдесят девятом году жизни, оставив после себя сына и дочь, двух внуков и даже правнука — истинный богатырь-сибиряк, основатель и свидетель жизни четырёх поколений.

Впрочем, детей у него было значительно больше: пятнадцать книг разных жанров, девять из которых — романы. Какими они были — эти литературные творения, которые отделяют друг от друга большие периоды реальной жизни? Как вообще отзывалось творчество писателя на масштабные социальные изменения: от сталинской эпохи — к «оттепели» и «застою», от них — к горбачёвской перестройке, ельцинской «шоковой терапии», и оттуда — к усилению российской государственности в путинское время? Ведь четыре поколения — это четыре взгляда на мир, четыре разных мироощущения. Это безусловная смена художественных мировоззрений и стилей — от социалистического реализма к позднему постмодерну.

Анатолий Чмыхало вошёл в российскую советскую литературу в пятидесятые. В 1949 году журнал «Октябрь» опубликовал подборку его стихотворений, затем вышли в свет сборники стихов «Земляки» (1951), «Степные зарницы» (1954) и «Страда» (1955). Они и даже более поздние роман о целине «Нужно верить» 1963 года и повесть «Трясина» (1964) — в большой мере стали данью и художественному стилю, и эпохе, в которых писатель формировался. В них есть советская мечта, которой было окрылено послевоенное поколение, увлечённость образами сильных духом людей с сибирским характером, способных на масштабные дела и сильные чувства, культ преодоления — жизни, природных сил, самих себя.

Однако уже и в эти годы Анатолий Чмыхало занят переводом хакасских сказок, работой над либретто национальной хакасской оперы. Обращение к истокам народного характера, журналистский опыт, замысел первого исторического романа и поиск материала к нему выводят будущего писателя-историка далеко за рамки дозволенного идеологией.

В 1959 году выходит роман «Половодье» — произведение, в котором фольклорно-бытовая и историко-психологическая достоверность неоднократно берёт верх над идеологической схемой. Таковы яркие рельефно-неоднозначные образы Романа и Якова, Домны и Макара Артемьича, Нюрки и Любы, бабки Лопатенчихи и деда Гузыря. Последний, острый на слово и с юмором оценивающий горькую тогдашнюю жизнь, только на первый взгляд кажется схожим с дедом Щукарём из шолоховской «Поднятой целины». На самом деле это совсем другая ипостась «мужицкого философа»: в нём — иная мера жизненной горечи и отчаяния, как, впрочем, и жизненной стойкости, превращающей его из комического персонажа и стороннего советчика в героя, готового жертвовать собой ради других. Давая роману оценку в духе шестидесятых годов и благодаря автора за то, что он «раскрыл новые интересные события и характеры периода Гражданской войны и становления советской власти в Сибири», классик социалистического реализма Борис Полевой не может не подчеркнуть: «Автор силён знанием материала, быта, ощущением народного характера, чувством слова. Это добротная, интересная книга. Действие увлекает читателя через все 800 страниц. Роман мускулистый, полнота его здоровая, без водички»[1]. Сложность художественно-психологической ткани этого романа Анатолия Чмыхало проявится и в первом из длинной и яркой череды будущих портретов «инородцев» образе киргиза-пастуха Жюнуски, и в интеллигентских метаниях между принципами и человечностью эсера Рязанова. И, конечно, в новаторских с точки зрения деидеологизации образах Колчака и Анны Васильевны Тимирёвой, реальная встреча с которой в далёком Рыбинске стала судьбоносной для молодого талантливого писателя. Эта встреча со старенькой уже, но поистине легендарной женщиной — княгиней Тимирёвой, в девичестве Сафоновой, дочерью директора Московской консерватории, уехавшей

1. *Чмыхало А.* Половодье. Роман. Книга первая. — Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1959. — С. 4.

в глубь Сибири за своей любовью—адмиралом Александром Васильевичем Колчаком, полярным исследователем и мореходом, учёным и поэтом, русским офицером и волею судеб «Верховным правителем Сибири»,—перевернула многое во взглядах и мироощущении Анатолия Чмыхало. «Это было моё ясное солнышко… Не знаю, кем бы я был, если бы не она»,—скажет он позже. В «Половодье» Анатолий Чмыхало впервые ступил на «нейтральную полосу», проложенную историей между «красными» и «белыми», «своими» и «чужими»,—и постоянно возвращался к осмыслению этой всенародной беды многие годы спустя.

Схемы были взломаны, в роман ворвалась жизнь.

Окончательный разрыв писателя с социалистическим реализмом—«Три весны», автобиографический и военный роман 1969 года. Задолго до дискуссий об «открытом—закрытом социалистическом реализме», до культовых книг Чингиза Айтматова и поколения «шестидесятников», которые положили начало литературоведческой дискуссии, приблизительно в одно время с художественными опытами Фёдора Абрамова, Сергея Сергеевича Смирнова, Сергея Маркова, Михаила Дудина, которых знал и любил как друзей и талантливых собратьев, Анатолий Чмыхало окончательно пришёл к реализму.

Новизну романа «Три весны» доказывает и тот факт, что автобиографическое произведение о войне было почти на треть люстрировано цензурой. Война в романе показана жёстко, её правда обнажена и не укладывается в идеологическую схему—и это сделано писателем не в открытые переоценке девяностые годы, когда мы все с энтузиазмом вскрывали «белые пятна» истории и переосмысливали события полувековой давности. Это было на целое поколение раньше—в глубоко идеологизированном шестьдесят девятом году.

Таким же откровением стал и для начала восьмидесятых трагически-колоритный образ атамана Соловьёва, сибирского казака, помеченного в те годы, казалось бы, несмываемой меткой бандита и анархиста. Поставить в 1981 году, за четыре года до горбачёвского перестроечного пленума, вопрос об историческом содержании времени было непросто, особенно когда речь идёт об эпохе с резкими идеологическими оценками и освящёнными идеологией героями. Роман стал очень логичным для писателя этнофилософским продолжением «Половодья» и исторической дилогии о событиях семнадцатого века на берегах Енисея («Дикая кровь», 1974, и «Опальная земля», 1977). Замыслив третью часть исторической эпопеи, которую хотел назвать «Казачьи дети», Анатолий Чмыхало, разыскав в анналах КГБ дело о «банде» Ивана Соловьёва, вскоре отказывается от раннего замысла. Написав «Отложенный выстрел» по материалам допросов и документам спецхрана госбезопасности, переплавив их в убедительную художественность, он завершил, таким образом, развитие темы судеб казачьих детей на сибирской земле. Словно бы в жизненной драме казачьего атамана было досказано то главное, к чему шёл писатель в своих размышлениях от семнадцатого века к современности.

Убийство этого подлинно былинного героя в конце романа—символ в чём-то вынужденного, в чём-то добровольного самоубийства русского народа. Сшибка Ивана с Сидором Дышлаковым, страшным порождением «купели революции», вырастает в символ вечной библейской тяжбы силы с силой: силы, способной созидать, с силой, только разрушающей. Драматизм эпохи в том, что побеждает последняя. Как и всякая подлинная трагедия, трагедия Ивана—не в его физической смерти. Иван не ищет истину—она у него есть. И ему не уйти от неё, как не уйти от этой земли, на которой он родился, стал казаком, в которую безвременно ляжет, по-гамлетовски отверженный и непонятый.

Характерная для творчества Анатолия Чмыхало этапность в развитии основной темы его романов заставляет говорить об историческом метаромане писателя[2]. Сердцевина его творчества восходит к философской, онтологической идее—идее тяжбы воли свободного человека с трагическим ходом истории.

…Сегодня на могиле Соловьёва стоит крест, а в Иркутске—памятник Колчаку. Сегодня нам, прозревшим исторически, покажется привычным и понятным всё, что требовало в шестидесятые и семидесятые подлинного гражданского и духовного подвига. Поток исторических и политических откровений девяностых годов породил у многих иллюзию всеобщего изначального знания. Как-то забылось, что изменение государственной идеологии произошло вовсе не чудом. И с этой точки зрения творчество Анатолия Чмыхало шестидесятых—семидесятых годов можно определить во многом как предтечу историко-литературных откровений периода перестройки. В его реалистическом творчестве советского периода человек не тождественен ни понятию «враг», ни понятию «положительный герой». Он либо человечнее свой социальной судьбы, либо меньше своей человечности.

Исторические романы о становлении Красноярска тоже написаны автором в доминирующей реалистической манере. Школа реализма придала

2. *Карлова О. А.* Проблема исторической и художественной правды в романах Анатолия Чмыхало / Историческая проза и историко-литературная концепция современности. Материалы научно-практической конференции.—Ачинск—Красноярск, 1996.—С. 34–38.

перу Анатолия Чмыхало масштабность, выверенную точность языковых средств, поразительную шлифовку исторической детали. Но это уже не был классический реализм Чехова или Льва Толстого. Чмыхало, как и другие талантливые писатели России этого времени, открывает новые ипостаси реализма, и прежде всего — психологический и «мифоисторический». Романы дают обильную пищу для исследований не только историков, но и этнографов, этнопсихологов, фольклористов, культурологов и социолингвистов. Перед нами столкновение мотивов, этносов, культур в историко-художественном полотне, «сшитом» в мифореалистической манере лингвистическими средствами. Это — уже примета модерна. Писатели-реалисты — каждый по-своему — решали проблему воссоздания исторического колорита в своих текстах. Так, у А. К. Толстого архаизация языка практически отсутствует, А. Чапыгин предпочитает «языковую игру в просторечия», А. Н. Толстой использует элементы языка изображаемой эпохи. (Л. Г. Самотик в своём исследовании «Словарь исторической прозы А. И. Чмыхало» (Красноярск, 1999) детально рассматривает эту проблематику.) Анатолий Чмыхало в достижении исторического колорита действует вполне оригинально: в тексте нет устаревшей лексики и архаичных грамматических форм. Писатель создаёт текст-историосимулякр, вообще не используя данные языка семнадцатого века. А там, где вживляются малоупотребимые сегодня слова (архаизмы, историзмы, диалектизмы, варваризмы, экзотизмы, просторечия и кодифицированная лексика), которых в тесте немало, их игра привязана к прозрачному контексту, а их россыпь по-модернистски мозаична и объяснена в расчёте на понимание любого читателя.

В фокус романов, в полном соответствии с господствующим духом Сибири — духом перекрестия культур и цивилизаций, попадают судьбы представителей разных этносов, разных социальных слоёв. Многие из них представлены в анфиладной проекции, соединяющей как бы несоединимое, что весьма характерно для модернистского необарокко. Романист реконструирует историческую действительность, пользуясь не только архивными материалами русских музеев и исследовательских институтов, единственными в своём роде древними текстами из хранилищ Монголии, Киргизии, Казахстана и Украины, но и методом своего рода модельно-психологической экстраполяции: он находит потомков тех самых казаков, которые пришли на берега Енисея в давние времена, и исследует психологические, культурные и портретные характеристики этой специфической группы. Откуда бы взяться в Советской России восьмидесятых годов модернизму, да ещё на историческом материале? Но именно история трёхвековой глубины, Сибирь с её генами свободы и тренд концепций индустриального модерна в современном ему обществе становятся могучим ветром под крыльями художественной фантазии Анатолия Чмыхало.

Казалось бы, писательская манера отточена. Основные, даже эпохально-исторические полотна написаны. На дворе — конец века двадцатого. И Анатолий Чмыхало погружается в рефлексию прошедшего столетия. Сама по себе рефлексия уходящей эпохи — примета творчества немалого числа писателей. Но отдать дать времени — ещё не всё. Не только уловить дух перелома в содержании эпохи, но и воссоздать его в художественной форме, ему соответствующей, — явная черта большого таланта. Так родился двухтомник Чмыхало «В царстве свободы: дилогия в стихах и прозе» (2007). После восьмисотстраничных романов «мини-романы в эпизодах» по две-три странички, пересыпанные «мыслями вслух» и «стихами по случаю», — это уже очевидный постмодерн. «Ночь без сна» и «Плач о России» — блестящий образец постмодернизма с его лаконизмом и контрастами, клипами (художественной «нарезкой») картин, ассоциаций, впечатлений; лёгким, скользящим как бы по поверхности фабулы и образов писательским рассказом, но всегда завершающимся эмоциональным «ударом», воссоздающим своеобразный «ритм, что в жизни человечества сокрыт». В этих романах явлены индивидуальная свобода человека и одновременно его рефлексивное одиночество[3], ценность дуальной связи с культурообразующим началом и одновременно приоритет индивидуального поиска истины. Эта исповедуемая писателем ценность выстрадана всей его творческой судьбой, но она удивительно современна в эпоху становления в России доктрины приоритета личностных прав и одновременно драматического осознания невозможности такого «личностного рая». Человек в творчестве Чмыхало имманентен модернизму — он по-прежнему актор. Но в то же время актор эпохи постмодерна, осознающий реальность грядущей экологической и антропологической катастрофы мира, бунтующий против духовного оскудения России, готовый к исповеди и покаянию своего поколения — поколения Основателей и Подвижников.

Его «Нецензурные стихи» и «Озорные стихи», которые он по праву называет «самородками» (как бы изначальными элементами природно-человеческого Бытия) и «россыпями» (тем, что доступно и лежит у каждого под ногами, как перлы, что мечут, словно бисер, под ноги толпе мыслители-одиночки), — это и есть чуть прикрытая

3. *Н. М. Смирнова.* Модерн / Глобалистика. — Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, 2006.

флёром иронии и самоиронии исповедь Человека и Поколения.

…Человеческая жизнь воспринимается нами как некая непрерывность, а сам человек — как безусловная целостность между двумя датами: рождения и смерти. И только на значительном историческом расстоянии видны культурные тектонические сдвиги на границах столетий: в них уже очевидны и смена цивилизационных примет, культурных символов, и изменение доминирующего взгляда на мир. Что уж говорить о границах тысячелетий! Когда-нибудь учёные вполне аргументированно докажут, что человек двадцать первого века отличался от человека двадцатого столетия как кроманьонец от неандертальца.

Но такой же верной остаётся истина, что новое прорастает в людях. Правда, далеко не во всех. Но в тех, кто наделён талантом напряжённо вглядываться в Прошлое и Будущее, воспроизводить на бумаге или полотне своё прозрение, и при этом наделён силой не прогибаться под суровым настоящим. Именно этот запечатлённый взгляд из исторического далека однажды становится проекцией дня сегодняшнего…

Д*и*Н память

Анатолий Чмыхало

В тот самый час

● ● ●

Что говорить, у жизни есть граница.
На этой пограничной полосе,
Я понимаю, чуду не случиться:
Пробьёт мой час — и я умру, как все.
В тот самый час,
        к земле приникнув ухом,
Услышу властный зов издалека.
И станет мне она, родная, пухом
От той поры на вечные века.
А если вдруг погибну на чужбине,
Я и в ином, неведомом краю
Оставлю вам, живущим, небо сине
И песню недопетую мою.
1984

● ● ●

Был зной воистину неистов,
А кровь горячая густа.
И рощи не было тенистой,
И даже тощего куста.
И не было живой травинки.
И полз я долго — сколько мог…
И вот уже из речки Крынки
Тянул сквозь зубы кипяток.
А степь донецкая стонала
И наплывала на меня.
И небо было алым-алым,
Как раскалённая броня.
1943, Миус-фронт

● ● ●

Когда в твой дом коварный враг ворвётся,
То нужно брать оружие и драться,
И времени уже не остаётся
Для митингов и мирных демонстраций.
2011

● ● ●

Люди пугаются молний
В ненастные чёрные ночи,
Когда не одно только небо —
Весь мир разлетается в клочья.
Когда трепещут, как свечи,
На скалах продрогшие ели
И грома горластое эхо
Подолгу бушует в ущелье.
А людям бояться надо
Совсем иного в природе:
Тех гроз, что молча приходят
И так же молча уходят,
Когда ты теряешь друга
И женщина — видишь — не любит;
Когда заломлены руки,
И крепко стиснуты зубы,
И не к кому прислониться,
И не на что опереться;
И целятся грозы не в ели —
В твоё одиночество, в сердце.
А люди пугаются молний.
1977

Александр Щербаков

Жили-были на Амыле…

Помнится, лет двадцать с гаком назад, в самые смутные времена, когда городу и миру, казалось, вообще было не до писателей и пиитов, тем более — провинциальных, меня вдруг пригласили в Шарыповский район на литературные встречи. Главным организатором тех встреч со взрослыми и юными шарыповцами выступил местный журналист, тогда — редактор районной газеты, Александр Комиссаренко, светлая и беспокойная душа. И вот, как говорится, всю дорогу, пока мы с ним ездили от села к селу, Саша засыпáл меня вопросами о… писателе Анатолии Чмыхало: где сейчас он, да как живёт, да что новое пишет, да не собирается ли к нам в Шарыпово…

Примерно то же было и на встречах с селянами, особенно — с учителями и школьниками, с библиотекарями и другими работниками культуры: я им про свои нетленные стихотворения-рассказы, а они мне всё больше про книжки Чмыхало да про него самого. Необыкновенной популярностью пользовался Анатолий Иванович в этих местах. Я, конечно, знал, что он «родственно» связан с ними, что у него жена, Валентина Ивановна, родом шарыповская и он, естественно, частенько наезжал в эти края, но, думается, дело было не только в этом.

Особый интерес здешних книгочеев вызывали исторические романы Анатолия Чмыхало, потому что в районе существовало (оно и поныне существует) целое движение краеведов и любителей сибирской истории, возглавляемое и вдохновляемое всё тем же Сашей Комиссаренко. И ещё замечательным педагогом, завучем школы в сельце Ораки, депутатом райсовета нескольких созывов Еленой Васильевной Буркиной, которая создала любопытный факультатив: «Мир деревеньки и деревенька в мире». Его программа во многом построена на произведениях красноярских писателей, в том числе — вашего покорного слуги и, конечно же, «родного» романиста-историка. В результате в Ораках, да и во всём Шарыповском районе чуть не каждый школьник — краевед и летописец, и почти каждый — читатель и знаток исторических книг Анатолия Чмыхало.

А прежде, до той «литературной» поездки, мне казалось, что его больше всех любят и почитают у нас, в казачьем Каратузе. Кстати, у моих земляков тоже давняя тяга к историческим повествованиям. В своё время они, например, все поголовно читали исторические произведения Алексея Черкасова, пожившего на здешней земле и позднее отразившего её в своих книгах. А потом, насытившись трилогией черкасовских «сказаний о людях тайги», набросились на чмыхаловские исторические тома — «Половодье», «Дикую кровь», «Отложенный выстрел»…

Но книги Чмыхало падали на добрую почву, подготовленную не только получившим тогда известность Черкасовым. Не в обиду ближним и дальним соседям, скажу, что каратузские жители, на мой взгляд, вообще выделяются особым интересам к искусствам, чуткостью художественного восприятия. Здесь многое значат традиции. К примеру, не всем известно, что в Каратузе и его окрестностях ещё с «краслаговских» времён процветала великолепная художественная самодеятельность. Уровень ей задавали мастера сцены, прибывавшие из столиц в эти не столь отдалённые места не по своей воле. Трудно поверить, но здесь когда-то не только пели, плясали, разыгрывали пьесы классиков, но и ставили… оперы! Притом одна из них была даже «собственного сочинения». Правда, с не очень музыкальным названием: «Хряк». Видимо, сатирическая, клеймившая пороки того времени.

Я уж не говорю о том, что райцентр и сельская округа кишмя кишели разными сочинителями — от анонимных анекдотчиков до общеизвестных поэтов и писателей. О некоторых из них слышал и широкий красноярский читатель: скажем, о сагайском летописце Михаиле Шишкине, которым интересовались музейщики края, о каратузских стихотворцах Григории Каратаеве (о нём даже книга была написана!) и Александре Генцелеве, мелькавших в краевой печати. К слову замечу, что и поныне наблюдается подобная картина. Когда прошлым летом меня пригласили «пообщаться» с творческим активом села Каратуза, то в читальном зале библиотеки я встретил почти полсотни здешних поэтов, прозаиков, публицистов… Притом иные из них также печатались и за пределами района.

Понятно, какие читатели и слушатели вызревают в этаком «бульоне». И потому, когда, бывало, приезжал на встречу с ними Анатолий Чмыхало,

А. Чмыхало, Н. Голосов и А. Щербаков

все клубы ломились от публики. Не только в районном центре, но и в самых заштатных деревнях. Помнится, задержавшись в дороге из-за весенней распутицы, писатель до нашего Таскино вместо обещанных семи вечера добрался лишь к десяти часам. Но таскинцы терпеливо ждали его. Дождались и потом не отпускали со сцены до глубокой ночи.

Известно, что Анатолий Иванович был не только добротным писателем, но и прекрасным рассказчиком, настоящим артистом (ведь он в молодости профессионально играл на подмостках Ачинского драмтеатра), талантливым импровизатором. Казалось бы, что можно добавить к его увесистым томам «Половодья» или «Дикой крови» (там всё написано на сотнях страниц!), но автор о каждом герое мог рассказывать всё новые и новые истории, не менее увлекательные, чем отражённые в романах. В особенности — о Колчаке и его преданной возлюбленной Анне Тимирёвой. Это теперь о белом адмирале, «правителе омском» знают больше, чем о Чапаеве или Будённом, а тогда редко кто считал, что Александр Колчак тоже по-своему «герой Гражданской войны» (хотя для большинства и с обратным знаком). Писатель же Анатолий Чмыхало, понимая эту войну как общую трагедию нашего народа, всем её участникам (и жаль, что позднее отклонился от этой объективности) старался отдавать должное.

Но не только селения каратузские полюбили Анатолия Ивановича — он и сам полюбил их не меньше. Насколько помню по совместным «творческим» поездкам, особенно восхищался он Верхним Кужебаром, этим колоритным, истинно сибирским, кондовым селом, расположенным на берегу светлейшего Амыла. И, конечно же, не менее колоритными его обитателями. И всё мечтал побывать в нашенских местах не наскоком, а погостить основательно, поплавать на резвых моторках по амыльским перекатам, побродить по тайге, побеседовать вволю с речным и таёжным людом. И осуществил-таки мечту.

Однажды летом, спускаясь с верховий Амыла, мы с моим каратузским приятелем вдруг у Казачки, урочища, где река особенно излучиста и стремительна, увидели в рыбацкой лодке… Анатолия Чмыхало. Он стоял «на баке», подняв к солнцу своё крупное, «скульптурное» лицо, и чему-то улыбался. А рядом с ним колдовал над удочками другой Анатолий — Нестеров, кужебарец, тоже знаменитость здешних мест, вечный таёжник, пасечник, рыболов и неистощимый балагур и фантазёр, со странноватым прозвищем Шарбыль…

Мы поприветствовали плавучих словотворцев. И я сразу представил, как им хорошо на реке, обоим Анатолиям, как они радуются и лету, и воде, и девственному лесу по берегам, и зверью, и улову, но прежде всего, конечно, живому общению между собой. Сколько же баек, историй, былей и небылиц, должно быть, поведал наш верхнекужебарский Анатолий красноярскому гостю Анатолию! Многие из них, действительно рождённые фантазией Шарбыля или же приписываемые ему, давно живут в районе в качестве местного фольклора.

Ну, к примеру, байка такая. Приезжий городской рыбак, вооружённый до зубов спиннингами, блёснами, телескопическими удилищами, утром идёт к Амылу. Видит, на пеньке сидит пастух, поигрывая кнутом, стережёт стадо. «Дед, у вас рыба-то есть?» — спрашивает приезжий. «Дак куда ей деться?» — отвечает пастух. Вечером рыбак возвращается, усталый, пустой, без единого рыбного хвостика. На том же месте сидит тот же пастух. «Дед, у вас здесь рыбы-то нет, что ли?» — «Дак откуда ей взяться?» — отвечает невозмутимый кужебарец…

Кстати, именно от Шарбыля когда-то услышал я местное словцо «тям», означающее ум, толк, сообразительность, и потом поделился им со Чмыхало во время одной из общих поездок по нашему району. Анатолий Иванович нашёл его весьма выразительным. А мою попытку скаламбурить: «Тема есть, да тяма нет», — тут же (не зря литературный путь начинал со стихов) помог «оформить» в забавное четверостишие, которое и поныне можно услышать как «народное» в наших краях:

Мы спросили у поэта,
Что он делал в это лето,
И ответил нам поэт:
«Тема есть, но тяма нет…»

А о той мимолётной встрече возле Казачки у меня сохранилось документальное свидетельство. Когда наши лодки поравнялись, я попросил приятеля сфотографировать на память двух столь колоритных Анатолиев, двух мастеровых русского слова. И с тех пор храню в своём архиве этот дорогой для меня снимок. А однажды даже напечатал его в краевой газете с небольшими комментариями, часть которых повторена в этих заметках.

Марина Яблонская

«Мы ответственны за то, что прожили…»

Для меня и других журналистов «Городских новостей» Анатолий Иванович Чмыхало был не только классиком сибирской литературы, но и коллегой, старшим товарищем, который был готов в любой момент прийти на помощь, дать дельный совет. Очень горько осознавать, что больше нельзя позвонить ему, забежать на минутку и задержаться на пару-тройку часов, потому что разговаривать с ним был бесконечно интересно…

Про войну

Он сам назначил дату своего рождения. Как и подобает настоящему мужчине, прибавил себе возраст. Причём «состарил» себя не для пущей солидности и не для того, чтобы завоевать сердце девушки, а чтобы попасть на войну, получить право вместе с товарищами бить ненавистных фашистов.

«Война застала меня в Алма-Ате,—рассказывал Анатолий Чмыхало.—Наш выпускной состоялся в канун войны—отмечать мы пошли в горы. Когда стали спускаться в город, узнали, что началась война. Почти все мои друзья-одноклассники ушли сразу на фронт, а меня никак не хотели брать. Мне хотелось попасть на фронт вместе со своими ребятами-одноклассниками, чтобы мы были в одной части. Но я был на три-четыре года моложе многих своих друзей по школе. Дело в том, что раньше за партами сидело много переростков: парням было по двадцать—двадцать три года, а они учились только в седьмом классе; в деревнях не было десятилетки, ребята приезжали доучиваться в город. Я попытался устроиться на работу—жили очень трудно, надо было помогать семье. Поступил в типографию—смазывал клейстером корешки книг. Причём два раза проходил кистью по бумаге, а один—обсасывал, такой голодный был. Но в это время в Алма-Ате появилось много эвакуированных из Москвы, среди которых было много хороших специалистов с опытом работы—не чета нам, мальчишкам. И я остался без места. В Ачинске жила моя сестра, работала врачом. И я поехал к ней, думая хоть там подыскать работу. Но каждую неделю я исправно ходил в военкомат, надеясь, что меня всё-таки призовут. (Мне тогда не было ещё даже семнадцати, поэтому сказал, что метрики потерял, и прибавил себе полгода. На самом деле я тысяча девятьсот двадцать пятого года рождения, летний, а соврал, что с декабря тысяча девятьсот двадцать четвёртого. Так эта придуманная запись осталась у меня в паспорте. Так и праздную свой день рождения в декабре до сих пор.)

Однажды я пришёл в военкомат, а меня спросили: «Какое у вас образование?»—«Десять классов,—отвечаю.—И учусь заочно на юридическом в институте». А они как раз набирали в артиллерийское военное училище людей со средним и высшим образованием, а в Ачинске таких не хватало. Таким образом я оказался в армии—попал в Киевское Краснознамённое артиллерийское училище имени Кирова, которое было эвакуировано в Красноярск во время войны. Так я стал красноярцем. Этот город стал для меня главным моим в жизни.

Одно из ярких впечатлений тех лет—встреча с архиепископом Лукой. Нас отправляли на фронт, и мы проходили медкомиссию. Уходящих на войну традиционно напутствовали: «Чтобы не посрамили Родину, до последней капли крови защищали свой народ, за Сталина…» А священник-доктор сказал нам: «Езжайте, да спасёт вас Господь. Мы вас ждать будем». Эти слова: «Мы вас ждать будем»,—запали в мою душу, я пронёс их через всю войну. Вопрос, куда возвращаться с фронта, для меня уже не стоял, я точно знал: если выживу—приеду обратно на Енисей, ведь там ждут».

Про журналистику

Будучи собственным корреспондентом газеты «Красноярский рабочий», Анатолий Иванович много лет колесил по краю, знакомился с интересными людьми, историей и современностью могучей Сибири. Из этих путешествий и родился писатель, без памяти влюблённый в могучий край и его людей.

«В журналистику я попал, можно сказать, случайно,—вспоминал Анатолий Иванович.—С фронта ехал в Красноярск. Добрался до Новосибирска, где пересел на поезд, из тех, что в те времена называли «Максимами Горькими». Он состоял из одних теплушек, куда набивалось огромное количество людей. В Ачинске закончился путь «Максима Горького». Я вышел и увидел маленький провинциальный городок—тихий, уютный… Подумал: Господи, наконец-то после

фронта попаду в обстановку тишины, в рай земной… И остался в Ачинске. Пошёл в горком комсомола, чтобы помогли с работой. Мне сказали: «Есть у нас одна должность в редакции газеты „Ленинский путь“… Но так вы ведь писать не умеете. Но сходите на всякий случай—может, примут». Газетой «Ленинский путь» руководил некий Полежаев Василий Фокич. Журналистский опыт у него был «большой». Он долгое время работал поваром в геологической партии на Севере и там выпускал стенгазету. Редактором стенгазеты был назначен потому, что к нему—повару—за довольствием сходились участники экспедиции, и он знал обо всех последних новостях. Но при этом горе-редактор, который прекрасно разбирался в супах, за всю жизнь не написал ни строчки. Зато он был коммунистом, и считалось, что знал, как руководить газетой. Например, объяснял мне, что давать объявления частного характера в газете не надо: «Что это за объявление такое: „Сочувствую, что помер кто-то“? Один помер—другой родится. Какая проблема? А партийные объявления нужно давать обязательно».

Когда стал собкором «Красноярского рабочего», я исколесил весь край, поэтому знаю каждый его уголок. Эти бескрайние просторы, неописуемая красота природы, горы, леса, поля, реки навсегда покорили моё сердце».

Про Сибирь

Больше всего меня поражало, какое неравнодушное и горячее сердце было у этого большого человека. Как он переживал за свою страну, за свою Сибирь, за свой Красноярск!..

«Красноярцы отличаются не только от россиян, но даже от сибиряков из других регионов,—уверял Анатолий Иванович.—Красноярск—вообще город особый, эту инакость обусловила его история. Например, Барнаул и Новосибирск—города, вышедшие из деревень, а наш город никогда не был деревней, он появился на свет как острог, как город-форпост. Его основали казаки, а казаки в те давние времена—это особая, привилегированная каста, белая кость. Они были вольными людьми; не желая быть в рабстве, бежали на Дон. Они же пришли в Сибирь—подальше от царей и власти. Это свободолюбие, размах в городе и крае ощущается до сих пор. Если бы не первые красноярские остроги, то не видать бы России Сибири. Местные племена не устояли бы перед воинствующими джунгарами и монголами, которые покушались на эту территорию. Наш край—это ключевая, стратегическая область, это сердце не только Сибири, но всей страны. Я уверен, что будущее наше будет коваться не в центре, а именно на местах. И в первую очередь здесь, в Красноярском крае. Самое большое богатство сибиряков—это духовность. Потому что Сибирь—территория исконно свободная, она взрастала на демократии. Здесь никогда не было крепостного права, не было драконовских законов, которые процветали в центре. В то же время в сибиряках нет равнодушия Запада, где люди живут для себя. Наш человек живёт для идеи. Раз мы согласились везти ношу сибиряка, делать нужно это хорошо, с пониманием. Мы все—строители неповторимой сибирской, красноярской жизни. Это нужно помнить».

Про совесть

«Для меня общественное признание намного ценнее и дороже, чем любая правительственная награда, которых у меня уже как у Брежнева,—говорил Анатолий Иванович.—Ведь я жил и писал для людей. Для молодого поколения я—как мамонт. С тысяча девятьсот сорок второго года живу в крае и всё это время нахожусь на острие жизни, знал обо всём, что происходило, был знаком с интересными людьми. К старости как будто поднимаешься на самую вершину и с неё видишь, что тебе скоро уходить, и хочется сказать: «Люди, не творите бесчестий, чтобы они не легли тяжёлым грузом на ваших детей и внуков». Ведь сколько можно наступать на одни и те же грабли? Революция, Гражданская война, та смута, которая прокатилась по нашей стране,—всё это не должно повториться. Мы все отвечаем за то, что произошло в стране. И только покаяние спасёт нас, вернёт к национальным, нравственным истокам. Некоторые до сих пор мечтают, чтобы вернулся Сталин. Они верят в то, что он сможет навести порядок, и не верят в те злодеяния, которые он творил. И в этом отчасти повинен и я. Хотя революций не совершал, но так или иначе поддерживал тот режим, который лежал тяжёлым гнётом на моём народе. В своей книге «Плач о России» призываю всех покаяться, каюсь в ней и я—перед людьми, перед своей многострадальной Родиной. Я не побоялся сделать этот шаг в жизни. Мы все ответственны за то, что прожили…»

Марина Наумова

Невыученный урок «Половодья»

Роман А. И. Чмыхало «Половодье» относится к тем произведениям искусства, смысловые уровни которых способны актуализироваться в определённые исторические моменты. Отталкиваясь от распространённого взгляда на «Половодье» как на повествование о становлении советской власти на территории Алтайского края, сознание современного читателя обнаруживает в подтексте романа глубоко скрытый смысловой порог, за которым отчётливо проступает философская, духовная тема.

Энергетические центры этой темы намечены автором в зачине IV части: «Война и мятежи раздирали тебя, Сибирь! Рядом с отвагой и щедростью жила хитрость людская, рядом с добротой и честностью жило вероломство. А о беспутстве и говорить нечего… Может, взмокнет от крови земля твоя в чёрную годину. Может, многие сложат головы. Да иначе нельзя, недаром же ты и суровая, и отчаянная, и ничего не прощающая, родина наша, сторона холодная, вьюжная».

Вечно бьются в мире Бог с Сатаной, и поле битвы — душа человеческая. Тем более — душа сибирского мужика, в которой столько всего перемешалось: отвага, доброта, щедрость — и хитрость, беспутство, вероломство, жестокость. И всё это не только в разных людях, если душу сибиряка понимать как некую соборность, но и просто в каждом человеке. Роковое, трагическое, обречённое слышится в горестном вздохе писателя: «Да иначе нельзя». И всё же точка в конце этой короткой фразы чревата огромным вопросительным знаком.

Это тот вопрос, что с первых же страниц романа автор задаёт самому себе, читателю, героям, Богу, миру.

Доброе, крепкое село Покровское. Милая родина Романа Завгороднего. О ней мечтал он в окопах германской войны, за неё, за желанное возвращение заплатил тяжким ранением и суровым солдатским опытом. Он приносит домой свои надежды на спокойное, уверенное, ясное бытьё. Земляки, ближние, несущие в себе, как и сам Роман, заряды любви и злобы, поворачиваются к молодому односельчанину всеми своими гранями, всей бездной противоречий. Он хочет жениться, прирастая семьёй к прочному родительскому стволу, — а едва не погибает из-за любимой девушки; жажда мести терзает теперь его сердце, затмевая порой все остальные мотивы поступков, зачастую необузданных и жестоких.

Трудно Роману обуздать себя. И в этом он похож на многих покровских мужиков, вспыхивающих и готовых карать по лукавому навету, но способных и на высочайшее самопожертвование, и на подлинное милосердие. Возникающие распри — из-за покосов, например, или из-за семейных неурядиц, — в конце концов, решаются большей частью полюбовно. Хотя силу применять в разрешении спорных вопросов не считается здесь зазорным, а отплатить злом за зло — скорее почётно, чем предосудительно. Неистовость характера, ярость, ослепляющая разум, заставляют Романа Завгороднего грубо оттолкнуть влюблённую Нюрку, алчно подкарауливать объездчиков, избивших его, раздражённо препираться с братом и даже броситься с топором на мать, обидевшую его молодую жену.

Природная эта неистовость, личные тяготения и отталкивания, а отнюдь не убеждения, приводят Романа к кустарям. Выбор становится осознанным только тогда, когда омские власти не оставляют крестьянам возможности выбирать — после по́рок, расстрелов, казней, пожаров. Выбор такого рода — выбор между жизнью и смертью, а вовсе не между разными политическими системами. По сути дела, выбора-то и нет! Крестьяне разламываются надвое — в сердцах, в семьях, просто потому, что, выбирая между плохим и худшим, каждый из них по-разному оценивает меру худшего: отдать ли сына под мобилизацию, проводимую правительством, или записаться вместе с ним в отряд самообороны, выступить против насильственной мобилизации с оружием в руках?! И тут, и там — смерть. Некуда мужику податься.

Чёрная страшная туча сгущается над покровскими жителями. Неоткуда ждать защиты. Бог православной церкви, которую в Покровском представляет пьянчуга и добряк отец Василий, для мужиков — нечто совершенно абстрактное: он не обижается, когда им помыкают, и никого не карает — хоть на лошади в церковь въезжай. Поэтому и отвернуться от него не так уж страшно.

Но сказать, что мужики живут без Бога, было бы наветом и напраслиной. Есть у них Бог — Бог,

объединяющий и кулака Захара Федосеича, и Пантелея Михеева, и братьев Завгородних, и Петруху Горбаня, и деда Гузыря. Этот Бог вершит свою незаметную волю в душах людей и забирает их целиком. Но этой воле крестьяне отдаются страстно, со всем напряжением сил, одержимо, любовно. Этот Бог олицетворён в образе земли-матушки, вечного необоримого природного круговорота. В Нём — жизнь, понятное, главное, необходимое.

Как близки мысли и чувства заклятых врагов, мельника Захара и Петра Горбаня, когда они думают о крестьянской страде! Командир партизанского отряда Мефодьев на полевые работы отпускает бойцов по домам. Нет ничего превыше хлеба! Это — самое святое! Потому и страдает невинный Жюнуска, что слишком скор на расправу крестьянин, потерявший в разбойном огне сено, второй хлеб крестьянский.

Духовно-органическое начало, сливающее всех крестьян в неделимое целое, сообщает страницам «Половодья» своеобразный пантеизм. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух представляются здесь в разных воплощениях изначальной троичности: то в женственном облике звенящих сосен Касмалинского бора, то в будничном, близком, домашнем — в ржании коней, блеянье, мычанье, пении пастушеской дудки, то в отроческой зелени весенней степи, то в грозных разливах половодья, то в карающих ударах метелей и морозов. Этот Бог всегда со своим народом, который в Нём живёт и который жив до тех пор, пока не порвалась их глубокая кровная связь.

Размышляя об этом, начинаешь понимать, что линия раскола проходит в «Половодье» не между Петром Горбанем и Захаром Бобровым, не между Пантелеем Михеевым и Свиридом Солодовым. Вся необъятная природная земляная Россия противопоставлена некой страшной силе, тёмной, недифференцированной, взрастающей на взаимно проливаемой крови, как опара на дрожжах, множащей злобу и ненависть и питающейся этой злобой.

Сила эта тем ужаснее, чем непобедимее. В её тёмных пределах мерещатся полумифические фигуры Ленина и «царя Николашки». Она порождает из себя монстров типа Лентовского и дух алчного беззакония, толкающий на жестокие безнравственные деяния партизан из отряда Мефодьева. Эта сила отрывает людей от земли, от дома, от всего природного, домашнего, живого — и бросает в нечеловеческую круговерть.

В этом вихре, как беспомощные мотыльки, бьются и гибнут лишившиеся корней интеллигенты, гибнут, превращаясь зачастую в источник страданий и гибели, подобно птицам княгини Ольги, спалившим родной Искоростень, — такие прекраснодушные и так легко поддающиеся захлестнувшему страну безумию.

Половодье, хлынувшее через край страстей отягощённого злом мира, смущает, терзает и уносит трагические тени адмирала Колчака и его подруги А. В. Тимирёвой, разбивает в щепки утлое идейное судёнышко эсера Рязанова, опаляет сердце мужественного, по-христиански милосердного фельдшера Семёна Кузьмича Мясоедова, спасавшего и красных, и белых…

Чудовищная сила: от неё не скроешься, как не скроется человек от самого себя. Потому-то не ощущается точка в финале повествования: чаша скорбей никогда не будет выпита до дна. Касмалинский бор таит в себе грозы и грозы. Не зря тревожно бьётся сердце Романа Завгороднего. Его ещё не раз призовут к ответу: Адам, где ты? И ещё раз надо будет выбирать там, где выбор невозможен.

Любопытно, что вне этого выбора остаются героини «Половодья»: может быть, в их упорном нежелании играть по правилам вселенской злобы кроется надежда Анатолия Чмыхало на спасительность женственного начала в мире. Женщины «Половодья» живут любовью — не той, эгоистической, которая заставляет Романа возненавидеть заподозренную в измене Нюрку, а любовью поистине щедрой, всепрощающей и милосердной. Кроткая красавица Любка прощает Нюрке и Роману их возобновившуюся связь, да и Нюрка не питает к сопернице вражды: обе способны понять друг друга; суровая Домна, пережив момент неприязни к невестке, встаёт перед ней на колени, умоляя о прощении, — и две женщины, молодая и пожилая, обретают единство в любви, доверии, нежной дружбе; беспутная Морька Гордеева — и та, забывая обиды, платит односельчанам добром.

Любовь и сострадание приводят Нюрку в партизанский лазарет, любовь заставляет с му́кою вырвать из пересохшего горла имя Максима Сороки, на верную смерть ему, — единственный грех, который она взяла на себя и за который страшно поплатилась. Величием женской жертвенности окружена и А. В. Тимирёва. Её любовь также чужда злобной силе, разрывающей Россию на части, Она любит не адмирала, не верховного правителя, а единственного в мире человека, достойного её женской любви. В этом она близка своей тёзке — крестьянке Нюрке Михеевой, готовой отдать за любимого судьбу и жизнь.

Божеское оказывается единственно человеческим в заблудших обеспамятевших существах — вроде Пантелея Михеева, очнувшегося от кровавого сна после мученической гибели дочери, или поручика Мансурова, который в своём последнем монологе обнаруживает недоумение прозревшего слепца:

«Когда я бродил со своим отрядом по немецким тылам, я понимал, что у меня есть Родина, что я русский. Теперь всё это миф, призрак. У меня нет ни настоящего, ни будущего. Я убиваю, потому что нужно убивать, жгу, потому что нужно жечь.

А кому нужно — не знаю. Да и не всё ли равно — кому? И кручусь, кручусь, как щепка в мутном потоке. И куда вынесет меня поток, неизвестно. Скорее всего, в небытие. Это — библейский конец мира».

Половодье — символ карающей десницы Божьей, сила грозная и благодетельная. И не один поручик Мансуров увлекаем ею в небытие…

Экзистенциальная проблема, придавившая своей тяжестью Романа Завгороднего, всё время встаёт перед каждым человеком на переломе исторических судеб. Что есть справедливость? Борьба всех со всеми! Иначе нельзя.

Иначе нельзя?

Невольно напрашивается гоголевский вскрик: ответь же, Русь! Не даёт ответа… До сих пор не даёт.

Так, в художественной правде, воплотившейся в живых человеческих судьбах, открывается Истина; не тускнеющая от времени, а обретающая всё бóльшую отчётливость. В меняющемся и кратком — неизменное и вечное. Истина эта, прочувствованная писателем и вошедшая в плоть и кровь художественного текста, делает сегодня роман «Половодье» близким и необходимым современному читателю.

Литературное Красноярье ∴ ДиН галерея

Марина Саввиных

Румяне Внуковой

1.

Фиалки пахнут, как лампады,
Мерцает синева.
Над беспокойством автострады
Растёт трава…
Дугой связуемые звенья
Лиловых облаков —
Души к душе прикосновенье…
Окно. Альков.
Здесь вход под гулкие громады,
Где горний свет,
Мерцают тёплые лампады —
И смерти нет…

2.

Так Боженька в твои печали просится —
Не отводи глаза…
Текут ко Гробу жёны-мироносицы.
Грядёт гроза.
Колонны, балюстрады, башни, лестницы.
Сад — или храм?
Живому миру вечные ровесницы —
Морям, горам,
Цветам и горьким ягодам, и надо нам
Лишь грезить в такт,
Чтобы от сердца отступилась пагуба —
Да будет так!

3.

И шествуют важно — созвучные с тенью…
Платки и плащи… Величавая поступь…
Сусальное золото сыплют растенья
На скатерти свадеб, на плиты погостов…
Есть свечи воды. Есть лазурное пламя.
Есть ветки с плодами как тёмные очи.
И улицы с жёлтыми колоколами,
И сумрачный полдень, и белые ночи…
И девушки, словно пурпурные птицы,
Взлетают с податливых жгучих ступеней,
Текущих, как воск, с раскалённой страницы
Псалтыри, развёрнутой для песнопений…

4.

Претворила дождь в вино благоуханное —
Притворился ворон старцем просветлённым.
Всколыхнулся город льдами и барханами.
Потекли мосты пунцовым да зелёным.

И тогда на дерево, на большое дерево
Посадила стаю птиц с огневыми взорами —
Сторожить летучее, человечье, зверево,
Душу живу всякую над бедами скорыми…

Льётся по небу, звеня, облако скрипичное,
Каплет олово в песок у корней распятых.
Пусть сквозь мёртвых прорастёт зёрнышко горчичное
И не будет на земле больше виноватых!

Картины Румяны Внуковой представлены на обложке этого номера.

Елена Рожкова
«Я вернусь к тебе, тихий и чудный мой Ачинск…»

«*…Я ходил по узеньким улочкам маленького городка и старался запомнить здесь каждую мелочь. Надо знать цену тому, что ты оставляешь, может быть, навсегда. Нет, зачем навсегда? Я вернусь к тебе, тихий и чудный мой Ачинск*»,—А. И. Чмыхало. Этими трогательными словами начинается фильм (к рождению которого я тоже немного причастна) о давней дружбе писателя с Ачинском. Маленький город в Красноярском крае стал родным и близким известному писателю России. В истории и творческой биографии Ачинска Анатолий Иванович навсегда оставил свой след.

Что же связывает писателя с Ачинском? Как минимум—это Ачинский драматический театр, газета «Ленинский путь» и Ачинский педагогический колледж, а как максимум—это горожане: близкие, друзья, учащаяся молодёжь, коллеги, с которыми он работал и к которым не единожды приезжал на творческие встречи, научные конференции.

Ачинцы знают и любят Анатолия Ивановича как актёра городского драматического театра, куда в 1944 году после ранения пришёл служить старший лейтенант А. Чмыхало. Его незабываемые роли под звучным псевдонимом Брасс: *капитан Скворцов в спектакле «Шельменко-денщик» (1945), Клод Руже в спектакле «Тропа шпиона» (1945)*.

Знают его и как корреспондента, ответственного секретаря местной газеты «Ленинский путь», где печатались его статьи, в которых уже тогда просматривались основные темы—люди, их судьбы, любовь и борьба. Это уже потом вышли в свет «Половодье», «Дикая кровь», «Три весны», а также приключенческий роман «Отложенный выстрел», в котором действия разворачиваются в нашем городе; он начинается волнующими строками: «*Паровоз гукнул на всю тысячевёрстную тайгу, и вслед за гудком, как бы догоняя его, залязгали буфера. Пассажирский состав на Ачинск был недалеко, сразу же за поворотом, где на широкой мари затаилась небольшая железнодорожная станция*».

Уже стала историей встреча писателя с Ачинским педагогическим колледжем, где каждый для себя открыл «своего» Анатолия Чмыхало. Здесь произошла и моя первая встреча с писателем. Точнее, она случилась чуть раньше. Мне, тогда ещё молодому педагогу, поручили провести юбилейный вечер писателя в драматическом театре. Сейчас, наверное, заволновалась бы… а тогда спокойно согласилась. Для проведения мероприятия необходимо было встретиться и обсудить содержание и сценарий. К слову сказать, на тот момент я не так много знала о писателе и его творчестве—отсюда, видимо, и смелость, с которой я переступила порог его дома, вошла и сразу почувствовала себя легко, свободно и уютно, как дома; а далее был долгий разговор с писателем. Анатолий Иванович рассказывал, а я слушала о его встречах с сыном известного автора «Тимура и его команды», о его дружбе с будущим президентом Чехословакии, о его друзьях и товарищах—известных писателях и поэтах тогда ещё великого Советского Союза—и всё больше и больше понимала, что передо мной *личность*, человек, с которым просто постоять рядом—уже большое счастье, как точно подметил белорусский поэт Рыгор Иванович Бородулин:

Красный яр и ярость краснотала—
Было всё, но славен город тем,
Что монументальнейший Чмыхало
В нём живет незыблемостью тем.

А потом был юбилейный вечер. Два часа на сцене с писателем—и долгие тёплые отношения длиною в двадцать лет. Я трепетно храню подаренные автором книги и его юбилейный буклет с надписью «Леночке, на счастье!» и, конечно, помню все незабываемые встречи с писателем. Меня очень радует, что моё восхищение и искреннюю любовь к писателю и человеку Анатолию Ивановичу Чмыхало разделяют мои коллеги и студенты колледжа.

Его произведения всегда были в центре внимания студентов, учащихся, творческой интеллигенции нашего города. Возрастающий интерес к региональным аспектам истории, введение в школьные учебные планы дисциплин, связанных с литературой Красноярского края, вдохновили педагогическую общественность нашего города заниматься укреплением традиций краеведения и формированием регионального самосознания. Проведённая в педагогическом колледже научно-практическая конференция «Историческая проза и историко-литературная концепция современности в романах А. И. Чмыхало» привлекла серьёзных учёных края, свой вклад в разработку

темы внесли краеведческий музей и центральная библиотека города. Сборники материалов конференции сегодня находятся во всех библиотеках города и в Краевой научной библиотеке. Студенты и учащиеся используют эти материалы на учебных занятиях и во внеурочной деятельности.

На этой же конференции был задуман «Словарь исторической прозы А. И. Чмыхало», над которым на протяжении ряда лет работали педагоги и студенты колледжа. В словаре даны выборки из дилогии «Дикая кровь» и «Опальная земля», частично представлена лексика романа «Половодье». Словарь издан в Красноярске в 1999 году.

Всю свою писательскую жизнь Анатолий Иванович боролся с фальшью, лицемерием. Близко к сердцу принимал невзгоды и испытания, которым подвергались страна, народ. Любовью к России, Сибири наполнены все его произведения, по которым можно изучать историю страны.

В музее колледжа бережно хранятся произведения Анатолия Ивановича с его дарственными надписями, фотографии, видеофильмы. Традиционно для первокурсников проводятся уроки-экскурсии о жизни и творчестве этого удивительного человека. Действует музейная экспозиция «Наш знаменитый земляк», где можно увидеть ручку писателя и его напутствие молодым людям, написанное этой ручкой: «*Мои дорогие друзья! Я счастлив общением с вами везде и всегда. Будьте здоровы, делайте как можно больше на благо нашего народа. Пусть каждый Новый год несёт вам одни радости и окрыляет вас. А. Чмыхало. 26.12.2010*».

И сегодня Анатолий Иванович с нами. В честь его 90-летия и 80-летия Красноярского края для горожан открыта и действует выставка, посвящённая его жизни и творчеству. В декабре, в преддверии дня рождения писателя, пройдёт ежегодный фестиваль русской словесности, который мы также посвятили творчеству нашего великого земляка. Студенты педагогических колледжей края — будущие учителя, учащиеся школ уже сегодня готовятся к этому мероприятию, перечитывают произведения писателя, заучивают его «стихотворные самородки», а студенческая театральная студия Ачинского педагогического колледжа работает над постановкой «Непрошеного гостя». Всё это мы увидим и услышим на фестивале. Результатом же двух дней фестиваля станет видео-классный час о жизни и творчестве писателя, разработанный силами его участников. В день рождения писателя классный час пройдёт на территориях края: в Ачинске, Красноярске, Канске, Минусинске, Енисейске, Норильске, — и, возможно, кто-то ещё «откроет» для себя своего писателя.

Сегодня по результатам проведённого референдума в колледже единогласно принято решение: присвоить народному музею лингвистического и историко-литературного краеведения Ачинского педагогического колледжа имя Анатолия Ивановича Чмыхало.

Чтобы помнили!..

Д*и*Н пародия

Евгений Минин

Проблемная поэзия

Вечные проблемы

Бабы страшны, мужики иль грубы
иль романтично пьяны.
Ольга Ермолаева

Есть две проблемы у нашей страны.
Ты уж, страна, извини.
Первая — бабы повсюду страшны,
коль не блондинки они.
Вот почему напивается в дым
наша мужицкая рать:
как же на трезвую голову им
страшную бабу обнять?

Калашное

я не владею ни виллой, ни «калашом»...
Ольга Ермолаева

Я над чужими стихами сижу, не жалея сил,
днями читаю-читаю, надеясь найти сюрприз,
и не заработала ни «мерседеса», ни вилл,
а хочешь утешить меня — скажи «барбарис».
Вот и живу я в пространстве своём небольшом,
всем скажу по секрету, кто бочку катил на меня:
пусть проблема моя — не умею владеть «калашом»,
но уже изучаю системы залпового огня.

Юрий Беликов, Константин Душенов

Ущемлённые телеса и спасённые души

Люди набились в небольшой, на сто человек, зал пермского Дома писателей так плотно, солидарно и единоверно, что казалось: вот она, одна из сотен Минина и Пожарского, которая скоро составит новое народное ополчение. Стояли, сидели на подоконниках, на сцене. А до того людей по злому наущению фактически изгнали из трёх возможных мест проведения лекции московского гостя Константина Душенова. Заметьте: не варяжского, а московского. В одной аудитории начался экстренный ремонт, в другой спешно потекла канализация, в третьей просто закрыли «избушку на клюшку».

Да, от человеческого скопления в Доме писателей было душновато. Как на подлодке, когда, получившая пробоину, она залегает на дно. Впрочем, бывшему офицеру-подводнику Душенову, внуку первого командующего Северным флотом, не привыкать. Первым делом известный публицист и общественный деятель, в прошлом пресс-секретарь митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва) и нынешний директор агентства «Русь православная», выразил своим смехотворным запретителям благодарность, потому что издревле на Руси всё запрещённое притягивает.

Входящие в Дом писателей едва ли не заговорщически подмигивали: «Пароль оглашать?» И шли, шли и шли… А паролем могли служить названия книг Душенова: «Молчанием предаётся Бог», «Раны русского сердца», «Не мир, но меч». А ещё он создал видеостудию «Поле Куликово» и запустил серию фильмов «Россия с ножом в спине».

— Константин Юрьевич, вот вы обмолвились: «Телега истории всегда смазана кровью. Другой смазки история не знает». Увы, эти слова трагически материализуются применительно к событиям на юго-востоке Украины. Не считаете ли вы, что эта телега уже набрала такую скорость, что за ней не успевают ни стратеги, ни политологи?

— Когда за пятьсот лет до Рождества Христова формировалась персидская империя, успевали её цари за телегой истории или нет? Это всё теория. Я хочу сказать о другом: в чём, на мой взгляд, состоят наши надежды? В том, что кончилась теория и началась практика. На постсоветском пространстве начинает дышать Империя. На юго-востоке Украины сейчас реально стреляют и умирают люди. Там творится история. А история, когда она творится не в интригах политиканов, а на поле боя, живёт по своим законам. За последние двадцать лет нас приучили, что якобы всевозможные политтехнологии имеют значение. Да плюнуть на них и растереть! Там, где начинает дышать жизнь — со всеми сложностями, рисками и жестокостями, все доморощенные гельманы разбегаются. Причём начинает дышать не потому, что мы ей сделали искусственное дыхание, пытаясь реанимировать. Есть некая таинственная, высокая, божественная сила, которая управляет нами и событиями. Она молчала долгое время, очевидно, давая возможность высказаться русским самим.

— Вы утверждаете, что сегодня президент России Владимир Путин стоит перед необходимостью русской революции. Но революции не снизу, а сверху. Иными словами, это революция управляемая. Каковы, на ваш взгляд, её предпосылки и признаки?

— Те же самые, которые были у Сталина в тридцатые годы. Будучи человеком, владеющим информацией о том, что происходит вокруг, Путин и люди, которые этой информацией его снабжают, не могут не понимать, что мы все (не только русские и не только Россия — в целом мир) стоим накануне по-настоящему глобального кризиса. И, скорее всего, даже большой войны. Между прочим, Путин об этом говорил. Правда, не употребляя слово «война». Это прозвучало в его обращении к Федеральному Собранию. Как политик и президент большой державы, он высказался весьма дипломатично, но совершенно недвусмысленно. Он сказал о преддверии перемен и, может быть, потрясений. И, поскольку мы видим, как грозовая туча назревает на наших глазах, возникает вопрос: «А как подготовить к этому людей и страну?»

Россия не единожды вступала в такого рода грозовые эпохи, и её история выработала необходимые защитные и мобилизационные механизмы. Когда всё хорошо и спокойно, можно «пилить» бюджет и не обращать особого внимания на мелких людишек, которые тут бродят. Но когда война дышит в лицо, сразу оказывается, что без этих самых людишек-то ну просто никак. И, стало быть, нужно обращаться к их исконным

чаяниям, святыням и традиционным ценностям. Мол, люди добрые, мы, конечно, осознаём, что мы здесь многое украли и, в общем-целом, вы нас не очень любите, но страна-то у нас одна. И поэтому мы вас просим. Это то, о чём в своё время сказал Сталин: «Братья и сёстры!»

— Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков как-то заметил, что президент России в своих последних обращениях апеллирует даже не к главам государств, а к народам. Показательная смена адресатов!

— Мне думается, что Владимир Владимирович, выросший в системе Комитета государственной безопасности, достаточно хорошо понимает, с одной стороны, геополитику. А с другой — необходимость быть адекватным эпохальным вызовам. Это возможно только в одном случае: если ты обращаешься к народу и народ тебя слушает. Вот почему Путин пытается этот канал общения проточить. Настоящего общения. Не с лидерами, не с политологами, а с людьми. Он стремится всю эту хевру нагнуть и через её драконьи головы сказать. Мы понимаем, что в данной ситуации от обращения ко всякого рода европейцам большого толку нет, но это элемент новой политики. Не политики манипуляций, а политики осознания новой реальности.

Ещё десять лет назад люди как таковые вообще не имели значения, и можно было договориться с лидерами. Но сейчас уже наступает время, когда «паханы» между собой договариваться не могут. Нужно обращаться непосредственно к людям.

— По вашей классификации, в истории России было три русских революции. Первая — при Иване Грозном, вторая — при Петре Первом и третья — при Иосифе Сталине. И вы замечаете, что нынешний период напоминает тридцатые годы двадцатого века. В чём, на ваш взгляд, сходство четвёртой русской революции с тридцатыми годами?

— Сходство — в общей ситуации. В том, что, как мне представляется, Сталин начал третью русскую революцию тогда, когда понял: будет большая война. Если Советский Союз хочет в этой войне выжить, он должен к ней подготовиться: мобилизовать общество, создать необходимую экономику и так далее. И Сталин, в соответствии с правилами той жестокой эпохи, начал общество к этому готовить. Но оказалось, что правящая элита категорически к этим переменам неспособна. Потому что она пришла к власти на гребне революции, а революция была антирусской, и представители этой элиты были готовы делать всё, что угодно, — душить попов, резать казаков, морить голодом крестьян, но они не были готовы к единственному — к созидательной деятельности.

— То есть это была та самая «пятая колонна»?

— Да! Хотя это выражение франкистов. Но прижилось и в России. А перекочевало к нам в конце тридцатых, когда в Испании укреплялся режим Франко. Во время начавшихся боевых действий он сказал, что четырьмя колоннами мы будем наступать на Мадрид, а пятая колонна внутри Мадрида у нас уже есть. Однако вернёмся к сходству двух эпох: оно связано с ожиданием больших и грозных перемен. Но где инструмент, с помощью которого мы будем к ним готовиться?

Этим инструментом от века было русское государство. Когда приезжаешь в регионы, или, как раньше говорили, в провинцию в хорошем смысле этого слова, видно, что за двадцать лет (в Москве ещё можно быстренько чиновников поменять) здесь сформировалась такая… как бы это цензурно-то выразиться?..

— Кодла?..

— Она самая! И входящие в неё готовы быть коммунистами, националистами, фашистами — кем угодно. Губернатор, если ему прикажут, завтра вообще может надеть на рукав повязку с эмблемой Русского национального единства, будет ходить и кричать: «Слава России!» Но это максимум, что региональные ставленники могут. При этом они неспособны ни к какой творческой деятельности, организации и тем более мобилизации.

Такова аналогия со сталинским временем. Сталин решил этот вопрос в духе эпохи — жестоко и радикально, когда произошла великая чистка тридцать седьмого года.

— В этом месте нашего разговора возникает призрак. Поэтому не могу не спросить: ведь и ваш знаменитый дед, один из первых советских флотоводцев Константин Душенов, чьи имя и фамилию вы носите, тоже был репрессирован и расстрелян?

— Сеющий ветер пожнёт бурю. Мой дед, вологодский крестьянин, был же вначале писарем на крейсере «Аврора». Там до сих пор висит его портрет. Более того, когда взяли Зимний, первые несколько часов он являлся его комендантом, до того как им стал Антонов-Овсеенко.

— И при этом вы приветствуете сталинскую революцию, несмотря на то, что она уничтожила вашего деда?

— Она уничтожила не только моего деда, но и всех разбудивших эту стихию. Чего же сетовать, что они попали потом под революционный каток? Если говорить с точки зрения светской, не вдаваясь в мистические и религиозные основы этого процесса, эти люди осознанно или неосознанно запустили механизм, который их же самих в конечном итоге и притянул под нож. Любая революция пожирает своих детей. Это классика.

— Вы не просто сочувственно оцениваете опричнину при Иване Грозном и деятельность чёрной сотни — то, что многими историками определяется со знаком минус. Напротив, вы воспринимаете эти явления со знаком плюс. На чём основывается ваша убеждённость?

— На реальной истории. Потому что те историки, о которых вы говорите, — они, по большому счёту, идеологи и пропагандисты. Их не интересует то, что было на самом деле. Им нужно создать прицельно направленный миф. В чём смысл антирусской «исторической науки»? Она, проходя по русской истории, в каждой её эпохе выискивает некие символы русской дикости и жестокости. Она «минирует» отечественную историю. И когда обычный человек, у которого нет времени глубоко вникать в суть далёкого прошлого, рассчитывая на добросовестность историков, ступает на историческую почву, он неотвратимо попадает на это «минное поле».

Но если рассматривать отечественную историю в реальном зеркале, мы должны обратиться к документам эпохи. О чём они свидетельствуют? О том, что все сказки о страшной жестокости Грозного — выдумки чужеземцев. Оставивший «Исторические сочинения о России» Антоний Поссевин, посол Папы Римского, прибывший из Ватикана обращать в католичество «диких московитов», вдруг выяснил, что царь этих «диких московитов» Иван Грозный более компетентен в богословских спорах, нежели сам Поссевин. Он был просто посрамлён и в итоге изгнан из Москвы. Вот существует байка об убийстве Грозным своего сына. Это стопроцентная выдумка того же Поссевина. Откуда они, этим байки? Пожалуйста, смотрите: всё сплошь иностранцы. А если мы обратимся к отечественным источникам — летописям, например?

Есть, что называется, совершенно не убиваемый аргумент: государь Иоанн Грозный, будучи человеком глубоко религиозным, велел всех, кто был по его приказу, говоря современным языком, репрессирован, записывать в синодики и поминать за счёт государственной казны. Да, государь телеса их, быть может, и ущемил, но для того, чтобы души людские спаслись. И эти синодики сохранились. Там четыре тысячи имён. За тридцать лет! А не тридцать тысяч за один мах, как это было в Париже в печально знаменитую Варфоломеевскую ночь. Россия Ивана Грозного по сравнению с Европой была просто фантастическим правовым и демократическим государством. А Европа — совершенно дикой и абсолютно кровавой.

— Это — что касается опричнины…

— Теперь о чёрной сотне. Откуда возникло это название? Сотни и концы — административные деления новгородцев. Это примерно то же, что у нас районы. И вот чёрная сотня была административной организацией тяглых людей. Ремесленников, крестьян ли. Тех, кто создаёт материальные ценности. Низовая административная единица. И действительно, чёрные сотни первыми откликнулись на зов Минина и Пожарского. Земское ополчение — ополчение именно черносотенное. Почему, кстати, в начале двадцатого века и монархисты, и русские православные националисты это название взяли на вооружение? Потому что исторически русский народ организовывался в чёрные сотни в те моменты нашей истории, которые требовали вмешательства непосредственно народных масс, когда происходило посягательство элит на русское единодержавие и государственность, начиналось разрушение сформировавшейся административной структуры.

Тогда чёрные сотни выходили на площадь и заявляли: «Не-не-не, бояре! По-вашему не получится! Мы хотим, чтобы был царь, были русское государство и наша православная церковь. Кто готов — милости просим. Кто нет — извините: либо — на кол, либо — за рубеж!»

— Вы считаетесь активным сторонником канонизации Ивана Грозного…

В этом — некоторая иллюзия. «Ну-ка немедленно подайте сюда канонизацию Грозного!» Дескать, люди, подобные мне, они от кого-то чего-то требуют. Не надо его канонизировать — он уже канонизирован. Любой человек, мало-мальски непредвзято изучавший русскую церковную историю, знает, что в святцах Коряжемского мужского монастыря уже в семнадцатом веке присутствовал великомученик царь Иван. Он уже прославленный святой. У нас вообще есть такое заблуждение, внедряемое церковной бюрократией: мол, дабы кого-то прославить, нужен доку́мент. А кто прославил Николая-угодника? Нет никаких бюрократических свидетельств прославления. Но вся православная церковь его чтит. Значит, никакая церковная бюрократия никогда не сможет монополизировать это право. Потому что это жизнь народа. Вот если он кому-то молится — стало быть, это святой.

— Значит, Григорий Распутин, чей путь вы изучали, тоже канонизации не требует? Обладал ли он даром предвидения, и можно ли его назвать фигурой в русской истории, убирая которую, история могла набрать и набирала прямо противоположный ход?

— Антираспутинская кампания — один из первых и наиболее эффективных примеров отработки информационной войны. Ещё тогда, сто лет назад, когда вокруг старца раскручивалось это антигосударственное и антирусское колесо, люди поняли: не имеет значения, что происходит

в действительности, имеет значение только то, как ты об этом расскажешь. Распутин — это обычный русский мужик. Но моя личная точка зрения состоит в том, что, безусловно, он обладал особыми свойствами. В том числе — даром предвидения.

Есть известное его пророчество, которое произнесено им за несколько лет до гибели. Оно зафиксировано тогда же — это не выдумка позднейших времён. Он сказал примерно следующее: «Меня убьют. Если в моей смерти не будут повинны представители высших классов — аристократии и дворянства, то Россия и род Романовых переживут ту катастрофу, которая на нас надвигается. Но если в моём убийстве будет участвовать кто-либо из высших слоёв общества, царствующий род пресечётся…»

А поскольку в убийстве Распутина участвовал Юсупов, который пусть достаточно отдалённо, но приходился родственником августейшей семье, в результате всё, что произошло, то и произошло. Все Романовы, которых большевики сумели найти на доступной им территории, были убиты. И первым — великий князь Михаил Александрович, сосланный в Пермь и живший здесь частной жизнью, катавшийся на лодочке по Каме, посещавший театр, а до того отдавший добровольно власть Учредительному собранию, а по сути — тем же большевикам. Тем не менее, они его уничтожили. Так сбылось пророчество старца. Но…

Православный молитвенник — это же не баба Нюра, которая пишет в Сети: «Снимаю сглаз и венец безбрачия». Распутин всю Россию пешком исходил! И царю-то на глаза попался совершенно случайно. А государь ценил в нём одну простую вещь — народное мнение. С конца восемнадцатого — начала девятнадцатого веков перед русскими самодержцами замаячила большая проблема: между государем и народом скапливалась бюрократическая прослойка, которая блокировала их возможность обращаться к людям напрямую. До восстания декабристов это не было уж так очевидно. Но что оно показало престолу?

Что те люди, которым, казалось бы, надлежит быть его главной опорой, они-то и предали. Николай Первый отказался от опоры на дворянство и попытался создать опору на бюрократию. Но бюрократия имеет свойство подворовывать. Мы сейчас хорошо это видим. Тогда Александр Второй попытался провести либеральные реформы. Оказалось, они привели к убийству государя. Руками тех самых рабов, которых он освободил.

После этого император Александр Третий сказал устами Победоносцева: «Россию надо подморозить!» Для того, чтобы она не сгнила. Подморозили. Потом пришли всякие-разные бундовцы, социал-демократы и, в конце концов, Россию взорвали. То есть вот это общение помазанника Божия с народом, причём в значительной мере не административное, а мистическое, персонифицировалось для Николая Второго в лице Григория Распутина. Это были личные, совершенно неформальные отношения, по-человечески чрезвычайно ценные для государя. В неграмотном крестьянине, но человеке высокой духовной жизни, молитвеннике, он видел тот народ, ради которого он живёт.

— Вот вы произнесли «помазанник Божий». Но за долгие годы атеистического прессинга, а затем — применения западных, либеральных форм управления из сознания русского человека такое понятие напрочь вытравлено. В чём, на ваш взгляд, принципиальное отличие помазанничества?

— На протяжении долгого времени Россия управлялась людьми, которые не являлись никакими народными избранниками. Вот есть миф о народовластии. И мы, к сожалению, ведёмся на этот манок. Нам говорят: «Народ — власть». Да чушь собачья! У вас есть власть? Покажите мне её. Как можно делегировать губернатору, мэру, президенту то, чего у вас нет и никогда не было? Какая власть есть у простого человека, который на заводе или в поле трудится? Власть есть у Господа Бога, сотворившего «небо и землю и вся, яже в них». И Бог даёт её тому, кого сочтёт в данный момент достойным.

Есть власть Божия, которая даётся по попущению — Ленины, Сталины, Горбачёвы, Ельцины… А есть дающаяся от Бога законно. И она даётся помазанникам. И видимым символом этого является помазание на царство. Русский царь был помазанником Божиим. И это была та точка, которая соединяет Небо и Землю.

— Есть ли у России пусть дальняя, но всё же перспектива вернуться к помазанничеству?

— Не просто есть, а нет никакого другого выхода. Россия может существовать без страшных кровопролитий, как это, скажем, было в сталинскую эпоху, только в этой естественной форме и ни в какой другой. Посему возвращение к той форме неизбежно.

— Какую роль, на ваш взгляд, в современной истории Русской православной церкви сыграл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв), пресс-секретарём которого вы в своё время служили?

— Кто мало-мальски интересуется историей Русской православной церкви, те знают, что это человек, который в самый разгар учинённого на Руси либерально-демократического погрома встал (старче, одной ногой в могиле стоящий!) и сказал в глаза всё то, чего большие и сильные боялись: «Вы — мерзавцы. Вы — враги русского народа. Вы — пиявки на русском теле. Враги Бога и церкви. Вы — враги всего, что нам дорого и свято. Но вы не надейтесь, что так будет вечно. По милости

Божией так вот судил Господь русской земле — пройти через страдания к великой славе».

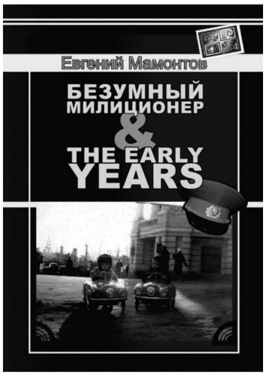
Но в чём его, как мне представляется, наиважнейшее значение? Это был человек, который восстановил преемственность, казалось бы, навеки разрушенную кровавой советской эпохой. А митрополит Иоанн вот эту цепь, которая тянется от Сергия Радонежского, Серафима Саровского, — златую, священную цепь православно-духовной традиции, — он её совершенно неожиданно для всех восстановил. Никто и подумать не мог, что это произойдёт. Видите, как получается! Ведь враги-то наши думали, что они в церкви вообще всё вытоптали, выжгли, асфальтом залили и там ничего жить не будет. И вдруг является старче. Откуда? Митрополит Иоанн начал публиковаться в 1992 году. Первый ответ с либеральной стороны на его публикацию последовал только через два года. То есть её адепты два года находились в состоянии нокаута. Даже не знали, что ответить.

— Тогда закольцуем нашу беседу, вернувшись к тому, с чего начали. Однажды вы сказали: «Давайте смотреть правде в глаза: нравится нам или нет, но сегодня Путин и Россия — одно целое, у них общая судьба». Как судьба России может отразиться на судьбе Путина? И судьба Путина — на судьбе России?

— Например, Путин может стать русским Франко. Известно, что этот человек во время гражданской войны в Испании в тридцатые годы двадцатого века одержал победу. Сорок лет удерживал свою страну от падения в евросодом. А потом вернул испанцам короля…

— …который не так давно отрёкся от престола?

— Другое дело, что король-то оказался, вообще, дохленьким и негодненьким. Ну извиняйте! В Европе нет других королей. Это в России ещё обретаются какие-то личности исторического масштаба. А в Европе обойма исторических личностей закончилась на Черчилле. И теперь они со дна ложечкой всякую дрянь соскребают. Но, конечно, насчёт уподобления Путина Франко — это моя фантазия. А вот что, на мой взгляд, более вероятно и основано на существующих реальностях: Путин может стать человеком, который вернёт Россию русским, несмотря на то что он пришёл во власть как ставленник самых оголтелых русоненавистников — гусинских, березовских и прочих. Но история любит такие вот ироничные обороты.



Евгений Мамонтов

Безумный милиционер & The Early Years

Владивосток: «niding.publ.UnLTd», 2014

Я молодой писатель. Литература — смысл моей жизни. Вы часто встречали вагоновожатых, животноводов, бухгалтеров, для которых работа — смысл жизни?

Моё отношение к литературе таково, что когда я слышу от кого-нибудь, что в нашем городе есть другой молодой писатель, это меня задевает. В самом деле, подумайте, что испытал бы какой-нибудь античный бог, прослышь он, что кто-то, кроме него, претендует на его сферу божественного. Я признаю старших богов-олимпийцев — Толстого, Достоевского… так же как Аполлон признаёт Зевса, Посейдона. Но чтобы какой-нибудь выскочка, скорее всего — неуч и прощелыга, возможно, даже из соседнего подъезда, — этого я не признаю.

В конце концов, я не просто молодой писатель — у меня даже публикация была!

Но всё равно… В наше время трудно признаваться в собственных амбициях. Вот и приходится, узнав о сопернике, изображать обывательское умиление: «Пишет! Ах, как славно!» А про себя думаешь: «Ещё один выискался, туда же…»

Но хуже всего, когда какой-нибудь знакомый, про которого вы и подумать ничего не могли — и вдруг откроется вам. Смотришь на него — лицо плоское, на носу прыщик — и такое чувство, будто вы узнали, что с этим вот ничтожеством вам изменяет царица вашего сердца.

Из рассказа «Графомания»

Александр Орлов

Мне снятся Красноярск, Смоленск и Ржев…

● ● ●

Алексею Башкатову

Когда земля простужена насквозь,
И небом заморожены дождинки,
И ветер пустословит без запинки,
И мир оставлен Богом на авось,

Когда сгорают в небесах пласты
Блудливых туч, а облака суровы,
И плавят чернокнижников оковы
Святых соборов вещие кресты—

Поверь мне, друг, я оттепель верну,
Избавлю свет от ледниковой воли,
И ангелы взовьются на престоле
И разнесут славянскую весну.

● ● ●

Арсению Замостьянову

Ты говорил—и таяли снежинки—
О времени, с которым рвётся связь,
О смерти, что сквозь годы пронеслась,
О нашем постаревшем фотоснимке
Ты вспоминал, отчаянно смеясь.

Ты говорил, что нам всего под сорок,
И требовал признаний от меня,
И прошлого скупая воркотня
Нас уводила в будущего морок,
Безвестностью решительной маня.

Мы шли чеканно—мы же одногодки,
Дух вечности из мрака прорастал,
Всё слышал заметённый краснотал,
И лунный свет от сталинской высотки
Две наши тени в подворотню гнал.

● ● ●

Я сын громадных вековых трущоб,
Рождённый под «Прощание славянки»,
И методом ошибок, чёрных проб
Я собираю ветхие останки

Страны, которой больше не вернуть—
Господь навек детей её оставил.
И разъяснит грехопадений суть
В своём Послании апостол Павел.

Мне снятся Красноярск, Смоленск и Ржев…
Могильник, затаённый в снежной чаще…
От горькой яви утром ошалев,
Я понимаю сон мой настоящий…

● ● ●

Из туч окровавленных вышли
Навстречу ветрам
Погибшие в Перемышле
Архип и Харлам.

Прижали надёжно винтовки,
Примкнули штыки.
Застыли на тёмной Покровке,
Где дремлют ларьки.

Их лики впитают витрины,
Подхватят такси,
О них вспоминают долины
Червонной Руси.

Два унтера, два страстотерпца—
Единый дозор,
Два русских нетлеющих сердца
С архангельских гор.

* * *

Кто от судьбы не требовал поблажек—
Ни тысячи, ни сотни, ни одной,
Кто был отпущен в муках на покой—
Ты помнишь их, озябший Сивцев Вражек,
Прикрывший ночь рассветной пеленой?

Ты, особняк ампирного декора,
На опустевшей чётной стороне
Расскажешь мне о мире и войне,
Припоминая графа и комкора,
Не извлекая прошлого извне?

Твои дома доходные, жилые
Что скрыли от пылающей души,
О чём молчат подъезды, этажи,
Квартиры, антресоли той России,
В которой все мы—только миражи?

* * *

Ты пожелал семь футов мне под килем,
Но я уверен: буду не один
Среди песков, хребтов, степей и льдин—
Мы вместе это плаванье осилим.
Нас обдувал хабуб и баргузин…

Мы, каждый вместе и поодиночке,
Изранены забвением эпох
И каждого мгновенья слышим вздох:
В нём запятые неподвластны точке,
Мы веруем, что нами правит Бог.

Пустым сомненьям не было предела,
Но расходились эхом голоса,
И наша звуковая полоса
Не исчезала, в небесах редела,
Всем оставляя наши адреса.

* * *

На улицах Великого Ростова,
Где прошлое встречается подчас
И вопрошает каждого из нас,
Где память боязливо не готова
Принять дождей верительный рассказ—

Я вспоминал о Глебе и Борисе,
Былое мне шептало на ушко
О Горясере, Торчине, Ляшко,
И гневались торжественные выси,
Вздыхая в полусвете нелегко…

Не верил я, что прошлое—потеря,
На храмы опустились облака,
И расплылись осенние снега
В лесах, где обитали весь и меря.
Ночь поджидали древние века.

* * *

Устроила весенние смотрины
Сугробам краснобокая заря.
Под утро возле дома Грабаря
Объятья мне раскинули русины,
Союзом братским истово горя.

Они к Руси метелями прижаты,
Их требами обнесены хребты,
И буковые стерегут кресты
Часовни одноглавые и хаты,
О них пророчат времени мосты.

Тепло меняет минусы на плюсы,
Околыш солнца—верный доброхот—
Зимы виденья к облакам влечёт,
И оставляют мне карпаторуссы
В поникших лужах единенья год.

Аксинья

Аксинье Васильевне Сёминой

Куры бегают и свиньи:
Охватил переполох!
Раскрасавицы Аксиньи
Обречённый слышен вздох.

Принесли ей утром рано
Фронтовых два письмеца—
Про Акима и Ивана—
Новости из Осовца.

Встали мёртвыми из дыма:
Что им немцы, что им газ?!
Смерть Ивана и Акима—
За Россию, за всех нас.

Ой ты, русская пехота,
Православные полки!
Тыщи пуль летят из дзота—
Только ты идёшь в штыки.

Из геройских всех историй
Мне завещана одна.
К сердцу я прижал Егорий—
Жизни пращура цена.

Карина Сейдаметова

Черёмуховый ветер

Сейдóзеро

Щедрая полночь разбрызгала золото.
Звёзды—медовыми сотами…
Прыгай с откоса беспечно и молодо,
Наши падения грезят высотами.

В этом потерянном времени странника
Стрелки в часах разойдутся и встретятся,
Словно две тени татарского данника
При появленье небесной Медведицы.

Где по дорожкам морошковым пройденным—
Тундра суровая, к пришлым жестокая,
И начинается брат, моя Родина—
Диво-Сейдозеро северноокое.

Дремлет в нём сила природная, рудная
Русского золота бездна тревожная,
Только его отыскать—дело трудное,
А для кого-то—порой невозможное!

Лишь, со смиренным терпеньем старателя,
Сверь по примете: тебя ли ждут семеро?—
Станешь единственным завоевателем
Снежного ягеля, русского Севера.

Мы с тобой, брат, ещё выпьем шампанского
На берегу оправданий и чаяний,
В домике старом, а сейды[1] шаманские
Тихо нашепчут нам байки нечаянно.

Щедрая полночь разбрызгала золото.
Звёзды—медовыми сотами…
Прыгай с откоса беспечно и молодо,
Наши падения грезят высотами.

* * *

Век мой китежный, отражение
Бела облака в озерце…
От искристой воды свечение—
Сполох радости на лице—

Углядеть я пытаюсь истово,
Обмануться боюсь стократ.
Лишь вода золотится искрами…
Кто ты мне: ни отец, ни брат?..

На твой берег пришла смиренно я.
Зорким солнцем всплывать со дна
Будет истина сокровенная,
Преднабатная тишина.

Обниманья—рассветы ёмкие,
Целованья—денниц пожар…
Это нам всеозёрной кромкою
Улыбается Светлояр.

И, сокрытый до дня заветного,
Предо мной—триедино свят!—
Ты откроешься, семиветровый
Мил-сердечный друг—Китеж-град!..

Стон набатный, как сон, срывается,
С колоколен струит вода,
Когда с веком своим встречаются
И прощаются с ним когда.

И на крыльях стрижей возносится
Зримый, видимый за версту
Свет от встречи до неба с проседью
Из отверстых вод в высоту.

1. Сейд—святой, священный. Пирамиды, сложенные из камней в определённом порядке.

● ● ●

…Но небесные замыслы есть!
Ю. Кузнецов

«…Значит, я ещё здесь для чего-то нужна:
Пусть летит в неизвестность рассветный трамвай—
Посему решено!—так устало она
Повторяла себе:—Оживай, оживай!»

И от счастья рыдать, и от радости взвыть—
Ты поверь: ничего невозможного нет.
Никому никогда ни за что не избыть
Твой пронзительный раненый ранний рассвет.

Небеса… И по ним будут плыть облака,
А земные трамваи—по рельсам ходить
И привычно, как няньки, качая слегка,
И друзей, и врагов, и прохожих возить.

Разве это друзья, если всласть—только власть?
Разве это враги, если им всё равно?
А прохожие что ж? На примете одно:
На фартовый трамвай задарма бы попасть.

Под дождём постоят, но промокнут—едва ль.
И беспечный твой радужный день умыкнут.
И за высшую доблесть—за подлость—медаль
На нагрудный карман пиджака пристегнут.

Но смешно неразумных за это корить—
Пусть трамваи баюкают их день за днём,
А тебе остаётся влюбляться и жить,
Лишь бы не забывала, зачем мы живём.

● ● ●

Ты снишься, как черёмуховый ветер.
По-майски ясно и светло в саду…
Любовью дышат душные соцветья.
И я по саду, юная, иду.
Несмелая, иду под вздох черёмух,
Себя на «до» и «после» не деля.
Мой самый точный, самый важный промах—
Жить начинаю набело, с нуля.
Пусть запах той черёмухи ознобкой,
Гонимый ветром, вскинется в окно—
И я поверю в суть примет народных:
Не всё ли жизнью определено?!
Фасонится черёмуховым платьем
Княжна-весна, не ведая, зачем…
Цветущая у юности в объятьях
Влюблённость—вот поэма из поэм!
Весенний мой, стремительно-рассветный,
Влюблённо-юный невозвратный май,
Не устрашись безудержного ветра,
Черёмуховых судеб не ломай…

Сергей Арутюнов

Иприт

Почти не пригибаясь — побаливала спина, — Высоковцев продвигался по извилистому, грубо вырытому ходу сообщения, кое-где обложенному глинистыми, будто облитыми шоколадной глазурью, досками. Протискиваясь между мокрыми, по-собачьи пахшими шинелями, размотавшимися обмотками, хлюпающими башмаками, он еле заметно шевелил губами. Будь он в поповской одежде, сошёл бы за служащего молебен.

Но то, что он шептал, было стихами. Их накануне вечером начитал ему по переписной тетрадке заезжий вольноопределяющийся. Высоковцев шептал стихи, будто пил микстуру, прикрывая тяжёлые веки, набрякшие дождём, слог за слогом выжимая из себя вонь безнадёжности.

— При Кутузове, небось, окопов не рыли, — слышался где-то наставительный голос, тщащийся выглядеть степенным. — Человека, я имею в виду, в землю не зарывали. Напротив! Человека — возвышали. И называлось сие возвышение вполне научно: редут. Насыпь такая высоченная, в общем. Воины всходили на неё и чувствовали, что поле боя лежит под ними, а не над ними, а это, знаете ли, как-то меняло настроение. Этакая возвышающая, а не понижающая фортификация. А при Суворове и того пуще: бивуак-с…

Вывернув из-за поворота на солдатское скопище, Высоковцев уткнулся в проповедующего унтера Хлебова, плотная спина которого, перетянутая тремя ремнями, иногда снилась ему в здешние ночи. Унтер вздрогнул, сделал солдатам какой-то неопределённый, но решительный знак и обратился к Высоковцеву:

— А вы как считаете, Дмитрий Фёдорович?

— Что… Что именно вы имеете в виду? — хрипло выдохнул Высоковцев.

— Откуда лучше воевать — из подземного, так сказать, положения или сверху, с орлиных, я б выразился, высот?

Прапорщик оглядел этих людей. Это был третий взвод, один из самых замухрышистых в полку, половина которого была для дела слишком молода, а другая — слишком стара. На него из рыжей ямы были устремлены несколько пар глаз, потускневших от неудач, но всё ещё взывающих о невозможном спасении. Одинаково нелепо и на бородачах, и на юношах обжалось постоянно влажное от здешней многомесячной непогоды казённое сукно, и всех их единило под серым гневающимся небом одно. Запах. Они пахли страхом. С этим запахом они, может быть, не рождались — он прилипал к ним позже, возможно в отрочестве, и сопровождал их, усиливаясь, до самой могилы.

Только раз, мальчиком, Высоковцев ужаснулся простоте и очевидности деревенских похорон. С тех самых пор, от проржавевшей размеренности обрядовых действий, он затаил в душе лютую обиду на жизнь, так обыденно расстающуюся со своей частичкой. Эта обида сидела в нём и теперь, медленно вызревая одним из пузырей его великой тоски.

— Излёт какой-то, — пробормотал Высоковцев.

— Что вы изволили сказать? — участливо переспросил унтер.

— А? Нет, ничего, ничего. Так, задумался, — ещё не очнувшись, отрезал Высоковцев и двинулся дальше.

Он представил себе, как за его спиной комически-разочарованно поджимает губы и разводит руками Хлебов. Дескать, кто поймёт этих господ? Этих бар. Помещиков.

Какие мы господа, думал Высоковцев. Теперь. Здесь. И когда ими были? Неужели для них? Они тысячелетиями громоздили непостижные нам теории мироздания, подчинялись природе, верили в неё, молились ей; прадеды их прадедов мастерили себе дома, корыта и свистульки одной и той же повторяющейся и раскрашенной по каким-то неведомым строгим канонам формы, а мы, пришедшие к ним проповедовать любовь, кончили тем, что стали кормиться их щами. И они из любви платили нам за наши проповеди хлебом. Или вот этими вот Хлебовыми. Штыками. Мясом. Рыбой. Оттого и запах такой.

Мы пахнем страхом не меньше их, просто умеем забивать его одеколоном. Ещё неизвестно, кто храбрей: мы со своей истерической убеждённостью в том, что наследуем европейскому рыцарству, или они со своими свистульками, из которых всегда идёт один звук, резкий, вызывающе примитивный. Писк задавливаемой жизни.

— А вот и пресветлый, — встретил его голос Стрепетовский. — Как спалось? Что на флангах?

Это было осточертевшее приветствие, но Высоковцев заставил себя улыбнуться. Расступились

двое часовых, шелестнул отодвигаемый грязной до черноты рукой брезент, и не стало нависшего неба, наступил один сплошной бревенчатый блиндаж, с непременной печуркой, стереотрубой, штабным столом с раскинутой картой, исчирканной красными и лиловыми пометками.

— Здравствуйте, господа. Прошу садиться,— с натугой произнёс полковник.

Высоковцев огляделся. Несколько человек в блиндаже были ему незнакомы. Один, не менее как адъютант командующего, сидел нога на ногу, надменно выставив изящные, забрызганные до самых коленей кавалерийские сапоги, и постукивал белыми пальцами по кожаной папке с внушительными застёжками. Весь его вид, как у всех штабных, выражал вежливую скуку и сдержанную досаду на теряемое даром с фронтовиками время.

— Господа, у нас мало времени, и потому — слово Арнольду Петровичу, он только что из штаба.

Адъютант даже не приподнялся. Испустив на полковника затаённо-змеиный взгляд, он иронически звонко, как престидижитатор, расстегнул папку и вынул оттуда предписание.

— Господа, я рад сообщить вам…

— …пренеприятнейшее,— шёпотом подсказал Стрепетовский, подтолкнув под локоть Высоковцева.

Тот остался безучастен.

— …о том, что наша разведка принесла нам удачу: оказывается, не далее чем сегодня на нашем участке фронта немцы готовят газовую атаку. Вы наверняка слышали,— продолжал адъютант с живейшим отвращением,— что такие атаки уже были проведены на некоторых других участках, в том числе против наших союзников, и потому я уполномочен сообщить вам о том, что с семнадцати ноль-ноль все без исключения должны быть проинструктированы о действиях в случае таковой атаки и, разумеется, снабжены для противостояния ей всем необходимым. Противогазные маски, комплектность которых проверена, у вас выше всяческих похвал, о чём будет доложено командующему сразу по моём приезде в Ставку. Позвольте на этом, как говорится…

— Всё ли вам ясно, господа офицеры?— помогая адъютанту закончить, надтреснуто спросил полковник, оглядывая своих ротных.— Коли вопросов, как я усматриваю, не возникло, тогда, думаю, мы сейчас поблагодарим и отпустим Арнольда Петровича восвояси. Если, конечно, он не захочет остаться у нас…— вздумал подпустить перца полковник, и это ему удалось.

Раскатистый хохот сотряс бревенчатый склеп. Адъютант побледнел, но потом и сам рассмеялся, прикрывая красные глаза рукой. Он оказался смешлив.

— Господа, я знаю, знаю, кем вы нас полагаете. Но не стоит, не стоит, право же,— выговаривал он.

Перед ним были измученные лица, на которых каждый был бы рад вызвать и тень улыбки, хотя б ценой временной потери достоинства.

И снова из-за брезента их начало обступать глиняное чавканье, будто они сидели в могиле на десятерых.

…К двум стали разносить по окопам противогазы — тугие зелёные сумки, в которых угадывался словно бы свёрнутый зверёк с длинным хвостом.

Высоковцев встал лицом к своему взводу. Он видел взгляды, обращённые к нему, отвернувшиеся от него, и внезапно со всей полнотой осознал, что через сутки может вновь не досчитаться кого-то из них. «А ведь, наверно, они считают меня частью той силы, что уносит их с земли,— испуганно подумал он.— Меня, что ни разу ни на кого не поднял руки, ударившего лишь в детстве своего же собственного отца, накинувшегося на мать с кулаками. Меня, окончившего филологическое отделение Петербургского университета (он произнёс эти небывало чуждые здесь слова по слогам и словно бы рыдая) для того, чтобы учить их любить самих себя! Свой язык, свою бедную землю. К чему я здесь? Что искупаю вместе с ними? Мировые козни — или легкомыслие своего класса?»

— Ребята,— сказал он затхлым голосом.

Лицо его внутренне исказилось, будто перекрученная портупея.

— Люди мои,— сказал он, простирая к ним руку.

Унтер взметнул брови, но сдержался.

— Нам с вами предстоит пережить ещё одну неприятную вещь. Ужасную вещь. Нас, то есть и вас, и меня, собираются травить газом. На вид он серо-зелёный, стелется по земле вот так,— Высоковцев показал как.— И в конце концов растворяется в воздухе. Но не сразу. Его специально изобрели, чтобы травить людей, понимаете?— спросил он, упираясь в них болезненно поблёскивающими зрачками.— Но мы — спасёмся. У нас есть вот эти приспособления,— засуетился прапорщик, силясь открыть клапан.— Откройте вы,— приказал он унтеру.

Солдаты неумело расстегнули сумки.

— Выньте их из мешков,— продолжал Высоковцев.— Как видите, это обычные резиновые маски, со стеклянными окулярами, подсоединёнными к ним трубками и коробками, в которых уже положено очищающее воздух вещество. Не надо их сейчас развинчивать, пожалуйста!— просил он их.

В глазах солдат стояло недоумение.

— Это просто защитные приспособления. Сейчас мы потренируемся их надевать, а потом спрячем обратно в эти футляры и забудем про них ровно до того момента, пока я, унтер-офицер или наблюдатель не дадим вам команды их надеть. Ясно? Снимете вы их тоже по команде, не раньше. Иначе — смерть. Мучительная. Долгая. До приказа масок не снимать, даже не пробовать! Я запрещаю!— голос Высоковцева окреп.— Итак, делай за

мной. Возьмите маски и впустите туда с каждой стороны по два пальца. Так вот, как бы расширяя. Затем—расширив их—наденьте их на себя. Так, как сейчас сделаю это я.

Высоковцев глубоко вдохнул и начал втискиваться в душную резину, стараясь надвинуть её поглубже. Возившиеся с масками солдаты подняли глаза и вздрогнули: на них смотрело нечеловеческое, мышиное лицо, иззелена-бледное, увенчанное ребристым хоботом, подсоединённым к цилиндрической коробке.

— Ну что, ясно?

Взвод охнул и перекрестился, голос прапорщика же сделался глухим и будто металлическим. Все стояли, замерев. Высоковцев содрал с себя маску и сморщился, приглаживая волосы.

— Что, ужасающий вид у меня был?—спросил прапорщик у взвода тем самым тоном, который был у него далёкой теперь весной, в дни формирования, когда и он, и они были моложе, яснее, и война со всей её бесконечной и разнообразной припасённой для них смертью была на тысячи километров западнее.

— Дмитрий Фёдорович, а это что, обязательно?—дрогнувшим голосом спросил унтер.

Высоковцев лишь посмотрел на него, не отвечая, и, развернувшись, пошёл к себе.

— Бороды, бороды состригите себе,—начал унтер.—Где куафёр-то наш? Небось, в первый завернул, а ножницы одни на весь полк. Вот что, соколики, а загляну-ка я к полковому,—решился унтер и побежал вслед за взводным.

К четырём служили полковой молебен. Отец Евфимий, огненный скелетообразный брюнет, кадил из центрального хода на солдат, коленопреклонённых в боковых ходах. Казалось, стихла на эти минуты и гаубичная канонада, под разрывы которой приучились прихлёбывать из оловянных кружек, свёртывать цигарки, писать письма.

— Святый Боже, Святый Крепкий, спаси, сохрани и помилуй нас,—повинуясь многолетней привычке, произносил Евфимий слегка нараспев.

Он два часа как научился свёртывать бороду в подобие свитка и ловко поддевать её под маску противогаза. Борода мешала дышать, однако расстаться с ней ради газовой атаки Евфимий не мог, не хотел и попросту не имел права. Его и противогаз уговорили надеть в приказном порядке с пятого раза. Он отнекивался и говорил, что как-нибудь «так» переждёт, пока ему не пригрозили высылкой с передовой во вторую линию.

К половине шестого увидели, как с немецкой стороны над лесом мелькнула красная, сыплющая искры ракета, ей ответила зелёная с другого фланга, и вновь наступило затишье. Высоковцев всматривался в бинокль и представлял себе, как подвозят на подводах эти самые баллоны с ядом, осторожно снимают, кладут на доски и направляют раструбами в их сторону, потом надевают противогазы, и всё это деловито, как лемуры у Гёте...

— Излёт,—повторил прапорщик.—Исчерпанность всего. Век всё страшней, а мы всё тоньше. Одни, как в сумеречной Польше, сидим, не зная ничего.

Стихи сложились в нём сами, и он поклялся запомнить их и записать после атаки. От нарастающего, скукоживающего всё его существо волнения он достал папиросу и, пристукнув ею по крышке портсигара, нервно раскурил её, скорее для того, чтобы не вдыхать ледяного воздуха подступающей беды.

Сумерки скрыли от него и чахлый лес, где они врылись в землю по горло, огородив себя наскоро срубленными столбами с колючей проволокой, и следы кострищ, и развороченную колёсами и снарядами траву вперемешку со смятыми флягами, гильзами и окровавленными бинтами.

Слабое, усиливающееся шипение услышал в половине девятого рядовой третьего взвода Конобеев.

— Га... газы!—крикнул он, вспомнив, что именно нужно кричать, и только потом, услышав дублирование своего выкрика, словно ошпарившись изнутри, потянулся дрожащими руками к противогазной сумке.

— Газы! Газы! Газы!—раздалось в траншеях.

Воздух заполнился скрипом взмокшей резины, проклятьями, истерическим плачем, кашлем и окриками. Темнота зазеленела и сделалась непроницаемой.

Втиснувшись в противогаз, Конобеев почувствовал крупную дрожь в каждой клеточке своего юного ещё тела и по привычке хотел перекреститься, но пальцы его стукнулись в обтянутый резиной лоб и замерли.

Он словно бы увидел себя со стороны, одинокого, маленького, в круглой наблюдательской яме, вынесенной к самой проволоке, свою серую шинель с зелёными петлицами, лицо в поскрипывающей бесовской маске, и мгновенно решил для себя, что Господь не должен слышать его в таком виде. Это было неожиданно для него самого, но так верно, что он сразу подчинился этому внутреннему решению и замолчал. Слова молитвы остекленели в нём, и он добровольно и молча пошёл ко дну, сжимая едва нагретую своим теплом трёхлинейку, озаряемый вспышками, напрягшийся и безвольный. Дышать было тяжко, фильтруемый воздух был незнакомым, чужим.

Тьма сгущалась. В ней протрещали наугад несколько выстрелов, следом раздался приглушённый взрыв. Согласно заухали орудия, с квакающим визгом понеслась к окопам смерть.

Грохнуло поблизости, где-то справа раздался чей-то знакомый стон.

Конобеев, ощупывая затвор, дослал патрон и снова остановился: никто не стрелял. Наваливалась звенящая тишина. Никто не рвался через проволоку, выкрикивая немецкие рычащие слова,

никто не драл его за шкирку, понуждая встать перед неприятелем во весь рост.

Перед окулярами, успевшими запотеть, плыли зелёные клубы. Ад наступал.

Конобееву показалось, что его уже нет в живых. Только отчасти убеждала его в нахождении на этом свете винтовка, примёрзшая к рукам, да ещё облепивший голову противогаз, сделавшийся ледяным. Зелёные струи обволакивали его, текли по нему, закручивались лентами, кольцами, арабской вязью, потом вдруг приходила жаркая волна и развеивала их, но они появлялись снова и заполоняли пространство, выдавливая из него душу.

Но душа жила. Конобеев не знал об этом, но душа его, вечно зрящая, бесконечно ранимая, стонущая и певчая, жила и каменела от горя.

И тогда Конобеев запел.

Извне, от распростёртой фигуры его с нелепо разбросавшимися ботинками, исходил во мглу лишь металлический хрип, но с каждой синтагмой родной речи солдат напружинивался, изготавливаясь к броску туда, где всё это не будет иметь уже никакого значения. Но тут вспыхнул свет—на русской стороне зажгли прожектор, и Конобеев принял его за сигнал к контратаке. Он уже совсем было решил вскочить, закричать и ринуться вперёд, как чья-то рука вжала его в землю. Вглядевшись, Конобеев увидел словно бы себя самого: маска была совсем рядом, бледная, жалкая, мышиная. Руки ощупывали его. По погонам на офицерской шинели Конобеев узнал прапорщика.

— Шиф? Литши-литши,—проговорила маска по-китайски.

Они легли рядом. Прапорщик, выставив наган, вглядывался в разрывы на горизонте. У Конобеева отлегло от сердца: он увидел, что смертельная зелень почти миновала. Стёкла отпотевали, капли на них тихо стекали вниз и щекотали верхнюю губу. Последний спутанный комок газа пронёсся мимо, и солдат увидел, что прапорщик украдкой оттягивает нижний край своей маски…

Пальцы Высоковцева забрались под маску и сдёрнули её. Волосы его, прилипшие к черепу, в свете прожектора сахарно залоснились.

Задержав дыхание, сдёрнул маску и Конобеев.

Они смотрели друг на друга, казалось, бесконечно долго, удивляясь и не веря тому, что всё позади, точно так же как вглядывались в лица уцелевших после канонад и бомбардировок, как бы пытаясь угадать, что помогло им самим и тем, кого они видят перед собой.

— Кончено,—сказал Высоковцев.—Кончено, кажется.

В ответ Конобеев беззвучно заплакал. Слёзы потекли по его щекам двумя ровными дорожками. Правая слеза на полсантиметра обгоняла левую.

— Ну-ну,—одними губами выговаривал ему Высоковцев.

Ему казалось, что над обезображенным полем расходятся круги ужаса, уступая место чему-то более прочному и привычному. Впрочем, он не был уверен.

Вместо размышлений он автоматически поправил планшет, кобуру, подтянул складки шинели и, надвинув фуражку с овальной трёхцветной кокардой, пошёл докладывать о потерях.

Марк Фурман

Писательское Переделкино: неизвестное

1. Медицинская мадонна

Так получилось, что как-то осенью несколько лет назад довелось мне около трёх недель поработать в Переделкино, в знаменитом писательском Доме творчества под Москвой. В коридорах и комнатах старого корпуса, построенного ещё в пятидесятых, скромный уют, немноголюдье в столовой. Лишь изредка нарушают тишину чьи-то шаги, да из-за дверей, как выйдешь в узкий темноватый коридор, доносятся дробные удары пишущих машинок.

На первом этаже я сразу подметил дверь с табличкой «Медпункт». Тогда-то, отодвинув графоманский зуд назад—взыграло любопытство врача,—вошёл, поздоровался, попросил измерить давление. В скудно оборудованном кабинете я увидел немолодую женщину, которая, словно пельмени, быстрыми ловкими движениями лепила из ваты аккуратные белые тампончики. Оказалось—для зубного кабинета, расположенного рядом. Присел к столу, а как сдавил плечо тугой манжет тонометра—представился, сообщив хозяйке, что мы одной с ней медицинской профессии. В следующий раз задержался подольше; а где-то на четвёртый-пятый день мы разговорились. И тут я понял, что рядом находится уникальный человек.

Ведь она, Валентина Абросимовна Голубева, работает здесь с момента основания Дома творчества; с 1946 года повидала не одно поколение известных писателей и людей нашей культуры. Давала таблетки, делала уколы, выписывала рецепты… извините, делала клизмы, бегала по вызовам в ближайшие дачи и самые отдалённые уголки писательского городка.

А раз лечила, навещала и заботилась, значит, знает многое из того, что скрыто, «осталось за кадром», о людях, которые к ней обращались. Тут-то, перебивая врачебную профессию, зазвучала настырная журналистская струна, эдакий зуд папарацци. Однако Валентина Абросимовна оказалась твёрдым орешком. Она была готова беседовать, рассказывать—видно, воспоминания и взгляд в прошлое согревали и волновали её, но наотрез отказывалась от сладостного журналистского застолья, того, что мы называем интервью.

И всё же, всё же где-то к середине второй недели удалось её уговорить, но фотографироваться Валентина Абросимовна наотрез отказалась. Так что о внешности поверьте на слово: невысокая, худощавая, быстрая в движениях, с сединой в густых волосах, в белоснежном халате и выглядит куда моложе своих лет—словом, настоящая медсестра.

2. Сталин ищет Фадеева, а тот пьяный лежит…

Если бы Валя Голубева в прошлом делала краткие записи, вела дневник—понятное дело, этому не было бы цены. А так приходится полагаться на её память, а она, в её годы, дай Бог каждому. Дабы не сгладить впечатления от услышанного, сохранить аромат тех лет, постараюсь придерживаться такого же скупого, назовём его телеграфным, стиля изложения.

—Здесь у нас бывали, жили не только писатели. Видела и Райкина, и Утёсова, Завадского, Крючкова, Уланову, Рину Зелёную. Просто брали путёвки и отдыхали—в одиночку, семьями. А ещё многих друзья-писатели на выходные или на несколько дней приглашали. Особенно летом да ранней осенью интересное собиралось общество. По желанию из столовой по заказам им обеды и ужины специальная машина развозила.

—Знаю всех: и кто постоянно находился в Переделкино, и кто приезжал… Раньше, как и сейчас, писатели делились на тех, кто жил средне, а то и бедно, и кто получал большие деньги. Последние в основном писали о Ленине, Сталине, партии. У них всё—бесплатные путёвки, лучшие номера, спецпайки, кремлёвская больница и отдельные палаты. Это Федин, Фадеев, Ошанин, Марков. А для Пастернака, когда он был смертельно болен, отдельной палаты не нашлось.

—Ещё помню случай… Звонят: Сталин ищет Фадеева. А тот мертвецки пьяный лежит… Пришлось ехать, приводить его в чувство. Нашатырь, холодные компрессы, уколы—часа два на это ушло. Потом с охраной повезли его к Сталину на дачу. А когда Александр Фадеев застрелился, сразу приехало несколько машин из кгб. Пока медики суетились, все его бумаги погрузили и увезли.

—Слабости—как у простых людей. Пили многие: Погодин, Катаев, Прилежаева—так та запоями. Деньги у неё были всегда, всё за детские книжки о Володе Ульянове, миллионные тиражи. Ромашова,

Нилина никогда не видела пьяными. Степана Щипачёва тоже. Он вежливый, улыбчивый, но бабник, каких ещё поискать.
— Катанян, бывший секретарь Владимира Маяковского, бывал здесь с Лилей Брик. Она после войны тяжело болела, очень дефицитные импортные препараты получала из Франции, от своей сестры, писательницы Эльзы Триоле. Тогда очень много гадостей о Лиле говорили, потом и писали об этом.
— А Саша Галич не только хорошо пел. Даже наловчился сам себе уколы делать, как с сердцем плохо станет. Но однажды не уберёгся, внёс себе инфекцию. Руку раздуло, местный сепсис, высокая температура. Тогда у нас от Литфонда жена Назыма Хикмета врачом работала. С ней Галича и отхаживали.
— Роберт Рождественский… Очень хороший человек! Добрый, внимательный, семьянин прекрасный. Часто у него бывала, всегда спросит, не надо ли чем помочь. Уходил тяжело, рак всё-таки, но держался мужественно, как и те, что в его стихах…
— Арсений Тарковский собственной дачи в Переделкино не имел. Жил в Доме творчества с женой Татьяной Озерской, переводчицей, в разных комнатах. Часто навещал отца Андрей Тарковский. У Арсения Александровича была ампутирована нога — наверное, с войны. Когда ему сообщили о смерти Андрея, как он кричал, как рыдал — никогда не забуду. Когда Тарковский умер, была на его отпевании. Потом памятник поставили очень торжественный, красивый.
— Из нынешних бывала и бываю у Евтушенко, Ахмадулиной. К Белле иногда просто так заходила — чем помочь. Когда у Евгения Александровича сын болел, тот, что от его английской жены, тогда часто вызывали. А вчера встретился Андрюша Вознесенский. Улыбнулся, поздоровались. Со здоровьем у него тоже теперь проблемы.
— Часто бывает у нас дочь Василия Гроссмана; как его роман «Жизнь и судьба» вышел, так мне и подарила. Уже в годах и нередко селит к себе жильца, какого-нибудь бесприютного котёнка…

Замечу, что в другой мой приезд с очередным гроссмановским котёнком случилась беда, он вдруг затерялся. К счастью, мой двенадцатилетний внук Саша, которого взял с собой на зимние каникулы, сумел-таки отыскать беглеца, заслужив тем всеобщее одобрение и удостоившись крепкого писательского рукопожатия Михаила Рощина.
— Сейчас в Переделкино уже три литературных музея: к Корнею Ивановичу Чуковскому и Борису Леонидовичу Пастернаку добавился музей Булата Окуджавы. Обязательно туда сходите, вначале посмотрите, потом уж я дополню. О них известно больше, чем о других писателях, — наверное, из-за музеев, да и люди особенные. Это как костёр, куда всё время подбрасывают дрова, вот он и не гаснет. Надо побольше таких светлых мест…

3. Корней Иванович и Лидия Корнеевна Чуковские — отец и дочь

Дом Корнея Чуковского и прилегающий, почти в два гектара, приусадебный участок располагаются в нескольких десятках метров от Дома творчества. Фактически их разделяет та величественная сосновая аллея, по которой без устали почти ежедневно прохаживался Чуковский. Если чуть напрячь воображение, можно представить, как в шестидесятых энергичная медсестра, выйдя через заднюю калитку, торопилась на вызов к писателю.
— Корней Иванович в последние годы часто болел, — рассказывает Валентина Абросимовна, — но писать не бросал. Почти всё время трудился или читал. С лекарствами у него складывалось хорошо, поскольку прикрепили к «кремлёвке». Там и наблюдался, иногда, чаще осенью или зимой, лежал в Барвихе. Наверное, с тех пор, как признали за границей, в Англии вручили диплом доктора литературы и почётную мантию, так и прикрепили. Ещё дали две машины — чёрный правительственный ЗИС и «Победу»; последнюю он больше любил. Как он заболеет — в последние годы сердце постоянно прихватывало, мучила одышка, — так я периодически у Корнея Ивановича жила. Не только наблюдала, делала уколы, но помогала и по хозяйству.
— Сам Чуковский любил принимать гостей, но только когда не работал, поэтому приглашал к себе в строго определённое время. У него бывали Образцов, Утёсов, Сергей Михалков, Лев Кассиль, известные артисты; постоянно захаживал Пастернак — его он привечал особо. Сам Корней Иванович не пил, не переносил запаха табака, но для других у него всё имелось. С этой «запасливостью» Чуковского связан забавный эпизод. Однажды в гости к Корнею Ивановичу приехали Иосиф Бродский и Галич. Неожиданно ближе к полуночи Бродскому захотелось почитать стихи, но для полной раскрепощённости поэту захотелось выпить водки, однако её не оказалось. Тогда вспомнили, что видели в буфете Чуковского пару бутылок. Бродский посоветовался с Галичем, и они дружно решили «идти на дело», то есть проникнуть в дом за водкой. «Мы залезем, возьмём, утром водку вернём. А как повалимся к хозяину в ноги, тут он нас и простит», — вдохновенно говорил Бродский. Ночная операция, к всеобщему удовольствию, прошла успешно. Как и предполагалось, Корней Иванович отнёсся к похитителям с юмором, благожелательно, Лидия Корнеевна же оказалась дамой весьма строгой, высказав своё неодобрение.
— Дочь Корнея Ивановича, Лидия Чуковская, хоть и прожила долго, часто болела, почти всё время лечилась. Я была с ней не так близка, как с её отцом, но всё же помогала, доставала кое-какие лекарства или приносила рецепты, которые

выписывали наши врачи. Чаще всего требовались глазные капли. У неё было очень плохо с глазами — сильная близорукость. Лида и Корней Иванович любили друг друга. Но работали они отдельно, и летом она почти не выходила из деревянного домика, что построили метрах в ста от дачи и который Корней Иванович называл «Пиво-воды». Сходство с тогдашними киосками, торговавшими газировкой, и в самом деле большое. Из мебели в домике умещалось три предмета — стол, стул и кровать. Несколько раз мне доводилось посещать «Пиво-воды» по разным вопросам. Лидия Корнеевна приглашала войти, усаживала на кровать. Однажды место оказалось занятым Анной Андреевной Ахматовой, так мы разговаривали с Лидой через окошко, как покупатель с продавцом. Анна Андреевна сразу почувствовала это, очень смеялась. Когда Чуковский умер, дочери стало худо без него. К тому времени Лидия Корнеевна уже «прославилась»: защищала Бориса Пастернака, разругалась с Шолоховым, написав ему резкое открытое письмо; осуждала тех, кто травил Солженицына, писателей Синявского и Даниэля; наконец, вызвала гнев властей речами в защиту Сахарова. В те годы из-за политики наше маленькое Переделкино становилось иной раз местом куда похлеще Москвы. Писатели да друзья, наезжавшие к ним, делились на два лагеря. Таких, как Чуковские, Пастернак да его близкие друзья Ивановы — говорю о семье Всеволода Иванова, чья дача соседствовала с домом Бориса Леонидовича, — насчитывались единицы. Остальные, даже Федин, до присуждения премии друживший с Пастернаком, осуждали непокорных. Сплетни, разговоры в Доме творчества и вокруг — на прогулках, озере, в больницах Литфонда… Иногда откровенная злоба.

— Наибольшие проблемы у Лиды были с глазами, — повторяет Голубева. — Писать она могла, лишь низко склонившись над листом, читала через сильную линзу, которую всегда носила с собой. Однажды я встретила Тамару Владимировну Иванову, жену Всеволода Иванова, которая рассказала о том, что на днях состоялось исключение Лидии Корнеевны из Союза писателей. В какой-то из моментов, разволновавшись, Лида уронила бумаги, очки и полностью утратила возможность видеть. Из десятка людей, именуемых писателями, ей никто не помог. Пришлось полуслепой Лидии Корнеевне на коленях ползать по полу, собирая уроненное, — закончила Валентина Абросимовна. — Тогда этот случай вызвал в Переделкино массу мнений и споров, о нём только и говорили.

Уже позже вспомнил, что где-то читал об этом. А как вернулся из Переделкино, снял с полки томик прозы Лидии Чуковской. Оказалось, в автобиографической повести «Процесс исключения» есть страницы, подробно описывающие это происшествие на суде.

Голубева ничего не сказала о причине смерти Чуковского, да и я как-то проморгал, не спросил. Но вот фрагмент из новеллы Андрея Вознесенского «Человек с древесным именем», проливающий свет на причину его смерти:

«Когда я встречал его, вспоминал строки:

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.

…Я ошибся, отнеся к нему строки о незыблемости сосен. Укол непродезинфицированного шприца заразил его желтухой. Смерть всегда нелепа. Но так…»

4. Борис Пастернак был человеком от Бога

Святое и счастливое всё-таки это место — Переделкино. Если пойти наискосок от Дома творчества вправо, то через несколько сот метров увидите отодвинутый в глубину двора дом-музей Бориса Пастернака. Эдакий в два этажа архитектурный овал, напоминающий нос океанского корабля. Дорогу туда подсказала Валентина Абросимовна. И та часть беседы, что велась о поэте, его семье и их окружении, среди услышанного мной наиболее подробна.

— Борис Леонидович был человеком от Бога — добрым, отзывчивым, простым. Мой сын Славик лет с пяти почти ежегодно бывал на ёлках у Пастернаков, устраиваемых для их младшего — Леонида, — вспоминает Голубева. — Обычно собиралось до десятка детей. Подтянутый, торжественно одетый, Пастернак выходил к ребятам, раздавал подарки, нужные, как он считал, витамины, фрукты да редкие тогда бананы… Пастернак почти не болел и всегда, за исключением последних лет, казался здоровым человеком. Долго и помногу гулял. Заядлый грибник и, как сейчас принято говорить, увлечённый «садист». Дачный участок его всегда был в порядке, любил сажать картофель и сам его обрабатывал. Трудился в саду и огороде обнажённым до пояса, только голову прикрывал кепкой или панамой. Его рабочие плащ и сапоги до сих пор сохранились в музее, можете на них взглянуть.

Небольшое отступление о сапогах, упомянутых Валентиной Абросимовной. Известно, что в детстве Борис упал с лестницы, сломав правую ногу. Перелом сросся не очень удачно, травмированная нога оказалась короче другой. Дабы трудиться без напряжения с той же лопатой, Пастернак делал рабочую обувь на заказ, с правыми подошвой и каблуком выше на пару сантиметров. В музее Б. Пастернака мне показали эти раритетные сапоги, даже подержал их в руках. Изготовлены сапоги тщательно и мастеровито, сшиты из мягкой и дорогой тёмной кожи, которую принято называть «офицерской».

— А в повседневной жизни слегка укороченная нога ничуть не мешала Пастернаку,— продолжает В. Голубева.— Наоборот, он был стройным, подтянутым мужчиной, из тех, которые нравятся женщинам. Все серьёзные болезни у Бориса Леонидовича начались после выхода «Доктора Живаго» и присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии. До этого я редко бывала у них дома, разве что к маленькому Лёне вызывали, если заболеет. Поначалу появились проблемы с почками, потом сердце и, конечно, нервы… Борис Леонидович, по натуре человек выдержанный, немногословный, очень тяжело переживал происходящее. Держал всё-всё в себе, вот его за два года травли и подкосило. Лида Чуковская тоже прошла сквозь неправду, но она по натуре человек боевой, не сдавалась, на удар отвечала ударом. Наверное, поэтому нервы у неё оказались покрепче, да и хвори, если не считать глаз, не добрались столь быстро…

Прошу Валентину Абросимовну вспомнить, возможно подробнее рассказать о болезни и последних днях поэта.

— Что тут говорить: как заболел, так и сгорел, всего-то за пару месяцев. Началось весной шестидесятого, в апреле, тогда здоровье Бориса Леонидовича было уже сильно подорвано. Вначале диагностировали инфаркт, мерцательную аритмию. Потом установили рак лёгкого с метастазами в обе доли, а как гемоглобин упал, наступила картина острого лейкоза. Лечили Пастернака врачи из поликлиники Литфонда, консультировали известные профессора. В последний месяц появился постоянный врач, Анна Наумовна Голодец. В доме и около постели день и ночь дежурили медсёстры — наши и из поликлиники. Руководила нами Марфа Кузьминична, очень опытная медсестра. В последние дни мая состояние Пастернака стало очень тяжёлым: постоянные обследования, многочисленные уколы и капельницы, переливания крови. Он же как бы стеснялся болезни, постоянно извинялся перед нами за причинённое беспокойство.

Уже после разговора с Валентиной Абросимовной я прочёл опубликованные воспоминания Анны Наумовны, среди медицинских наиболее обстоятельные и подробные. Отсылая к ним заинтересованных читателей («Воспоминания о Борисе Пастернаке», «Слово», 1993), приведу несколько кратких выдержек, дополняющих рассказ Голубевой. Всё-таки с 1960-го прошло столько лет…

«По распоряжению Союза писателей поликлиника должна организовать круглосуточное дежурство врача, то есть поселить на дачу Бориса Леонидовича врача. Начальство предложило ехать мне. Больной лежал в рояльной. Это маленькая комната (метров двенадцать), окнами на северо-запад. Вместо кровати был матрац на ножках, очень неудобный, с уклоном на сторону. Жалуясь лишь на неудобства, связанные с постельным режимом, Борис Леонидович старался выговорить себе побольше свободы, но всем решениям врачей подчинялся. Труднее всего было уговорить его не бриться хотя бы два дня и меньше разговаривать…

…В истории болезни записали: «Состояние тяжёлое. Нетранспортабелен». А днём позже, после осмотра профессора Фогельсона, было решено госпитализировать Бориса Леонидовича. Очень оперативно было подготовлено место в 1-ой Градской больнице. Но Зинаида Николаевна категорически отказалась от госпитализации из-за отсутствия отдельной палаты. Все сёстры очень привязались к Борису Леонидовичу и говорили, что готовы дни и ночи быть возле него без всякой оплаты, только бы поправился, что такого благородного человека они не встречали, что не видели тяжёлых больных, которые были бы настолько внимательны и заботливы к другим…

…Вечером (накануне последнего дня) упало давление, пульс с перебоями, усилилась одышка. Решено было 30 мая снова перелить кровь. С утра Борис Леонидович терпеливо ждал этого. Когда дыхание становилось неровным, мы выходили, делали инъекции, давали кислород. Это было каждые два часа в первой половине дня. С обеда мы не выходили из комнаты. Примерно в 23 часа взгляд Бориса Леонидовича стал затуманиваться. Позвали сыновей. Вскоре позвали меня и медсестру. Когда я и сестра вошли, пульса не было. Сознание еле теплилось. Жизнь сосредоточилась в судорожных вздохах, которые становились всё реже. В 23.20 Бориса Леонидовича не стало».

— Все дни, что Борис Леонидович болел, у дома постоянно кружились иностранные корреспонденты,— продолжает Валентина Абросимовна.— Тут же, стараясь быть незаметными, дежурили кагэбэшники. Потом эти ребята заходили к медсёстрам в Дом творчества, представлялись, показывали красные книжечки и требовали рассказать обо всём происходящем. Кто да кто приезжал, особенно интересовались иностранцами, какие номера машин, оставляли свои телефоны. То есть фактически допрашивали, склоняли к сотрудничеству. Я отвечала односложно: «дежурила», «ничего не видела», «делала уколы», «выполнила назначения врачей и ушла». Все переделкинские, включая писателей, очень переживали за Пастернака, желали ему выздоровления. Не преувеличивая, скажу: здесь его очень любили. Нас, медиков, постоянно спрашивали о его состоянии, течении болезни. Но он быстро сгорел, как свеча, о которой он так хорошо написал…

Помолчали, пьём чай. И надо же — глянул в окно, там разыгралось: снег хлопьями, метель. Полдень, в белой круговерти едва проступают силуэты деревьев. Мистика какая-то, почти как у Пастернака:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

…Следующим днём встречаю в коридоре Голубеву.
— Да, забыла сказать,— на бегу скороговоркой говорит она.— Как пойдёте к Пастернаку, пройдите ещё двести метров и сверните налево— там у нас родник, вода чистая и целебная. Все пьют её постоянно, считают, что лечит получше боржоми и нарзана от любых болезней. Этот родник так и зовут— «Пастернаковский». Очень советую.

После обеда, взяв тройку полиэтиленовых бутылей, отправляюсь к роднику. Такое ощущение, что аллея, ведущая к дому Пастернака, уж не говоря об окружающей усадьбе, многолетних соснах, закрывающих небо, наполнена чем-то необыкновенным. Думаю, что идут сюда за неким душевным озоном, как бы причаститься и воспарить. Вот и поворот, сворачиваю. Родник расположен в низине, у подножья неглубокого оврага. Ого, да тут очередь! На пригорке пара машин, по лестнице поднимаются ребятишки с бидонами и канистрами. Наполнив бутыли, пробую воду. Ледяная, приятная на вкус. Решаю: постараюсь ходить сюда регулярно, ведь так надёжно верить, что лечит от многих болезней. А у кого их нет?! И потом— её, эту воду, пил когда-то сам Пастернак…

Проходя мимо усадьбы, завернул туда. Уже темнеет, вокруг ни души… Миновав дом и свернув с тропы, углубляюсь в сосновую рощу: деревья высоки и стройны, стоят густо и плотно, как солдаты в строю, тогда как на участке Чуковского эдакое сосновое редколесье. Присев на скамью и закурив, ощущаю умиротворение и покой, нечто схожее с тем вечным, когда глядел с высоты горы Давида на раскинувшийся внизу, плавящийся под солнцем Иерусалим.

За те полчаса, что пробыл здесь, погода начала меняться, подул пронзительный северный ветер. И тут, глядя в небеса, увидел нечто необыкновенное, по меньшей мере, ранее никогда не наблюдаемое: раскачивающиеся вершины сосен где-то там, метрах в тридцати от земли, начали переплетаться, обнимать друг друга. Эта древесная любовь, схожая с объятиями людей, обладала столь магической силой, что не мог отвести взор, мыслями и сердцем устремившись к небу. Время словно остановилось, наступила полная отрешённость, чем-то схожая с медитацией.
— Что, любуетесь?— прервал созерцание негромкий голос.— Здесь они часто так меж собой разговаривают.

Оглянувшись, увидел пожилого человека в ватной фуфайке и валенках, здешнего сторожа.
— Не стал бы тревожить,— произнёс он,— да пора ворота запирать. Вот так на дерева и Борис смотрел.

Он произнёс это имя— Борис— легко и непринуждённо, выдохнул слово, как ребёнок. Заметив моё недоумение, сторож пояснил:
— У нас так Пастернака все звали… Помню его с мальчишек, добрый и щедрый. Если кому из мужиков на выпивку не хватало, шли к нему, говорили: «Схожу к Борису». Другие писателя́ не баловали, а он редко кому отказывал…

Мы перекурили, сторож проводил меня до ворот. Вот такой эпизод…

5. Святые могилы в мемориальную погоду

Оно, Переделкино, хорошо само по себе в любое время года. Хотя удалось побывать здесь поздней осенью да в начале зимы. Конечно, природа: чистый воздух, стройные рыже-зелёные сосны, речушка Сетунь с ледяной водой. Впечатляет архитектурная палитра в общем-то небогатых дач, в большинстве которых за таинственными шторами скрыты известные литературные имена.

По писательскому посёлку можно бродить часами, просто гулять, не думая ни о чём,— всё в пользу, эдакое наркотическое состояние души. После завтрака иду на кладбище, крестами вытянувшееся вдоль шоссе. Нельзя, побывав здесь, не поклониться святым могилам. Уже знаю, что здесь есть свой литературный уголок. Шагаю по асфальтированной дорожке, под ногами похрустывает ранний утренний ледок. Не холодно, скорее прохладно и сыро, самая что ни на есть мемориальная погода. Прямо по дороге замечаю массивное надгробье из гранита, надпись: «Николай Вирта». Ага, драматург— стало быть, на верном пути.

Вдруг натыкаюсь на могилу Ольги Ивинской— возлюбленной поэта; у подножья одинокий букетик увядших гвоздик. Уже тут, в Переделкино, слышал, что Ольгу Всеволодовну похоронили поодаль, в стороне от семейной могилы Пастернаков. Тут, на погосте, как и в жизни, соблюдены дистанции: рядом, но всё же в отдалении, приличия, и— каждому своё. Ведь не жена— любимая женщина…

И действительно, едва прошёл вперёд, как через несколько десятков метров, на возвышении, в обрамлении берёз и осин, я увидел скромное надгробье из белого камня, с рельефно-медальным профилем Пастернака. Голова, с лицом, обычно устремлённым ввысь— к небу, облакам, звёздам, чуть наклонена вниз, взор косо, под углом, проникает в землю. Поэт словно здоровается с теми, кто пришёл почтить его память. На равном расстоянии, слева и справа от могилы, захоронения Зинаиды Николаевны и сына Леонида, умершего в 1976 году. Вокруг опавшая листва, влажная осенняя земля, в изголовье— букеты ещё не увядших цветов. Заметно, что сюда приходят очень часто.

Через пару десятков метров от Пастернаков высятся строгие памятники Корнею Чуковскому и его

супруге, справа от них—чёрная мраморная плита на могиле Лидии Чуковской. Тут, у последнего порога, как и в жизни, они вместе—Пастернаки и Чуковские.

И как не вспомнить давнишнюю дневниковую запись Корнея Ивановича, датированную 30 июля 1961 года: «Был на кладбище. Так странно, что моя могила будет рядом с пастернаковской. С моей стороны это очень нескромно—и даже нагло, но ничего не поделаешь. Покуда земной шар не перестанет вертеться, мне суждено занимать в нём с Пастернаком такие места» (в дневнике есть рисунок, изображающий могилу Пастернака и будущую могилу Чуковского.—*Прим. Елены Чуковской*).

В том же уголке, тоже неподалёку, в зелёном обрамлении елей, за изящной ажурной оградкой, замечаю серо-голубой обелиск поэту Арсению Тарковскому. Уже уходя с кладбища к Дому творчества другой дорогой, натыкаюсь на могилу Татьяны Глушковой, бывшей лидером националистического направления в литературе. Тотчас вспомнилось собрание литераторов Владимира, на котором Глушкова выступила с пространным докладом «Политизация современной художественной литературы» (подробнее о том собрании—в повести «Если будет угодно богам…»).

И уже на самой окраине писательского кладбища, в каких-нибудь пятидесяти метрах от Глушковой, я наткнулся на обелиск Юрию Щекочихину, бесстрашному рыцарю пера, безвременно, в пятьдесят три года, при неизвестных обстоятельствах ушедшему из жизни. Два писателя, две судьбы. А покоятся—рядом. Над творцом «Алого паруса» «Комсомолки» реял каменный кораблик, и душа, как на погосте Пастернака, вновь просветлела.

Я вспомнил застолье с Юрой во Владимире, в редакции владимирской газеты «Молва». И ощущение сопричастности, как и стеснительный осенний дождик, смыли тяжесть от встречи с Глушковой. В тот вечер говорили много и о разном, середина девяностых, смутное беспокойное время. Помнится, Юрий Петрович пел и играл на гитаре; прощаясь, каждого дружески обнял. И вот, до сих пор покрытая мраком зловещей тайны, его с криминальным отливом смерть. Как врач-судмедэксперт, уверен: так просто, без спланированного убийства,—не умирают. Это же мнение разделяют журналисты «Новой газеты», в которой Ю. Щекочихин работал до последних дней, проведшие собственное, пока наиболее полное расследование. Вот коллективное мнение «Новой газеты» в сокращении:

«Сразу скажем: за год после трагедии установить всю правду о смерти Юрия Щекочихина не удалось. Перед вами—отчёт об исследовании, проведённом нами в России, США, Англии, Бельгии и Германии. Ведущие профессора-медики в Европе, специальные службы ряда ведущих государств помогали нам в работе.

Есть официальный диагноз стремительной болезни Юрия: синдром Лайелла. Тяжелейший аллергический синдром, поражающий иммунную систему и внутренние органы. Есть добросовестная и ответственная работа врачей Центральной клинической больницы—они реально использовали весь ресурс современной медицины, чтобы спасти Щекочихина. Почему же, несмотря на это, мы не доверились официальной точке зрения и предприняли своё расследование?

Вот почему: 1. Так и не выявлен «агент» (медицинский термин)—то есть тот самый токсин, который вызвал болезнь. 2. Заключение о смерти Щекочихина засекретили. Его не отдали даже по запросу родных, сославшись на врачебную тайну. 3. В частном порядке, шёпотом, некоторые из занимавшихся Щекочихиным врачей прямо говорили: отравлен. Ищите следы тяжёлых металлов. 4. В нашей просьбе—ещё при живом Щекочихине—отдать хотя бы несколько его волосков для срочного анализа на предмет определения отравляющего вещества—было отказано.

Завеса секретности и заставила нас тревожить Юрину память. Мы собрали что могли: частицы кожи, бритвенный прибор, некоторые вещества, кусок простыни. Этого оказалось для полноценного исследования мало. Но вы прочтёте мнение британских исследователей: если бы не уникальная секретность, можно исследовать оставшиеся в больнице ткани. И окончательно ответить на этот вопрос: умер—или убит?»

Недавно стало известно, что по факту гибели Ю. Щекочихина Генпрокуратурой РФ возбуждено уголовное дело с возможной эксгумацией тела, захороненного в Переделкино. Остаётся ждать…

6. Переделкино: настоящее без будущего?

Сейчас Переделкино—этот литературный оазис России—со всех сторон окружён: подступает Москва. Особенное чувство испытываешь с наступлением темноты, когда шагаешь от станции к Дому творчества… Средь редких тусклых фонарей у горизонта, в каких-нибудь двух километрах за железнодорожными путями, закрывают небо и всё окрест светящиеся в тревожном жёлтом пожаре корпуса многоэтажек.

Поступь их неумолима и жестока. Но куда как хуже, вроде вражеского десанта, особняки «новых русских», разбросанные там и сям, теснящие сосны, аллеи, скромные писательские дачи. Из красного и белого импортного кирпича, под высокими готическими крышами, в два, а то и в четыре этажа, с гаражами, глухими оградами, из-за которых раздаётся свирепый лай сторожевых псов.

— Было у нас своё футбольное поле,— замечает Валентина Абросимовна,— дети на нём играли, да писатели баловались, ещё с послевоенных лет. Миша Луконин, Женя Евтушенко, Винокуров, Трифонов… Так его под дачный кооператив отдали. Наверняка за большие деньги, стройка шла ударным способом, как при социализме.

Возвращаясь к родной медицине, добавила:
— А с медикаментами всё хуже и хуже. Раньше какие-то деньги поступали к нам в медпункт из больницы и поликлиники Литфонда. Скромные запасы и самое необходимое имелось. Понятное дело, не «кремлёвка», но как на приличной станции скорой помощи. Теперь лекарства дают через три месяца, раз в квартал, и их, конечно, не хватает. Директор даже приказ подписал об оказании только срочной помощи, а так— за свой счёт. Наши постояльцы знают об этом, всё привозят с собой да с товарищами делятся.

Вскоре после моей поездки в Переделкино во Владимирском театре кукол прошёл творческий вечер Андрея Вознесенского. После успешного виртуально-стихотворного вернисажа в кабинете главрежа театра Владимира Миодушевского состоялось неформальное общение с поэтом. Андрей Андреевич был раскован, общителен, что неудивительно: всё-таки Владимир— его родной город. В ходе беседы он весьма откровенно отвечал на любые вопросы. Среди них оказалась парочка моих— оба, понятное дело, явились эхом переделкинской осени.

Касаясь подробностей тяжбы между дочерью Ольги Ивинской и наследниками Пастернака, Андрей Андреевич ответил:
— Рукописям Бориса Леонидовича, наверное, лучше будет в России. Это всё-таки общенациональное достояние. Что касается Ольги Всеволодовны… Она ведь стала поэтическим ангелом, скажу без преувеличения— музой Пастернака. Так, наверное, её и следует воспринимать. Ей в значительной степени мы обязаны тем, что создано Борисом Леонидовичем в послевоенные годы, вплоть до самой смерти. Разделять их, ставить между ними какие-то барьеры было бы, наверное, неправдой.

А о Валентине Абросимовне Голубевой Вознесенский отозвался так:
— Ах, Валюша! Это наша медицинская мадонна. Через её руки, таблетки да инъекции прошла почти вся современная русская литература…

Евгений Минин

Страшные тайны

Женские тайны

Как пахнут морем и жасмином
Мои латышские духи!
И вот, чтоб нравиться мужчинам,
Я ими брызнула в стихи.
Марина Бородицкая

Тебя, читатель, знаю точно,
Мои стихи не утомят.
Я придавать умею строчкам
Какой угодно аромат.
Порою брызгаю заразу
В них—
хлор и даже аммиак.
Такие вслух читаю сразу,
Когда привяжется маньяк.

Детский секрет

Всю классику в доме держи под замком,
Чтоб чадо её изучало тайком.
Марина Бородицкая

Стихи Бородицкой прибрал под замок!
Надеялся, что прочитает сынок.
При всех объявил, что, хотя и люблю,
Того, кто откроет замок— отлуплю.
Ответил мне сын: «Папа, что же с тобой?
Не прячь Бородицкую, словно „Плейбой“.
Меня не волнует твой страшный секрет,
Теперь у детей под рукой Интернет».

Людмила Щипахина

И верность, и долготерпенье…

Тыл

Вдалеке от всех сражений,
Но в невидимом строю,
Мы — на страже убеждений
В стратегическом бою.

Незаметно и заочно
Обретаем естество,
«Свой-чужой» — сверяя точно.
Точно зная — кто кого…

Может быть, ещё не скоро,
Но придёт желанный час…
Против нас — такая свора!
Но история — за нас!

Пусть от нас далече беды —
Мы как будто в стороне…
Но в *тылу* куют победы!
…На невидимой войне.

Украина

(Так будет!)

…День придёт и час настанет,
На смертях и на крови
Возродится и воспрянет
Вековой простор любви.

Будет путь смертельно труден.
Позади него — война…
…Над Днепром, который чуден,
Разольётся тишина.

Память дней приглушит грозы,
Приутихнет в сердце ком…
Мы утрём святые слёзы
Знаменитым рушником.

Вновь Россия с Украиной
На привольный выйдут шлях,
Дети матери единой
На родительских полях…

На бесславную кончину
Не надейтесь, господа!
Ще не вмерла Украина!
И не сгинет никогда!

Россия

Крепки любовь и память о былом…
Опомнились мужи её и дети.
Не уничтожил ни распад, ни слом
Её надежду, равную победе!

Россия копит главные слова…
Стряхнёт проклятья аспидного груза!
Она — святая, грозная вдова
Погибшего Советского Союза.

● ● ●

Всё досталось мне от века:
на пороге появился
Чудотворец Николай…
В меру грустен, в меру весел.
Нимб на вешалке повесил.
Остальным — готов делиться
щедро, только пожелай!

Не перечу Николаю,
я сама к нему пылаю.
Закрутилась, завертелась
запоздалая метель.
Два разрозненных бокала —
это много или мало?
В стороне стоит устало
одинокая постель.

В перламутровом тумане
позабудешь об обмане.
Словно бабочку с ладони —
это марево не сдунь…
Далеки ещё морозы —
от поэзии до прозы.
А пока что так прекрасен
осенивший нас июнь.

Светит лунная дорога,
нимб сияет у порога.
Всё на свете — быстротечно.
Разве ты не знаешь сам?
Тает время, словно свечка…
Николай, скажи словечко!..
…Капля вечности стекает —
сном медовым по усам.

Осеннее

Под осенним крылом небосвода,
Там, где полдень в деревьях увяз,
Захлестнула меня непогода
Ваших хмурых не пристальных глаз…

Может быть, не предвидя ошибку
И беспечностью этой правы,
Так опасно скупую улыбку
Обронили нечаянно вы…

И неясную жажду ответа
Вы зажгли, не заботясь о том…
Словно с неба упала комета
И меня зацепила хвостом.

Содрогнулся простуженно воздух.
В бесконечность ушли поезда.
И на западе тускло и поздно
Загорелась ночная звезда.

Ощущенье подземного гула
Прокатилось по облику дня.
Вечным холодом с юга подуло
И осыпало снегом меня.

В никуда полетел ниоткуда
Света дивного огненный сноп.
…Это, может быть, просто простуда…
Это, может быть, просто—озноб…

Воспоминания о Никарагуа

Отрывок

…Взлетают слова раскалённо
Сквозь взрывы, стрельбу и пальбу.
Каратели шлют батальоны.
Луис продолжает борьбу.

Сто раз бы он с жизнью расстался.
Смертельные шрамы на лбу…
Но не отступают повстанцы!..
Луис продолжает борьбу.

Он здесь на виду—и в подполье.
Собратьев в атаку ведёт.
Он падает, корчась от боли.
И, корчась от боли, встаёт!

Под кроной разбитых орешин,
Во рву, на далёкой меже,
Быть может, он трижды повешен,
И трижды убит он уже.

Спросите о том у сограждан:
Какую он принял судьбу?
И вам обязательно скажут:
Луис продолжает борьбу!

О пятой колонне замолвите слово…

Надо сорвать вековую печать—
Хватит о пятой колонне молчать!
Ходит она по дороге кривой,
Тайный вредитель. И спрут мировой.

Вместо святого содружества наций
Ей по нутру—торжество корпораций.
И по натуре ей—новенький «изм»,
Хитрый, секретный её глобализм…

Чёрная, грязная, грозная сила
Тайно внедрилась и власть захватила.
Ею затеяны козни и войны.
Видно, такого мы нынче достойны…

Двое неравных: «элита» и быдло…
Правду искать—и смешно, и обрыдло.
Но чистоганом несутся поклоны
В банки всемирные пятой колонны.

Наша реальность—как лошадь хромая.
Так и живём мы, не всё понимая…
Дом покосился, разбито корыто.
Многое видим! Но большее—скрыто…

Совесть и праведность—наши награды.
Нас—миллионы, и тьмы, и громады.
Скоро ли станем в прекрасной дали
Светом планеты и солью Земли?!

Друзьям

Друзья мои, у вас легка рука.
Ваш глаз не сглазит.
И известно тоже:
Когда хула слетает с языка,
Она ему досадна и горька…
Молчанье—легче. Истина—дороже.

Так чист родник, приближенный ко рту,
Что я глоток поспешный сделать трушу.
Зачем стряслось такое на роду?
Зачем я вникла в вашу доброту?
Пустила в сердце. И связала душу.

Общительности скрученная нить
Сухую отчуждённость распилила.
И вот учусь я с вами есть и пить.
И всё, что есть, и всё, что может быть,
Я меж собой и вами разделила.

Друзья мои, не тяжела ли вам
И верность ваша, и долготерпенье?
Угодно ли разумным головам
Простить моё пристрастие к словам
И от меня—принять стихотворенье?

Александр Кердан

В преддверье грозы

Глубина

Утонул в твоих глазах. Так Атлантида
Канула однажды в океане…

Будь стихия доброй иль сердитой,
Будь мрачна она, иль светом осияна,
Атлантиде всё равно—она пропала:
Ни следа на водной глади, ни остатка.
Был здесь материк и вдруг—не стало…

Мне ж тонуть ничуть не боязно, а сладко.
Потому что мы теперь—навеки вместе,
Даже, если обо мне ты позабудешь,
Я в душе твоей всегда на том же месте,
Там, где ты со мною встречи ждать не будешь…

Солдатик

Он в атаку был поднят нещадно,
Он вперёд был обязан пойти
Этим утром, сырым и прохладным…
Дот стоял у него на пути.

А в том доте вражина холёный,
Выпил кофе, к прикладу припал—
Стеганул по равнине зелёной
И солдатику в сердце попал.

Как подкошенный—в мяту и клевер
Он, не видя уже ничего,—
Пал ничком, и наколочка «Север»
На руке остывала его…

И слезинка скатилась из глаза,
А рука всё сжимала цевьё
«Трёхлинейки», которая сразу
Потеряла значенье своё.

Конец лета

Владимиру Усманову

Месяц, словно конь в ночном,
Пьёт из речки сонной,
Звёзды бродят табуном
В небесах бездонных.

Пряно пахнет лебедой,
И водою чёрной,
И картошкой молодой,
В углях запечённой.

Коромысло

Светлые приходят мысли,
Мрачные приходят тоже…
Два ведра на коромысле
Мы несём по воле Божьей.

Тяжестью—сродни с судьбою
Под упругою дугой,
Но одно с живой водою,
А другое—с неживой.

И, порою сам не знаю,
Как две крайности принять,
Как суметь пройти по краю,
Чтоб воды не расплескать.

Чтоб полны ведёрки были,
Всем, чем жизнь полна сама,
Чтобы в каждом отразились
Солнца свет и ночи тьма.

В преддверье грозы

Скажите, откуда
Крылатое чудо—
Мелькают стрижи?
Ответьте, кто знает,
Зачем они стаей
Вершат виражи?

И вновь на рассвете
Пищат, точно дети,
Зовущие мать.
Трепещут, как знамя,
Что под-над полками
Идёт воевать.

Бесстрастно, как пули,
В звенящем июле
Срезают траву
И каждой былинке
Пророчат поминки
Почти наяву.

И снова взмывают,
И нам обещают
Весенних соцветий салют.
Архангелы будто—
В прозрачное утро
Опять за собою зовут.

● ● ●

Последние цветы прихвачены морозцем.
Им жить осталось день, а, может, и полдня.
Среди зелёных трав они как инородцы,
Грядущим холодам далёкая родня.

Но так прекрасен миг прощанья с милым летом,
С землёю, что вчера была щедра, как мать,
Что некогда скорбеть и сожалеть об этом,
А можно лишь внимать, внимать и принимать

Звучанье тишины и медленного солнца
Движение наверх, в рассеянный зенит.
И, может, первый раз, смирившись, не бороться
С тем, что на всей земле всех стариков роднит…

У Дома писателей в Екатеринбурге

На улице Пушкинской липы в цвету…
В. Т. Станцев

Учитель написал про улицу и липы,
А там тогда росли сплошные тополя…
Но он-то был — поэт, по-своему — великий,
И вещие слова услышала земля.

Поэта мы навек однажды проводили,
И сразу опустел писательский причал…
А после тополя на Пушкинской срубили,
Здесь липы зацвели, как Станцев обещал…

Так пусть живёт в веках пророческое слово,
Таится в немоте и расцветает вновь,
Как верный знак, что жизнь светла в своей основе
И нежности полна, как поздняя любовь,

Которая глядит на мир смиренно, мудро
И не винит судьбу, что дней в запасе нет…
По улице спешит доверчивое утро,
Как будто в первый раз, вдыхая липы цвет…

● ● ●

О чём грущу? Есть крыша надо мною,
Одет, обут, люблю и сам любим…
Но грусть во мне, она — совсем иное,
Она клубится в сердце, словно дым.

Она всё необъятнее, как память
О том, что знал ещё до бытия
Об этом мире, об отце, о маме,
О том, кем буду в этом мире я.

О небе, о земле, о звёздах дальних,
О Боге и о бездне, что под ним…
Чем старше я, тем грусть моя печальней,
Хоть я одет-обут, люблю, любим.

Но безысходность видится яснее,
Как будто и не жил я никогда
Без этой грусти, будто перед нею
Не ведал я счастливого стыда…

● ● ●

Нет чудесней денёчков таких:
Светит солнце над лесом и полем,
И внучата погодков моих
Караванами движутся к школе.

И такая нежданная грусть
Проникает и в сердце, и в душу,
Будто с места, как птица, сорвусь,
Но в округе покой не нарушу.

Просто буду лететь и смотреть
На златое сеченье погоды,
Где листва превращается в медь
И темнеют озёрные воды…

● ● ●

Когда закончатся мечты
И надо дальше жить,
Со мной останешься лишь ты
Чаёк некрепкий пить,

По нашей улице гулять —
От дома до скамьи,
И терпеливо принимать
Брюзжания мои.

И не сердиться, видит Бог,
Что сделал я не так…
И я к тебе не буду строг,
Дыша с тобою в такт.

Впадая в детство, день за днём
Мы проживём сто лет.
И, может, вовсе не умрём —
У детства смерти нет.

Но есть такая красота —
Стрекозы да цветы.
Но есть такая высота,
Где вечны я и ты.

● ● ●

Жизнь разводит влюблённых,
Как мосты над рекой.
Левый берег бетонный,
Правый — тоже такой.

И мгновенья, и годы,
Как слепая тоска…
Но плывут пароходы,
И дымится река.

Жизнь проносится мимо,
Наваждение смыв…
И меж двух половинок
Только неба разрыв.

Юрий Годованец

Чужое сердце прокатилось

Хмельной промельк

С утра плотва мою морочит удочку
И мотыля с крючка снимает хитро,
А отвлекись хотя бы на секундочку—
Всю выпивает плоти кровь, до литра!

Не знаю, где и спрятать эту баночку
Души пустой, в какую сгинуть чащу…
Но всё же засмотрелся я на бабочку—
И вновь Господь наполнил—с горкой—Чашу.

Фиеста акафиста

Тебя я ещё не ударил в торец,
А только легонько—по краю бокала.
Плоть вдруг загудела иль духа искала
Небьющихся бьющихся наших сердец?

От ласки не только бокалы поют,
Сухое вино закипает от ласки!
Мы слушаем внутренний голос огласки
Две тысячи лет на пороге минут.

Скрестив олимпийскую пару колец,
Волнуется образ в румянцевой краске;
Подвижны уже неподвижные пляски,
Я вижу—живой звуковой изразец.

И руки незамкнутый контур замкнут,
И вновь на кресте силового кристалла
Нам тонкого горла становится мало,
Ломается пряник и щёлкает кнут…

Нестёртые грани

Завтра дата, а далее пост,
и, впадая из крайности в крайность,
то стою, то иду через мост
и о ранние сумерки ранюсь.

Хорошо, что черешня сошла,
хорошо, что нагрянула вишня!
Знать, ещё не остыла зола
и молитва о дате нелишня.

Позади палисады села,
впереди ещё бóльшая глупость…
Нас доступность куда завела,
а уж как завела недоступность!

Худога духа

На листе ожидания—новые почки!
Что удивительно: произошло
Всё из единой, единственной строчки—
Пространство, материя, время, число…

И как бы садовник иной ни старался
Новые почки спрятать под спуд,
Число, материя, время, пространство—
Туда постучатся и совпадут.

Петрушка и укроп

Пил по чуть-чуть, но столько повторял,
Что сам не знаю, где кровать, где стол…
Я голову с тобою потерял,
Да только так я тело приобрёл!

Пусть все мне скажут:—Юра, это пост!
И ты не интересен СБУ…
—Кто, я не интересен? Я же мост
Из хаты—стратегический—в избу!

Эпоха, правда, на ухо туга,
И ум суетомудрия в дыму.
Но—папы-мамы вольтова дуга—
Я радугою небо подыму.

И прямо в грядке посреди европ
Из грозного грядущего и впрок
Взойдут вдвоём петрушка и укроп,
Посаженные року поперёк.

Другая радуга

Что-то день никак не оторвётся,
Хоть уже взошла ночная сеть.
Что здесь сутки делают без солнца?
Можно в невесомости висеть!

Впредь нас ожидает то, что было,
Или неожиданное зло?
Если пéкло много возлюбило,
Может, как и время, истекло?

Родина отмщения и мести!
Господи всесильный и благой!
Как скакалка, прыгает на месте
Радуга с оторванной ногой…

● ● ●

Не то чтобы очень грущу, но всё же…
особый случай — один из ста!
На нежность тоже смотрю всё строже!
Какая загублена красота.

Но если же нам не дано свиданье
и жар озноба в морозной мгле,
мы можем встретиться на майдане
с коктейлем Молотова — на метле.

Метаются вновь города и веси
там Третьей надмирной и мировой.
Ты, может быть, в невесомости взвесишь
прямую правду моей кривой!

Кровоточит что в притворе храма,
то претворяется в алтаре,
национальная в целом драма,
как пятна солнца — в родной дыре.

Я выпал инеем, обмолился,
и до сознания не дойдя…
Но огнестрельные наши лица
ведь Богу сущему не судья.

● ● ●

Световая сыплется пшеница,
Млечный опоясывая Путь.
Почему так трудно мне решиться
В центр Вселенной руку протянуть?
Знаю: мне он весело ответит
И желанье хныкать отошьёт.
Хорошо, что есть ещё на свете
Зёрен счастья неоткрытый счёт!

Заповедная бездна

Улей или муравейник,
птичий рынок, рыб косяк
снов полны благоговейных
после яви — так и сяк.

Солнца жизни преогромны,
явью разгорячены,
мечут молнии и громы
у подножья тишины…

Утром будет перекличка,
и косяк затянет грусть!
Может, вредная привычка,
я от счастья не проснусь.

Что я здесь не видел, Боже?
Полыхает звёздный путь…
Можно и на Млечном ложе
Иго свергнуть и сверкнуть.

Звезда Дикороссии

Сердце бабочки качает воздух или
Молнии сигналы подаёт
На сухом спектральном суахили —
Совершить астральный перелёт.

Это чудеса из настоящих,
Тех, что совершают с двух сторон…
Тот, кто расшифрует чёрный ящик,
Тоже станет белый махаон.

В радуге из пчёл

Вся произросшая глазками,
Товарищ мой на цвет и звук,
Стоит в садах рукоплесканий
Венера дикая без рук.

В садах она стоит и стонет,
Мой кровный мраморный магнит…
И я держу её ладони;
Одни они теперь мои.

Новая Гондвана

Глубины, впадины, лагуны,
Изгиб коралловой коры…
Здесь древние поили гунны
В крови прохладной топоры.

Всё представало в новом стиле:
Солома, глина, уголь, мел…
И даже камень напоили,
Да так, что — разокаменел;

Весь отдаваясь твёрдой силе,
Дал налепить последних баб.
И мы следы в полях месили,
Но скоро верный след ослаб.

Пора обратно ставить мету —
Неразделимую тамгу —
Серебряное стремя свету!
А как — я показать могу.

Накануне

И всё-таки — для тел —
есть ощущенье фокуса

в невероятно правом
торжестве!

Мы ходим за предел
на фоне жизни фоткаться…

А Дух Господень —
прямо по листве.

Юлиан Фрумкин

На землю заката, на небо восхода…

● ● ●

По листьям, по лужам, по свежей пороше
Уходят в Самаре, в Елабуге, в Орше.
По небу, по речке, по тропке в лесу
Дыханье своё, как икону, несут,

Как облачко Духа Святаго, с штрих-кодом,
В парковки подземные и переходы,
В разломы пород и несметных народов,
И смотрят оттуда сюда хищным оком,
Питая берёзы берёзовым соком,
Морошкой врачуя. Став камнем на Каме.
А мы всё о том, что их нет рядом с нами…

За Вологдой, Пермью, в дремучей Сибири
Молчанье ушедших повисло, как гиря.

И смотрит тайга, прорастая с испода,
На землю заката, на небо восхода…

● ● ●

Жить бы мне по большому счёту—
Родником быть на дне оврага,
И весёлую делать работу—
Под лопух бежать, под корягу.

Не цветок, не пчела, не камень…
Красоты во мне—кот наплакал…
Иногда говорю стихами
Да пред жизнью снимаю шляпу…

Ничего-то я не умею,
Всё смотрю на жизнь и немею—
Нету слов для такого чуда…

Развожу изумлённо руками…
Ну откуда она, откуда?..

И куда она вместе с нами?..

● ● ●

Как-то даже неприлично
До сих пор писать стихи
О какой-то жизни личной,
Полной всякой чепухи.

Когда жмёт, и жизнь не впору,
И из всех щелей сквозит
Уксус сладкого кагору—
Пью кошерный чистый спирт.

Стих с исподу, из мычанья,
Когда я ни бе ни ме,

Из вселенского молчанья,
Что как Млечный Путь в окне.

Неприлично как-то даже.
Только горе не беда.

Хлещет из небесных скважин
Дождь и… мёртвая вода…

● ● ●

Страницу белую оврага
и стенографию ручья
я прочитал, пока бумага
была без подписи, ничья.

Стояла дивная погода.
Всё вызывало интерес:
река желала ледохода,
капелью бредил зимний лес.

Ещё не поджимали сроки,
но всё сводилось к одному—
к весенней радостной мороке,
желанной сердцу и уму…

* * *

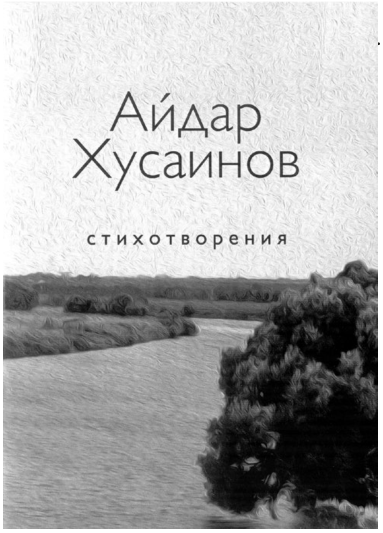
Кто придумал согласно означить согласные звуки?
Кто додумался гласные звуки писать между делом?
Кто додумался речь взять, как яблоко, в тёплые руки
И пойти с алфавитом по миру в иные пределы?

Кто кружочки и чёрточки—знаки в двоичной системе—
Рисовал на песке, на камнях, на папирусе, глине?
Нам уже никогда, никогда нам не встретиться с теми,
Кто раздвинул границы, в которых живём и поныне.

Наши формулы, равно как формулы древних, зависли…
Наши формулы—граффити Духа на досках забора сознанья,
Где мы сердцем и кровью рисуем свои несуразные мысли
Так красиво и выпукло: в Риме, в Калуге, в Рязани…

Мы—внутри языка. И мы живы—покуда читаем
И всё пишем и пишем Диктант, благо палочки есть и кружочки.
Это грешная плоть выбирает меж адом и раем,
Дух же—реет свободно в любой ненаписанной строчке…

ДиН ревю



Айдар Хусаинов

Стихотворения

Уфа, 2014

Русская поэзия, качественно (по глубине осмысления и важности поднятых тем) одна из лучших в мире (умеющие читать на русском языке обычно полагают, что лучшая, и небезосновательно)—количественно весьма скудна. Её средоточие—так называемая «философская лирика»—это всего лишь несколько десятков стихотворений, в пределах сотни, написанных за последние два века.

Оборвалась она, эта традиция, с Блоком, Мандельштамом и Заболоцким. Советский строй имел игровой, а не натуралистический характер (ср. статью Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии»), и вследствие этого все, кто поверил этой игре (включая Пастернака и отчасти даже Бродского, как отчаянно тот ни сопротивлялся)—смогли создать только вторичное, опосредованное, не более чем в рамках определённой, придуманной в кабинетах идеологемы.

Закономерно, что русский язык освободился от этого морока только в 80-е, с падением—или тогда ещё креном—советского строя. Но никто не смог так выразить это новое чувство, восходящее к старому, как Айдар Хусаинов.

Тарас Бурмистров
tbv.livejoural.com

Скажу честно—я и предполагать не смел, что то «умозрение в красках», которое умели набрасывать на умственном холсте Тютчев и Заболоцкий—не умрёт, а возродится (или останется) в наших современниках.

Перед вами сборник. Я призываю вас: прочитайте его. Я хотел бы выделить это «прочитайте» так, как не позволяют типографские средства, любой курсив и жирный шрифт.

Русская поэзия не умерла. Ниже—живое тому свидетельство.

Возможно, это значит, что не умерла и Россия. Но не будем загадывать так далеко.

Владимир Мялин

Старые усадьбы

● ● ●

Всё когда-то кончается. Голуби, двор;
Слава, золото, распри — и даже позор.
Пара брюк, и рубашка, и серый пиджак;
Радиола и голоса нежного шаг.
И игла, и юла, и Галактики круг;
Седовласый гончар в белом коконе рук.
Старикашка под липой; бутылочный бой…
Остаётся, пожалуй, слепой и немой,
Бестелесный, беспалый, безвременный бред…
Остаётся всё то, что мелькнуло — и нет.

● ● ●

Усадьбы старые, зачем я нужен вам?
Вы, как на привязи, идёте по пятам;
Смеётесь, плачете и шепчете — о чём?
Я нужен вам? И вместе мы умрём?..

На части малые нас вечность разберёт:
Ворота с вензелем, окон глазницы, рот…
И будут лебеди опять белеть в пруду
Ночных небес, которых не найду…

Усадьбы старые, зачем я вам такой —
Смесь голоса с извёсткою сухой?..

Персефона

В безвоздушье, во тьме безголосой,
Где кидают в огонь антрацит,—
Словно жалобный крик паровоза,
Мой рожок елисейский гудит.

И огонь, озаряющий темень,
Чтобы только посеять беду,—
Это тоже — пространство и время
В семафорном и вечном аду.

И проходит курьерский, и скорый,
И товарный роняет дрова…
Персефона моя, для которой
И немой — подбираю слова.

И аккорды, как шлак, подбираю,
И лицо моё бледно в огне.
Персефона, моя дорогая…
Поезда, подпевавшие мне…

● ● ●

Обойти бы, наверно, могли бы
Стороной этот давний уклад…
Дионисий на лавке под липой
Хлещет чёрный, как ночь, виноград.

У него увеличена печень,
Но на сердце уже отлегло —
И ворчит он, заносчив и вечен,
Про какое-то дивное зло…

Этим злом увлечён и подхвачен,
Он уносится в вечность и дым.
И становится он, не иначе,
В этой вечности — словом моим.

И летит оно, чу́дное слово,
Порожденье лозы и листа.
И вино золотое готово
Веселить и печалить всегда.

● ● ●

Построил Пётр отменный флот
И прорубил «окно в Европу».
Вот медный конь его несёт.
Подобен крашеному гробу,
Раскрылся запад перед ним —
И вдруг рассеялся, как дым.
С коня он сходит, озирает
Пустырь, заросший лопухом,
Травой колючей и репьём:
Ничто и не напоминает
Ему могущества махин
В стенах заводов — и на реках
Не видит мельниц и плотин.
И в зеленеющих доспехах
Стоит как вкопан конь… Тяжёл
Шаг медный: оглядел пустыню —
И на коня, и на восток
Понёсся Пётр — и конский скок
В моих ушах стоит доныне…

● ● ●

Свободный до боли и слова
В утробе твоей горловой,
Ты словно рождаешься снова,
И будто бы даже—живой.

И бедного счастья на грани,
И там, где дыхания взвесь,—
Ты сердце тревожишь заране,
Как будто на свете ты есть.

Как будто ты—замысел Божий,
И чудною волей Творца
Ты свет этот чувствуешь кожей
И бледным звучаньем лица.

И всё, что в тебя перелито:
И небо, и голос живой,—
Всего лишь до времени скрыто,
Как тайна рожденья,—тобой.

● ● ●

Всё падает с дерева смоква.
И лист шелестит, пятипал.
Старик, седовласый и добрый,
Летит—и пока не упал.

Так мерят пространство и время
И сами не знают о том,
Бескрыло летя надо всеми,
Забыв о паденье своём.

Лазурь и прохладу густую
Старик наливает и пьёт.
И падает с неба впустую
Мучнистый не треснувший плод.

Ему не разбиться о землю;
С земли не упасть старику.
Он что-то бурчит про царевну…
А что—разобрать не могу…

● ● ●

Под небесами, над облаками
Топаем чьими-то башмаками,
Что—как колодки нам были тогда…
Умерли—стали и детские впору.—
Перетанцуем мы Терпсихору,
Перепоём провода.—

Звоны к обедне; железной дороги
Перегудим самоходные дроги:
Стало бы духу подуть.
Гуселек, дудок бы в небе хватило—
А озорная былинная сила
Всё перетрёт как-нибудь.

● ● ●

Сервантес собирал налоги.
Потом и сам попал в тюрьму.
И Дон-Кихотовы дороги
Сбежались весело—к нему.

Он взял перо—и рыцарь тощий,
И верный Панса на осле
На камне проступали проще
В слепой острожной полумгле.

Затем его освободили.
Но стал он зреть ещё верней
Кихано в романтичном стиле
И Дульсинеевых свиней.

Он населил Испанью слогом;
Он кисть в сраженье потерял.
И больше никаких налогов
Он никогда не собирал.

● ● ●

В печи—зола, стервятник в сини.
На телеграфные столбы,
Крича, снижаются богини
Паденья, мести и судьбы.

Гомер ослеп, в окошко глядя
На жёлтые снопы полей,
И борода его, и пряди
Ещё печальней и седей.

Он лиру отложил и плачет—
А сквозь похмельное стекло
Ахейцы в колесницах скачут
И кони дышат тяжело.

● ● ●

Спит—солома в бороде.
Не бывать одной беде.
Голосит вдова, как выпь,
Заставляет деток выть.

Был—кузнец,
И был шахтёр,
Беглый,
Угольщик
И—вор.
Стал—как облако в воде,
И солома в бороде.

Близко колокол поёт.
Гроб над озером плывёт—
Спит бедова голова.
Бьётся в озере вдова.

Наталья Ахпашева

С той стороны Вселенной

Enfant-monstre

А ведь многое дадено девочке этой сердитой,
знаменитой в каком-то из местных гротескных миров.
Укротительница — тоже цаца! — воздушных шаров,
но какие стигматы трико серебристым сокрыты…
С добросовестным рвением норов каната испытан
и умение красных атласных её башмачков.

Тут в округе богатая ярмарка плещет честна́я,
разгулялась других посмотреть и себя показать.
Развлекается молодцев праздных мажорная рать,
и резвится гламурных подружек отвязная стая.
Зазывалы не жалуют связок, народ зазывая,
и нельзя не зайти, не взглянуть, не купить вдругорядь.

Ну и дальше айдате сорить медяками туда, где
шапито приютился! Пассажем, по четверо в ряд,
страусиные треплет султаны саврасок отряд,
и на велосипедах гарцуют медведи. Отпадней
разве ж рыжий ковёрный (искра́ депрессива во взгляде),
и под куполом — эквилибристку качает канат.

Барабанная дробь — вдохновитель особого рода…
Ах, какое техничное сальто-мортале вперёд!
Перекрестится рыжий украдкой. Наивный народ
благодарственно зарукоплещет, хватив кислорода.
А вот если бы что — сокрушались не менее б года,
ну, примерно до ярмарки новой на будущий год.

А могла бы летать, как сильфиды и альвы летают,
над зиянием бездн усмиряя межвёздный мистраль;
просто выпустить крылья — и ввысь, в невесомость и вдаль!
Всё же как по канату легко она переступает…
О своих исключительных свойствах не подозревает,
или верного клоуна до патологии жаль?

Песенка

Тёмной ноченькой никак не спится мне.
Одинёшеньке, не лежится мне.
Волна за волной в берег плещется.
С молодой женой мой милый тешится.
Он с ней целуется, обнимается,
то вдруг встревожится, запечалится.
Всё-то кажется, ему мерещится —
волна за волной в берег плещется.
И оттого, родной, никак не спится мне
в глубине прохладной, на песчаном дне…

Разговор, которого не было

Чёртова кукла! Дурёха! Соплюха!
Слёзы в четыре ручья.
Тушь и помада от уха до уха.
Горе — осталась ничья.
Увещеваний разумных не слышит.
Вспомнит ли через года?
Изо всего, что отмерено свыше,
меньшая эта беда.
Наилегчайшая это потеря
из предстоящих потерь…
Так и должно быть, родимая, с первой
болью сердечной. Поверь!
Не о ком, не из чего сокрушаться,
горько в подушку рыдать!
Но вот сама я не смею признаться
и не решаюсь сказать…

● ● ●

Важные мальчики
и строгие девочки,
белые воротнички…
В офисы-клеточки
дисциплинированно
гоу — с восьми утра
мозги загружать в окно
обжоры-компьютера!
Правила правят тут.
Трудится племя некст.
Тут от души фастфуд,
зато безопасен секс.
Ни опыта уличных драк,
ни приводов в отделение…
Нет, что-то идёт не так
в теперешнем поколении —
или труднее дышать,
или сложнее жить,
не из чего выбирать,
некого полюбить…
Славные мальчики
и добрые девочки,
папочке-мамочке
простите ли, деточки?

● ● ●

Зашторено знакомое окно.
Окрестный космос сумрачен и млечен.
Всё как всегда в просторах зримых, но
тебя как не было до вашей встречи.

Вся роскошь мира—запах, цвет и звук—
вокруг отсутствовала до мгновенья
случайного соприкасанья рук
и взглядов неизбежного сближенья.

Опомнившись у края пустоты,
испуганное сердце вновь забилось.
Ты и не знала, кто такая ты,
пока в его глазах не отразилась.

Но, знаешь, страхи будущих утрат
страшней, чем настоящая утрата.
Неважно, если он невиноват.
Поверь, что ты ни в чём не виновата.

Расплатой стало—научиться жить,
захлопнув дверь с той стороны вселенной.
Так небо небом остаётся быть
вне луж на серой мостовой весенней.

И боли, верно, ледяной игла,
вот здесь, истает. Наберись терпенья.
Теперь, оглядываясь, поняла
сама—на грани саморазрушенья…

Марине Кудимовой

Зрячая—взгляд ведьмачий.
Глянет—любой насквозь…
Плат никакой не спрячет
дивную эту злость,
дюжую эту силу—
выдержать Навь и Новь,
от самого Ярилы—
ярую эту кровь!
Морок ли дали застит?..
Очи сверкнут во мгле—
и молодняк клыкастый
брюхо прижмёт к земле.
В горсть—и года, и горы,
млечных путей жемчуга,
за́говоры, загово́ры,
обереги, берега…
В честь и Судьбе, и Вьюге
будет—принять дары
грозной своей подруги,
старшей моей сестры.

Светлана Мингазова

Ветер с верёвки

Страсти по Казани

Вновь побелела Казань: переулки, дворы, магистрали…
Розовый столбик термометра падает вниз.
Всё потепленьем грозили синоптики. Врали!—
Непредсказуем коварной погоды каприз.
. . . .
Здесь, на Гоа, с аравийской играя волною,
Вдруг затоскуешь: как сладок «отечества дым»!
Крыш бирюзовых мой город! От снега седым
Облаком звёздным растаял вдали.
Ты повсюду пребудешь со мною!..

…Всё включено в пятизвёздном помпезном отеле.
Эта печаль—первобытного пращура зов.
Только проверено: ром или «сотка» мартеля
Дома, у телека, вовсе не хуже, всамделе,
И без экзотики этих индийских даров.

Водная пыль Дудхсагара[1], чаёв аромат всевозможный,
Только притихла в груди моей певчая птица—скворец.
Что-то бормочет индус, завлекающий связкой колец…
Я—далеко от него. На Жуковского, в лавке пирожных.

Осень

Ветер с верёвки рвёт свитер линялый.
Осень последний свой день разменяла,
Подслеповатая, в рваном тряпье.
Где же одежда твоя золотая?
Денежки медные в косы вплетала,
Тихо звенели кружочки металла…
Всё это—в прошлом. И ты—в забытье.
Всякому—путь свой, но коротки сроки.
И не сияет уже на востоке
Утром холодным твоя красота…
Ты, в созерцанье чреды быстротечной,
Сыплешь дарами златыми беспечно,
Но под ногами—лишь мёртвые листья,
В чёрных деревьях сквозит нагота…

. . . .

1. Дудхсагар—название одного из красивейших водопадов Индии.

Читая Лао-цзы

…Там неба свод смыкается с водой
Широкой лентой тёмного индиго,
Но ближе к берегу меняет море цвет,
Переходя в густой ультрамаринный,
В зелёной растворяясь бирюзе;

И у буйков прозрачно-изумрудным
Холмом вздымает жаркие тела.
И в россыпь гальки розово-лиловой
Упругою волной—когтистой лапой,
Как хищница, накатывая, бьёт.

И тут же растекается, слабеет,
Ласкается и льнёт к моим ногам,
Из-под ступней легонько выбирая
Песок. Теряю равновесие…

Переступаю на другое место,
Игру волны невольно принимая,
И вновь переступаю, вновь пытаюсь
Нащупать ускользающую твердь…

Та сила беспрестанного движенья
Воды, что придаёт округлость камням,
Раздробленным на мелкие частицы,
В зернистый перетёртые песок,

Влечёт меня, всецело поглощает,
С микрочастицами песка и моря
Соединяет. И неразрушимо
Великое единство Предначал…

И нет уже ни времени, ни места…
Ни форм, ни очертаний и ни звуков…
И небо, и вода—всеобщий хаос,
В безмолвии струящаяся мгла…
. . . .
Переплетясь в космическом пространстве,
Эфир небесный и земной эфир
Плывут, клубясь, в безбрежном занебесье,
Внутри себя гармонию тая́…

● ● ●

Меж облаков—глазастая луна.
В дурмане сонном травы.
Кузнечика навязчивый мотив
Затихшую округу оглашает.
На дальней улице залает вдруг собака,
Откликнувшись на поздние шаги.
Соседский дом напротив,
Днём—нарядный,
Узорный, красно-бело-золотой,
Сейчас, в сиянье лунном колдовском,
На домик пряничный похож из сказки.
Ментоловый дымок от сигарет
Мазком белёсым—на палитре ночи…
С крыльца высокого свидетелем невольным
Смотрю в чужое светлое окно.
Сквозь лёгкий занавес—девичий силуэт
В движении замедленного танца.
Ещё мгновение—окно погасло,
И распахнулись створки в темноту…
Посёлок спит.
В тиши ночной застыла
Бездонная над миром высота.
Небесной тверди
Кобальтовый свод
Люминесцентным грифелем расчерчен…

Камиль Зиганшин

Страна улыбок

Путевые заметки

И вот подо мной — Непал, королевство, зажатое между мистическим Тибетом и тропической Индией в центральной части Гималайских гор («Хималаи» на непальском означает «обитель снегов»).

Небольшая страна (с севера на юг двести, с востока на запад восемьсот километров) имеет на своей территории восемь из четырнадцати существующих на Земле восьмитысячников и самое глубокое в мире ущелье — Кали-Гандаки. Почти половина высокогорного королевства располагается на высоте более 3000 метров!

Ему принадлежит и «макушка мира» — Эверест (8848 метров). Здесь же родина одного из величайших светочей человечества — Сиддхартхи Гаутамы[1], отца древнейшей религии мира — буддизма. Считается, что в этих краях затерялась таинственная и непостижимая Шамбала — заповедное место, где формируется энергетика, необходимая для духовной эволюции человечества. Толкований значения слова «Непал» несколько. Если опираться на древний санскрит, то Непал — «земля у подножья гор».

Летим на высоте 9000 метров. Хотя солнце уже на западе, за хвостовым оперением самолёта, оно висит ещё достаточно высоко и хорошо освещает землю. Воздух над бурой, в зелёных мазках, землёй в густой сизой дымке, сквозь которую угадываются квадратики миниатюрных полей, крошечные постройки, извилистые, в светлой кайме берегов, русла обмелевших речек. Над горами же воздух прозрачен настолько, что, кажется, протяни руку — и дотронешься до ближнего отрога. Дальше на север чётко видны ряды остроконечных пиков высочайшего в мире Главного Гималайского хребта, покрытые вечными снегами и многокилометровыми языками ледников. За ними простирается на тысячи километров древний Тибет. При виде этой грандиозной панорамы всё, что совсем недавно беспокоило и волновало меня, отошло на задний план.

С юга, со стороны низменной Индии, на Гималаи волнами набегают более низкие хребты, покрытые зелёными кудряшками лесов. Их мощь нарастает от волны к волне, и сами Большие Гималаи — это уже угрожающе нависший над Тибетским плато циклопический девятый вал, который в самый последний миг так и застыл, не решившись обрушиться на священную для человечества землю.

Пока летели, небольшие отары облаков сбились в сплошное стадо и заползли под брюхо нашего лайнера. Коснувшись их, он как будто завяз в молочных клубах и стал стремительно погружаться в серую влажную мглу. Неожиданно она разошлась, и навстречу нам вынырнула овальная плодородная долина Катманду — лоскутное одеяло, сшитое из клочков разноцветных садов и огородов. В центре — размытое пятно столицы королевства, город Катманду. С высоты птичьего полёта он из-за сумбурности архитектуры напоминал… руины Сталинграда: один и тот же дом с одного угла может быть одноэтажным, а с противоположного — уже двух- или трёхэтажным. Эти беспорядочные перепады и создавали иллюзию разрухи. Преобладающий цветовой фон в это время года (последние дни зимы) из-за слоя пыли, скопившейся за пять месяцев без единой капли дождя, — серо-коричневый, и выглядит город сейчас не так свежо, как летом, в период дождей. Деревьев и кустарников мало, а имеющиеся усыпаны цветами — красными, сиреневыми, белыми: скоро по календарю весна.

1. Принц Сиддхартха Гаутама — Будда (пробуждённый, просветлённый) — родился в 624 г. до н. э. и должен был стать двадцать восьмым правителем Непала в династии Кирати. Но, видя множество страданий вокруг, он посвятил свою жизнь поиску пути, освобождающего людей от них. Результатом этих поисков стало Просветление под сенью многоствольного дерева Бодхи (Древа Мудрости), которое помогло ему выработать «правила для мирян», «правила пожертвований» и «правила восьмеричного пути», включающие в себя культуру поведения, культуру медитации и культуру мудрости. Случилось это, когда Будде было 35 лет. Ушёл он из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти послужила трапеза у кузнеца Чунды, во время которой Будда, зная, что кузнец собирается потчевать его друзей несвежим мясом, попросил отдать всё мясо ему. Будда считал, что его учение — не религия веры, а религия опыта: она не говорит людям, чтó они должны делать, а только учит, кáк думать.

Забавно, что закрытый Непал «откупорил» для посещения иностранцами во второй половине пятидесятых годов двадцатого века русский, одессит Лисаневич. Живя в те годы в Калькутте, он убедил часто приезжавшего в этот город короля Непала Махендру в том, что туризм может послужить хорошим подспорьем для бюджета его страны, и получил разрешение открыть в Катманду гостиницу и организовывать посещение королевства иностранными туристами.

Столичный аэропорт Трибхуван (он назван так в честь короля, правившего страной до Махендры, с 1951 по 1955 год) напоминал длинную казарму из красного кирпича с несколько неряшливой кладкой. Встречал меня молодой, интеллигентной внешности непалец по имени… Камал! Очень приятный, деликатный, с ослепительной улыбкой на лице. Знает пять языков, в том числе русский, что для Непала пока большая редкость.

Камал надел на мою шею шёлковый приветственный шарф и произнёс:

— Намастэ! (Здравствуйте!)

Непальское приветствие в его устах прозвучало нежно и распевно: «Наа-маа-стээ». На санскрите это означает: «Божественное во мне приветствует божественное в тебе».

Погрузив рюкзак, поехали в отель, расположенный в туристическом районе Тамель на белом праворуком лимузине восьмидесятых годов (движение левостороннее — сказывается длительное влияние англичан). Вот когда я каждой клеткой прочувствовал непальский стиль езды — одно из самых ярких и незабываемых ощущений от посещения королевства! Эти тридцать минут сразу дали возможность осознать, что я попал не только в другую страну, но и в другой мир.

Езда, надо признаться, не для слабонервных. Улочки в Катманду узкие, каменисто-ухабистые. То и дело произвольно меняют направление, при этом неожиданно раздваиваются, утраиваются или внезапно обрываются просто тупиком или аркой-туннелем высотой в полтора метра. Тротуары напрочь отсутствуют! По улочкам движутся в едином потоке люди, автомобили, велорикши, животные, мотоциклы, аляписто разукрашенные грузовики. Все беспрестанно галдят, сигналят, покрикивают, позванивают безо всякого на то повода. Просто так — чтоб веселей было.

Дороги настолько узкие, что каждый встречный автомобиль воспринимаешь несущимся на тебя смертником. Но за пару секунд до лобового удара машины фантастическим образом вытягиваются, истончаясь до требуемого формата, и проносятся в нескольких сантиметрах друг от друга, не сбавляя скорости. При этом ни один из водителей даже глазом не поведёт. Потрясающее чувство габаритов! Мне с непривычки было жутко. Сердце всякий раз сжималось от страха, а нога что есть силы давила на несуществующую педаль тормоза. Самое удивительное во всём этом хаосе то, что я в Непале не видел ни одного ДТП! Невероятно, но факт.

Судя по безмятежным улыбкам непальцев, для них такая езда — обычное дело. Поразило ещё вот что: если кто-то вдруг, встав в задумчивости посреди дороги, парализует движение, то на него не кричат и не бранятся. Просто терпеливо сигналят: очнись, мол, дай проехать.

Вообще, в Катманду какая-то особая, приятная энергетика. Она и приезжих постепенно заражает спокойствием и по-детски радостным отношением к жизни. Не могу не упомянуть непальское такси «тук-тук» — весьма экзотичный вид транспорта. Мотороллер с прикреплённым к нему кузовом-кунгом, в который набивается до восьми человек. Чтобы остановить его, надо успеть постучать по обшивке кабины. Поэтому и называется «тук-тук».

Застройка города невероятно плотная: при численности несколько миллионов человек (точную цифру никто не знает) он весьма компактен по площади. Дома лепятся друг к другу вплотную, без зазора. При этом на них нет — по крайней мере, я не видел — ни номеров, ни названий улиц. Проехать, а тем более пройти пешком к какой-нибудь достопримечательности без местного сопровождающего проблематично. Лабиринт из поворотов и ответвлений, следующих один за другим, ставит чужака в тупик через несколько минут, а горожане в этой неразберихе как-то умудряются ориентироваться.

Небольшие, в основном двух-трёхэтажные, дома раскрашены в немыслимые цвета либо просто неряшливо затёрты раствором. Общий архитектурный стиль прослеживается, но ни про одну постройку не скажешь: красивый дом (храмы, дворцы — исключение). Всё сооружено как-то наспех, имеет незавершённый вид. Не редкость — полуразвалившиеся или в трещинах, с отвалившейся штукатуркой, оконными проёмами без рам или с рамами, но без стёкол. В порядке вещей, когда к дому приличного вида лепится лачужка, сооружённая из полусгнивших досок, кусков ржавой жести, с обрывком грязной материи вместо двери.

Горожане убеждены, что улица является продолжением их квартир — почти на проезжей части сушат чили, кукурузу, готовят пищу, стирают и выливают воду. Зато на всех окнах и балконах — цветы; под карнизами трепещутся разноцветные флаги.

Помимо пёстрой многоголосой толчеи, бросается в глаза обилие лавок, магазинов, мастерских сверхминиатюрных размеров. Магазин площадью шесть квадратных метров — норма. Большие магазины наперечёт, а супермаркетов я лично вообще не видел. Улицы освещены плохо. Фонари стоят редко и светят как-то совсем робко.

Катманду сохранился практически таким, каким он был сто лет назад: узкие улочки, сотни храмов и ступ[2] на площадях, вечная смесь ароматов благовоний и запахов еды, пряностей, дыма сжигаемого мусора, выхлопов автомашин; со всех сторон звучит национальная музыка. Немало старинных домов с портиками, колоннами, деревянными ставнями, украшенными филигранной резьбой. Почти во всех дворах — статуи Будды, домашние ступы. Множество золочёных пагод, храмов с ярусами черепичных крыш, поднимающимися в небо. На их стенах нарисованы глаза Будды. Его всевидящий взгляд сопровождает людей повсюду.

Улицы полны миловидных девушек с выразительными тёмно-карими глазами на смуглом нежном лице. Лоб непальцев исповедующих индуизм, как правило, украшен точкой — тикой, знаком счастья и благоденствия. Рисуют её чаще всего красной краской, поскольку цвет крови символизирует жизнь. Наносится тика в самый центр лба, туда, где у бога Шивы находится третий всевидящий глаз. И хотя тика является женской прерогативой, по особо торжественным случаям и большим религиозным праздникам мужчины также наносят её.

Излюбленной одеждой женщин-индуисток по сей день является сари[3], представляющее собой шесть-восемь метров хлопчатобумажной или шёлковой ткани, особым образом оборачиваемой вокруг ног, бёдер и груди. Если чуть-чуть потренироваться (продавцы охотно помогают освоить эту науку), можно оценить преимущества древнего сари перед современным европейским нарядом. Ткани для сари используются самых разнообразных цветов и оттенков. Если женщина носит сари красного цвета — значит, она счастлива. Вдова никогда не наденет красное сари.

Непальцы — среднего роста, худощавые, смуглокожие и очень подвижные. В большинстве дружелюбны, улыбчивы. Их открытость и приветливость искренни, неподдельны. Мрачных, озабоченных лиц на улицах не встречал.

При общении с местным населением надо помнить, что непальцы, когда хотят сказать «нет», кивают, как болгары, а когда говорят «да», качают головой из стороны в сторону. Ещё я обратил внимание, что если с непальцем поздороваешься на его родном языке (намастэ), а тем паче поблагодаришь (даньябат), то он от счастья готов тебя чуть ли не на руках носить.

Население смешанное. Судя по тикам на лбах, в Катманду преобладают индуисты. Хотя и буддистов немало. Обе религии (общины) сосуществуют мирно: индуистские храмы и буддистские ступы повсюду рядом. Статуи Будды порой на индуистский манер посыпаны красной пудрой.

Буддизм[4] в основном исповедуют народности, живущие на севере, в высокогорных районах (всего в королевстве проживает более шестидесяти народностей; это, наверное, меньше, чем в России, но здесь все этнические группы сконцентрированы на территории, в сотни раз меньшей). Среди них многочисленны тибетцы (по преимуществу образованные и предприимчивые люди), тхакали (отличаются гостеприимством и поэтому нередко содержат отели), знаменитые горные шерпы (как никто адаптированы к жизни в высокогорье; про них говорят: люди с тремя лёгкими). Последние вне конкуренции в качестве носильщиков, проводников, хотя немало среди них и тех, кто преуспел в ресторанном и гостиничном бизнесах.

Индуизм[5] преобладает в южных, граничащих с Индией, провинциях. В средней же части страны обе эти религии за многие века переплелись настолько плотно, что возник симбиоз: индуизм воспринял некоторые черты буддизма и наоборот. Буддисты при этом куда терпимее к иноверцам, чем индуисты — у тех масса запретов и ограничений. В этом я не единожды убеждался, путешествуя по королевству.

Одеваются непальцы довольно пёстро и свободно. Мужчины в европейском костюме — большая редкость, и отношение к ним особо почтительное. Если же он ещё и при галстуке, то на него смотрят как на божество: всячески угождают, а

2. Ступа (в переводе с санскрита означает «макушка») — особо почитаемый монумент, символизирующий в буддизме гору Меру, олицетворяющую центр Вселенной. В них обычно помещают реликвии веры — например, мощи святых, кусочки их одежды.

3. Национальная женская одежда, представляющая собой шесть метров ткани, особым образом намотанной на теле.

4. Буддизм не является религией веры, он — религия опыта. Буддизм не говорит людям, что́ они должны думать, а учит, ка́к думать. Для современного человека особенно важным является то, что принципы буддизма не требуют ухода от реалий жизни и направлены на развитие радости, бесстрашия и сочувствия ко всему живому. Он не знает догм и открыт для любых вопросов. Его цель — в развитии изначально присущего каждому потенциала и пробуждении высшей мудрости во благо всех существ.

5. Индуизм — одна из распространённых религий. В нынешнем виде сформировалась примерно в V веке нашей эры. В этом учении главным критерием добродетельной жизни является постижение внутреннего смысла сути бытия. Во главе пантеона богов индуизма стоит троица богов брахманизма: Брахма — бог-творец, Вишну — бог-хранитель и Шива — бог-разрушитель и созидатель. Формой социальной организации индусов служит каста. От принадлежности к той или иной касте во многом зависят особенности религиозного поведения индусов. Общим для всех индусов является учение о перевоплощении душ. Благоприятность перевоплощения зависит от кармы — воздания за совершённые поступки.

на досмотре в аэропортах на такого господина буквально не дышат. Жаль, что я не знал об этом раньше,—оделся бы соответственно.

На улицах бросается в глаза обилие военных блокпостов: обложенные мешками с песком огневые точки с пулемётом, и несколькими автоматчиками внутри. Эти меры связаны с тем, что Непал уже более десяти лет находится в состоянии вялотекущей, с периодическими обострениями, гражданской войны. Хотя, к чести обеих враждующих сторон (коммунистов-маоистов и сторонников короля), туристов они не трогают. Более того—прямо-таки лелеют, как главный источник пополнения казны. Даже революционеры-маоисты понимают, что без туристов Непал, не важно, будет он монархическим или коммунистическим, просто не выживет. Правда, время от времени эксцессы и с туристами случаются: то под обстрел попадут, то отнимут у них последнее «в помощь голодающим»[6].

Кстати, военнослужащий в Непале—одна из самых высокооплачиваемых и уважаемых профессий (не так давно и у нас так было). Желающим стать военными необходимы не только хорошие физические данные, но и высокая общая культура. Отвага непальских солдат и офицеров особенно ценится в Англии: они нанимают их в свои батальоны специального назначения. В сражениях Второй мировой войны на стороне Великобритании принимало участие аж двести тысяч непальских наёмников.

Пятиэтажная гостиница, в которой меня поселили, имела бассейн, фонтан, бар, два ресторана, душ, безупречно обставленный номер, вышколенный персонал—все условия для привыкших к комфорту европейцев. Я бы предпочёл поскромней. Излишества напрягают.

Послезавтра, в три часа ночи, наступает Лосар—тибетский Новый 2133-й год. Год Огненной Собаки. По расчётам королевских астрологов, это время—самое благоприятное для встречи Нового года, потому что именно в этот час на горе Камдо расцветут первые весенние цветы.

Вечером, по совету Камала, в город не выходил. Утомлённый дорогой, почти сразу лёг спать. Утром, после простенького завтрака, спустился во дворик отеля. Пунктуальный Камал уже поджидал возле машины. Увидев меня, он расцвёл так, что можно было подумать, будто моё появление осчастливило его на всю жизнь. Я в ответ заулыбался ещё шире.

Сегодняшняя цель—один из самых почитаемых монастырей буддистов, монастырь Шечен. В нём весь день будут проходить службы, предшествующие встрече Нового года. Обнесённый высокой стеной из красного кирпича, монастырь находится на восточной окраине города. В центре комплекса—прямоугольный храм-пагода, украшенный филигранной резьбой по дереву и камню. Внутри храма—огромная золочёная статуя Будды, трон настоятеля. По стенам развешаны тангаки с мандалами (расписанные ткани), с потолка свисают красные шары, штандарты, на полу—низкие скамьи с бархатными подушками. Сам потолок разрисован сценами из жизни Будды. Всё это в золоте и ярких красках—великолепие потрясающее.

По внешней стороне основания храма—длинные ниши, в которые встроены сотни молитвенных барабанов—цилиндров, стоящих на вертикальных осях. На каждом выгравированы мантры—молитвы магического звучания. Одна из них звучит: «Ом мани падме хум»,—что в переводе означает: «О благословенный алмаз в священном цветке лотоса». На санскрите всего четыре слова, а каков образ!

Буддисты верят, что движение помогает молитве быстрее достичь ушей Будды, и поэтому три раза обходят вокруг храма по часовой стрелке, вращая барабаны правой рукой (левая считается нечистой). Если это делать часто и с чувством любви к Просветлённому, то будешь счастливым и здоровым всю жизнь.

Устоявшееся представление, что пагоды с нависающими друг над другом крышами впервые начали возводиться в Китае и Японии, неверно. Именно в Непале в двенадцатом веке архитектором Арнике построена первая пагода, и только после того, как он возвёл в этом королевстве ещё несколько пагод, его пригласили в Китай. Оттуда эта новая архитектурная форма перекочевала в Японию.

Вокруг площади с храмом—трёхэтажные здания с кельями для послушников и лам. Слева от парадного входа в монастырь, в одном из них,—арочный проход на территорию буддистского университета с учебными корпусами и общежитием для студентов.

Учащиеся, ламы, служители культа—все поголовно стрижены налысо. Возраст разный—от десяти-двенадцати лет и старше. Одеты в жёлто-бордовые тоги. Во время службы они надевают ещё и золотистые матерчатые шлемы с высоким ниспадающим гребнем. Внешне эти красивые головные уборы очень похожи на шлемы воинов Александра Македонского.

Когда мы вошли в монастырь, один из служителей уже бил в огромный, висящий на перекладине гонг-бубен—призывал на службу, предшествующую встрече Нового года. После третьей

6. В середине 2007 года враждующие стороны договорились о перемирии, а 28.12.2007 года парламент Непала проголосовал за упразднение монархии. После многих веков королевского правления Непал поэтапно реформируется в республику. Что из этого выйдет и что это даст народу, покажет время.

серии ударов другие музыканты оглушительно, с красивыми переливами заревели в трубы. Они настолько длинные, что раструбом упираются в пол, и такие тяжёлые, что монахи переносят их вдвоём—одному не под силу. От рёва этих труб даже стены храма временами вибрировали.

Тем временем на зелёном газоне вокруг площади рассаживались приехавшие на очистительную предновогоднюю церемонию непальцы. Судя по одежде и внешности, в основном выходцы из высокогорных районов. Практически все—с семьями. Сидят чинно, торжественно: для них это событие—святое.

Четверо монахов вынесли трон и установили его метрах в пяти от красного клыкастого чудища, лежащего на широкой доске (чудище делают из теста и внутрь ему заливают кровь). Следом вышел и сел на трон наставник в пышном церемониальном тёмно-синем костюме, украшенном многоцветным орнаментом. И сразу из храма цепочкой потянулись, выстраиваясь по периметру площади, барабанщики, литавристы, трубачи. Все в жёлто-бордовых одеяниях. За спиной наставника расположилась свита из приближённых лам в чёрно-золотистых, очень сложной формы, костюмах, состоящих из десятков деталей.

И вот настал момент, когда под бой барабанов, звон литавр и небесно-космические звуки труб начались ритуальные танцы, распевное чтение мантр. Паузы заполнялись позвякиванием колокольчика в руке неподвижно, с окаменевшим лицом, сидящего наставника. Необычная музыка, горловое пение двух сотен лам постепенно меняли внутренний настрой присутствующих, возносили к высоким духовным сферам.

Танцевальные па, исполняемые монахами, сопровождались замысловатыми движениями: подскоками, резкими поворотами и глубокими наклонами. В финале наставник мечом разрубил злое чудище на мелкие куски, и ламы перенесли разрубленное «тело» на поляну. Здесь наставник горящей стрелой, выпущенной из лука, поджёг огромный костёр, выложенный в виде пасти Ямараджи[7]. Буддисты верят, что в его пламени сгорают все негативные энергии и неприятности уходящего года. Монахи, быстро пробегая (пламя очень жаркое и высокое), бросают в «пасть» куски разрубленного чудища, жертвоприношения и мелкие личные вещи присутствующих (их собирают заранее и складывают на большие бронзовые блюда).

После завершения очистительной церемонии, готовящей человека к встрече Нового года, мы зашли в примыкающее к монастырю кафе. Поели момо—крупные пельмени с овощной начинкой (делают и с мясной), попили непальский чай с солью, маслом. Вопреки моим ожиданиям, столь необычный чай оказался приятным, хорошо утоляющим жажду напитком. Он настолько понравился мне, что в дальнейшем только его и заказывал.

Непальская кухня не отличается большим разнообразием блюд. Самое популярное из них—дааль бхаат. Это варёный рис с подливой из чечевицы, тушёных овощей и острыми приправами. Уникальная особенность непальских ресторанчиков заключается в том, что, заказав дааль бхаат, вы можете бесплатно сколько угодно раз получать добавку. Вам будут подкладывать её, даже если вы не просите, более того—отказываетесь. Поскольку сами порции изначально большие, одной-двух добавок хватает, чтобы не вспоминать о еде весь день. Другое популярное блюдо—уже упомянутое момо. Что-то вроде наших вареников с начинкой из курицы с овощами, или баранины с луком, или просто овощей. Готовится момо на пару́, как манты. Они хороши под местную водку ракши или местное пиво из риса—чанг-папод. Большинство блюд острые. Это, наверное, один из основных, выработанных веками способов борьбы с кишечными заболеваниями. Будучи любителем острого, я так увлёкся, что на третий день мои пищеварительные органы, не выдержав перегрузок, наказали необходимостью перейти на абсолютно пресную диету. Было очень жаль…

Говядина в местной кухне отсутствует: корова здесь, как и в Индии,—священное животное. В Непале за её убийство полагается двадцать лет тюремного заключения. На вопрос: «Почему за убийство коровы наказание суровей, чем за убийство человека?»—мне пояснили: «Людей много, коров мало». Логика железная.

Возвращаясь в отель, завернули на городскую площадь, где воздвигнута самая крупная в Непале ступа—ступа Боудднатх, символ тибетского буддизма в Непале. Пока ехали к ней, мальчишки раз пять перегораживали дорогу натянутой верёвкой и требовали с Камала деньги за проезд. Камал притормаживал и с неизменной улыбкой давал старшему по одной рупии (сорок копеек). Подобные поборы допускаются только в праздничные дни.

Построена ступа Боудднатх в пятом веке на большой площади, в окружении тибетских монастырей. Основанием ей служат три уплощённых квадрата, лежащих один на другом. Далее следует громадная полусфера, олицетворяющая небо, на ней куб—символ земли, на всех сторонах которого нарисованы выразительные глаза Будды. Венчает это сооружение золотой шпиль из тринадцати ступеней (по числу шагов к просветлению). На кончике шпиля—шар, символ солнца и луны.

7. Ямараджа—бог, определяющий, кем человек станет в следующем перевоплощении, согласно карме, накопленной им в течение прошедшей жизни.

В просторных нишах основания сидят ламы, читают мантры, связанные с образом вечности: «Ом намо пара яна» («Я чту человека вне времени и пространства»). Это основополагающая философская мысль буддизма с традицией нирваны. Вокруг горят тысячи свечей, дымят благовония. В ниши поменьше встроены группами молитвенные барабаны. Считается полезным три раза (как и в храмах) обойти ступу по часовой стрелке (сделать кóру), одновременно вращая рукой все встречающиеся барабаны.

От шпиля к земле тянутся десятки гирлянд с разноцветными флажками. На каждом записаны тексты мантр. Флажки трепещутся ветром, и считываемые им с них тексты возносятся к Будде, созерцающему происходящее.

Рядом со ступой — две молельни с барабанами размером с небольшую цистерну. Паломники, ламы по очереди подходят и вращают их. Мелькают древние иероглифы, и летит в небо молитва: «Ом мани падме хум». Неподалёку и сам виновник таинственного обряда — просветлённый Будда в два человеческих роста. Вокругf курятся жертвенники. Этот антураж и множество ярких флажков создают особое, приподнятое настроение.

Стоящие на площади вокруг ступы тибетские храмовые сооружения украшены сказочными драконами, снежными барсами, затейливой резьбой. Среди них есть даже бутанский храм. Его крыша увенчана тремя золотыми шпилями, из-за чего он напоминает плывущий кораблик, а у входа стоят золочёные олени, висит колесо дхармы[8]. Между храмами втиснуто неимоверное количество лавок с дорогими, ручной работы, сувенирами: латунное литьё, картины-танки с мандалами, изображающими устройство Вселенной. В жилые дворы ведут арки-тоннели. В большинстве из них тоже стоят на квадратных постаментах белые ступы, только маленькие.

В Катманду есть ещё одна, не менее именитая, ступа — ступа Сваямбуднатх. Возле неё расположены храм и пещера Харати за семью дверями, украшенными древними фресками. За последней сидит в медитации некая сущность — Высшее Создание. Как пояснил Камал, «не тело, а глаза». Первую дверь открывают каждое утро, вторую — раз в год. Остальные никогда не открывают.

Уже в первом помещении человеком ощущаются сильные энергии (начинает болеть голова), что уж говорить про другие.

Пользуясь тем, что мы находились возле дома известного тибетского врача, прошли через одну из арок в его уютный дворик. Дворик хоть и крошечный, но в нём нашлось место и для цветника, и для хлева с двумя… буйволами, и… для стожка сена, и для клетки с красавцем-петухом и дюжиной куриц. При этом — никаких неприятных запахов. Чистота почти стерильная — врач как-никак. Позвонили в дверь. Со второго этажа спустился сам целитель — сухонький, подвижный, с умными глазами, лысый старичок. Он провёл нас в комнату на первом этаже — кабинет для приёма пациентов. Две стены сплошь заставлены шкафами с ячейками, точь-в-точь как в библиотечной картотеке. Только вместо карточек в них гранулы разного размера и цвета (готовит их врачеватель из лекарственных трав). Сели за стол друг против друга. Старик взял мою руку и долго отрешённо щупал, слушал пульс в разных точках сначала на левой, потом на правой руке. По две-три минуты на каждой. Нажмёт — отпустит, нажмёт — отпустит и в глаза пристально вглядывается. Закончив, сказал:

— Тело у тебя удобное для жизни. Дух сильный, но позвоночник не следует перегружать — в поясничном отделе есть огонь.

Дал мне в мешочках три вида лекарственных гранул для укрепления позвоночника. Визит, включая стоимость лекарств, обошёлся в двадцать долларов (в Москве за это берут от четырёхсот до шестисот долларов).

Как известно, тибетская медицина, в отличие от западной, рассматривает тело в неразрывной связи с духом и при лечении стремится влиять на причину болезни, а не на саму болезнь, которая является лишь следствием. Отсюда, видимо, и неослабевающий интерес к ней.

В Непале темнеет рано и быстро. От целителя вышли при свете солнца, а когда сели в машину и поехали, пришлось включать фары. Ближе к центру нас остановила полиция, объявив, что дальше проезд запрещён и будет открыт только часа через два.

Выйдя из автомобиля, мы увидели, что впереди всё свободное пространство запружено медленно идущими людьми. Влившись в поток, прошли через огромные, расцвеченные лампочками ворота к великолепному индуистскому храму, стоящему в котловине на площади. К нему с нескольких сторон спускались улицы, заполненные десятками тысяч горожан. Все напряжённо смотрели на ворота храма и чего-то ждали. Когда они распахнулись, на площадь вышли офицеры в парадной форме, богато одетые женщины. В центре этого шествия — королевская чета: король в генеральском мундире и королева в пурпурном платье. Народ восторженно загудел. Процессия прошла к автомобилям с мигалками. Правящая знать чинно расселась, и кавалькада потихоньку двинулась сквозь почтительно расступающуюся толпу вверх по улице. Оказывается, мы попали ещё и на празднование дня рождения Шивы — одного из главных богов индуистского пантеона. (Это

8. Дхарма (буквально — закон) — правило жизни и поведения. Для каждой касты существует своя особая дхарма.

у христиан Бог один, а у индуистов их десятки, как и в Древней Греции.)

Камал сказал мне:

— Увидеть короля — большая удача. Я за двадцать восемь лет видел всего два раза. А ты второй день в Непале, а уже видел.

Кстати, нынешний король Гьянендра Бир Бикрам вступил на престол после убийства в 2001 году короля — его брата — прямо во дворце во время ужина.

После проезда коронованных особ застывший было народ зашевелился и хлынул к решётчатым воротам храма, сквозь которые виднелся позолоченный зад и хвост огромной статуи священного быка Нандина, лежащего на полу. Храм не мог вместить всех желающих, и полиция пропускала группами по тридцать-сорок человек.

Возле ворот возникла немыслимая давка. Мужчины как заворожённые, не обращая на других никакого внимания, негрубо, но упорно пробивались к заветному месту. Втискиваться в эту толчею я не рискнул, тем более что меня, европейца, всё равно отсекли бы на входе священнослужители.

С трудом выбравшись из толпы, сфотографировал восседавших на высоком длинном постаменте седобородых загорелых старцев. Это были саддху — святые люди, в немудрёной одежде с преобладанием красных и белых тканей. (Саддху ведут отшельнический образ жизни и отличаются отрешённостью от всего суетного.) Они позировали с радостью и денег, к счастью, не просили. По примеру индуистов, выходящих из храма, мы тоже умылись водой, бьющей из клюва орла.

Должен признаться, что первое время я почему-то воспринимал всё то, что видел в Непале, как сказочные, сменяющие друг друга декорации грандиозного спектакля. Только на второй-третий день стало доходить: «Камиль, это не красочные декорации, а самая настоящая реальность, и ты в ней сам присутствуешь». Когда это окончательно осознал — сразу стал глубже и ярче чувствовать происходящее.

В пять утра мы уже сидели с Камалом в монастыре Шечен на службе по случаю наступившего Нового года.

Вообще-то служба началась в три часа ночи, но я решил хоть немного поспать. Когда мы зашли, ламы в жёлтых шлемах-шапках уже восседали в зале на толстых, шитых золотом подушках, распевая мантры и покачиваясь в такт ритму. Гости же расположилась на подушках попроще, разложенных вдоль боковых стен. Садиться на места лам посторонним запрещено: считается, что это может осквернить место и загрязнить их карму.

Наставник и его юное воплощение (он примет полный сан после смерти Наставника) восседали, скрестив ноги, на высоких золочёных тронах. Между монахами ходили два служителя, дымили душистым благовонием и наливали чай желающим. Протяжное чтение молитв-мантр хором низких и высоких голосов продолжалось ещё около часа. (Невольно посочувствовал ламам: как они умудряются запоминать такие большие тексты?) После этого паломники и туристы, пришедшие на службу, вереницей прошли перед Наставником и его будущим воплощением. Они благословляли и надевали на шею каждому широкий белый шарф из шёлка с написанными на нём мантрами. Стоящие рядом служители насыпали в ладони проходящих по щепотке освящённой крупы (её потом нужно съесть) и давали узкую красную ленточку. (Если её проносить на шее три дня, то она будет весь год оберегать человека от влияния злых духов.) Когда все гости были благословлены, ламы раздали им ещё и бумажные мешки, полные сладостей и фруктов.

Наблюдая за спокойным, размеренным течением древнего церемониала, я подумал: «Как хорошо, что Непал на протяжении нескольких веков находился в изоляции,— это позволило королевству сохранить свою уникальную культуру, обычаи в первозданном виде».

Сдав номер и оставив в камере хранения часть вещей до возвращения с Гималаев, поехали в аэропорт. (Это обычная практика большинства отелей и не требует дополнительной платы, но сохранность вещей при этом гарантируется.)

Камал в этот раз провёз мимо королевского дворца, занимающего целый квартал в центре города. Через ажурную решётку обширного парка виднелось розовое здание со стилизованной под пагоду крышей, украшенной маленьким шпилем. У главных ворот и по периметру ограды — автоматчики в чёрной национальной форме: охраняют покой монарха от местных сторонников «демократии» и маоистов.

Прежде чем сесть в двадцатиместный самолёт, вылетающий в город Покхара, что у подножья красивейшего и крупнейшего горного массива Гималаев — Аннапурны, прошли тщательный личный досмотр и скрупулёзное изучение каждого предмета в наших рюкзаках. Такие строгости связаны с непрекращающейся гражданской войной с маоистами, которые уже контролируют значительную часть Непала, особенно глубинные горные районы. Захватив в 1949 году Тибет, китайцы, похоже, планируют расширить свои земли и за счёт этой страны. Маоисты ставят целью установление в Непале коммунистического режима с сохранением капиталистического сектора в экономике.

Я сел у иллюминатора так, чтобы в полёте было удобней созерцать Большие Гималаи. Вскоре белоснежные вершины, одна краше другой,

поплыли справа на уровне глаз. По разделяющим их каньонам ползли мощные ледники. А прямо под самолётом — лесистые «лилипуты», горы в каких-то три-четыре тысячи метров высотой. Кстати, в Непале аж тысяча триста десять пиков, превышающих отметку шесть тысяч метров. Представляете: тысяча триста десять! У нас в России самая высокая гора Эльбрус имеет рост 5642 метра. Я уж молчу про Западную Европу: знаменитый Монблан не дотягивает и до пяти тысяч метров.

С берегов рек кое-где поднимались столбики дыма от погребальных костров. Непальцы уверены, что только кремированием тел умерших можно освободить и подготовить их души к новому рождению — реинкарнации. При этом белый дым означает, что человек прожил благочестивую жизнь, а чёрный — что он много грешил. Пепел и одежду усопших после кремирования сбрасывают в реку, которая уносит их в священный Ганг (все реки Непала впадают в него).

Наконец, вот она — Покхара, идиллический курортный город на западе королевства, растянувшийся вдоль живописного озера Пхева Тал в окружении гор («тал» означает «озеро»). Высоченных, белоснежных на севере и невысоких, зелёных на юге. Озеро, второе по величине в Непале, имеет в длину четыре километра. В его окрестностях живут гуркхи — отважные, стойкие воины, служащие наёмниками во многих армиях мира. Здесь же родина знаменитого боевого ножа — кукри, постоянного атрибута солдат-гуркхов. Его лезвие напоминает по форме крыло сокола с заточкой по вогнутой грани.

Покхара веками была важным перевалочным пунктом торговли Индии с Тибетом. Сейчас это туристический и курортный центр с множеством отелей. Из их окон открывается вид на великолепные горные ландшафты. Недаром Покхару ещё называют «воротами» к массиву Аннапурны.

Этот город — рай для ничегонеделанья и безмятежного отдыха. Приезжая сюда, европейцы, заворожённые окружившей их красотой, ровным, стабильно тёплым климатом, приветливыми улыбками, впадают в состояние беспечного блаженства. Расслабляющее очарование этих мест ощущаешь сразу, как только выходишь из самолёта.

Если встать лицом к Гималаям, слева, на западе, за самым глубоким в мире ущельем Кали-Гандаки, виднеется вершина Дхаулагири (8167 метров). А справа начинается обширный массив Аннапурны, увенчанный двенадцатью пиками, высота которых превышает семь тысяч метров. В южной части выделяется Аннапурна I (8091 метр). Ближе к Покхаре центр панорамы занимает гора Мачхапучаре («Рыбий хвост», 6997 метров) с раздвоенной вершиной, из-за которой она и получила такое название. На мой взгляд, это одна из самых красивых вершин мира. Не случайно она у непальцев имеет статус священной горы, и взбираться на неё запрещено. Справа, на востоке, в некотором удалении, — широкий силуэт Аннапурны III (7556 метров). Ещё правее — отрог со скальной вершиной Аннапурны IV (7535 метров). Рядом громоздится Аннапурна II (7937 метров). Дальше, за горным массивом, на севере, — древняя, таящая множество тайн каменистая высокогорная пустыня — Тибетское плато, площадью в несколько миллионов километров (!) и средней высотой четыре-пять тысяч метров!!!

Разместившись в небольшом уютном отеле с ухоженным садом и множеством цветов, прошлись с Камалом по туристической улице, вытянувшейся вдоль берега озера: сплошь ресторанчики, магазинчики, лавочки, арт-галереи (вокруг города такая красота, что самому хочется взять в руки кисть).

Ужинали под открытым небом прямо на берегу. Отсюда хорошо виден небольшой остров с голубым дворцом — летней резиденцией короля Непала. Он лишён роскоши и напоминает обычную загородную дачу. Весь вечер на сцене пели и танцевали местные артисты. Кстати, очень профессионально, а главное — с душой. Мы с немногочисленными пока посетителями (сезон только начался) вдоволь насладились народными мелодиями и зажигательными танцами под благоухание ночных цветов.

Перед сном ещё раз обсудили с Камалом оптимальный маршрут. В итоге выбрали «Джомсом треккинг», ведущий по тысячелетнему паломническому пути к святилищу Муктинатх. Тропа пролегает по дну ущелья Кали-Гандаки, в окружении семи-восьмитысячников, чьи вершины возвышаются над его дном на 5500 метров! В таком каньоне, пожалуй, и Кавказский хребет можно спрятать! Здесь, в Гималаях, всё каких-то неправдоподобно-циклопических размеров.

Ночь выдалась беспокойной. Четверо непальцев в соседней комнате, видимо накурившись марихуаны, так расшумелись, что разбудили всех обитателей отеля. Я с час терпел, но потом, придав своему лицу строгое начальственное выражение, постучался и, когда они открыли дверь, попросил сбавить обороты. Поскольку выразить это пожелание ни на английском, ни на непальском я не мог, прибегнул к языку жестов: приставил палец к губам и произнёс: «Тсс…» К моему удивлению, никто из парней не стал пререкаться. Они сразу перешли на шёпот, и остаток ночи мы спали в полной тишине.

9. Специального разрешения на треккинги в популярные районы сейчас уже не требуется (оно необходимо только при посещении провинций Мустанг и Манаслу). Но за сам вход в национальный парк Аннапурна взимают 2000 рупий с каждого, что соответствует 30 долларам США.

Утром купили билеты, оплатили пермит — пропуск в национальный парк Аннапурны[9] — и после привычного досконального досмотра прошли по полю к двенадцатиместному самолётику. Из одиннадцати пассажиров — четверо местных жителей, семеро иностранцев. Кроме меня, один молодой немец, молодожёны из Польши и отец с дочерью и сыном из Австрии.

Поскольку в ряду два сиденья, все места были у иллюминаторов, благодаря чему каждый из нас имел возможность в течение почти получаса любоваться незабываемым зрелищем полёта в гигантском ущелье и пережить невероятно острые ощущения. Летели на высоте одного километра. Самолёт, постоянно лавируя в причудливой теснине, порой так близко пролетал мимо скальных выступов, что катастрофа казалась неизбежной, но, на наше счастье, за штурвалом сидел виртуоз лётного дела.

В иллюминатор было видно, что снеговая линия начинается на уровне пяти тысяч метров. И это в конце зимы. Летом она наверняка поднимается ещё выше. В наших же горах даже в июле снег может лежать на высоте и менее трёх тысяч метров.

Ущелье, довольно широкое в начале, сужалось и становилось всё мрачней. Река, бегущая по дну, вся покрыта белопенными барашками. По обе стороны от неё ступеньками поднимаются рукотворные террасы — крохотные поля. Между ними — редкие домики. По склонам гор вовсю цветут малиново-сиреневые рододендроны. Из боковых ущелий, забитых в изголовьях льдом, вырываются жемчужными каскадами студёные ручьи. В местах их впадения в речку образуются веерообразные намывы из валунов и гальки.

Городок Джомсом (2713 метров) раскинулся в месте резкого расширения ущелья, на высоком каменистом берегу реки, грохочущей в глубокой щели. После Покхары с температурой двадцать пять — двадцать шесть градусов Цельсия здесь прохладно: двенадцать — тринадцать градусов. Это, в сочетании с холодным ветром, оказалось весьма ощутимой разницей.

Поселение состоит из одной, с несколькими короткими боковыми ответвлениями, улицы. Его центральная часть застроена двухэтажными горными приютами, или, как их здесь именуют, лоджами[10], с магазинчиками и лавками на первых этажах и открытыми террасами на крышах.

Камал здесь уже бывал и сразу повёл меня к одиноко стоящему двухэтажному дому с двойным светом и плоской крышей, по краям которой сложены поленницы дров. Хозяйка, по имени Таши, сразу усадила нас за стол и накормила цампи — тибетским чаем, смешанным с ячменной мукой до кашеобразного состояния. После завтрака нас провели во двор, где стояли две лошадки — низкорослые, мохнатые, очень похожие на наших башкирских. Рядом с ними — местный проводник и портер[11] в одном лице Дордже, худощавый невысокий непалец лет тридцати. Часть нашего груза он навьючил на лошадей, а самую тяжёлую поклажу закинул себе за спину. Лошадям на шеи повесил по холщовой сумке с зерном. Чтобы нам было удобней ехать, на деревянные сёдла положил волосяные подушки (моё «продолжение спины» с непривычки всё равно пострадало).

Посреди городка на пологом скате горы разместилась воинская часть, обнесённая тремя рядами страшно колючей проволоки, с пулемётными гнёздами, смотровыми вышками по углам и у ворот, казармой, хозблоком, полосой препятствий для тренировок. Кругом солдаты, офицеры в камуфляже. Главная задача этого гарнизона — блокирование прохода по ущелью в случае вторжения маоистов со стороны китайского Тибета.

Единственная дорога, проходящая мимо воинской части, с двух сторон перекрыта шлагбаумом. Нас окликнули постовые. Проверили пропуск, документы, наличие лицензии у гида, записали мои паспортные данные в журнал и пожелали счастливого пути.

Вышли из Джомсома в девять ноль-ноль. По узкому мосту перешли через бурную речку и по валунам, устилавшим едва угадываемую тропу, зашагали к заветной цели — древнему монастырю Муктинатх (высота 4000 метров). Если здоровье позволит, то ещё попытаемся подняться на перевал Горунг (5416 метров). При желании с него по восточному склону массива Аннапурны можно спуститься за несколько дней прямо к Покхаре.

Ущелье всё расширялось, и распластавшаяся по нему река вскоре исчезла среди бесчисленных валунов. Только местами, в подтверждение того, что она где-то под нами, сочится между камней вода. Лошади идут размеренно, но ревниво следят за лидерством: то одна вырвется вперёд, то другая — тоже, как люди, соперничают.

Со дна каньона пяти-восьмитысячников не было видно, но даже гребни-зубцы четырёхтысячников впечатляли. Они, правда, не покрыты снегом и оттого кажутся угрюмей своих более рослых заснеженных собратьев. Пройдя километров семь, в одной отвесной стене на высоте ста метров увидел несколько десятков пещер. Дордже пояснил, что в них обитают отшельники — саддху. Для меня осталось загадкой, как же они в свои каменные норы забираются. По верёвочным лестницам, по

10. Лодж (*англ.* «lodge») — приют.

11. Носильщик. Многие заблуждаются, называя носильщиков шерпами. Шерпы — это народность, пришедшая в Непал с Тибета и проживающая по большей части в окрестностях Эвереста. Среди них действительно много носильщиков, но не меньше, чем торговцев, крестьян, предпринимателей.

узким горным тропам или иным способом? Дордже не смог дать внятного ответа—сам не знает.

По дну реки, несмотря на качающиеся под копытами валуны, шли довольно резво и через три часа оказались в деревушке с двумя «ресторанчиками». Заказали национальную еду—тали: на большом блюде в мисочках разложены соус, мелко накрошенные овощи, варёная картошка и гора риса. Рис поливают острым соусом и едят вприкуску с овощами. Вместо хлеба к тали подают круглые, тонкие, почти прозрачные лепёшки из бобовой муки—попар. Перекусив, двинулись дальше.

Через полкилометра ущелье разветвлялось. Основная ветвь уходила чётко на север, где за труднодоступным районом Мустанг и перевалом через Большие Гималаи простирается таинственный и легендарный Тибет. А боковая—тоже циклопических, по европейским меркам, размеров—на восток, вправо по ходу. Она ведёт к священному для непальцев месту Муктинатх, где расположен одноимённый монастырь с храмами пятого века, охраняющими святой источник и голубой огонь, постоянно горящий между камнями. В храме лежит слепок гуру Римпоче—основателя монастыря. На том месте, где он любил медитировать, после его смерти забили веером упругие струи святого источника. Буддисты считают, что если омыть макушку головы под каждой струёй, то у человека очистится карма, восстановятся жизненные силы.

Тропа в это ущелье круто, с перепадом метров на шестьсот, уходила вверх. Одолев половину подъёма, лошадки выдохлись. Еле передвигая ноги, они всё чаще останавливались перевести дух. Портер, правда, не давал им расслабиться и криком заставлял идти дальше по карнизу в два метра шириной. За его краем начиналась чёрная бездна. Сорвёшься—с полминуты свободного падения обеспечено. Когда я заглядывал в неё, страх надолго сковывал тело.

Несколько раз встречались с караванами навьюченных ослов и лошадей, идущими вниз. Только услышишь позвякивание колокольчика, точнее—жестяного колокола, так сразу ищешь расширение тропы, чтобы встречный осёл ненароком не столкнул тебя своим вьюком в пропасть. Караван обычно сопровождают два-три непальца. Кто пешком, кто на лошадке. У некоторых лошади высокие, как в России скаковые. Они и идут так резво, что наездникам приходится их придерживать.

Попадались и одиночные портеры. Вид щуплого тонконогого непальца, несущего огромную корзину или необъятный тюк, весом превышающий его собственный, вызывал волну восхищения. Отдыхают они редко, а когда всё же останавливаются, то обопрут корзину на какой-нибудь выступ скалы, постоят минут пять—и дальше как заведённые идут. Вроде не торопясь, а в итоге получается, что довольно быстро.

Окружающие нас горы—очень разные по рельефу, структуре и цветовой окраске. Одни—округлые, пологие. Другие—сплошь из остроконечных скал, башен, зубцов. Их цвет меняется в ещё более широком диапазоне: от жёлтого, оранжевого, бордового до серого, почти чёрного. Часть гор сложена из плотных кристаллических пород, часть—из рыхлых осадочных. Последние особенно сильно изрезаны ущельями. Как мне представляется, Гималайские горы—не вулканического происхождения. Зрительно впечатление такое, что две земные тверди сошлись лоб в лоб и, вздыбившись гранитными пиками на семь-восемь тысяч метров, вознесли на своих плечах заодно и покрывавшие их конгломераты, спрессованные из гальки, песка, известняка. Наверное, от этого многие склоны здесь покрыты длинными языками осыпей с конусами у подножья, и даже небольшой ручей может промыть ущелье-каньон глубиной более тысячи метров.

Среди коренных пород выделяется одна, необычная по внутренней структуре. Её чёрно-серые глыбы легко колются топориком на длинные тяжёлые поленья, и непальцы наловчились складывать из них высокие каменные заборы, напоминающие российские поленницы дров.

Поднимаясь к монастырю, прошли через несколько деревушек. Горы вокруг такие громадные, что дома на их фоне выглядят как россыпь мелких песчинок. Три селения притулились прямо у тропы, а одно, с красной башней-монастырём на столообразной скале,—на противоположном скате широкого, глубиной километра два, ущелья. Вокруг сложенных из дикого камня хижин разбросаны поля-террасы. Террасы, террасы… Сколько сил надо вложить, чтобы на крутом горном скате сотворить ровный плодородный участок. При этом каждая терраса ещё обнесена каменной оградой.

Вдоль неё бегут горные ручьи, и если возникает необходимость полить одну из террас, ручей перекрывают, и вода течёт в открываемое в ограждении отверстие. Когда почва на этой террасе пропитается влагой, растекающейся по межрядным желобам, отверстие закрывают и ручей перенаправляют для полива следующей террасы.

Землю в этих местах до сих пор пашут обыкновенной деревянной сохой с металлическим зубом. Они стоят почти во всех дворах. На полях выращивают в основном ячмень и картофель.

Возле каждого дома за деревянными ткацкими станками сидят женщины. Ткут из шерсти яков и коз тёплые кофты и шарфы, состоящие из цветных полосок, среди которых преобладают красные и чёрные.

За оградой под навесами—буйволы и коровы карликовых размеров. И люди здесь невысокие, худенькие. Невольно возникает ощущение, будто горы высасывают из всего живущего здесь

все соки. Чёрные яки тоже оказались не такими крупными, как представлялось из описаний. Зато у них очень вкусное и питательное молоко, из шкур шьют тёплую добротную одежду, а высушенный помёт служит топливом для печей (так же как коровий и козий — с дровами здесь сложно).

Древний монастырь Муктинатх, цель нашего путешествия, раскинулся в самом изголовье ущелья и был хорошо виден за много километров благодаря белому контуру каменной стены, опоясывающей его. Внутри него угадывались силуэты храмов, ступы, деревья. За монастырём гора круто вздымалась в небо и завершалась ослепительной снежной вершиной, как бы парящей над святым для буддистов местом.

За три километра до монастыря, после прохождения через Белый город — заброшенную крепость зловещего вида, опять пошли крутые подъёмы, перемежающиеся короткими спусками. Лошадки ковыляли из последних сил, а Дордже всё нипочём. Знай напевает, не переставая, свои непальские мотивы. Вдоль тропы стали встречаться плоские камни с вытесанными на них мантрами. Сколько в этом труда и почтения к Будде!

Взобравшись на очередное ребро отрога, мы увидели внизу, метрах в четырёхстах, озерцо. Из этого озерца вытекал ручей, бежавший… вверх на перевальный изгиб. Я не верил своим глазам. Наш караван бодро спускается к воде, а ручей так же бодро бежит вверх навстречу нам!!! «Невероятно, не может такого быть», — говорю я себе и, дойдя до озера, опять возвращаюсь назад к перевальному изгибу. Иду и чувствую явный подъём, но вода, опровергая все законы физики, своенравно и непринуждённо продолжает бежать рядом со мной, а достигнув верха, ещё резвее устремляется вниз. Отойдя в сторону, я прикинул на глаз перепад высот между озером и седловиной — не менее шестидесяти метров, то есть подъём где-то восемь-десять градусов. Чтобы в спокойной обстановке попытаться понять, иллюзия это или необъяснимая аномалия, сделал несколько фотографий и снял этот отрезок ручья на видео.

Остановились на ночёвку в деревне, у хозяина трёхэтажного горного приюта по имени Чен. У него, как и у меня, пятеро детей. Первый этаж — хозяйственный. На втором — большая столовая со столами, застланными толстыми покрывалами, кухня, хозяйские спальни. А на третьем (проход на него — по лестнице через открытую террасу) — шесть гостевых комнат. На террасе стоит солнечный подогреватель воды. Он похож на перевёрнутый зонт, с зеркальным рефлектором внутри. В точке фокуса лучей солнца установлена ёмкость, в которой греется вода. Просто, экономично и изящно!

Как только солнце закатилось за гору, резко похолодало. Пока сидел в столовой в ожидании ужина, основательно продрог. Чен, видя, что меня трясёт (сказывалась, видимо, уже ощутимая нехватка кислорода), засыпал в чугунок с отверстиями по бокам горящих древесных углей (огромная щедрость для этих мест) и поставил его под стол, укрытый толстой шерстяной скатертью. На меня сразу хлынули волны тепла, и я стал оживать. Дрожь прошла, вернулась способность говорить. Как важно, оказывается, чтобы ноги были в тепле! Ко мне подсели сначала Камал, а за ним хозяин — тоже к теплу тянутся. Через Камала я поинтересовался:

— Чен, в трёх километрах отсюда есть озеро, из которого вытекает ручей, и течёт он не вниз, как ему положено, а вверх. Так ли это, и с чем это связано?

Судя по реакции, мой вопрос хозяина удивил:

— А как же ему течь? Ему же надо к речке, а речка за бугром.

— Но вода не может течь вверх.

— В этом месте вода всегда так течёт — сначала вверх, а потом вниз. Что непонятного?

Ему, прожившему здесь всю жизнь, такое поведение ручья было так же естественно, как то, что солнце встаёт на востоке, а заходит на западе.

За ужином я почти ничего не ел — аппетит пропал. Спал напряжённо, с чувством какой-то неясной тревоги. Голова кружилась, побаливала. К тому же слегка подташнивало. Налицо все признаки горняшки. Утром по настоянию Камала съел две порции чесночного супа и выпил несколько стаканов чая — сразу полегчало. Оказывается, при горной болезни самое главное — пить побольше жидкости. Дело в том, что организм на высоте быстро обезвоживается. И надо следить, чтобы в лёгких не появился звук, похожий на скрип снега под ногами в морозный день. Если лёгкие заскрипели — немедленно вниз. Иначе смерть в течение суток гарантирована. Успокаивает то, что с этим явлением люди сталкиваются при подъёме выше шести тысяч метров. Хотя быть начеку следует и на меньших высотах.

Удивила и порадовала чистоплотность жителей деревни. С утра все спустились по обледенелым камням к горному ручью умываться, чистить зубы.

По улице прошло огромное, голов в двести, стадо коз. На площадь, к своим ткацким станкам, потянулись одна за другой женщины. Некоторые раскладывали рядом на деревянных столиках местные сувениры: всевозможные бусы из поделочных камней, бронзовые статуэтки Будды, Шивы, ножи кукри, шарфы, носки из шерсти яков и коз, филигранные изделия из кости. У жилищ на солнцепёке развалились собаки, рядом кошки. У всех такие блаженные морды, будто они в состоянии полной нирваны. Не зря говорят: какие люди, такие и животные.

Из деревни к монастырю вела очень крутая тропа, но если идти размеренно, без рывков,

одолевается она запросто. Трёхметровой высоты каменная ограда тянется замкнутой ломаной стеной и опоясывает все монастырские постройки и крупноствольный лес — единственный во всей округе. Вход в монастырь — через калитку рядом с массивными воротами, украшенными красивой каменной аркой-пагодой.

Встретившие нас монахини усадили за стол и напоили непальским чаем. Рядом, у дверей в храм, дымила чаша с можжевельником. Запах приятный, успокаивающий. Да и сама местность дышала безмятежной умиротворённостью. После чаепития одна из монахинь провела нас по монастырю, показала ступы. На всём печать древности, покоя. Сводила и к «месту силы», где прямо из земли вырываются языки пламени. По преданию, этот огонь зажёг сам Будда. Рядом с ним из под камней бьёт многоструйный источник. Буддисты считают, что здесь сходятся и сосуществуют одновременно все четыре стихии: Вода, Огонь, Воздух, Земля. Видимо, этим и обусловлен выбор места для строительства монастыря.

В храме я приобрёл длинные гирлянды разноцветных флажков с мантрами. На каждом флажке, а их было сотни две, по совету монахини написал имена самых близких мне людей. Поднявшись по склону горы до отметки 4200 метров, нашёл свободное место и растянул буддийские обереги звёздочкой, лучами во все стороны. Их тут уже многие десятки. Некоторые развешаны отчаянными скалолазами прямо по отвесным стенам.

Отсюда Гималаи предстают во всей своей красе и мощи. Глядя на них, ясно сознаёшь, сколь мелки и ничтожны наши житейские проблемы в сравнении с этим грандиозным творением Природы. Величие открывшейся взору панорамы обострило способность воспринимать и чувствовать многое из того, что прежде не замечал. Мир стал шире и многозвучней. Исподволь крепло ощущение, что находишься в пограничном состоянии между Землёй и Небесами: стоит лишь чуть-чуть напрячься — и станет доступным другое измерение. Зайдёшь в Пространство вне времени и увидишь Вечность и сам станешь её частью…

На обратном пути набрался храбрости и прошёл-таки под ледяными струями святого источника, подставляя под них, как того требует поверье, макушку головы. Когда вытерся и оделся, ощутил небывалый прилив сил и бодрости. Произошли ли изменения в карме? Это покажет время.

Что интересно, в Катманду, на высоте тысяча триста метров, солнце просто слепит, а здесь, на четырёх тысячах метров, оно, как будто жалея горцев, усмиряет свой блеск. Светит приветливо, нежно.

Вторую ночь в высокогорье провёл в глубоком, безмятежном сне — организм начинает адаптироваться. Утром чувствовал себя настолько хорошо, что предложил Дордже сразу идти на перевал Горунг, но он настоял на том, чтобы ещё один день провести в Муктинатхе для более глубокой акклиматизации.

День посвятил прогулке по деревне, знакомству с окрестностями. Ещё раз сходил в монастырь, облазил все его закоулки.

Лица местных непальцев ближе к монголоидному типу. В Катманду же преобладает индоевропейский. Женщины в этих краях отличаются пунцовыми щеками и волосами смоляного цвета. Одеваются незатейливо, ходят в обуви на босу ногу. Двери в домах — нараспашку. Печь используют только для приготовления пищи: дрова — на вес золота, хотя поленья почему-то очень длинные — до метра. Даже с приходом зимы топят их редко — просто одеваются потеплее. Дома и двор с хлевом обязательно окружены забором, выложенным из дикого камня.

Чувствовал себя весь день хорошо. Уверен, что завтра пять тысяч возьму, а даст Бог — и Горунг одолею.

Лошади всё ещё не восстановились, и Дордже выпустил их пастись в горы. Подниматься будем пешком. Вечером, чтобы облегчить рюкзаки, вынули из них всё лишнее. Спал тревожно, но головокружения и тошноты не ощущал. Хозяин лоджа налил нам в дорогу трёхлитровый термос с непальским чаем, в пакет положил варёной картошки и с десяток лепёшек.

С первыми лучами солнца начали восхождение по корытообразному проёму между двух пиков, оставив монастырь слева. Дордже, учитывая мою неподготовленность, то и дело останавливался и поил чаем. Несмотря на довольно продолжительные передышки, голова постепенно заполнялась неприятной пустотой, и мощные, частые, как у отбойного молотка, удары сердца отдавались в ней, как в пустой бочке: организм жадно требовал кислорода. Появились первые снежники. Из боковых логов осторожно выглядывали языки ледников. На подтаявших на солнцепёке сверкающих «башенках» громоздились валуны. Из-подо льда вырывались ручьи. Радостно погремев метров пятьдесят, они вновь исчезали в мешанине камней.

Восхождение длилось почти семь часов. Многовато, расстояние то плёвое — десять километров, но зато, поднявшись, я был ещё в состоянии оценить потрясающую красоту этих мест. Седловина перевала Горунг довольно чистая, покатая. Поднявшись на неё, я понял, что главное и самое приятное качество перевала не в том, что с него открывается обзор на триста шестьдесят градусов, а то, что дороги с него ведут только вниз! Это, оказывается, так здорово, что больше никуда не надо карабкаться — ты уже наверху! По мере восхождения холодало. Из Муктинатха выходили при

нулевой температуре, а здесь уже минус восемь градусов, да ещё с ветром.

Мы огляделись. Повсюду гирлянды молитвенных флажков, пирамидки из камней. Мантры выбиты прямо на них. Много камней с мантрами лежит прямо у тропы. Снега почти нет. Только в тени местами лежит, весь бурый от многомесячной пыли. Вокруг нас в радиусе пяти километров торчит с десяток шеститысячников со стекающими с них языкастыми глетчерами. В тех местах, где лёд разошёлся в трещинах, обнажившиеся раны сверкают девственно чистыми гранями. Справа, на юго-западе, на расстоянии километров двадцати, парит над облаками главная гордость Центральных Гималаев — массив Аннапурны, потрясающий своей мощью.

Живописный хоровод гималайских пирамид завораживал, властно притягивал взор. Впоследствии всякий раз, когда первобытный контур скалистых вершин всплывал из глубин памяти, в сердце пробуждалось щемящее желание вновь увидеться с этими исполинами. Ничто не пленяет так, как горы — самое выдающееся произведение Природы. Как точно подметил Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы…»

Когда, привалившись к валуну, устроились обедать прямо на тропе, услышали мерный перезвон колокольчиков (точнее, как оказалось, колоколов размером с детское ведёрко). Три навьюченных яка и два проводника-непальца сопровождали лиц неопознанной национальности в шерстяных шапочках и огромных солнцезащитных очках. Освобождая тропу, мы поприветствовали: намастэ! Непальцы в ответ сложили ладошки на груди и поклонились, а «неопознанные объекты» проигнорировали нас. Видимо, сильно устали.

Яки крупные, чёрные. Неслышно ступая мохнатыми ногами, они шли без усилия, как танки: замешкайся мы чуть-чуть, и они прошлись бы по нам, как асфальтовые катки.

После взбодрившего меня непальского чая вскарабкался для лучшего обзора на небольшую скалу…

Гималаи! Безжизненный, бесстрастный, но вместе с тем потрясающе красивый мир, хаотично заставленный остроконечными пирамидами. Лёд, снег, разреженный воздух, вечный холод, промороженные за миллионы лет насквозь гранитные пики. Между ними плывут облака, лёгкие и зыбкие, как миражи средневековых парусников. Это не Земля. Это иная планета! Никогда я не видел такого множества ослепительно сверкающих вершин «на расстоянии вытянутой руки».

Похоже, что Горунг обладает колоссальной энергетикой. Несмотря на нехватку кислорода и подъём за полдня почти на тысячу пятьсот метров, я чувствовал себя сносно. Чтобы острее проникнуться значимостью момента, выпили по стопке виски. Ещё более повеселевший Камал тут же разыграл меня.

— Йети, смотри, йети идёт! — указывая на склон горы, усыпанный чёрными валунами, с ужасом зашептал он мне в ухо.

Один валун действительно напоминал силуэт набычившегося человека. Видя, что я воспринял розыгрыш всерьёз, успокоил:

— Не бойся, Камиль, йети худых не едят.

На спуске заметил орла, царственно восседавшего на скальном клыке. Я полагал, что на такой высоте орлы уже не живут. Ан нет: сидит, красавец! Решив сфотографировать его крупным планом, стал подкрадываться. Птица недовольно косилась и наконец, сверкнув глазом, в два взмаха сорвалась вниз и запари́ла кругами над пропастью.

В Муктинатх вернулся чуть живой. Под конец брёл уже «на автомате», мало что сознавая. Тело переполняла усталость. Но сон опять, как ни странно, был поверхностным. Всю ночь ворочался. Возбуждённый мозг никак не хотел угомониться, да и организм звал вниз, туда, где в изобилии кислород…

Обратно в Джомсом вышли только в тринадцать часов. Поздно! Я никак не мог заставить себя встать. Дордже чесночным бульоном попоит — и я опять дремлю, слышу, как внизу бегает, заливаясь смехом, детвора, переговариваются взрослые, звенит посуда, хлопают двери. После вчерашней вечной тишины, царящей среди могущественных гор, эти звуки были как бы из другой жизни.

Прощаясь с Муктинатхом, обвёл долгим взором эти святые, чарующе красивые места, безоблачный свод неба. С погодой, надо сказать, нам очень повезло. За все дни — ни ветра, ни снега, ни дождя! Камал считает, что лучшее время для посещения Непала — март или октябрь. Зимой холодновато, а летом — сезон дождей, который, накладываясь на тридцатиградусную жару, делает это время года непригодным для жизни европейца. Выбрав для поездки конец февраля — начало марта, я, в общем-то, не сильно промахнулся. Зато попал и на тибетский Новый год, и на день рождения Шивы.

Отдохнувшие лошадки резво затопали вниз. На меня двенадцатичасовой сон подействовал столь благотворно, что, преодолев соблазн оседлать одну из них, пошёл пешком: когда идёшь своими ногами, лучше видишь и чувствуешь окружающий мир. И потом, как-то неловко стало перед животными: дядя-то я рослый, а лошадки маленькие. Достаточно того, что они несут вьюки с грузом. Вскоре выяснилось, что от этого решения я только выиграл: моя скорость заметно превышала скорость караванчика. Это преимущество нарастало ещё и оттого, что я везде, где это было возможно, сре́зал извивы горной тропы и в итоге вышел к аномальному ручью намного раньше. Пока караван

спускался, я ещё два раза прошёлся вдоль русла ручья и убедился: да, вода течёт вверх!!! Не должна, но течёт, чертовка, опровергая все известные просвещённому человечеству законы. Что это? Явление антигравитации?! Или проявление неизвестной людям силы? Меня сильно смущало то, что прежде о таких явлениях никогда не читал и не слышал. А тут ведь за год проходит не одна сотня туристов со всего мира. Странно, очень странно. Может, это всё-таки заурядный оптический обман, связанный с особенностями рельефа местности?

Спускаясь по ущелью, опять встретили несколько портеров. Идут поодиночке, с корзинами в шестьдесят—девяносто килограммов. Сама корзина лежит на спине, а ремень, пропущенный под её дном, накинут на лоб. Когда носильщик отдыхает, то корзину со спины не снимает, а лишь опирает дном о ближайший камень.

Ущелье Кали-Гандаки встретило нас ураганным ветром. Холодным, пронизывающим. Поленившись сразу достать пуховик из вьюка, я сделал это только после того, как из моего тела выдуло всё тепло. К этому времени я промёрз до такой степени, что, даже надев пуховик, самостоятельно идти уже не мог. С помощью Дордже взгромоздился на лошадь и поехал на ней каменным истуканом. А Дордже всё нипочём—идёт как ни в чём не бывало в обычной куртке на синтепоне и ещё что-то мурлычет себе под нос. Мои же мышцы буквально одеревенели, голова чуть ворочалась. Ладно хоть руки с трудом, но всё же удерживали поводья. Одни ненасытные глаза, не переставая, вертелись, впитывая зловещую красоту ущелья, забитого вихрями песчаной пыли.

До Джомсома добрались в глубоких сумерках. На улице, не обращая внимания на пронизывающий ветер и пыль, играли ватаги детей. В темноте всё вокруг выглядело унылым, одни подростки смеялись радостно и беззаботно. На столбах кое-где горели лампочки. Свет от них настолько тусклый, что его хватало лишь на то, чтобы осветить самих себя, а сумерки вокруг, наоборот, превратить в непроглядную тьму. Такая же слабая освещённость и в домах. Двери в большинство из них, как всегда, распахнуты. Сквозь оранжевый туман электрического света видно, точнее, угадывается, что внутри кто-то смотрит телевизор, кто-то накрывает стол к ужину, у кого-то по полу ползают малыши.

На ночёвку остановились у первого же лоджа. Я свалился на землю на негнущиеся ноги и прошёл походкой робота в дом. Температура в нём такая же, как на улице, но ветра, слава Богу, не было. Что за холодостойкий народ эти непальцы! Сидят в рубашках, счастливые, довольные, а у меня даже кости трясутся от озноба.

Согрелся часа через два в относительно тёплой столовой после нескольких чашек обжигающего непальского чая. Почувствовав себя опять живым человеком, вышел на балкон-террасу. Над городком висело угольное небо, кучно простреленное тысячами звёзд-дробинок. Сквозь их крохотные дырочки на землю проливался серебристый свет из космоса. Что значит высокогорье: воздух почти не поглощает света звёзд, и они ночью сверкают, как кристаллы снега под яркими лучами дневного солнца. Как же ярко, наверное, светят звёзды в открытом космосе!

В восемь утра были уже в Покхаре. Камал всё удивляется тому, что, начиная с Катманду, все наши самолёты вылетали и садились точно по расписанию. В его практике это небывалый случай. Задержки на два-три часа в Гималаях обычное явление, но не предел и несколько суток. Не успели мы обсудить эту тему, как опять объявили посадку. А вон и «руины Сталинграда»—город Катманду...

В истории Непала был период, когда страну разделили на три королевства, которыми правили три брата. У каждого была своя столица: Катманду, Патан, Бхактапур, расположенные по соседству. Королевства, соперничая, старались перещеголять друг друга в роскоши и красоте храмов и дворцов. Сейчас их больше всего сохранилось в Патане. Храмы там отличаются изяществом и богатством убранства. Недаром «Патан» переводится как «город прекрасного». Находится он в пяти километрах от Катманду и уже практически слился с ним. Патан славен ещё своими кузнецами, чеканщиками, мастерами по литью из бронзы.

Если Патан—город буддистов, то Бхактапур («город верующих»)—индуистский город. Он подальше от Катманду—до него тринадцать километров. Этот город отличается чистотой и отсутствием транспорта в центральной части. В нём множество художественных салонов, величественных храмов, мастерских по резьбе из дерева.

В 1372 году основатель третьей династии царей Малла завоевал сначала Патан, а затем, десять лет спустя,—Бхактапур, и таким образом вновь объединил долину в одно государство, которое затем ещё не единожды распадалось на отдельные королевства-княжества. В 1768 году правитель королевства Горкха (западная часть Непала) Притви Нараян Шах завоевал всю долину Катманду и перенёс свою столицу в город Катманду. С этого момента было положено начало правлению в Непале династии Шах, продолжающееся по прямой линии по сей день.

Британия, пытаясь расширить свои колониальные владения в семнадцатом—девятнадцатом веках, предпринимало неоднократные попытки включить Непал в состав своей империи, но труднодоступность королевства и мужество непальских воинов, представленных в основном

гуркхами, не позволило осуществиться планам англичан. Солдаты-гуркхи, как я уже писал, настолько славятся своей отвагой, что их нанимают в армии других стран для службы в самых элитных подразделениях. Оплата за право найма вносит существенный вклад в бюджет королевства. Сами непальцы несказанно гордятся тем, что никогда не были, в отличие от соседей, чьей-либо колонией.

Столица встретила нас многозвучной какофонией улиц, заполненных людьми, мотоциклами, рикшами, автомобилями. В отеле получил оставленный багаж (за хранение денег действительно не взяли) и разместился в том же номере! Такое вот трогательное внимание и уважение к клиенту! После обеда выбрался на плоскую крышу. Город отсюда виден как на ладони. Овальная, самая обширная в Непале долина Катманду—довольно ровная, с небольшим уклоном к югу. В стародавние времена она была дном огромного озера. Но сто тысяч лет назад горную перемычку то ли промыло водой, то ли разрушило землетрясением, и вода сошла в Ганг, смывая всё на своём пути.

Вокруг города много полей, огородов. Долина окружена лесистыми горами, на склонах которых белеют виллы местной знати. На севере просматриваются заснеженные пики Больших Гималаев. Насладившись видом окрестностей, расстелил одеяло и, ласкаемый солнечными лучами, погрузился «в нирвану».

Последний день пребывания в Непале прошёл в поисках подарков для близких. Порадовал высочайший профессиональный уровень местных художников. Их произведения столь хороши, что пришлось несколько раз пройтись по арт-галереям, чтобы сделать окончательный выбор. И было приятно слышать, как хозяин одной галереи посетовал Камалу:

— Твой русский забирает мои лучшие картины.

А их у него сотни две в шести залах развешано.

Продолжая оттачивать умение торговаться с владельцами лавок, добивался равнодушным, почти безучастным отношением к интересующему меня предмету обычно трёх-, а иногда даже и шестикратного снижения цены. Непальцы к этому процессу относятся как к очень важному делу и включаются в него с удовольствием. Для них это способ общения с элементами состязательности. И если покупатель не торгуется, они его в душе не уважают. Как объяснил Камал:

— Торговаться—это признак хорошего тона. Если не торгуешься—ты невежливый, глупый человек.

Хотя иной раз сразу называют такую низкую цену, что и торговаться вроде бы неловко, но спорт есть спорт: всё равно торгуешься—из любопытства и азарта, кто кого одолеет в этом увлекательном состязании, развивающем в человеке актёрские способности и требующем знания психологии.

Здесь главное—не переборщить и суметь поймать ценовое «дно», иначе останешься без покупки. Мне очень понравилась такая черта непальцев: купил ты или не купил, отношение продавца к покупателю всегда почтительное и милое. Как я уже упоминал, здесь все всегда и везде улыбаются. Хотя большинство непальцев живёт крайне бедно. Казалось бы, нужда должна озлобить, сделать их агрессивными по отношению к богатым, но нет. Они ощущают себя счастливыми и радуются каждому мигу жизни, потому что у них иное понимание счастья. Непальцы умеют быть счастливыми сейчас и здесь, с тем, что имеют в данный момент. Не присуще им и чувство зависти. Вот бы нам тоже научиться так жить.

Непал всё-таки особая страна. Страна с добрым сердцем и чистой душой. Возможно, в этом проявляется преображающее, облагораживающее влияние на людей высочайших в мире гор—Гималаев. Здесь прямо в воздухе витает невероятной силы очистительная энергия. В человеке, оказавшемся в этой атмосфере, просыпается, проявляется всё лучшее, что заложено в него Богом. Повсюду чувствуется присутствие божественной благодати, делающей всех на этой земле равными.

Когда стоишь у подножья сказочно высоких пиков и созерцаешь их величие, не думается о материальном. Все традиционные ценности современной цивилизации (карьера, деньги) отходят на второй план, и что-то в тебе из уснувшего, доселе подспудно таившегося начинает пробуждаться, и через месяц-два, уже дома, вдруг ощущаешь, как ты меняешься, оттого что в глубине твоей души поселились светлая радость и умиротворение. Что ни говори, Гималаи—это особое, приближенное к богам царство. Они всё и всех меняют в лучшую сторону.

Непал—это радостный, светлый праздник, дарящий чудесные воспоминания на всю жизнь. И он со временем не гаснет, а наоборот, разгорается и зовёт обратно. Уверен, наше новое свидание состоится, и, быть может, оно поможет мне овладеть величайшим даром—искусством жить с радостью.

Сергей Курганов

Харьков сегодня: опера и балет

Ночь без Караяна, но зато с Калояном

«Ночь в опере». ХНАТОБ. 8 ноября 2014 г.
Постановка Армена Калояна

…Можно выстроить самый красивый и самый современный театральный зал. Можно взять на работу самых лучших певцов, танцоров, музыкантов. Можно самому быть самым лучшим дирижёром мира. И один из оркестров пусть играет на сцене, а второй внезапно возникнет на третьем ярусе. А ангельский хор можно разместить ещё выше — будто на небе. Но если это будет отстранённый от зрителя, да и от исполнителей театр одного гениального дирижёра — в этом непревзойдённом, богоравном Театре-Мифе зрителю-слушателю будет торжественно и холодно, и дух фон Караяна вечно будет витать в этом мире Вагнера, столь точно описанном в романе Фейхтвангера «Братья Лаутензак».

Харьковский национальный театр оперы и балета в редакции Армена Калояна — театр тёплый, всецело обращённый к зрителю. Второй оркестр расположен не в третьем ярусе, а в фойе. Сам постановщик, неузнаваемый, в маске, во время антракта разгуливает среди зрителей под руку с Мисс Мира. Зрители пьют вино в прекрасном баре, хор незаметно смешивается со зрителями и тоже вкушает божественный напиток. И только когда становится совершенно непонятно, где хор, а где — зрители, оркестр в фойе начинает играть «Травиату». Несравненный Золотаренко поднимает бокал и в самой гуще зрителей, перекрывая мощнейшим тенором всё, что происходит в фойе, начинает знаменитый дуэт. Но где же Виолетта? Вот она, божественная Вакулович, только что спевшая фрагмент из «Пиковой дамы» на большой сцене, идёт сквозь расступающуюся толпу, состоящую из хора и зрителей. Становится рядом с Золотаренко, они поют, и ты стоишь совсем близко, и участвуешь в спектакле, и можешь спеть вместе с хором, если захочешь и смелости хватит.

А в большом зале тебе подмигнёт Козлов, исполняя арию Тореадора, как будто из своих партий в «Летучей мыши» и «Цыганского барона», слегка сближая жанры оперы и оперетты.

И когда во время «Набукко» на фоне демонических декораций Швец на сцену вылетает настоящая летучая мышь и долго кружится над оркестром — начинаешь понимать, что окончательно выбрался из магических сетей театра фон Караяна и предпочёл ему новый миф, миф Армена Калояна, мир любимого Харьковского театра оперы и балета.

Тоня Радиевская танцует Чайковского

ХНАТОБ, 13 ноября 2014

От «Спящей красавицы» с Тоней Радиевской не отказался бы ни Ведерников, ни Гергиев. Радиевская придумала совсем иную героиню. Всегда танцевали так: от девочки скрывают её судьбу. Она наивна, весела, и укол для неё случаен. У Тони героиня проницательна и знает, что должно произойти в роковой день. Девочка старается не показать близким, что ей известно предсказание, и входит в Танец смерти осознанно и ответственно, как античная героиня. Думаю, так и хотел Чайковский, во всяком случае, судя по событиям его 6-й симфонии.

За Танцем смерти следует танец превращения в спящую красавицу.

Пока фея Сирени — истинное воплощение Рока — колдует, Тоня продолжает танцевать. Она лежит на сцене слева, не в центре, но внимание зрителя по-прежнему приковано к ней. Грудь вначале ещё полна жизни, страстности, дыхания, вдохновения. Постепенно дыхание становится тихим, покорным Судьбе, и Тоня засыпает.

В последнем действии Тоне предстоит расстаться с детством и стать королевой.

Это сыграно блистательно.

Тоня просыпается ещё той самой маленькой девочкой, которую мы так помним (век не забыть!), с богатейшей мимикой, имеющей своё собственное — ни с кем не сравнимое — лицо.

Этому лицу суждено превратиться в античную маску торжествующей правительницы.

Тоня расстаётся навеки со всеми милыми образами детства — все сказочные персонажи, полные жизни, гораздо более живые и настоящие, чем то, что ждёт героиню на троне, пришли попрощаться.

Маска взрослой женщины надевается окончательно. Выражение лица героини не изменяется.

Движения приобретают церемониальный характер. Быть женщиной — это и быть женой. И нам показывают соперничество мужского и женского начала в танцевальном споре с будущим королём.

В оркестре изменяется солирующий инструмент — теперь это огромная медная труба, и металлические звуки Рока из 6-й симфонии доминируют.

Расставание с детством и принятие на себя роли королевы классического балета, в котором не может быть индивидуальности, Тоня танцует столь же мужественно и страшно, как и Танец смерти.

Получается, что взросление и воцарение и есть вариант смерти: ты уже принадлежишь не себе, а государству балетному, где все носят маски и выполняют церемониальные движения.

Торжествует трагическая тема умирания — теперь уже окончательного — ребёнка в теле и повадках взрослой женщины — царицы, правительницы, покорительницы мужских сердец и вершительницы человеческих судеб.

Эта Тонина трактовка «Спящей красавицы» удивительно перекликается с постановкой художником Шемякиным балета «Щелкунчик» в Мариинском театре (дирижёр В. Гергиев).

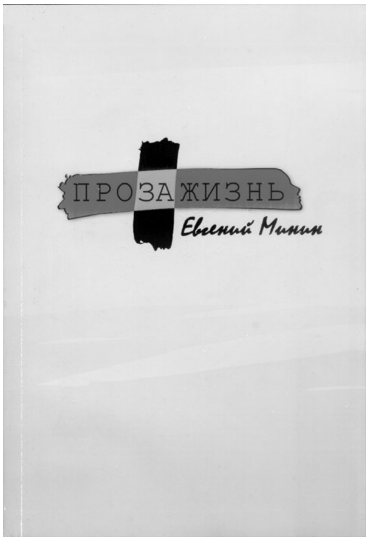
У Шемякина все герои, кроме девочки и Щелкунчика, — в той или иной степени — крысы, в первом действии героиня маленькая и не умеет танцевать (как это раздражает зрителя, пришедшего на балет!), а потом (та же актриса) вырастает и танцует (во сне-взрослении) как богиня. Декорации резко увеличиваются (помню огромные сапоги) — и поэтому герои-люди уменьшаются, в конце праздничного танца превращаются в фигурки огромного торта, который съедят на празднике взрослые (бюргеры-родители-крысы, обжора-братец-крыса). У Шемякина-Гергиева «Щелкунчик» — тоже трагедия взросления…

Спасибо, Тоня!

Спасибо, дорогой Пётр Ильич, мы Вас любим и помним.

Как в детстве.

ДиН ревю



Красноярск

Частное издание Николая Негодина

2014

Евгений Минин

Прозажизнь

«…Я поэтому потом очень долго учился, чтобы всё, что смастерю, не разваливалось в самый ответственный момент! Это самое главное. И не важно, что и из чего мастеришь, санки или своё будущее», — я старался всегда с детьми говорить на равных и серьёзно — это им нравится и воспринимается тем чувством взрослого человека, которое живёт в них и ждёт своего часа. Если чаще обращаться к этому чувству, полагаю, что дети внутренне будут взрослеть намного раньше.

из рассказа «Амос, или Сделай сам»

Я горжусь Одессой! Правда, не наше поколение её строило, не Церетели памятники ставил — с этим Одессе повезло. Но пройдитесь по её улицам, посмотрите на стены домов — везде знакомые лица. В камне, мраморе и просто на стендах — этих ищут, других уже нашли…

Где-то и моё лицо — в фас и профиль. А кого-то угораздило стать бульваром при жизни — не будем указывать пальцем — кого! Да разве я мог родиться в другом месте, кроме как в Одессе?

из пародии на произведения Михаила Жванецкого

Александр Астраханцев

Возьми меня с собой

Главы из повести

1.

В первый раз она, Маша Куделина родом из маленького сибирского городка Зеледеево, вышла замуж, да что там вышла — выскочила, рюхнулась сдуру по наивности! — ой как давно, в девятнадцать, и было это так смешно и даже нелепо, что и вспоминать неловко — как о каком-то недоразумении в ряду таких же мелких и смешных недоразумений, которых в её жизни случалось предостаточно. Она училась тогда на третьем — или на втором? — нет, всё-таки уже на третьем курсе пединститута (специальность — английский) и на весенней сессии горела, как швед под Полтавой. На экзамене по марксистско-ленинской философии. Ни в зуб ногой ни на один вопрос. Выкручиваться пришлось всеми подручными способами; а экзамен принимал молодой аспирантик, без пяти минут кандидат наук, к тому же холостой (девчонки — а на факультете сплошняком девчонки — знали про своих преподавателей всё-всё, вплоть до цвета исподнего, так уж как не знать, женат или холост), — в общем, марксист-ленинец, и симпатичный — этакий херувимский блондинчик; девчонки, дуры ржачие, хихикая и подначивая одна другую, вздыхали по нему полушутя, подкидывали анонимные записочки с игривыми намёками, таращились во все глаза, когда он раскрывал и читал их, да прикидывали его каждая на себя, как носильную вещь; а Маше он был без надобности: не в её он был вкусе, ростом не дотянул до её идеала — высокого-превысокого шатена, да чтобы с тонким лицом и кудрявой — как греческий бог! — головой, — а тут всё наоборот. Ну что это, в самом деле, за мужчина: плотненький, сбитый такой? Она как представит себя рядом с ним, сама сбитая да плотненькая, — ну точь-в-точь два колобка рядом катятся: держите меня, девки, шестеро, сдохну *щас* от смеха!..

Но на том экзамене ей было не до смеха, *неуд* корячился, стипендия горела синим огнём, а в её головушке — кавардак: ну ни один-то закон диамата на ум не приходил, и — совсем позор! — не могла отличить материализм от идеализма. Что делать? Давай она тогда на этого блондинчика-марксиста мощную волну гнать: и коленочкой-то в коленку его будто невзначай упрётся, а сама, нежно розовея, пролепечет: «Извините», — и бюстик-то свой поправит ладошкой, и уж вовсе давай ему отчаянные глазки строить — а глазки у неё зелёные-то презелёные, широко-преширoко распахнутые, какими бывают только в юности, когда ещё нет привычки жить и всё внове, да если ещё разволнуется, прямо изумрудами чистой воды так и сверкают — хоть стой, хоть падай; впрочем, кто их, эти изумруды чистой воды, да ещё такие крупные, у нас видел?.. И личико-то простенькое: конопушки эти, кое-как запудренные (её главная забота в ту пору), скорей, на жалость, чем на сексуальное любопытство, толкают, так что эти её коленочки, этот неловко поправляемый бюстик аспиранта не шибко-то, кажется, и волновали — студентки-оторвы и не такое себе позволяют; но эти зелёные Машины глазищи, в которых сквозь кокетство просвечивала такая мольба о снисхождении, и почти физическое страдание, и слёзы, готовые вот-вот хлынуть и затопить стол, билеты, зачётные книжки, её самоё и его тоже, что молодой аспирант с непонятным самому смятением: о Господи, да ведь сотни девичьих глаз смотрели на него так! — стал погружаться, погружаться в чистую зелень глаз этой бестолковой девицы, что двух слов связать не в силах… Чтобы отвлечься, полистал её зачётку: вроде бы и не тупица — даже пятёрки есть. Немного смягчился (он не переносил тупиц), вздохнул: ничего, мол, не поделаешь, — и участь её этим вздохом была предрешена. Сказал тихо:

— Приходи вечером: потолкуем, и я поставлю тебе оценку. Согласна?

Она даже не успела хорошо подумать — в её сознание только и врезалось, что уже вечером ей поставят оценку, — и с готовностью кивнула в ответ. Он тогда взял её листок с каракулями, которыми она силилась выразить свои философские познания, и аккуратненько написал на нём свой адрес.

Всю оставшуюся часть дня она была в смятении: идти — не идти? Господи, да разве не знала она, что приглашения эти означают одно-единственное, через что сможешь или нет переступить, чтоб заработать пресловутую оценку? «Передком

заработать» — называлось это у подружек. И после колебаний (но были, были колебания!) решила, что у неё достаточно характера и, во всяком случае, надо его развивать, поэтому она пойдёт — очень уж охота получить оценку и покончить с этим; но ещё и шевелилось, щекоча и возбуждая, любопытство: а как это — когда соблазняют?.. Ведь она вот она вся — в городе, полном соблазнов, на этом празднике жизни, с широко распахнутыми глазами, сердечко бьётся возбуждённо, дыхание стесняет от надежд и ожиданий, а её никто не замечает, не приглашает никуда; и вдруг — это же её, её зовут! Как тут не затрепетать сердцу, не закружиться головушке и не ринуться тотчас навстречу зову, теряя голову?!

Впрочем, она пошла не наобум, а — придумав хитрый план: она сама будет соблазнять самонадеянного аспирантика, и когда тот станет готов на всё — она зачётку ему в руки: пожалте, распишитесь! — а как только он поставит свою закорючку, она ему тогда: адью, философ, не на ту напали!..

Однако всё получилось совсем не так. Коварный этот аспирант, большой уже, видно, знаток по части сердец юных обитательниц студенческих общежитий, встретил её ужином, от одного взгляда на который у неё закружилась голова — настолько он щекотал её чуткое обоняние и мешал думать о чём-нибудь ещё: была там и какая-то дорогая копчёная рыбка полупрозрачными, насквозь пропитанными жирком пластиками, и икорка посверкивала каждой золотистой икринкой на масляном глянце бутербродов, а поверху каждого нахально кинуто ещё и по сочно-зелёному листку сельдерея; сытно бугрились в роскошной коробке, каждый в своём гнёздышке, пузатенькие шоколадные трюфели, в которые так мягко и упруго впиваются зубы, и стояла в самой середине этого островка изобилия бутылка вина с красочной золочёной этикеткой, с заграничным умопомрачительным названием, которое она только в книжках про шикарную жизнь вычитала... Бедная Маша была подавлена этакой застольной роскошью: «А не хило, однако, аспиранты у нас живут!..» — и старалась не глядеть на столик, а он всё равно нагло лез в глаза в тесной комнатёнке, куда ни прячь взгляда.

А аспирант, будто между прочим, весьма этак небрежно приглашает:

— Давай-ка со мной за компанию! Я голодный, а одному неохота.

Чуя подвох, она отказалась напрочь. Так он на смех её поднял:

— Да ты чего такая деревянная-то? Уж не воображаешь ли, что я соблазнить тебя собрался? Так знаешь, сколько здесь таких, как ты, перебывало?

И столько было в его интонации снисхождения к её наивности и невзрачности: не много ли, мол, чести? — что она, поколебавшись и даже обидевшись (а ещё и в пику ему: чёрт с тобой, пусть не получу ни фига, так хоть налопаюсь!), взяла да с этакой развязной решимостью и села за столик. А была голодна, как собака, — будто судьба нарочно испытывала её в тот вечер; впрочем, голодна она была в те времена всегда — и принялась пробовать его деликатесы.

Он же, будто фокусник из рукава, достаёт хрустальные бокалы с изморозью тончайшего рисунка на них, поющие тонким звоном от прикосновений, — эстет! — и разливает в них вино, а оно, густое, багряное, вспыхнуло в них рубиновыми искрами, и отразил их многократно, и заиграл ими ледяной хрусталь; она с набитым ртом отвергает рукой вино: «М-м-м!» — а он опять фыркает:

— Да что ты как дикая коза? Я тоже пить не собираюсь; купил вот по случаю шибко заграничное — никогда не пробовал, только читал.

— И я читала!

— Видишь, какое родство душ! Давай — за волшебную пору студенчества!

Ну и как, скажите, не попробовать этакой прелести по столь достойному поводу?.. А вино — действительно прелесть, о-ох, не зря о нём в книгах про шикарную жизнь написано!..

— А может, повторить да распробовать получше?

— Н-ну, только если чуть-чуть...

Как быстро размякают и душа, и тело от такой мелочи, как вкусная еда и глоток хорошего вина!.. Оно звенит в крови, мягко закладывает уши; хочется смеяться без причины и дурачиться; а аспирантик жужжит, как золотой шмель над цветком; и — ничего, в общем-то, парень: весёлый, остроумный, сам недавний студент, так хорошо понимает всё, — и она, как боевые доспехи, с осторожностью — но и с облегчением тоже! — скидывает груз стеснительности и оборачивается смешливой, резвой, заводной девчонкой.

Потом они танцевали под пластинки и сладко, до головокружения, под музыку целовались, а потом он чуть не всю ночь соблазнял её; было и страшно, и жутко захватывающе, и она, не желая прекращать, тянула и тянула эту тягуче-сладкую игру, распаляя молодого философа и сама втягиваясь в водоворот азарта, из которого, как из сетей, уже трудно, уже невозможно выбраться, как ни барахтайся... И к утру настойчивый аспирант всё же овладел ею.

Чем наша юная Маша прельстила его и чем он выделил её среди сверстниц настолько, что сам попался в свои сети, так что трудно и разобраться, кто тут кого ловил, — история об этом умалчивает. Только с той ночи Маша так и застряла у него, и они стали считать себя вроде как мужем и женой. Стало быть, что-то же было в ней, помимо крепенького и свежего юного тела, простодушия и изумительно зелёных глаз, что увлекло этого целеустремлённого парня более чем на ночь? Может быть, на него произвели впечатление трепетная бесхитростность

и смешной ершистый задор этой дурочки — словно райский островок посреди океана наглой изворотливости её продувных сверстниц?

Свои отношения они не зарегистрировали — тяжёл на подъём оказался Славик, так звали её мужа; всё занят да занят: то семинар, то кафедра, то библиотека, — всё отмахивался, резонёрствуя перед робевшей юной женой:

— Да успеется, мышонок; подумаешь, штамп в паспорте! Такая пошлость!..

Он обнимал её, вкусно целовал, любвеобильный и стремительный, быстро заводился, и они валились на постель и затевали бессчётную любовную игру.

Она уже забыла, как ещё недавно мечтала о стройном Аполлоне; теперь она могла часами смотреть на Славика и открывала в нём новые и новые достоинства, и получалось, что лучше его и на свете-то нет. Она стеснялась сказать ему об этом, но счастье волнами приливало к ней: у неё даже дыхание учащалось, и уж так стучало в груди сердечко — вот-вот вырвется оттуда и поскачет светящимся пульсирующим шариком по земле, и взлетит, и поплывёт в небесах... Но Слава и без слов чувствовал это — оторвётся от своей писанины, потянется, сладко жмурясь, как котик, и скажет:

— Чего ты, мышонок? Иди сюда!

И она, сладко замирая, подойдёт, а он её обнимет крепко и вопьётся в губы...

Ходила счастливой сомнамбулой, безоглядно отдавалась ему, много спала и видела лёгкие, странные сны: будто перед нею не то река, не то море — вода сверкает под солнцем так, что глазам больно, манит войти, окунуться, а перед водой — широкий пляж до горизонта, и вместо песка на нём — сплошняком живая, трепещущая рыба, вся в ярко-красном оперении, в солнечных бликах; Маша идёт к воде босиком, ступая прямо по скользкой рыбе, а она прыгает, щекочет икры, лодыжки, и Маша от души хохочет — так ей легко и весело!..

Как-то рассказала про сны подружкам — те от хохота в лёжку попадали:

— Ой, дура-а! Дуй-ка быстрее к гинекологу: рыба известно к чему снится!..

И — точно: попалась! Ни сном ни духом... Тут-то и занервничала. Самой-то по-прежнему ничего не надо, и дальше готова слушаться своего умницу Славика, но как-то предстояло объясняться перед подругами, настырными в своём неутолимом любопытстве. А главное — перед родителями.

Девчонки же и надоумили: устроила своему Славке первый в жизни скандал со слезами и пригрозила, что пойдёт на его кафедру и попросит, чтобы освободили на денёк — сходить в загс. А у него защита скоро, да притом только что в партию с таким трудом влез (не берут туда интеллигенцию, хоть тресни: вот завлеки с собой двух рабочих, тогда посмотрят. А если эти обормоты партию в гробу видали? Им лучше бутылку вылакать, чем партвзнос от души оторвать; философу-марксисту же кандидатом наук без партии ну никак не стать: установка железная!). В общем, припёрла его к стенке, и Славик дрогнул: вздохнул и как миленький пошёл с нею в загс — *расписываться*.

Хотелось ей при этом, чтоб ещё и маленькое торжество было, и белое платье, и белый веночек; но Славка и тут донимал её насмешками:

— Ну куда тебе белое, мышонок? Белое — цвет невинности! Хоть ты и Мария, но я-то — не Святой Дух!..

Известное дело, ему расходов жалко — такой, право, экономист, знаток «Капитала»!.. Однако она и тут взяла слезами — никуда не делся: было и маленькое торжество, и белое платье с веночком.

Только родителей её на торжестве не было, хотя и письмо с приглашением написала, и Славика заставила вписать несколько приветливых фраз. Но — ни ответа ни привета. Она-то понимала: совсем даже не потому не ехали, что тяжелы на подъём или хозяйство не бросить, — нет, тут обида: не писала, не писала, и нá тебе, как обухом по башке — свадьба!

«Ладно», — прикусила губку Маша. Сама повезла Славку для отчёта. Подарков набрали... Родители встретили чинно; Славику — сладенько:

— Вячеслав... как вас по батюшке?.. О-очень приятно! Проходите, дорогим гостем будете...

Простой, но обильный стол: попросту — обжираловка. «Хоть налопаемся!» — тайком подмигивала Маша Славе. Тот слегка робел; сама-то готова была прыскать по любому поводу, и всё её тогда смешило — такая хохотушка!

Захмелевший отец наливал по полному стакану водки себе и зятю — проверить: мужик или не мужик? — а Славка и закуражился — тоже с характером: «Чего ради? Не хочу я ничего доказывать!» Отец тогда: «Смотри, как по-нашему пьют!» — давясь, высосал стакан и осоловел: всё бил себя в грудь и что-то порывался сказать, но на губах лишь лопались пузыри и вырывались несвязные звуки... А мать тем временем ущупала взглядом Машин животик и не преминула обличить:

— Э-эх ты-ы, стерва! Засвербело, да? Не утерпела до свадьбы?

Маше бы обидеться, но у неё же и болело за мать сердце: как-то не по материному всё, разваливается миропорядок, уже не учат дочерей вожжами, как её самоё когда-то хвостали, так что из дому сбежала. Потому и не перечила; хотелось лишь взмолиться: «Прости, мамочка, что так получилось!» — да лучше уж смолчать, она мать знает.

А отец взялся их умиротворять, полез целовать всех своими склизкими губами и всё уламывал под сурдину зятя:

— Давай выпьем, а? Ну уважь меня, будь человеком! — и всё совал ему стакан с водкой, пока

не опрокинул его на Славика и тот не выскочил из-за стола отряхиваться и сушиться.

— Пойдём лучше погуляем? — шепнула она Славке, взяв за руку.

И они, освобождаясь от тягостного оцепенения за столом, выбежали на улицу, рассмеялись и пошли гулять по городку.

Правда, показать-то нечего: история человечества прошла где-то мимо Зеледеева, которое уютно уместилось, как в ладони, в речной излучине; самая большая достопримечательность — родная школа, да разве ещеё *музыкалка*: та-та-ти-та-та, та-та-ти-ти-ти, помнишь? Ах, ничего-то ты не знаешь: это же Шопен-лапочка, ноктюрн ре бемоль мажор, мой выпускной экзамен!..

— Ты у меня просто прелесть! — Славик запрокидывал её и целовал в губы прямо посреди улицы. — И как это твои предки раскошелились на *музыкалку?*

— Да ведь они тоже были молодыми! Хотели, чтобы я была счастливая! — она смеялась от ощущения счастья. — Ты не сердись на них, ладно?

— А-а, все они одним миром мазаны! — смеялся он, вторя её смеху. — Когда-нибудь и я покажу тебе своих монстров!..

А вечером только забежали домой забрать сумки и проститься.

Отец, рыча тигром, храпел на диване; в распахнутом его рту, как в жерле вулкана, пузырилась пена, а рука безжизненно свисала до пола.

Мать бормотала, обращаясь к Славе:

— Извиняйте, если что не так! Остались бы ещё, погостили — ни с сестрой Машкиной не повидались, ни с братом.

— Некогда, мама, Славику заниматься надо! — отвечала Маша.

И не была потом у них с полгода. Только когда уже ходила на сносях, Славик рассудил:

— А почему бы тебе, мышонок, не поехать рожать домой, а? Не годится в вечной ссоре с мамочкой жить: кто ж тебе поможет, как не она?

Ой как не хотелось ей от него уезжать! Хоть и понимала, что у него последние месяцы перед защитой, после стольких лет упорства, — измотался, бедняга; а тут, действительно, младенчик появится, новые заботы, дни и ночи без сна: какие тут занятия, какая защита? Потому-то Славик так хлопотал, чтобы отправить её. Заставил покаянное письмо родителям сочинить:

— Ты напиши, напиши им, чтоб не с неба свалиться, а то опять мамаша вылупится — забыла, небось, откуда дети берутся! И я пару строк черкну...

Сам потом отвёз её на вокзал, усадил в вагон, сладко поцеловал на прощание — такой заботливый! Рассчитали вместе, что Маша родит там и поживёт ещё месяца четыре, а он потом приедет за ней, уже *остепенённый*, и они будут радоваться вместе двойному прибавлению: в конце концов, он ведь старается для своего милого мышонка — чмок, чмок в щёчки! — и, конечно же, для их будущего бэби!

Скрепя сердце приехала она к родителям, раз надо...

Однако со строптивой матерью мир её по-прежнему не брал. Сцепились.

— Ну, тебе бы, ма, во времена раскола жить, — сказала ей в сердцах спустя неделю по приезде Маша; из-за какой-то мелочи полушутя брякнула. — Или бы в революцию — ты бы у меня там комиссаршей была, наганом бы махала!..

Чисто по-женски ляпнула, этакой мохнатой рукавичкой погладила, а в рукавице — иголочка; а мать и не поняла её шутливой иронии — а ведь сама когда-то скорой на язык слыла, только с тех пор затянуло беспросветным мраком её поседелую головушку, — накинулась раздражённо:

— Это ты на мать так? Ах ты, сучонка! И мужа-то ублюдка себе под стать нашла!.. — её просто зудило уязвить дочь пошибче да побольнее.

А Маше прежде себя надо за суженого вступиться — взвилась:

— Чем это, интересно, он тебе не пришёлся? Почему его оскорбляешь?

— А что мне, молиться на вас? По глазам вижу: прощелыга твой хахаль, ещё покажет тебе весёлую жизнь — наплачешься! А ты, дура, и развесила уши, и повисла на нём! Вишь ли, образование не позволяет у матери совета спросить!

— Но это же моё дело, мама! Чего ты в него суёшься?

— Ах, не моё? А чего тогда ко мне припёрлась? Кто ж мужа-то бросает одного да настолько? Сама глупа — так хоть мать послушай!

А полупьяный отец даже не заступился. И Маша, не в силах больше терпеть (ах, так? Ну и пропадите вы пропадом, дорогие мамочка с папочкой, как-нибудь без вас проживём!), порывисто собрала сумки и пошла на вокзал, на ночной поезд, в смутной тревоге от материного злого наговора, давая себе слово: нога её больше не переступит их порога!

А мать кричала ей вслед в тупом восторге:

— Давайте, давайте, поживите сами!

И не догони её отец, не подхвати тяжеленные сумки — не помогла бы ей её природная выносливость, так бы и разродилась на полдороге к вокзалу, под забором, где цветут пышным цветом только груды ржавых банок, где хоть ночь кричи — не докричишься: заперлись её драгоценные земляки за крепкими воротами, врубили телевизоры — им и горя мало; от женского вопля на улице их тянет лишь проверить надёжность засовов да усилить звук в телевизоре.

Отец доро́гой бормотал виновато:

— Да ты чего так обиделась-то? Не бери в голову — мы люди простые, без затей. Ну пошумели, дак чего? Отойдём — мы же не злопамятны...

Она продолжала идти молча, прикусив губу: жалко отца — какой молодец был когда-то, огонь-мужик, хоть подраться, хоть на гармони сыграть, хоть сплясать; тряхнёт чубом, рванёт ворот — только пуговки, как семечки, по полу: и-эх, пропадай, моя деревня!.. Господи, как она любила его когда-то! А теперь только злилась на его тупое пьяное мычание. Что за люди!

Потом, уже ночью, в поезде, взяв постель, лежала в купе, и сквозь морок сна и мерное покачивание густо наплывало: мама — молодая, в сарафане с открытыми плечами, такая стройная, что всё в ней звенит, и, кажется, босиком, потому что каждый грязный пальчик на её ноге она видит ясно, как сейчас, — несётся по улице на мотоцикле, поднимая шлейф пыли; сарафан её полощется флагом, бьётся о колени, горит красная ленточка в её тёмной, летящей по воздуху косе, а сама она, возбуждённая скоростью, кричит: «Э-эй, чалдоны-ы! Прочь с дороги!» — и крик её рвёт на части ветер, а белые зубы отражают солнце… А потом вдруг: сцепились с папкой, дерутся насмерть; отец бьёт её наотмашь, она отлетает к стене и с воплем — но воплем не боли, не страха, а злобы — хватает со стола тарелку с чем-то и запускает в отца; тарелка, ударив его в лоб, разлетается на куски, и он стирает ладонью с лица месиво, а мать уже хватает со стола нож, и ошарашенный отец, распахнув дверь ногой, выскакивает на улицу и кричит издалека: «Гадина! Колдунья! Шизофреничка!» — а она со злости швыряет ему вслед камни и кричит на всю улицу: «Чунь ты дырявый! Валенок сибирский! Говно собачье! Носорог ты! Крокодил! Обезьяна! Подь ты весь! У-у, ненавижу!..» И тут же — вскоре или нет? — какой-то праздник, гулянка, и они уже — глаза в глаза — пляшут, переплясывая друг друга, и все остальные сходят с круга, не выдержав темпа… Или — уже в автобусе, в какой-то компании, мчатся в лес за ягодами; отец играет на гармони, откинувшись на сиденье, и гармонь захлёбывается от восторга дороги, а остальные поют, и поёт мать, поёт с чувством, закрыв глаза, и сквозь закрытые веки её проступают почему-то две слезинки, и Маша, сидя у неё на коленях, увидев их, трогает их пальчиком и незаметно для других стирает… А потом — пикник на траве, и мама — опять весёлая, в сарафане с открытыми плечами; всех едят комары, а её — нет, и когда её спрашивают — почему, она хохочет: «Я же заговорённая, я — дочь ветра и тайги! Вас в капусте нашли, а меня — в дупле: я от молнии родилась!» — и смех её — словно пузырик поднимается с озёрного дна, достигает поверхности и весело лопается; она намекала, что приехала из глухой деревни, и любила выражаться высокопарно… Господи, когда это было?.. Ничего уже не связывает Машу с ними, но зачем-то надо поддерживать отношения, без конца прощать и мириться, чтобы снова ссориться. Что за люди вздорные!..

И неслась мыслями, теперь уже с благодарностью, навстречу Славику: лапочка, единственный родной человечек… Скоро, скоро уже кандидатом станет, кучу денег заработает, квартиру дадут, и они много-много чего купят — им столько всего надо, страшно подумать! А Славик уже и о своей машине мечтает… Так тепло и уютно было думать об этом всю ночь в полусонной дрёме под ровный стук колёс и мчаться навстречу любимому…

Рано-рано утром — только бы скорей! — приехала с вокзала на такси, поднялась по лестнице, мужественно втащив сумки и, чтобы не будить Славика — он так любит, бедный, понежиться по утрам, — сама открыла ключом дверь и глазам не поверила: в утреннем полумраке рядом со Славиком в постели она увидела самоё себя: это же её, её собственная голова лежит рядом со Славиковой на подушке — её русые локоны, её собственное, скуластенькое, со слабым крапом веснушек, личико (она даже схватилась в ужасе за своё собственное), и её же рука обвила во сне Славикову шею! Хотя чувствовала подвох: это совсем другая Маша; и рука у той чуть посуше и подлинней, и локоны пожёстче, и личико свежée. Маша пришла в ужас, оттого что это ей не мерещится; ей захотелось тут же выскочить из комнаты, убежать, спрятаться от этой дикой путаницы, но она настолько устала, что уже не в силах была двигаться; просто уронила сумки и хотела лишь одного — присесть куда-нибудь, не более, как вдруг ей показалось, что низ живота у неё лопнул и что-то горячее побежало по ногам, и она почувствовала дикую боль в животе; в страхе, что сию минуту умрёт, она дико закричала, обхватив руками живот, и, неловко опускаясь на пол, увидела чужим каким-то, будто не её, — отстранённым — взглядом, как от её крика Славик испуганно открыл глаза и вместо того, чтобы кинуться к ней, стал глубже натягивать на себя одеяло и суетливо прятать под ним ту, другую…

Потом, поняв, что она, оглушённая собственным криком, корчась на полу, совершенно беспомощна и неопасна, они, обнажённые, бегали по комнате, собирая раскиданные везде одёжки, — она всё это продолжала тупо отмечать своим помутнённым сознанием, ничего не понимая — это потом она всё припомнит и поймёт; а те, мельтеша перед её глазами голыми спинами и белыми попками, всё-таки торопливо оделись и куда-то исчезли, а её потом везли в скорой помощи, где она, продолжая умирать, время от времени истошно орала, а женщина в белом, держа её руку в своей, а другой вытирая пот с её лба, грубовато успокаивала:

— Да не ори ты так! Дыши глубже, и всё будет хорошо! Скоро, скоро уже!

И действительно: только успели довезти, как она разродилась. А потом спала и спала — долго-долго

отсыпалась — и не хотела просыпаться; её будили — покормить сына, и она, накормив его тугой грудью, тут же засыпала снова, теперь уже вместе с ним, и его у неё, спящей, отнимали.

А что Славик не пришёл и, наверное, уже не придёт, она поняла на третий день и отнеслась к этому спокойно: как-то всё ей стало до лампочки, хоть и обидно, что такой обманщик оказался... Только всё время хотелось есть: кормили бесконечной манной кашей, а принести что-нибудь вкусненькое было некому; но душа её настолько была оглушена каким-то новым, похожим на праздничное, состоянием, что обо всём, что осталось за порогом роддома, она подолгу думать просто не могла. Женщины-роженицы в послеродовой палате подкармливали её, такую молоденькую и одинокую, и спрашивали:

— Что ж ты теперь делать-то будешь?

Она, отчасти по легкомыслию, а отчасти и наперекор всему, беспечно махала рукой:

— А-а, проживу!

В предстоящую жизнь всматриваться ей было не то лень, не то очень уж страшно.

Но жизнь доставала — через сколько-то дней ей сказали:

— Пора, *девушка*, освобождайте место. Так что думайте, мамаша, думайте.

Встретили Машу с младенчиком девчонки-подружки, попищали от восторга, потискали — и на такси, в аспирантское общежитие; ключ от комнаты у Маши, слава Богу, был, и девчонки — в один голос:

— Захватывай комнату, и никуда он, гад, не денется!

Приехали, а комнату открыть не могут: замок в двери заменён. Девчонки вместе с Машей и младенцем — прямиком к ректору:

— Вот каких вы аспирантов готовите! Пусть отдаёт комнату жене с сыном!

Однако ректор разбираться сам не стал, а передал их своему заместителю, а тот лишь развёл руками: пока она отдувалась в роддоме, Славка успел перевестись в другой институт, а его комнату отдали новому аспиранту, тоже с женой и младенцем!

Девчонки места себе не находили от возмущения:

— Ну, сукин сын, ну, подонок!..

Заместитель же, сочувствуя Маше, отдавал должное и ловкости аспиранта:

— Смышлёный молодой человек. Недаром — кандидат.

А Машу так даже нервный смех разбирал: перехитрил её Славка, переиграл!..

Но что же ей-то всё-таки делать?.. Глаза заместителя в ответ на этот вопрос подёрнулись ледком: одиноким мамам-студенткам они не только не раздают комнат, а наоборот — этот нежелательный элемент из институтской жизни искореняют.

— Представьте себе: если каждая студентка заведёт по младенцу! Это ж не институт будет, а... — заместитель предосудительно покачал головой.

В конце концов, он настоятельно посоветовал ей взять академический отпуск, выкормить грудью ребёнка, а там будет видно.

Так и пришлось. Но домой — ни за что! До того доходило, что ночевала на вокзалах. Потом нашла себе угол у парализованной старушки — ухаживать за ней; а сама то дворником, то почтальоном подрабатывала...

А между тем до родителей дополз слух, что дочь выгнали из института — за разврат, конечно (за что ещё можно девицу из института выгнать? Город — он город и есть, хорошему не научит!), а также — выгнал из дома муж, что родила, да недоношенного, что недоношенный этот похож неизвестно на кого: заячья губа, грудь куриная, и ножки не разгибаются, — что Маша с этим недоношенным таскается по вокзалам и чуть ли не продаётся за буханку хлеба...

Собрали семейный совет с участием старшей, Катерины, которая к тому времени уже выбилась в люди: работала бухгалтершей на швейной фабрике и жила, как полагается, своим домом, с мужем и детьми. Её этот слух о Марье задевал больнее всего... На совете решили: надо ехать, смотреть — может, всё-таки на человека похож ребёночек? — да забрать, а то перед людьми стыдно!

Поехали Катерина с отцом. Нашли Марью, рассмотрели недоношенного. Отец, густо дыша портвейном, одобрил внука: парень как парень, всё на месте! Уговорили Машу, повезли домой...

Мать, кажется, даже торжествовала:

— А я ведь предупрежда-ала — так нет чтобы послушать!

— Мамочка, прости меня! — смиренно склонила Маша голову, закусывая губку и терпеливо слушая длящийся затем много дней кряду однообразный этот монолог: что теперь толку перечить?..

Честно выдержала с родителями положенный ей год, а потом оставила на них младенца и уехала, чтобы всё-таки закончить злополучный институт.

2.

Такова история Машиного первого замужества, этой, можно сказать, прелюдии к её взрослому периоду жизни. Но не о нём речь, ибо что же интересного в этой банальной, как дважды два, истории? — наша-то речь о втором её замужестве, хотя между ними пролегло лет с десяток, и в этом промежутке было у неё, разумеется, столько разных случайностей и недоразумений, смешных и грустных, какие только могут возникнуть в её возрасте и её положении, — у молодой женщины без средств и связей, при скромных внешних

данных и средних способностях, активно при этом барахтающейся в океане жизни и в одиночку завоёвывающей для себя и своего сына место под солнцем. Так что к её второму замужеству, закончив институт и честно отработав положенные после него три года в средней школе, сумела она, используя неизвестно какие возможности, устроиться на кафедру английского языка в родном институте. Непонятно, что её толкало туда: то ли какой-то инстинкт, то ли элементарная зависть к тому благополучному островку жизни, который виделся ей из студенческого общежития, причём этот островок жизни казался ей, видимо, таким прелестным, о каком только можно мечтать,— эта кафедра иняза была престижной в нашем областном центре, ведь работают там, главным образом, жёны и дочери больших начальников, их родственницы или очень уж близкие их знакомые женского пола.

Правда, работала она там лишь ассистентом, или, попросту, девочкой на побегушках, исполняя всё, что прикажет завкафедрой, от подмены заболевших преподавателей и до покупки подарков и цветов для очередной именинницы, причём оправдывались эти задания тем, что у Маши — вкус: ей закажут одно, а она возьмёт и купит совсем другое, но это другое оказывается и мило, и с фантазией, и недорого,— так что женщины вынуждены были признать: да, у Маши — вкус!

Завкафедрой, или «шахиня», была настолько властной и намертво укрепившейся на своей кафедре, что весь штат концентрировался вокруг неё кругами по принципу преданности: первый круг, второй и так далее (мужчин она принципиально не держала; все они, по её твёрдому убеждению,— анархисты и разрушители порядка, а порядок создаётся неустанным усердием).

Степень твёрдости воцаряемого ею порядка подчёркивалась загранкомандировками, куда «шахиня» ездила только сама, привозя, впрочем, всем маленькие подарочки. На кафедре по её приезде устраивалось феерическое празднество с тортами и кофе; сначала следовал её «отчёт» — рассказ о заграничной сказочной жизни и о тамошних её приключениях (она была дамой пикантной, и притом — любительницей приключений), затем — демонстрация привезённой одежды, а в финале — ритуал раздачи подарков. Маша получала самый скромный — значок или авторучку — и старалась придать лицу радости, а лепету благодарности — тепла и искренности, хотя эти значок или авторучка жгли ей пальцы и рвали душу обидой: Господи, как эти сытые и довольные собой люди умеют уколоть, щедро улыбаясь при этом, и как она устала от вечного унижения! Но она научилась терпению и надеялась благодаря ему стать, наконец, штатным преподавателем: тогда бы уж ни одна тварь не смогла её унизить и уж у неё был бы надёжный кусок хлеба аж до пенсии — о большем и не мечтала. Куда больше-то? Так что терпи, говорила она себе. Терпи и молчи!..

Помимо кафедры, она *сшибала* мелкие переводы и почти все деньги тратила на то, чтобы более-менее прилично одеться: женщины на кафедре хорошо одевались, и она старалась тянуться за ними, а порой и ярче, и модней была одета,— но всё же, как ни старалась, вид у неё был какой-то неосновательный. И не столько оттого, что в её ансамбле непременно сквозила какая-нибудь прореха (то молния на сапоге разошлась, то сумочка лопнула и кое-как заштопана) — ведь и дыры, и заплаты можно носить с царским достоинством,— а, скорей, всё-таки оттого, что в само́й её стати не хватало уверенности и налёта вальяжности, как у женщин вокруг неё, когда их мужья прочно утверждались на заметной в городе должности.

Кроме работы в *порядочном* учреждении, имела Маша теперь и свою комнату с душем, уборной и кухонной раковиной — правда, только в *гостинке*; однако кому ведомо, каких сил и хитроумия ей стоила комната? — об этом история, как говорится, умалчивает. Во всяком случае, все эти хлопоты уже оставили следы на её лице в виде первых, едва пока заметных морщиночек и первых сединок, которые она однажды с ужасом обнаружила в своих волосах. Не считая мучительных тайных борозд в душе, когда, переступая через стыд и неловкость, училась давать взятки в виде сервиза или золотых запонок, не говоря уж о самом дорогом подарке, который только может дать молодая женщина... Впрочем, стоит ли об этом, судя по её положению? Зато не надо больше скитаться по общежитиям и углам, можно ложиться и вставать когда вздумается, слушать музыку, приглашать гостей, покупать мебель, посуду, книги, устраивать жизнь по своему усмотрению — это ли не величайшее счастье?

Кто знает, сколько ею было тут в полном одиночестве спето и сплясано, какие устраивала для самой себя оргии — как, дурачась, вопила выходную арию Кармен или носилась полунагая по комнате до полного изнеможения, напевая сама себе «Половецкие пляски»,— не напелась, не натанцевалась, тело требовало движения, зудели голосовые связки: *там*, за пределами комнаты, заставляли говорить вполголоса, жить вполсилы.

Хотя какое тут счастье — эта комнатушка среди полусотни таких же на этаже, где в коридорах до тошноты пахнет жареным луком и распаренными пелёнками, сутки напролёт не стихают мат, плач младенцев, бабьи взвизги и грохот драк?.. И всё же она была счастлива: не надо больше мотаться к матери, чтобы свидеться с сыном,— наконец-то они будут вместе!.. Сможет ли она ещё оставить в нём хоть какой-то отпечаток собственной души? Семь лет парню!

Разумеется, как только получила комнату, она подала в своём институте заявление на «расширение». Надежды на ближайшие десять лет не было никакой, но, по крайней мере, через десять-то лет, к совершеннолетию сына, у каждого из них будет по комнате!

Да всё бы неплохо и здесь, если б не вечно пьяный сосед, регулярно отправлявший свою жену на аборты и с той же регулярностью ночами ломившийся к ним.

— Мама, когда ты получишь, наконец, квартиру?— хныкал сын, и она, присев к нему на раскладушку и гладя его жёсткие вихры, успокаивала его:

— Терпи, сынок, терпи, родной! Все кругом терпят… Кончено же, получим! Ох и заживём мы тогда—как короли!..

Что же у неё ещё было такого, чтобы хоть чуточку утешало?.. Да, имела она сразу двух друзей мужского пола, которых назвать любовниками можно было лишь с натяжкой—настолько связь с ними была эфемерна.

И в самом деле—«друзья» эти были ни то ни сё.

Первый из них, Вадик, как и Славка, работал научным сотрудником, однако, в отличие от мужа-философа, Вадик был математик-программист и, в отличие же от напористого Славки, много лет писал диссертацию и никак не мог дописать. Ярко выраженный блондин со светлыми волосами и светлыми ресницами, хоть и был он помоложе её, но настолько деликатен и расслаблен, что она иной раз месяцами не могла затащить его в постель.

Жил он с родителями, имел там свою комнату и в женских заботах на стороне не нуждался, к Маше наведывался по выходным, приносил цветы и сладости и посильно помогал: таскал бельё в прачечную, занимался математикой и головоломными играми с Серёжкой, а вечерами ходил с ней в кино или театр. Однако нестерпимой душевной мукой для него было раздеваться и ложиться к Маше в постель под пытливым взглядом Серёжкиных глаз, которые таращились на него с раскладушки. А если ложился, дождавшись, пока тот уснёт, то лежал смирно, лишь поглаживая её грудь, боясь шевельнуться на скрипучих пружинах старой диван-кровати; она тоже лежала смирно, от его вялых ласк нисколько не возбуждаясь и лишь досадуя в душе: что уж в этакой-то тесноте деликатничать?.. Делать же мужские дела днём и быстро, пока Серёжка гуляет, он не умел—всё боялся стука в дверь, бледнел и вздрагивал.

Иногда вдруг ночью в постели нахлынет на неё слепящее чувство благодарности ли, жалости ли к нему, такому смирному да несмелому: обнимет его, расцелует порывисто, прижмётся горячечным телом, дрожа и пламенея, а он, окаменев от испуга, шепчет едва слышно, дыша в ухо:

— Тихо! Он не спит, слышит,—и гаснет пламя в теле, и наступает унылый покой.

— Ладно, спи,—шепнёт она ему, успокоится и отвернётся.

Не хватало его душе какой-то горючей искорки. И за что ему такая обделённость?.. Зато ни разу не попрекнул её теснотой и неудобствами, а позволял себе честно справлять свои мужские обязанности, только когда она отвозила сына на каникулы. Да и то… Она отвезёт сына, а он возьмёт и скажет:

— Ты знаешь, мне надо к докладу подготовиться,—и исчезнет на неделю.

Руки опускаются с таким любовником.

Он всё собирался оформить официальный брак, только этому плану всё что-то мешало. А она и не настаивала: имея уже горький опыт, предоставила событиям течь как текут—не сопротивляясь и не подталкивая, и смиряла себя мыслью: Бог с ним, и такой ладен, тепло и не так одиноко; а терпения ей не занимать—только бы Серёже хорошо…

Другая «дружба» была у неё с однокурсником Максимом Темных. Максом. Максиком. Ей он нравился, но был скользок, как налим, и жил своей, непонятной ей жизнью.

После института он каким-то образом попал—или пригласили?—работать в областное управление КГБ. Занимался он там чем-то секретным, о чём сам намекал при встречах с однокурсницами с помощью многозначительных умолчаний:

— О-о, мать, такие дела кругом творятся!..—и таинственную мину при этом состроит, качая головой, и махнёт этак безнадёжно рукой, что действительно покажется: кругом творятся какие-то «дела».

Одни говорили, что он не то разведчик, не то контрразведчик, другие—что просто сексотов на заводах вербует, а потом спрашивает с них работу. Хотя подружек своих он никуда не вербовал; может, просто щадил?.. Во всяком случае, он вечно пребывал то в командировках, то в езде по городу на служебной легковой машине (пока не обзавёлся собственной), а в свободное время занимался каратэ, лыжами, бегом, то есть, попросту, самим собой.

Родители его, оба с высокими постами, имели просторную квартиру в центре города, но он почему-то снимал частный дом на окраине. Дом этот на тихой, обсаженной тополями улице, довольно просторный, многокомнатный, он снимал вместе с одним молодым художником-пейзажистом. Художник был женат, так что они жили там втроём. Что связывало их, художника и гэбиста, было непонятно, но жутко интересно… При доме имелся огород, и на огороде том наши арендаторы выращивали овощи к столу и много цветов. Цветами, похоже, даже приторговывали. Или цветы были для отвода глаз? Никто из бывших однокурсниц ничего не мог в этом понять. В общем, был «наш

разведчик» завидный жених, и они сплетничали о нём напропалую:

— Да он, девчонки, просто сытый кот, не нагулялся ещё!

— Нет, ему просто хорошая сексапилка не попалась, чтоб заарканила.

— А он у нас, случаем, не гомосек?..

Однако Маша, бывавшая у него в том доме, рассеивала подозрение, шутливо грозя подругам пальчиком:

— Только, девчонки, между нами! — что с мужской частью у него всё в порядке.

Она ловила его в доме на окраине сама, хотя это было и трудненько: телефона служебного он не давал, у родителей появлялся редко, в доме том телефона не было, — так что ей частенько приходилось возвращаться впустую.

Но что-то же её всё-таки туда гнало? Скорей всего, попросту скука, любопытство и тоска по какой-то иной, необычайной, полной тайн и загадок жизни. Когда же встречались — по старой студенческой привычке занимали себя бесконечным трёпом, острили, каламбурили, *хохмили*, перескакивая с русского на английский и обратно — он и здесь не терял времени, совершенствовался рядом с нею в английском. Как-то быстро в этой болтовне наступала ночь, и он спрашивал чисто по-товарищески, не придавая факту никакого значения:

— Ну что, мать, может, останешься? Или как?

Это значило, что ему неохота ни выкатывать из гаража машину, ни тащиться в темень — провожать её на последний автобус.

— Да, пожалуй, что и останусь, — отвечала она как бы равнодушно, тихонько при этом торжествуя, что переиграла его.

Он укладывал её в свою постель и ласкал по всем правилам любовной науки, ничего не упуская: ни строгой последовательности, ни точного знания женской анатомии; он и её, тёмную в этой науке, просветил; всё было в меру разнообразно, в меру эстетично, строго по регламенту, и ничего сверх, хотя и вполне — как заученный на пятёрку урок. Может, за этим и приходила?

Он был хорошо осведомлён о её сексуальных проблемах с «этим математиком», знал, что ей не хватает тепла и ласки, жалел её, старался как мог дать ей эти тепло и ласку, но только — чтоб никаких последствий, никаких слёз и требований, сразу, «на берегу», условившись обо всём:

— Чтобы у нас, мать, никаких разговоров потом. Зачем нам с тобой лишние проблемы, верно?

А она только усмехалась себе: может, у него в этот момент ещё и тайный магнитофон включён, записывает их уговор?.. Так что ласки были, а насчёт тепла — тепла по-прежнему не хватало.

Имела она и несколько закадычных подруг, таких же, как сама, «одиночек» и «разведёнок». Собирались у той или другой «на огонёк» — пошвыркать кофейку, высмолить сигаретку и, как это у них называлось, «пообща»: посплетничать, поплакаться на жизнь, — словом, выговориться и отвести душу. По невеликим праздникам собирали «девишник», или «гадюшник», или «большой пионерский сбор»; приходили и замужние, но как-то так получалось, что ни одной счастливой среди тех и других не было — у каждой судьба набекрень. И собирались чаще всего у Маши: и повернуться-то негде, но то ли аура в её комнатёнке к этому располагала, то ли характер самой хозяйки. Приносили торты, бутылку-вторую «керосину», варили бездну кофе, скабрёзничали, ржали как лошади, пили вперемешку вино и кофе и безжалостно курили; одурев от всего, выли бабьи песни, плакали от жалости к себе и снова ржали.

Даже знавшие Машу очень близко, относясь к ней по-разному (кто снисходительно, кто жалеючи, а кто и любя), все, кажется, не только не видели в ней сколько-нибудь интересного существа, кроме того что оно такое вот цепко-простодушное, — но где-то в глубине душ и сочувствовали: что ж, дескать, ну, бывает — не повезёт человеку ни с внешностью, ни с интеллектом, и удача всё мимо да мимо; кому-то же выпадает и такая участь… И — не выпрыгнуть из этого неумолимого общего приговора, не стряхнуть, как соринку с платья.

Она сама читала этот приговор в чужих глазах, слышала в нечаянно сорвавшихся репликах, принимала к сведению в услужливо переданных чужих мнениях и, конечно же, обижалась, но ведь не крикнешь же в отчаянии, бия себя в грудь: «Да нет же, не такая я!» И тогда невеликие её жизненные силы изменяли ей — не хотелось ни в зеркало смотреть на эти ненавистные свои конопушки, да на скулы, да на волосы цвета старой пакли, ни ежедневно приводить себя в порядок. Демонстративно заявляла сама себе: «Кому-то это надо, а я — изводись?» — и ничего с собою не делала, *выпадала в осадок* из этой ежедневной гонки: ходила распустёхой и, кроме как на работу, никуда из своей конуры неделями не выползала («Да пошли вы все!..») — валялась, читала запоем, слушала до изнеможения музыку или спала; а то целый дождливый день возьмёт и простоит у окна, вперив глаза в пустоту, лелея в себе тоску, чувствуя, как всё женское в ней ссыхается от невостребованности и полной *безнадёги*.

Однако бабы на кафедре, эти неиссякаемые, как perpetuum mobile, воительницы, замечая её состояние и чуя в нём опасность для себя, шпыняли её:

— Чего раскисла, почему халдой ходишь? У нас здесь институт всё-таки, люди!..

Так что эти злые в своём простодушии зануды заставляли её, в конце концов, снова нести свой крест, вести вечный бой неизвестно во имя чего: снова красила губы, мыла, расчёсывала и завивала

свою паклю, чернила ресницы, накладывала на веки тени, гладила свою одежду и прикупала новую.

И всё же, несмотря на эти *залёты*, отдавала себе отчёт в том, что ничем не обделена: и сын есть, и какое-никакое жильё, и на кафедре — без пяти минут старший преподаватель, и мужичок в дом ходит… Кое-кто даже завидовать умудряется: недурно, мол, Машка, при своих-то возможностях устроилась; ну да известное дело, женщины, гадины такие, всему готовы завидовать.

Но иногда она уставала от этой нудной тихой жизни; хотелось вырваться из рамочек, что определила судьба, такая щедрая к иным и так мелочно скаредная к ней; нестерпимо желалось чего-то большего, и от этого желания, от невозможности исполнения его и от обиды ею овладевало вдруг такое отчаяние, что хоть бейся о стену… И когда оставалась совсем одна за убогим ужином (опять истратилась на тряпчонку!), одна в постели на долгую ночь, когда за тонкой перегородкой хохотали, рыдали и матерились, дрались и стонали в любовных соитиях всегда чем-то занятые, неиссякаемо живучие, чужие ей люди — её накрывала с головой мысль о бессмысленности собственной жизни: да зачем всё это, и не покончить ли разом, да как бы это попроще-то? Распахнуть бы вот так окно, встать на подоконник, шагнуть и — полететь, расправив крылья за спиной, далеко-далеко, откуда нет возврата…

Хотя редким этим приступам воли не давала — в ней ещё горел, то затухая до полного мрака, то вновь вспыхивая, светлячок надежды: нет, не всё прошло, не всё потеряно — что-то же ещё будет, что-то ещё обязательно будет!

Тогда — по контрасту, что ли, с тем жутким соблазном? — в ней загорался другой огонь, хищный, недобрый: хотелось чего-то отчаянного… Эту готовность она носила в себе, как зреющий нарыв; она могла бы, одурев от одиночества, сделать всё, что угодно: гадость, подлость, даже преступление, — и понемногу *зверела*, как называла это сама.

3.

Так бы и длилась у Маши, у её подруг и её кафедры изо дня в день, из года в год эта рутина однообразия, но тут начались большие перемены, и перемены эти не в последнюю очередь коснулись Машиной кафедры. Как сказала Маша на очередном «девишнике» в канун того знаменательного лета:

— Ой, девчонки, чо делается-то: в город к нам иностранцы валом валят — сплошные симпозиумы, конференции, семинары! У нас вся кафедра на ушах стоит — горячая работёнка корячится; может, и мне перепадёт, а то уже пообносилась в дым, пропади оно пропадом…

И действительно, в город наш в то лето валом повалили иностранцы, и все они нуждались в переводчиках. А где у нас могут быть лучшие переводчики, как не на кафедре английского языка в désinstitute? Конечно, были и конкуренты: в каждом вузе — своя кафедра, а ведь есть ещё школьные учителя, и все они тоже не дремали, — но у кафедры английского в пединституте — высокая репутация, поддерживаемая само́й заведующей; кроме того, у неё ещё — обширные знакомства, так что самая солидная клиентура текла к ней в руки: в то лето все на кафедре получили свой «калым». Кроме, разумеется, Маши. Да и она бы получила, если б заведующая не боялась, что Маша не справится. Так что Маша искала работу сама и как-то даже не беспокоилась, что не найдёт. Только помалкивала — как бы заведующая не подгадила ей и тут.

И вдруг… Маша даже боялась радоваться такой удаче: Ленка Шидловская, волоокая красавица, была единственной на кафедре Машиной приятельницей (Маша обожала красивых женщин и липла к ним; причём Ленка сама недавно развелась, так что они теперь, в отличие от других сослуживиц, сочувствовали одна другой и были солидарны); так эта Ленка поначалу согласилась работать с группой американских археологов, которые должны были со дня на день прибыть в их же институт по приглашению кафедры истории; но когда она узнала, что предстоит ехать с ними в степь, участвовать в раскопках каких-то могильников, набитых скелетами, — тьфу, какая гадость! — и при этом жить в палатке, спать чуть ли не на земле, питаться из общего котла тушёнкой с перловой кашей, называемой в обиходе «шрапнелью», ходить в общую уборную, а то и в кусты, умываться жёсткой нечистой водой и неделями обходиться без ванны — её желание работать там, пусть даже и с очень уважаемыми ею американцами, упало до нуля.

Трудно сказать, что у Ленки Шидловской за разговор состоялся с профессором Скворцовым (звали его Дмитрием Ивановичем), юрким, резким человечком в громадных очках и с ёжиком жёстких волосёнок на голове, этаким Наполеоном от истории, которого, несмотря на его важно задранный носик (он что-то такое открыл в археологии, поэтому его печатали в заграничных журналах и часто приглашали на заграничные симпозиумы) и несмотря на его изящные, с иголочки, костюмы, белые сорочки, яркие галстуки и неизменно высокие каблуки, женская часть институтского коллектива всерьёз почему-то не воспринимала, хотя и замечала, и даже интересовалась им. После заграничных поездок он устраивал в институте лекции, и их посещали: он умел рассказывать красочно, с юмором и жаром, — а не принимали всерьёз потому, что забавно, конечно, всё это, но что, в самом деле, за наука такая — археология? Разве это серьёзно? И важность Скворцова была смешна — совершенно выпадал из сегодняшней жизни этот

старомодный какой-то учёный фанатизм с его научными проблемами, в то время как все заняты проблемами хоть и земными, но вечными и такими понятными: добыванием денег и должностей, склоками, сплетнями и супружескими изменами…

Может, Ленка сама чем-то ему не потрафила? Потому что слишком уж он, кажется, сгустил краски, живописуя ей экспедиционную жизнь. Та даже не сообразила, как сообразила Маша, что в *такую* экспедицию Скворцов американцев, наверное, не повёз бы. Хотя чем чёрт не шутит…

Во всяком случае, Ленка со своими связями быстренько нашла себе другую группу, японцев-бизнесменов, а археологов уступила Маше, и Маша, конечно же, согласилась: ей выбирать не из чего — ни связей, ни заступников, и ни общей уборной, ни «шрапнелью» её не испугать.

Сходила Маша и на *смотрины* к Скворцову. Дмитрий Иванович хоть и оказался одного с ней росточка, однако посмотрел на неё *очень* уж свысока, задал несколько вопросов, понял, что в археологии она — *чистая доска*, вручил для знакомства с *дисциплиной* несколько американских исторических журналов и дал своё принципиальное согласие — выбирать у него тоже не было времени.

А через день нагрянули американцы.

Их было четверо, и оказались они совершенно не похожи на самих себя. Хоть судьба и не сталкивала её до их пор с американцами, но она прекрасно знала, что все они как на подбор рослые, с ослепительными улыбками, уверенные в себе — одним словом, жители другого полушария, которое без воображения и представить-то себе трудно. И была просто обескуражена, увидев своих подопечных в аэропорту — до глубокого разочарования, до скуки обычных людей с мятыми усталыми лицами, в мятых одежках, и притом навьюченных громадными сумками. От этого противоречивого впечатления, от неумения общаться с иностранцами и чрезмерного чувства ответственности она была в таком напряжении и так растерялась, что хотя и понимала их речь, но сама не могла связать двух слов не только по-английски, но даже и по-русски — заикалась, как студентка-первокурсница, и пунцово рдела до корней волос от стыда. И длилось-то это всего несколько минут, пока справилась, наконец, с собой. Но Скворцов успел на неё рассердиться, тут же, разумеется, решив, что ему подсунули дебилку; хорошо хоть сам немного болтал по-английски. Зато эти самые американцы как-то сразу поняли её состояние и сумели мягко и ненавязчиво разрядить обстановку: когда она с первых же слов сбилась, стала заикаться и краснеть и все взгляды неминуемо обратились на неё, Скворцов, спохватившись, что забыл её представить, брякнул, притом почему-то по-русски, широким жестом показывая на неё:

— А это — наша Маша!

И столько было в его фразе сарказма, понятного, разумеется, только ему и ей (вот, дескать, перед вами существо прямо из русской сказки, Маша-простушка), что американцы, решив, будто им сообщили нечто важное, вежливо осведомились:

— What does it mean «нашъа Машъа»?

Маша, пытаясь выйти из затруднительного положения, перевела и объяснила; американцы, улыбаясь, закивали:

— She is our «нашъа Машъа» now!

Раздался вежливый смех, и всем стало легче; Маша же, проникшись к гостям горячей благодарностью, справилась, наконец, с собой, а уж дальше всё пошло более гладко: и во время самой церемонии знакомства (Дмитрий Иванович был знаком только с одним из гостей), и когда усаживались в микроавтобус, и когда мчались по шоссе в город, она переводила уже безостановочно. Усталые гости помалкивали или отделывались односложными фразами, поэтому переводить надо было самого Скворцова, возбуждённого встречей, и она еле поспевала за его рваными фразами, а сама присматривалась к гостям.

Первой среди них она выделила женщину — звали её Мэгги; женщина была средних лет, коренастая, с завидной свежести кожей и чёрными густыми волосами, падающими вокруг лица жёсткими прядями, очень, видимо, энергичная и экспансивная; говорила она быстро, длинными сложными фразами, так что Маше поначалу, прежде чем привыкнуть к её речи, приходилось, конфузясь, переспрашивать её и уточнять смысл некоторых фраз.

Первым из мужчин она выделила высокого — кажется, хоть этот соответствовал американским стандартам — Бака Свенсона, однако был он отнюдь не статен, а, скорей, наоборот, щупл и тонок в кости: на его худые жилистые руки из-под коротких рукавов рубашки просто больно было смотреть.

«Господи, дистрофик какой-то», — с жалостью думала она, когда взгляд её натыкался на эти его тонкие загорелые руки в пуху из золотых волосёнок. Впечатление усиливали длинное унылое лицо с морщинистой кожей, клочки седеющих волос ненавистного ей — как и у неё самой — цвета старой пакли и залысины на темени, усиливающие унылую длину лица с застывшей на нём гримасой улыбки; только и было у него примечательного, что глаза: голубенькие, они по-молодому жили на этом безжизненном, как выгоревшая посреди лета степь, лице. А одет-то, одет — бич бичом: джинсы с такими пузырями на коленях, что их и наш последний алкаш не наденет; кожа на туристских тяжёлых ботинках вышоркана до белизны, не говоря уж о выгоревшей рубашке неопределённого цвета; да и весь он какой-то

потёртый и неухоженный… В общем, облик его, с простой скандинавской фамилией в придачу, она сразу выделила для зрительного ориентира, даже не из-за роста, а именно из-за жалкого вида, и уж больше отношение её к нему не менялось: краем глаза поймает взгляд его голубеньких глаз и приободрит взглядом же, а не поймает—так усмехнётся про себя: ну чего ты такой жалкий? Ведь всё у тебя есть, всё на месте…

Следующим она выделила Майка, полного, добродушного на вид брюнетика среднего роста, с глазами словно две чёрные маслины—из итальянцев, наверное, или из мексиканцев. Или евреев? Уж он-то, этот Майк, ну никак не походил на американца.

И последним она отметила про себя совсем неказистого—щупленького, очень пожилого, бесцветного—человечка, которого звали Стивом Николсом… Чтобы легче запомнить имена, Маша обозначила этого Стива по-своему—Стёпой, а толстяка-брюнета Майка, который уже успел задобрить её, преподнеся маленький сувенир—значок своего штата, окрестила Мишенькой.

Теперь, когда она стала их различать, перед нею встали следующие вопросы, которые смутно беспокоили её: кто эта женщина, кто из них есть кто и какова между ними субординация?

Первое, что она успела установить: Стив, оказывается, вовсе и не археолог, а писатель. Но она-то привыкла думать, что писатели—люди солидные и серьёзные, а этот не только на вид плюгав—так ещё и болтун: уже в аэропорту, пока ждали багаж, всё язвил по поводу вокзальной толчеи; а уж как его поразила уборная, в которую надо ждать очереди, а потом совершать туалет на глазах у публики, «под взаимным контролем», в чём он усмотрел «единственное реальное достижение социализма». На его сарказмы откликалась только Мэгги; Бак же с Майком, уже, видимо, уставшие от него, вежливо помалкивали. Конечно, в сарказмах этого пижона была доля истины, но Маша, сама не прочь ядовитейше позубоскалить над соплеменниками, возмутилась про себя: ах ты, старая перечница, ты, интересно, зачем сюда приехал? Дерьмо вынюхивать?..

И уж совсем не стало конца подначкам этого писателишки, когда Скворцов вместо гостиницы поселил их в пустом студенческом общежитии. Самого Скворцова с его плохим английским ядовитые Стивовы стрелы совершенно не доставали, а Маша лишь досадливо покусывала губки; молчала и когда остальные гости роптали меж собой: почему—общежитие, если они заплатили долларами?.. Продолжались Стивовы подначки и назавтра, потому что в общежитии не оказалось горячей воды, а буфет не работает: лето… А тут ещё сюрприз: вместо того, чтобы на следующий же день ехать в поле,—в планах у Скворцова что-то не вязалось,—он предложил гостям широкую программу здесь: встречу с руководителем области, встречу на кафедре, концерт знаменитого пианиста-гастролёра и—венец всего—русскую баню с подобающим русскому гостеприимству ритуалом застолья, долженствующим последовать за ритуалом банным.

Впрочем, эти застолья в течение следующих двух дней оказались почти непрерывными и вовсе не такой уж неприятной обязанностью: им везде были рады, везде усаживали за стол и потчевали, и, несмотря на всеобщую, казалось бы, бедность, столы ломились от обилия незнакомых и очень, однако, вкусных блюд—грех было не отведать и того, и этого, так что много ели и пили и гости, и хозяева—и на даче после бани, и после встречи на кафедре, и ещё где-то; гости уже не могли понять, куда их везут и с кем знакомят: в их головах, нетрезвых с утра до вечера и с вечера до утра, всё шло кру́гом, дни смешались с ночами, а будни слились в один сплошной праздник.

Маша не была с ними неотлучно: когда их приглашали на неофициальную встречу, Скворцов отпускал её, берясь переводить сам, хотя Маше очень хотелось бывать и там тоже, и она обижалась на заносчивого профессора.

И всё-таки она работала с гостями с удовольствием, очень старалась и взялась за работу с разных концов. Во-первых, взяла в библиотеке большой англо-русский словарь, чтобы пополнить свой словарный запас в отрасли знаний, столь далёкой от её прошлых интересов; во-вторых, внимательно просмотрела журналы, которые дал ей для знакомства Дмитрий Иванович; а в-третьих, основательно взялась за свою внешность. У неё хватало ума не надевать теперь на себя крикливых тряпок—они остались для *своих*; она обежала подруг и реквизировала у них на время кое-что из *приличной* одежды и обуви, так что являлась теперь на встречи с американцами во всеоружии: со свежим лицом, незаметно, но старательно тронутым макияжем, с пушистыми волосами, завитыми в крупные локоны, одетая просто, но изящно—блузка, юбка, туфли, сумочка, всё в тон, всё в полном порядке; и настроение у неё теперь неизменно было хоть куда—возбуждённым, весёлым, отзывчивым на шутку, остро́ту и умную фразу.

Что-то подсказывало ей, вот будто бес какой нашёптывал: лови момент!—и она понимала, о чём это он: кого-то из этих американских мужичков ей надлежит охмурить и использовать по максимуму, получить своё сверх того мизера, что заработает за свой жалкий труд на скудной этой археологической ниве. Но как использовать их, как подступиться, и кто из них должен попасться ей в руки? Она понятия не имела, таращась на них по очереди. Во всяком случае, это жутко интриговало и придавало предстоящему путешествию пряный

привкус авантюрного романа. Однако же, будучи битой и наученной опытом, она умела не торопить события, не кидаться сломя голову в их водоворот и быть не только весёлой, но и сдержанной — она вела себя как минёр на минном поле: ошибиться — ни-ни, ни вот на столечко!

Ещё в городе по их выступлениям, которые переводила, по ответам на вопросы, по нечаянным шуткам и репликам, которыми те перекидывались, по едва заметным постороннему глазу и уху крохам она установила, что и Мэгги, и Бак, и Майк — доктора истории и профессора (ничего себе! их что там, на сковородках пекут?), что Майк и Бак — товарищи, у обоих, кажется, семьи, дети, свои дома, — средние добропорядочные американцы, и как раскалывать их — уму непостижимо. А эта Мэгги… Не претендует ли она на кого-то из них? Добро бы вызверилась, и всё бы стало на свои места, а то от этой приветливости не знаешь, чего и ждать.

Теперь, если рассмотреть каждого из них… ломала она голову ночами, которые оставались ей для размышлений. Старообразный, но очень даже американистый из себя Бак отменно вежлив с ней, но такой твёрдый и целеустремлённый — как телеграфный столб. С таким каши не сваришь, только лоб расшибёшь… Добрый толстый Майк… Больше других оказывает ей знаки внимания и источает на неё очень даже горячий свет своих чёрных глаз, а они у него — сладкие-то пресладкие, и весь он мягонький такой, как булочка, — так бы и ущипнула за бочок! Только, как сухо подтрунивает над ним Бак, Мишенька этот — большой женолюб и готов бросать пылкие взгляды на всех женщин подряд, а дома — горячо любимая жена и выводок мальчишек…

Она, разумеется, признательна ему за эти взгляды, без внимания их не оставит, но неужели дальше горячих взглядов дело не продвинется? А жаль. А что толст и невысок — что ж, состоятельный человек может позволить себе маленькие недостатки.

Выходит, Стив?.. Уж он-то точно одинок — никто на такое добро не позарится. Надо бы приглядеться… А он — наглец: уже успел пребольно ущипнуть за попку, да так, что синяк остался. Прямо садист какой-то! Она, конечно, стерпела — неудобно из-за пустяка скандалить: и не такое терпела, как-нибудь переживёт, не барыня, тем более что он проделывает это лишь в пьяном виде, а в трезвом — ни улыбочки тебе, ни комплимента; несентиментальный товарищ. Ещё и алкаш в придачу: как увидит русскую водку — тут же и надерётся.

Она совсем было махнула на него рукой, да вдруг всплыло, что он самый богатый из них. Вот тебе и Стёпка — суетливые ручонки! А она, дурочка, всё никак в толк не возьмёт: чего это эти профессора так с ним носятся?.. Неказист-то неказист, а на поверку — известный там, у них, писатель, автор полусотни книг; причём он даже не ей это сказал — так бы и поверила ему! — а какому-то начальнику; задетый вопросом: а что вы написали? — Стив этот не без заносчивости ответил, что его книги знает чуть не каждый американский школьник, а если здесь его книг не знают, то кому от этого хуже?

Бедная, услышав о его миллионерстве — не каждый же день общаешься с ними, мотаешься вот так бок о бок, да ещё терпишь щипки, — она как-то сразу стала смотреть на него по-другому; и не противным он вовсе оказался, а — несчастным одиноким человеком с живым и острым умом…

От такого обилия впечатлений, разом нахлынувших на неё всего за два дня, у неё уже ум был нараскоряку. А впереди ещё — экспедиция!

4.

Ах, эти две недели в жаркой степи! Кажется, никогда ещё не было в жизни у Маши времени лучше — для неё они превратились в сплошной праздник, растянувшийся на целых двенадцать дней, промелькнувших сказочной жар-птицей в сверкающем многоцветном оперении. Единственное, о чём сожалела — что не решилась взять сына: вот кому эти дни показались бы праздником! Тем более что там уже был один мальчуган, Серёжин сверстник, который, несмотря на постоянное внимание к нему взрослых, всё грустил, что у него нет товарища; Маша, скучая по сыну, разговаривала с этим мальчиком, утешала и рассказывала ему про своего сына.

Место оказалось совсем и не такое дикое, как расписал Скворцов Ленке: хоть и степное — но на берегу речонки, окаймлённой нависшими над водой тальниками. Речонка эта, говорили, в самые жаркие годы почти пересыхает, едва сочась меж камней, но в то лето текла и текла, не иссякая и весело шумя, с переката на перекат по устланному яркой, дочиста отмытой галькой дну, а местами даже разливалась в небольшие плёсы с реденькими щётками камыша, стоящего по колено в воде, и омуты с россыпями круглых листьев и белыми кувшинками на чёрном стекле воды.

Степь уходила вдаль размашистыми увалами с успевшей выгореть добела травой на южных склонах; западные и восточные склоны их ещё оставались зелёными, а с севера робко взбегали по ним березняки; на самих вершинах их громоздились скалы, а в жарком мареве на горизонтах далеко за ними высились голубые, синие и лиловые, в зависимости от времени дня и освещения, горы. «Рерих, чистый Рерих!» — изумлялась Маша, вглядываясь в далёкие горы.

И при этом совсем не безжизненна была степь: несмотря на сухость и зной, упрямо росли из твердой земли жёсткие, высветленные до голубизны травы, и даже цвели цветы, испуская густые

эфироносные запахи, терпкие и дурманящие; медленно ползли вдалеке по земным зелёным и жёлтым складкам, то скрываясь, то вновь возникая, как миражи, овечьи отары, коровьи стада и табуны лошадей, посвистывали, вытягиваясь в живые столбики, любопытные суслики, чёрными точками кружили высоко в небе орлы, словно кусочки бумажного пепла, вознесённого смерчем.

Когда они туда приехали, там, на большом лугу по-над речкой, в километре от села, уже стоял палаточный городок из десятка больших палаток, в которых жило полно людей: студенты, школьники-старшеклассники, молодые научные сотрудники, двое-трое гостей-учёных из других городов; среди этой публики Маша сразу отметила знакомые по институту лица; кое-кто из студентов с ней даже здоровался. Оттого что слонялось много праздных и любопытных—людей казалось ещё больше; причём не меньшее любопытство, чем приезд американцев, вызвало бы прибытие инопланетян.

Машу поселили с молодой аспиранткой; палатка была просторной для двоих, и всё было прекрасно: раскладушка с мягким матрацем, на удивление чистое постельное бельё, импровизированный столик из застеленного белой бумагой картонного ящика, заставленного зеркалом, косметикой и букетом полевых цветов в банке… А для почётных гостей Скворцов привёз одноместные импортные палатки и тотчас распорядился их поставить; палатки были разных расцветок: зелёная, жёлтая, синяя, серебристо-белая,—так что палаточный городок сразу ярмарочно запестрел.

Обедали под огромным тентом за длинным столом, сколоченным из досок, за которым умещалась вся экспедиция сразу. Обед был простой: на первое—суп-лапша, на второе—да-да, Скворцов не слукавил перед Ленкой!—перловая каша с тушёнкой, и на третье—чай, но всё было неожиданно вкусно с дороги—или, может, потому что обедали на свежем воздухе, в шумной компании жизнерадостных молодых людей, готовых хохотать и веселиться по поводу и без повода и заражающих весельем и безразмерным аппетитом остальных; и потому ещё, наверное, что всё пахло смолистым дымом, стол украшали букеты цветов, а рядом, несмотря на полуденную жару, полыхала огненным чревом сложенная из природного камня плита, похожая на первобытный очаг, объединяющий всех в одну семью… А чай, настоянный на цветах и травах, так понравился гостям, что Маше пришлось интенсивно переводить уже за чаем: дежурные хозяйки стола не только потчевали им, но и наперебой пытались объяснить вновь прибывшим состав его и все его достоинства.

После обеда учёные-хозяева во главе с Дмитрием Ивановичем, как только схлынула молодёжь, здесь же, за столом, провели совместно с гостями свой первый учёный совет: показали карты, схемы, фотографии, рисунки и добытые экспонаты: кости, камни, черепки,—всё от души, ничего не скрывая, распаковав уже запакованные ящики и коробки и выложив всё на столы, и Маше снова пришлось вовсю трудиться и показывать своё умение.

Разговор длился часа три, и Маша устала больше всех: говорили по очереди, а переводила она одна; от жары и напряжённого говорения у неё уже кружилась голова, в глазах плыли огненные шары, и ей казалось: ещё немного, и она хлопнется в обморок. Но вместе с нею, кажется, устали и остальные.

Затем хозяева повели гостей на свои «объекты». Объектов было пока только два: палеолитическая стоянка на высоком крутояре над речкой, в двухстах метрах от палаточного городка, и «царский» курган в степи, километрах в двух. Сначала пошли на палеолитическую стоянку.

Ничего интересного сама Маша там не увидела—только переворошённые кучи сухой глины и дощатые мостки между ними, по которым шли гуськом вслед за Скворцовым, который, захлёбываясь, рассказывал про то, как здесь сорок тысяч лет назад жили люди—да с такими подробностями, что, казалось, он только что вернулся оттуда, так что Маша едва поспевала за ним с переводом, вынужденная ещё и постоянно искать замены его чисто русским выражениям и метафорам, которые тот, увлекаясь, употреблял для живописания и которые ей не хватало умения переводить быстро и адекватно. Сам же профессор, рассказывая о людях палеолита, восхищаясь ими, умиляясь и сочувствуя, так увлекался, что, идя по мосткам, резко поворачивался к идущим позади него гостям и продолжал идти, пятясь и жестикулируя, близорукий, задорно поблёскивающий очками и ничего вокруг не видящий, так что дважды уже цеплялся ногами за торцы досок и не падал только потому, что его успевали подхватить верные помощники; профессор отрыл что-то новое в концепциях о быте палеолитического человека и неистово спорил с отсутствующими здесь оппонентами, разбивая их в пух и прах и призывая гостей быть свидетелями его победы, и взгляд его делался безумным, а в уголках губ собиралась белая пена. Маша пугалась этой его неистовости и чувствовала некоторую неловкость за него перед гостями—она никогда не сталкивалась с такими увлечёнными своим делом людьми и вполне могла бы принять его за сумасшедшего, если б не видела, с каким вниманием слушают Машины переводы гости; поначалу лишь вежливо кивая головами: «йес», «о’кей»,—причём Маша успела поймать своим чутким ухом, как американка со сдержанным смешком шепнула своим: «По-моему, этот русский—маньяк!»—они всё-таки, поддаваясь убедительной логике, зажигаясь темпераментом Скворцова и втягиваясь в разговор, начинали

задавать дельные вопросы, брались дополнять его или возражать и даже спорить между собой, и глаза их загорались тем же блеском, что и у Скворцова, и у Маши успокоенно отлегало на сердце.

Соревнующееся в неутомимости со Скворцовым горячее солнце, устав за долгий день, медленно катилось к голубым вершинам гор, совсем истаявшим в жарком мареве, когда он закончил, наконец, водить гостей по мосткам, тыкать пальцем в глину и без конца говорить; однако это совсем не означало конца экскурсии: он предложил ещё спуститься вниз, к воде, и когда все спустились, обогнув крутояр, он затем заставил их карабкаться по почти отвесному склону вверх, и когда все, пачкаясь и рискуя скатиться кубарем, всё же забрались под самый верх на вырубленную в глине площадку—он снова говорил, показывая длинной палкой, словно на громадное полотно картины, на чёткие слои, хорошо видные на вертикальной, зачищенной лопатами стене крутояра.

Когда же солнце закатилось и под крутояром стало темно, синклит профессоров во главе со Скворцовым, вполне удовлетворённый первым днём, осторожно спустился вниз и беспорядочной толпой повалил к лагерю.

Ужин в лагере меж тем закончился, и вся молодёжь была на воздухе: плескалась в речке, играла в волейбол, собиралась у костра на берегу, издавая при этом много шума и криков; слышались гитарные звоны и радиомузыка.

Скворцов пригласил гостей ужинать в свою палатку; Маша решила, что уже не нужна, и направилась с аспирантами за общий стол, под тент, но её окликнули—гости, кажется, уже чувствовали необходимость в ней.

В палатке Скворцова—не палатка, а целый шатёр—много места занимали тюки и ящики; посередине же расстелен был на полу брезент, и на нём—расставлены тарелки с едой, бутылки вина и коньяка; при виде этого приятного для всех сюрприза притомившиеся гости оживились.

Распорядителем за импровизированным застольем был заместитель Скворцова, краснолицый бородач, тоже, как и Скворцов, невысокого роста, только плотный, даже, скорее, толстый, но очень подвижный и энергичный,—без него Дмитрий Иванович, заметно было, совершенно не ориентировался в хозяйственных делах. Теперь этот заместитель хлопотал, рассаживая гостей прямо на брезенте и следя, чтобы у всех всё было, и как-то так получилось, что Маша оказалась в соседстве с ним. А по другую руку от себя в тесном этом застолье она, к удивлению своему, обнаружила старичка Стива!

Вино и коньяк пили из кружек; говорилось много тостов, и скоро стало очень шумно: от усталости и духоты в палатке все быстро захмелели, так что конспирация от всего остального лагеря была чисто условной.

Маша сначала старательно продолжала свою работу переводчика и здесь, но поскольку уже устала до изнеможения, страшно проголодалась и её мучила жажда—она хватила целую кружку сухого вина и захмелела вместе со всеми; да никто уже и не нуждался в переводчике: и Скворцов, и его наперсники изъяснялись на чудовищном английском, но их не слушали—все загомонили разом. А между тем Машины соседи, этот Стив Николс с одного боку, а с другого—бородатый зам Скворцова, не теряя времени и пользуясь теснотой, придвинувшись к ней плотнее и дыша в лицо, бормотали что-то, один по-английски, другой по-русски, и уже пытались «брать на абордаж»—один за талию, другой за колено. Она, стараясь всё-таки не терять нить общего разговора, сделала попытку урезонить обоих—бесполезно; попробовала молчком, не поднимая шума, отбиваться локтями—но где ж ей справиться с двумя! И она не выдержала: вырвалась, наконец, из их рук и выскочила из палатки.

На берегу полыхал в темноте большой костёр, и она направилась к нему.

Молодёжь, с красно-медными отсветами от огня на лицах, поодиночке, парочками и группами стояла перед костром широким полукругом, сидела и полулежала на траве, а отдельно от всех сидел на чурбаке сбоку от костра молодой человек с вдохновенным лицом и аккуратной бородкой, играл на гитаре и пел, полузакрыв глаза и покачиваясь в такт пению.

Костёр, как живой огненный змей, высоко взвиваясь гибкими языками пламени, с хрустом пожирал подбрасываемые в него поленья и хворост и занимался с новой силой, взрываясь ворохами летучих искр.

Была полночь; широкое пространство вокруг палаточного городка освещали теперь только звёзды и слабая заря, застрявшая где-то на севере за далёкими горами; при свете этой зари звёзды казались зелёными и пульсирующими, а фигуры людей и предметы—размытыми. Внизу, под берегом, начищенным стальным лезвием поблёскивала притихшая на ночь речка с таинственными сейчас, в темноте, всплесками. А чуть отойти от костра, и—тишина наедине со звоном кузнечиков, не слыхать и гитариста; только донесётся издалека бульканье встревоженного перепела: «Спать пора! Спать пора!»—и опять вызваниваемая кузнечиками тишина.

А гитарист всё пел; песни были разные, но, похожие меж собой, они продолжали одна другую как части одной большой песни о зовущей вперёд дороге, о зыбких миражах счастья, о людях бродячих профессий—геологах, топографах, моряках…

Какая-то парочка, сидевшая неподалёку от Маши на шатком тарном ящике, тихонько поднялась и удалилась в темноту, и Маша села.

Вечер был просто чудесный. Так бы сидеть и сидеть ночь напролёт, глядя на бегучие языки пламени и рдяные угли, и слушать меланхолического барда, негромкое бормотание его гитары, шелест воды внизу и вскрики далёкого перепела; хоть она и устала до изнеможения — но чувствовала, как из неё уходят напряжение и нервозность, накопленные за эти дни, за зиму, за год, как ей легко дышится этим нагретым за день и медленно остывающим теперь сухим лёгким воздухом и как спокойно становится среди этой молодёжи, живущей мгновением, спокойно от песни, от ночи, от костра; а ну их в болото, пьяных козлов, — её хотят, её жаждут, но ей-то что? — она ничья, она свободна, как эта степь, как вечер, как огонь; ну нет любви, не дано, недовложила в неё природа ли, судьба ли каких-то флюидов и веществ, так чего гоняться за призраками и морочить себе голову, когда счастье — вот оно: принять себя такой, какая есть, и быть благодарной жизни уже за это; взять крупицу её на язык — и, как кусочек льда в детстве, иссосать, чтоб во рту растеклось блаженное послевкусие…

Только расслабилась — опять почувствовала присутствие этих… Оглянулась — фу ты, пропади они пропадом! — уже дышат позади коньячным перегаром, уже приступают слева и справа со своими любезностями. Что делать, как спасаться?.. Заметив тут же, недалеко, долговязого сурового скандинава-американца — э-э, да они все уже тут, а она и не заметила, забывшись! — вскочила, шарахнулась к нему, спряталась в тени его высоченной фигуры… Она так и не разобралась потом, что её толкнуло к нему: действительно ли непроизвольный импульс загнанного зверька — или всё-таки мгновенно созревший замысел? Могла ведь просто пожаловаться Скворцову — ведь и он тут обретался, а вот взмолилась в отчаянии Свенсону: «Да оградите же меня, ради Бога, от них!» — и этот суровый скандинав-американец, сразу, кажется, всё поняв, неловко положил длинную жилистую лапу ей на плечи, так что эти два ухажёра, как кобели, резко осевшие перед силой, даже, кажется, зубами с досады клацнули. А ей от этой руки, положенной ей на плечи, по-мужски хозяйской и несуетливой, стало сразу так спокойно и хорошо, что жаркая волна окатила её с головы до ног, и она ослабела вся, и привалилась к нему, к этому жердеобразному мужчине, которому едва достигала плеча, и почувствовала себя теперь в безопасности. Именно этого ей и не хватало для полноты ощущений в тот вечер!

Этой полноты ощущений было в ней в тот миг столько, что она полилась из неё — не остановить: Маша непроизвольно вдруг замурлыкала старую-престарую — всё мать, бывало, пела — бабью песню, «Тонкую рябину»; замурлыкала — и осеклась, устыдившись: ей показалось, что это уже будет избытком; однако американцу песня, кажется, понравилась, и он шепнул ей:

— Пой!

Она повернула голову и подняла взгляд — проверить выражение его лица; улыбнулась ему, весело и незаметно подмигнула и снова замурлыкала, тихо-тихо — ему одному. И они оба — даже нет, не они сами, а лишь их тела совершенно незаметно для окружающих — темнота густела, и догорающий костёр почти ничего уже не освещал — стали медленно покачиваться в такт песне.

А в песне была такая, чёрт возьми, задушевность, что Маша при словах: «Тонкими ветвями я б к нему прижалась», — совершенно непроизвольно сама крепко прижалась к его сухому костлявому телу — действительно как к дереву с твёрдой шершавой корой — и обняла его; Бак сначала, онемев от удивления и неожиданности, замер на миг, а затем рука его в ответ ещё крепче сжала Машины плечи. Песня кончилась, а они так и продолжали стоять, обнявшись, удивлённые своим новым состоянием, ничего вокруг не видя.

Неизвестно, сколько они так стояли. Наконец, подняв глаза, она шепнула:

— Мне хорошо! — и сразу почувствовала, как напряглась в ответ его рука, и сама пошевелила рукой, сигналя: поняла!

Тогда он едва заметным движением руки пригласил её погулять, и она повиновалась; не разнимая объятий, они отодвинулись от костра и удалились в темноту.

Долго шли по ровной, точно стриженой, мягко скользящей под ногами травке над тускло поблёскивающей внизу речкой.

Никакой усталости она теперь не чувствовала — наоборот, чувствовала невесть откуда взявшийся прилив сил, несмотря на долгий день: так бы и шла, и шла… Да они будто даже не шли, а, обнявшись, летели по воздуху над самой землёй на невидимых крыльях по неуловимой грани меж двух слабых воздушных потоков: одного — снизу, дышащего речной сыростью, илом, мшистыми валунами, а другого — сухого и тёплого, пахнущего увядшей травой из степи, сеном, полевой мятой, чабрецом и полынью.

Он, продолжая крепко держать её за плечи, словно краб клешнёй, помалкивал — может быть, смущённый тем, что не знал, как себя с ней вести. А, может, ему просто интересно наблюдать, как поведёт себя эта забавная русская, и не мешать ей? Говорила только она, хотя и немного, всего лишь заполняя паузы; болтушкой она сроду не была, но вставить вовремя остренькое и насмешливое — во всяком случае, и живое, и нужное,

и всегда кстати — словечко умела, и говорила при этом тихо, чтобы не нарушить ни ночной тишины, ни их объятий, но в то же время и посмеиваясь, о том, как их, горожан, просто сводит с катушек такая вот обстановка: палатки, звёзды, костры, калорийная тушёнка с перловой кашей и вообще пионерская жизнь, где слово «пионерская» несло у неё двойной смысл: для американца — «первопроходческая», а для неё самой — «детская», «игровая», и всех тут непременно тянет на любовь, которая растворена во всём — в лучах солнца, звёзд и луны, в запахе цветов, в тушёнке; и бард у костра тоскует о ней, проклятой, скупой на слова, но непременно горячей — не как с женой дома; и все при этом — холостые-неженатые…

Ах, не о том бы и не так насмешливо: поймёт ли? И всё же всё было прекрасно: сердечко билось с пьяным восторгом, будто она вела рисковую игру, и вот сейчас решалось, выиграет — или продуется вдрабадан?.. И всё же, мягко обвив рукой сухой торс этого деревянного профессора, она пока что была вполне удовлетворена своей ролью ненавязчивой соблазнительницы — пусть думает, что сам ведёт соблазнять! — и успевала ещё радоваться при этом своему английскому, сорвавшемуся, наконец, с поводка и бойко рванувшему вперёд, почуяв свободу, как будто это уже и не она говорит — она лишь слушает, наслаждаясь звучанием каждого вкусно произнесённого слова; да она уже и не говорила — а ворковала слабым, истаивающим, чуть осевшим от усталости голосом, голосом любящей леди из добрых старых английских — или американских? — жутко сентиментальных фильмов, сама гоня это забавное кино, успевая ещё хихикнуть над собой: «Ну, арти-истка!» — и осаживая себя: «Боже, что он обо мне думает!» — но её уже несло — не остановиться и не выпасть из роли.

Так вот они шли и шли по ровному бережку — прямо как в песне: добрый молодец с красной девицей, хоть лубок рисуй, — да вдруг оба враз и оступились в темноте в какую-то колдобину, и полетели кувырком, и в мгновение ока оказались лежащими на травке, причём он — приехали, называется! — на ней, жадно и жарко дыша, тычась жёсткими губами в её щёки, губы, шею, одной рукой продолжая её обнимать, а другой — ух ты, какой удалец! — торопливо шаря по её телу, добираясь вдоль бедра до паха, примитивно, грубо — экой шустрый, да так похоже на наших охламонов!.. Она всё-таки честно посопротивлялась ещё, хоть и несильно, чтоб не слишком утомить и без того усталого пожилого человека — а то ведь у него и пороху не хватит! — потихоньку всё же распаляя его настолько, что этот молчун догадался, наконец, открыть рот и торопливо, судорожно произнести несколько рваных фраз о том, как он потерял голову, как очарован ею, её молодостью и свежестью — ну, спасибо и на этом! — и если только она позволит сделать его хоть на миг счастливым, он готов ради неё на всё, чего она пожелает… И такая милая интеллигентная речь тихо журчала ей в уши слегка захлёбывающимся ручейком, речь утомлённого джентльмена в годах, что ей стало так почему-то жаль его, хоть положение её и не совсем располагало к жалости — слишком уж он навалился, стесняя дыхание и затрудняя движения.

И что ей оставалось после этого, как не подарить ему великодушно этот миг, не сделать его счастливым, раз ему хочется? — хотя она в ту минуту, честно говоря, ничего особенного и не желала, кроме его простого присутствия — не потому, что без фантазии совсем, а, как ни крути, всё же усталая была, и никакие желания в душу не лезли. Не сподабливаться же, в самом деле, последним сýчкам: хочу «*зелёненьких*»! Хорошая, конечно, штука, особливо если в твоём кошельке осенний ветер сквозит, но пусть у неё лучше губы отсохнут — не дешёвка же она! — да и человек, судя по всему, неплохой, симпатичный даже человек; зачем же ловить на слове? — лучше уж разыграть из себя благородную: интересней так, тоньше игра; пусть хоть память у него останется; хотя девки потом её же и осудят: дура лопоухая — при наших-то доходах корчить из себя!.. И немного обидно всё же: он что, охренел совсем от коньяка и самомнения, решил, что за четверть часа не глядя купил на корню первую же попавшуюся русскую бабёнку? Хотя и не привыкать к обидам, притерпелась уж; ничего по этому поводу едкого не сказала. А его лепет, что чего-то там готов сделать или дать, отметила на всякий случай: приятно всё же; и ещё подумала: фу ты, долюшка женская, не подготовилась даже, всё в сумке осталось — никак не ожидала, что в первый же вечер на её честь такой бешеный напор начнётся; быстренько прикинула в уме срок до месячных: ладно, рискнём, авось пронесёт! И, перестав сопротивляться и расслабившись, будто бы одолел он её совсем, шепнула, вдохновляя его на последний подвиг:

— О, какой ты сильный! — и крепко, судорожно погладила его по щекам и шее и впилась пальцами в его плечи.

А ничего такого и не почувствовала, пока он бился в неё своим костлявым телом, жёстко и прерывисто дыша в лицо. Только отметила про себя: нет, не супермен, — и даже пожалела его. И быстро всё кончилось, так что не успела не только разрядить своего напряжения, но даже сымитировать этой разрядки ему в утешение — бревно бревном, даже неловко: и у самой досада, и он смущён.

Отошла шагов на десять в темноту, привела себя в порядок, вернулась. Ну что, идти спать теперь? Не хочется. Какая-никакая, а живая душа рядом, всё веселее. И что-то же всё-таки, кажется, произошло?.. Села на травку, подтянула и обняла коленки. Внизу, в темноте под берегом,

попискивал куличок, недовольный их вознёй, да что-то плескалось в воде, шевелилось в камышах, замирало, снова шевелилось и затем осторожно, тихонько чавкало.

Вспомнила и пропела грустненько про себя:

> А он кричал: «Огня! Огня!» —
> но был солдат бумажный…

— Ты что-то сказала? — отозвался Бак, садясь рядом.
— Да так, пою. Просто мне хорошо, — соврала она и перевела фразу из песни. Понял — или нет?
— Правда? Тебе хорошо? — спросил он.

Нет, ни черта он не понял, фонарный столб иностранный…
— М-м-м, — промычала утвердительно.

А самой так захотелось вдруг поплакать. Бак что-то заподозрил, стал оправдываться, и жалко ей его стало: сидит как побитый, боясь прикоснуться. И себя жалко: такие оба одинокие в огромном-преогромном этом, накрытом ночью пустынном мире. Протянула руку, прикрыла ему рот ладонью:
— Молчи, не надо. Обними лучше, а?

И он, ещё не остывший, послушно придвинулся и заграбастал её в свои длинные руки, укрывая её чуть не всю объятиями, и она почувствовала себя в них вдруг уютно, как в колыбели, из которой уже не хочется никуда — так бы и провела всю оставшуюся жизнь в этом живом тепле; и, чтобы продлить время, вспомнив вдруг отца, стала рассказывать, как он брал их с сестрёнкой и братиком в детстве на покосы на целую неделю и как, коротая с ними вечера у костра подле лесного балагана, любил пугать их: рассказывал на ночь про покойников, про колдунов и леших, что прячутся ночами за каждым кустом, — и как они обмирали и жались к отцу, пихаясь и отвоёвывая возле него самое тёплое и надёжное место, и как уютнее отцовой пазухи ничего не было в мире…

В палаточный городок вернулись перед рассветом, когда бледно-жёлтая заря, переместившись, наконец, к востоку, понемногу набухла нежно-розовой глубиной, уже слабо освещая всё вокруг и предвещая скорый жаркий день. Лагерь, конечно, ещё крепко спал; ни единой бодрствующей души, слава Богу, не встретилось — даже самые ретивые угомонились; от костра осталась лишь куча пепла, в котором дотлевала одна-единственная головешка, испуская строго вверх тончайшую струйку дыма, которая на уровне глаз растворялась в воздухе без остатка, оставляя благовонный запах ивовой смолы.

Они крались меж палаток на цыпочках, держась за руки, шепчась и хихикая, как нашкодившие школьник со школьницей; вдруг запнулись за натянутый шнур чьей-то палатки, чуть не уронили её и прыснули при этом; в палатке раздалось недовольное спросонья мужское ворчание:
— Ну сколько можно?..

Маша потянулась к себе, но Бак удержал её и стал шёпотом упрашивать пойти к нему. Она заупрямилась: неловко, неудобно, — жалкие остатки стыдливости и нечто вроде нарушенного служебного долга удерживали её, но Бак так просил и так настойчиво тянул за руку, что у неё уже не осталось сил бороться ни со служебным долгом, ни с остатками стыдливости — махнула рукой: «А-а, всё равно теперь!..» — и покорно позволила ему увести её в свою палатку, раздеть и уложить в постель на мягком пуховом спальнике, под мягоньким верблюжьим одеялом, и они уснули, обнявшись, сладчайшим безмятежным сном, да так, что проснулись в одиннадцатом часу.

Верней, проснулся сначала он и стал суматошно хвататься за брюки и рубашку, нервничая и ворча: видите ли, впервые в жизни проспал! Полусонная Маша, еле связывая в дремотном изнеможении английские слова во фразы, пыталась втолковать ему: ну куда торопиться, если всё равно опоздали? Эти курганы стояли тысячи лет и ещё простоят! А когда уговоры её воздействия не возымели, попросту вырвала из его рук брюки, жарко обняла его, обнажённая и горячая со сна, и со словами:
— Ну куда ты, миленький мой, торопишься? Иди лучше, лапочка моя, ко мне, иди, чудо моё заморское, — обняла его и увлекла опять под одеяло, и бедный озабоченный Бак, сражённый её нежной решительностью, сдался, удивляясь такой гениальной простоте её женского разумения: и в самом деле — куда спешить? — древние эти курганы действительно никуда не уйдут, а миг утренней полусонной, трепетной женской нежности так мимолётен!
— Что такое «ляпочка»? — спрашивал он её; «лапочка» и «чудо моё заморское» Маша произносила по-русски.
— Это значит «добрый», «ласковый», «милый», — объясняла она ему, нежно выпевая слова, и он повторял за ней:
— Ты — моя ля-апочка! — и они беззаботно — как дети — смеялись.

Однако неистребимое чувство долга у этого твердолобого американшки вновь через полчаса взыграло — опять стал хвататься за брюки и рубаху, и уж тут никаких её доводов не хватило — он стал сердиться… Ах, как Маше не хотелось вставать! Чувство покоя и неги, разлитое во всём теле, расслабило её — казалось, она теперь до вечера не сможет подняться; однако деваться некуда, пришлось вставать вслед за этим твердокаменным профессором.

Потом брели вдвоём через степь под жарким солнцем на раскоп «царского» кургана, куда с утра, как договаривались, ушла вся учёная братия вместе с молодёжью, где ожидалась сегодня самая уникальная часть работы — вскрытие подземного склепа.

Брести было километра два. Раскоп этот они увидели издалека: на возвышении, с четырьмя вздыбленными вкривь и вкось, грубо отёсанными каменными глыбами по бокам, густо толпились люди.

Маше стало вдруг страшно стыдно туда идти — оттого что так безобразно опоздала и на глазах у всех совратила иностранца: ой, что будет! С него-то — как с гуся вода, а ей… Легче сквозь землю провалиться; казалось, все, кто там есть, повернулись к ним и ждут, когда они с Баком приблизятся; она вознамерилась даже повернуть обратно: скажет потом, что заболела, — но Бак крепко держал её за руку и не только не думал отпускать — а влёк за собой; так, демонстративно держась за руки, они и подходили к месту раскопа на виду у всех, выстроившихся на возвышении — прямо как в театре; раздетые, в майках, шортах, а то и в одних плавках, загорелые, облитые солнцем, казалось, они все с заметным интересом поджидали, пока эта парочка, наконец, приблизится. Зрелище, видно, было ещё то: нескладный жердеобразный мужчина тянет, как овцу на заклание, неказистую, кургузую особу, запинающуюся за невидимые кочки.

И когда они, наконец, подошли (Маша — с полыхающим лицом и опустив глаза, Бак — с нарочито поднятой головой и твёрдым прямым взглядом), зрители — Скворцов со свитой сподвижников и сподвижниц, молодёжь с лопатами, метёлками и щётками в руках и американские коллеги Бака — встретили их напряжённым молчанием, хотя Бак произнёс громко:
— Гуд дей!

Только кто-то из студентов отозвался, явно насмешничая:
— Здря-асьте!

Им, видно, очень уж непривычно было видеть, как это седовласое старичьё нагло лезет в заповедное царство эроса, разлитого кругом в жарком дурмане лета, принадлежащего только им, им одним, юным и беззаботным.

Скворцов, выйдя из толпы, сухо протянул Баку ладонь и, повернувшись к Маше, тут же начал подобающее, по его разумению, случаю строгое внушение своей временной сотруднице:
— Знаете что? За такие вещи я сразу увольняю! Ещё и на кафедру вашу сообщу.

Ей явно намекалось на предстоящую проработку по классической формуле: «осуждение морального облика»… Однако Бак, поняв, кажется, по его интонации, о чём речь, решительно приобняв беспомощно опустившую глаза и руки Машу, заявил русскому коллеге, обведя заодно твёрдым взглядом сподвижников Дмитрия Ивановича, своих сограждан, как-то слишком бесстрастно поглядывавших на него, и всех чему-то ухмылявшихся молодых людей:
— Уважаемый профессор, это серьёзней, чем вы думаете, и она тут ни при чём. Просим извинить за опоздание и готовы приступить к работе.
— Да ну что там, пустяки, — натянуто улыбнулся Скворцов. — А у нас дела идут полным ходом — всё готово!..

Маша же подняла на Бака удивлённые глаза и приоткрыла от изумления рот: первый раз в жизни мужчина не предал её!

Это впечатление было для неё самым сильным за прошедшие сутки… Но что значит «серьёзней, чем вы думаете»? Она тактично об этом помалкивала, хоть оно и грело, и тешило, если даже и отдавало лёгким обманом: мало ли? Может, оговорился в запале человек, или она что-то не так поняла. Но уже за этот красивый обман она была ему благодарна.

5.

И пошла-поехала в палаточном городке повседневная, размеренная экспедиционная жизнь.

Студенчество работало бесплатно, за кормёжку да за зачёт в экзаменационной книжке, то есть, можно сказать, на голом энтузиазме, поэтому безбожно лентяйничало, и экспедиционное руководство смотрело на это сквозь пальцы. На раскопки из-за дневной жары выходили рано, а к обеду, опять-таки из-за жары, работу бросали; после обеда уходили на раскопки энтузиасты, остальные купались, загорали да шлёпали без устали волейбольный мяч. Настоящее оживление наступало с заходом солнца: ежевечерний костёр, гитара, песни, танцы, игры, расползающиеся по бережку и окрестным полям парочки…

У учёной братии была своя жизнь — та трудилась напряжённо: до восьми вечера были заняты раскопками, а после ужина, разложив на обеденных столах под тентом бумаги и экспонаты, вели до глубокой темноты камеральные работы; потом, уже в темноте, начинались бесконечные разговоры; разговоры эти, с одной стороны, были вроде бы и учёными дискуссиями, а с другой — ни к чему не обязывающим трёпом на свободные темы, но Маше и тут полагалось быть, не заикаясь при этом, между прочим, ни о каких сверхурочных, и тщательно переводить все нюансы дискуссий со всеми терминами, о которые язык можно вывихнуть: об антропоморфных и зооморфных признаках находок, о брахицефалах и долихоцефалах, о монголоидах и европеоидах, о голоцене и геобиоценозе… Кроме того, несколько дней Скворцов возил гостей на стареньком экспедиционном автобусе по степи и показывал разбросанные там и сям курганы с сохранившимися каменными изваяниями — «бабами», древние священные долины меж холмов, сплошь усеянные могильниками с каменными частоколами стел, столбов, дыбящихся вкривь и вкось плоских рваных плит; заставлял

карабкаться на каменистые вершины холмов и показывал плоскости скал, испещрённые древними изображениями животных, человечков, какими-то таинственными фигурами и знаками, объясняя и истолковывая стили и признаки разных культур, эпох, сменявших одна другую, медленной, в тысячи лет, чередой прокатившихся по этой жаркой степи, по неподвижным этим, мреющим под горячим солнцем холмам и канувших затем в небытие.

Маша легко представляла эти места зимой, знала, как зимой над этими пустыми пространствами, прикрытыми тонким слоем снега, трещат морозы или свистят метели, прожигая холодом всё живое, и от этого знания даже теперь, в жару, по её телу пробегала лёгкая волна озноба. Вспоминать о зиме не хотелось, но о чём только не задумаешься, устав от их словесных баталий? Ох, как эти учёные любят говорить! И поесть, и попить, даже в кустики сбегать забывают (очень уж американцы смущались из-за нужды бегать в эти кустики) — ради какого-нибудь древнего наскального знака в ладонь величиной готовы переться чёрт-те куда, торчать возле него полдня на жаре и до пены на губах спорить, соглашаться, выдвигать и снова оспаривать версии, и Маша всё это переводи досконально и терпеливо — и попробуй ошибись, когда Скворцов следит за точностью её переводов и тотчас делает замечания, как только она начинает путать термины. А то вдруг, распустив пёрышки и возжелавши блеснуть эрудицией в присутствии Мэгги, он, «к слову», исполнялся вдохновения прочитать наизусть главу из «Манаса» или «Гильгамеша», а то и собственные стихотворные опусы, длинные и велеречивые, и она опять всё это — переводи…

После той первой ночи Бак Свенсон теперь мягко, но неукоснительно приглашал её еженощно в свою палатку, и она соглашалась, однако при этом так же мягко, но неукоснительно, как бы поздно ни было, прежде чем забраться туда, приглашала его прогуляться по степи или по-над речкой, чтобы эти их ночи в палатке не стали скучной обязанностью, и прогулки их растягивались, совсем как у молодых влюблённых, чуть не до утра, и всё было прекрасно, кроме одного: по утрам очень уж хотелось спать; и всё же Бак шёл, хоть и взмаливался иногда:

— Может, всё-таки — в палатку?

Однако она ему пощады не давала:

— Ты что, сюда спать приехал? Дома отоспишься!

В то же время он не очень-то был и разговорчив, этот доходяга Бак, и не ахти как чувствителен к скромной красоте здешних мест: предложит она ему полюбоваться открывшимся видом с глубокой перспективой и игрой красок — а он, по простодушию ли, или из не очень тонкого чувства превосходства, возьмёт и ляпнет, что такое ему уже доводилось видеть в Мексике, или в Африке, или на Аляске — где только этого прыткого американца не носило! Маша закусывала губку и язвила:

— В Мексиках не бывали — по нам, так и здесь неплохо!

А чтобы эта степь получше въелась в его сушёные мозги, чтоб потом вспоминал её, и Машу заодно, не с тусклым взглядом, как Мексику и Аляску, а чтоб светился весь небесным светом да чтоб глаза его при этом обжигало горячей влагой — из своеобразного патриотизма и доброты душевной терпеливо прививала ему эту любовь, разнообразила их ежевечерние прогулки. То потащит его за три версты на высоченную вершину — «увидеть настоящий закат», которые действительно разгорались на диво, охватывая полнеба и окрашивая набегавшие невесть откуда перистые облачка в лимонные, золотые, пурпурные тона; в самой сокровенной глубине заката клубилось обгоревшее за день и подёрнутое седым пеплом солнце, растекаясь и падая расплавленным светящимся куском металла за горизонт. И когда они с Баком на той вершине, сидя среди скал, словно в вырубленной скульптором-гигантом ложе, провожали взглядом последний луч, Машу неудержимо тянуло целовать Бака и соблазнять его — то ли из каприза, то ли то был понимаемый ею чисто по-женски ритуал, обозначающий торжество света и жизни над мраком…

То у неё возникнет фантазия побывать лунной ночью на древнем кургане. Бак отрицательно мотал головой, но она страстно уговаривала его:

— Бак, миленький, ну пойдём, а? Мы такое увидим! Понимаешь, эти древние кочевники, их энергия, ну, в общем, их ментальные тела — они же впитались в эти камни, в землю, в космос! Если сидеть тихо — можно услышать их, даже увидеть!.. Почему, думаешь, у Скворцова столько идей? Он на курганы ночью ходит — ассистенты говорили! И никто не знает, что он там делает…

Бак скептически улыбался и всё же давал себя уговорить; они тащились чёрт-те куда с риском заблудиться в ночной степи под обманчивым лунным светом и чудом находили примеченный ею днём курган с частоколом вздыбленных рваных камней, причудливо-жутких при луне… Они садились на поваленную временем, остывающую от дневного жара плиту, Маша делала знак, и они замирали… Стрекотал в траве хор кузнечиков — им, наверное, казалось, что всё ещё длится день, только не золотой и солнечный, а серебряный, лунный, и сквозь стрёкот их действительно слышались какие-то вздохи, шорохи, звоны; под плитой что-то шевелилось…

— Это мыши! — бубнил Бак, но она-то точно знала, что это не мыши.

Какие мыши, если вся земля на много метров вглубь набита человечьими костьми, обломками

стрел, мечей и пропитана кровью: эти дураки-мужчины только и знали всегда, что воевать, убивать и драться!.. Устав слушать, она его целовала, и они падали на тёплую, как печь, плиту, сливаясь в одно в поединке с тупым и бессмысленным, пожирающим всё, в том числе и живую плоть, монстром — Временем.

То позовёт его купаться ночью в омуте и, раздевшись донага и мерцая белой кожей, с бешено бьющимся сердцем, но успевая при этом ещё и мысленно понасмешничать над собой: «Чего только не сделаешь для ради русско-американской дружбы и торжества народной дипломатии!» — бесстрашно бросается в чёрную глубину, а потом, уже притерпевшись к ласковой, нагретой за день воде, плывёт, шумно брызгаясь, по-русалочьи зазывно ухая и хохоча, ощущая себя беспредельно сильной и свободной, чувствуя, как сливается с этой водой и со всем, шелестящим и шевелящимся вокруг; и Бак, покорённый её зазывным смехом, преодолевая колебания, тоже раздевался донага и осторожненько входил в воду, сначала по колени, потом по пояс, по грудь, и там, где она плыла, не доставая ногами дна, шёл, высоко вскидывая свои длинные руки, пытаясь настичь её, а она, бешено взбивая ногами воду в пену и брызги, ускользала от него, а когда он всё же её настигал — уже остывшая, скользкая, как рыба, висла у него на шее, гибко оплетая его, и впивалась в его губы…

То заприметит днём в дальней ложбине свежие копны сена и вечером, взявши на себя грех испортить чьи-то труды, зовёт туда Бака, не в силах удержаться от соблазна побарахтаться и нацеловаться в душистом степном сене, в сладком дурмане которого можно задохнуться и умереть от счастья… Всё это огромное пространство вокруг, вместе с бескрайними лугами и холмами, высоким небом и горячим солнцем, казалось ей теперь продолжением её тела и её души, и ей хотелось щедро делиться всем этим богатством с её новым другом.

А то вдруг на неё найдёт каприз отчаянной тридцатилетней женщины, её жадного до жизни молодого, очнувшегося от полусна организма — а может, просто действовало так на неё солнце, напитывая её отдохнувшее тело энергией? — прямо посреди дня, когда все уходили с раскопок на обед, возьмёт его за руку и уведёт в степь; он, чувствуя по блеску её глаз и учащённому дыханию, чего она хочет, — пытается её образумить:

— Зачем? Неудобно, нас ведь ждут…

А она ему, сама удивляясь бездне разбуженного в ней желания:

— Ничего, подождут, я тебя хочу!

И он, поражённый, наверное, собственной сговорчивостью, покорно за нею шёл.

Уведя его в зыбкое степное марево, она предлагала:

— Поцелуй меня!

Он обнимал её, наклонялся поцеловать, и она, не в силах сдержаться, впивалась в его губы сама, приникала к нему и падала, увлекая его, в полусухую траву, дурманящую густыми запахами, в выгоревшие добела метёлки полыни, молочая и донника, и неистово, жадно целовала его, и сама его брала, уставая до изнеможения, а потом оба лежали на спинах, взявшись за руки и глядя в небесную синь, где чертил круг за кругом коршун или орёл, маленький, едва приметный с земли. Как ей было хорошо лежать вот так, освобождённой от желания, утопая взглядом в синеве, ледяной, как глоток ключевой воды, ощущать телом тепло земли и держать за руку этого человека, который с каждым днём всё ближе и дороже!.. Ей казалось тогда, что они, держась за руки и запрокинув головы, вместе со всей Землёй поднимаются и уплывают в этот синий океан.

Неизвестно, о чём думал после этих её приступов желания он — он перед нею об этом не распространялся; но она-то, спохватываясь и покусывая губки, слегка задумывалась о том, что, пожалуй, слишком привязывается к этому чужаку, у которого, если честно, только и есть что по-настоящему привлекательного — так это длинные узловатые руки, обнимающие так крепко, что дух захватывает и сами собой, будто ватные, подкашиваются ноги, да разве ещё голубые, по-детски чистые глазки, хоть он и прячет их за солнечными очками да под длинным козырьком своего американского кепи, будто боится, как бы не догадались, что он добрый и мягкий, — этакие *завлекалочки*, в которых, между прочим, когда он глядит на неё, всё стоит немой вопрос: «Кто же ты, собственно, такая на мою голову, и что мне с тобой теперь делать?»

А ей трын-трава! Хотя… Где-то в глубине души скрёб коготок: ой, захлёстывает её тугой смертной петлёй нежность к этому молчуну! Что она потом делать-то будет, как выкарабкиваться из этого интересного положения? Ведь знает же: не распахивайся ни перед кем — обманут и наплюют в душу! — каждая подруга ей это подтвердит. Но вот если не умеет она, не научится никак жить этими правилами! Зачем быть скрягой, держать колодец души закрытым? Черпайте, пейте сколько влезет, свой ли, чужой — какая разница? — от неё не убудет!.. И почему она вечно всё усложняет да накручивает? Ведь и для неё тоже это всего лишь лёгкое приключение, не больше! Когда она научится смотреть на вещи как все — просто?

Разумеется, при этом она невольно сравнивала *своих* и *ихнего*, и получалось, что *свои* ох как прытче, говорливей, нахальнее, но и простодушнее — понятней, в общем… Не то чтоб *ихний* немотствовал — нет, но эти его старомодно-вежливые фразы воспитанного человека… Поначалу ей непривычно

было слушать их—резали слух, будто не сам он это говорит, а цитирует галантный роман: «Позволь тебя поблагодарить… Будь так добра… Извини мою бестактность…» Она повторяла эти фразы сама себе и улыбалась; из них можно складывать длинные цепи, ничего при этом не сказав,—как в детстве: сложить из цветных кусочков мозаику и тут же смести рукой… И всё-таки так приятно слушать музыку этих фраз, купаться в их словесной ауре!..

И всё же не это главное отличие *ихнего*—а отдельная от его слов внутренняя сила: будто тело его—марионетка, подчинённая жёсткой воле, и весь он—в каком-то ледяном царстве необходимости. Так и хочется его, несчастного, отогреть… Вот тебе и свободный человек! Где же тут свобода-то?

Это её, как хотите, настораживало: она-то к нему—всем сердцем, а он к ней—как диетик с дозами… А что никакой не суперсексуал, как она от него, такого жилистого и долговязого и довольно-таки сильного физически, ожидала и даже побаивалась поначалу,—так это даже к лучшему: спокойней с таким… И не стар вовсе—просто потрёпанный жизнью, изработавшийся на веку человек; даже в постели, бедолага, только о своей археологии и думает. Ну да что делать: какой-никакой, а есть с кем слово молвить. Хотя он, умаявшись после длительных ночных прогулок, ложится и засыпает как младенец, уткнувшись в её грудь лицом—на остальное сил не остаётся.

Этот его крепкий сон возле неё и умилял её, и раздражал. Но вдруг станет ей жалко его, такого худого да измождённого, будто с креста,—возьмёт и приласкает: погладит по волосикам, начнёт разгонять пальцами морщинки на лбу и возле глаз, замурлыкает над ним,—а он в порыве благодарности берёт её руки в свои, и исцеловывает пальцы, ладони, запястья, и шепчет чуть не со слезами в глазах:

— Как ты добра, как нежна, моя милая!

Да возьмёт и положит её ладони на свои уставшие от долгого летнего света глаза и притихнет, слушая, как она мурлычет над ним; она надеется, что и он тоже промурлычет что-нибудь в ответ,—глядь, а он спит!.. Она ещё недоумевала: да какая же это нежность, какая доброта—этак любая русская баба походя пожалеет такого-то доходягу… Нет, не знаешь ты ещё, драгоценный мой, что такое нежность!

А ведь ей пришлось и обихаживать его, стирать ему бельё, рубашки, носки, потому что всё это у него быстро задубело и провоняло пóтом и дезодорантом до такой степени, что хоть святых выноси. Он, видно, и сам страдал от этого: рассуёт свои грязные вещички по сумкам да под матрац и пытается незаметно для Маши стирать—смех и грех!—туалетным мылом в речке. Маша, углядев эти его манёвры («Они что, думали, их здесь негр какой-нибудь обслуживать будет? Фигушки!»), выудила однажды всё это, несмотря на его протесты, нагрела у дежурных на кухонном очаге воды, прокипятила в тазу, выстирала, высушила, и—получите, сэр, чистенькое, пахнущее ветром и солнцем! Это же для неё—сущий пустяк. И стиральный порошок у неё с собой. И в экспедициях не бывала, а знала, куда ехала, так что Бак у неё ходил теперь свеженьким, как огурчик с грядки. Наши-то тоже как-то выходили из положения, а остальные американцы так и мучились, терпя неудобства и не зная, как быть. А Маша лишь посмеивалась: «Фиг вот вам! У нас всё—сами!»

А Бак только знай бормочет свои благодарности… Да все они такие—и Майк, и Стив,—смотрят на их с Баком отношения, а глаза—оловянные: ничего не вижу, ничего не знаю… Это что, правила хорошего тона такие? Хоть бы словечко—даже не одобрения, а осуждения хотя бы, и всё бы стало на свои места! Правда, Мэгги не всегда выдерживает: как увидит её вдвоём с Баком—фыркнет слегка и губки сожмёт. Тогда Маша нарочно к ней с каким-нибудь вопросиком, а Мэгги—глядь, уже справилась с собой: спокойный ответ и улыбка.

А Машины нервы не выдерживали: накатит на неё—и пойдёт грубить всем подряд. Мяконько так, язвительно. Начиная прямо со Скворцова. Считалось, что она не с той ноги встала. Только Бака и щадила—будто и не он вовсе виновник. Такая вот игра получалась. Молчишь? Ну и молчи. Интересно только, чем откупаться будешь? «Позвольте вас поблагодарить за внимательное обслуживание»? Или, может, маечкой со своего плеча одарите? Или, чего доброго, долларовых бумажек отслюните от щедрот ваших?

Вот маечку-то она себе возьмёт. Накарябает на ней цветными фломастерами афоризмы, коими себя лагерники украшают: «Нет в жизни щастья» или «Мама, роди миня абратно»,—и синие горы нарисует, а над ними—восходящее солнышко с лучами, а в самом центре, в веночке из цветиков, напишет дурашливо: «На вечнаю памить аб адном шипко иностранном археологе, изделавшем мине нимножко больно»,—и алое сердечко внизу изобразит, пронзённое стрелой навылет. И повесит маечку на стену распятой на гвоздиках, и будет показывать девчонкам как трофей, рассказывая о своём летнем приключении. А долларов, этих ваших чудодейственных зелёных листиков, которые греют вас, как горчичники, мне и на дух не надо—оскорбляете, мистер. Только запомните меня—не какую-нибудь там гостиничную шлюшку, а простую женщину, чуть-чуть отчаянную да малость с придурью: не надо ей ничего из ваших милостей—сама всем богата. Правда, у неё, может, только и есть, что вот на ней, но уж зато остального—без счёту! Потому-то просто так,

за здорово живёшь, из каприза, можно сказать, от широты душевной да ещё от *простодырости* своей и дарит царским жестом счастье таким вот убогим. И взамен ничего не просит — как в старой детской игре: «Бери да помни!»

6.

Однажды, всего за несколько дней до отъезда, прямо посреди дня налетела гроза: сначала в спокойную тишь ворвалась пыльная буря с огромным, до небес, пылевым облаком, потом надвинулись и нависли, обложив весь видимый свет до горизонта, клубящиеся косматые тучи, изрыгая огромные, во всё небо, ветвистые сверкающие молнии, которые разлетались веерами и били огненными концами в каменные вершины холмов, и — словно небо раскалывалось и на землю сыпались многотонные камни, колыхая её, — оглушительно гремел гром; потом хлынул обвальный дождь, первый за это время; он сплошь покрывал землю пузырящейся, пенистой мутной водой, которая тут же с чавканьем и всхлипами уходила в сухую истрескавшуюся землю. Все члены экспедиции — и молодёжь, и учёные — носились под этим дождём, спешно укрывая раскопы брезентом и плёнкой и придавливая досками; ливень осыпал их разгорячённые тела обжигающе холодной дробью дождин, и все, кто участвовал в укрытии раскопов, вымокли до нитки, но возвращались в лагерь весёлые и возбуждённые, раздевшись до трусов и неся одежду под мышками, с удовольствием подставляя плечи и спины ливню.

Однако после недолгой грозы дождь не унялся, а только сник, перейдя в нудный мокросей, настроившись, кажется, на весь вечер.

Маше, для которой ежевечерние прогулки с Баком стали уже потребностью, захотелось погулять и в этот вечер, прямо по дождичку; она любила такую вот — сырую, дождливую, скучную — погоду: она настраивала на определённое настроение, облегчала душу, очищала её от всего тяжёлого и наносного; кому-то облегчали душу жгучие страсти, кому-то — общение, веселье, вино и пьяное забвение, а вот у неё — дожди и непомерно разрастающаяся в дожди грусть. Так что сразу после ужина она шепнула Баку:

— Пойдём?

— По дождю? — уточнил он.

В голубеньких глазках его мелькнуло замешательство, усилием воли, впрочем, погашенное, но Маша успела прочесть его и расшифровать: «Да-а, с этой русской не соскучишься».

— Может, зонтик захватим? — спросил он.

Она неопределённо пожала плечами, так что он понял: спросил лишнее.

Ей-то зонт незачем: во-первых, дождь мелкий и тёплый, а во-вторых, если он не течёт по лицу и не заставляет ежеминутно физически ощущать его — какая же это прогулка под дождём? А куртки на них и так были.

Шли долго и молча — она сегодня не была расположена много говорить, строгая и недоступная для него; и ему передалось её настроение — шёл рядом тоже молча, и она была благодарна ему за это… А когда наткнулись на чёрный круг брошенного кострища на берегу, она почувствовала, что всё-таки немного продрогла; но возвращаться не хотелось, и она протянула Баку зажигалку (взяла на всякий случай у дежурных на кухне):

— А ну-ка, профессор, докажите, что вы настоящий путешественник: разожгите под дождём костёр. Я замёрзла.

И пока она, присев на валявшийся рядом обломок коряги, безучастно слушала шорох дождя в траве, полная ностальгического настроения и грусти по уходящему лету, которую подчёркивал запах увядшей, мокнущей под дождём травы, Бак тем временем, энергично взявшись за дело и пачкаясь в мокрой глине, принялся таскать снизу, из тальниковых зарослей, хворост.

Однако костёр гореть никак не хотел, и ему пришлось ещё долго возиться, ползая вокруг. Маша тихо подтрунивала над ним.

Но, терпеливый и упрямый, он сумел доказать своё умение: хоть и шипя, и постреливая, и исходя едким белым дымом, но костёр всё же занялся; по быстро сохнувшим, не совсем ещё промокшим веточкам побежали рыжие огоньки, чем дальше, тем веселее разгораясь в наступавшей темноте. Однако элегического настроения у Маши весёлый огонь не пересиливал: этот дождь, предвестник грядущих ненастий, и этот сырой мрачноватый вечер напомнили ей, что скоро кончится лето, кончится всё-всё-всё… Глядя в бегучий огонь, она произнесла по-английски нараспев, негромко, для себя самой:

> Умолкло лето, певшее во мне,
> Давным-давно — и больше не поёт.
> *(Перевод Ю. Мениса)*

— Что ты сказала? — не понял Бак, продолжавший хлопотать у костра.

— Да так… Когда мне грустно, развлекаю себя — читаю стихи, — меланхолически ответила она.

— И что ты прочитала? — поинтересовался он.

— Твою соотечественницу.

— Кто это? — вскинулся он.

Вместо ответа она помолчала, прищурившись на огонь, старательно припоминая что-то, и спросила, подзадоривая его:

— А вот ещё. Слыхал когда-нибудь такие? — и начала снова читать по-английски, теперь уже громче и выразительней:

> О, пожалей меня. Не потому
> Что ясный день во мгле вечерней канет,

Что красота полей и рощ увянет
И год к концу склонится своему,
Что в океан откатится волна,
Что лунный серп истает, еле зримый,
Не потому, что гаснет взгляд любимый,
Едва мужская страсть утолена.
Я это знала. Знала, что любовь—
Лишь стебелёк, который ветром скосит,
Что, как прилив, она всё вновь и вновь
Свои обломки из глубин выносит,—
Так пожалей меня. Лишь потому,
Что сердце не приладится к уму.
(Перевод И. Грингольца)

Бак слушал, замерев с прутиком в руках. А выслушав, ответил, неожиданно взволнованный и удивлённый:
— Нет, не слыхал!
— Ну хорошо,—сказала она тогда, оживляясь от придуманной ею игры.—А такие?—и начала читать снова, глядя на него уже с улыбкой:

День ли, два дождливых дня
Я с тобой была—
Вот и всё, что для меня
Жизнь приберегла.
День ли, два дождливых дня,
Слова горький хмель…
Что ж ты в сердце у меня,
Словно птичья трель?..
(Перевод М. Редькиной)

— Нет, тоже не слыхал,—решительно покачал головой Бак.
— Это всё Миллэй. Эдна Сент-Винсент Миллэй.

Бак сдержанно промолчал—похоже, и не слышал о такой. Господи, а для неё эти стихи—давным-давно освоенный этап: ещё в институте открывали для себя англоязычную литературу в подлинниках, и перед нею вдруг так неожиданно распахнулся мир поэтесс-американок Эдны Миллэй, Эмили Дикинсон… Она стала рассказывать Баку, как доставали эти книжки, переписывали, заучивали наизусть, устраивали вечера поэзии: столько было сил, энергии, времени—кошмар!—не знали, куда девать… Нет-нет, пусть он не задирает нос: в России всегда было—да и сейчас тоже!—полно поэтесс, их зачитывают до дыр, их чтут, и сама она к ним совсем не равнодушна, особенно когда вот тут, где душа, стонет, и болит, и рвётся с треском, но в стихах у наших слишком крутые концентрации: «Нá тебе, ласковый мой, лохмотья, бывшие некогда нежной плотью. Всё истрепала, изорвала—только осталось, что два крыла»,—а вот такой—тончайшей, как засушенные лепестки цветка,—простоты, грустной, как у этих американок, понятной только *очень* одинокой женщине, она, Маша, как-то больше ни у кого и не встретила; потому, наверное, и запали, что—в самую точечку, потому так и тянет повторять—как заклинания от хвори, как молитвы…

Про Эмили Дикинсон Бак, оказывается, всё-таки знал.
— Не эти ли, случайно?—заинтересовалась она и, напрягши память, вспомнила и прочла ещё одно стихотворение, и ещё одно—так хотелось нащупать общие точки душевного соприкосновения, чтобы не один только спальник и верблюжье одеяло объединяли их и сливали вместе!

У Бака от стихов, кажется, даже слёзки в глазах набрякли—или то был всего лишь дождь?.. Присев рядом с нею, опустив голову и терзая ивовый прутик, забормотал, оправдываясь: как прекрасно всё, что она читает; у него нет слов, чтоб выразить всю благодарность ей и восхищение, но не помнит он ничего, не в силах Маше ничем отозваться, всё перезабыл—четверть века уже не читал ни одного романа, ни одной книжки стихов; наука—это такая серьёзная деловая леди, с которой он подписал пожизненный кабальный контракт: она ссужает его средствами, а взамен сосёт его время и силы…
— Но хоть что-то из беллетристики ты читаешь?—спросила она.

Бак, потупясь, покачал головой.
— Ты не читал Апдайка, Воннегута, Оутс?
— Видишь ли, мне приходится много читать,—обезоруживающе улыбнулся он.—Но литературу совсем иного рода. Я ведь сам пишу книги.
— По археологии?—спросила она: видела—он подарил одну Скворцову.
— Да,—тихо сказал он.
— Бак, миленький, я не собираюсь тебя уличать—прости меня и пойми правильно: Бог с ней, с литературой,—она ведь не каждому близка! Я понимаю, ты человек занятый, наука требует тебя всего, но… Раз и у вас тоже жили и живут поэты, писатели—значит, и у вас они кому-то нужны? Наверное, и учёному, Бак, тоже нужно оттачивать чувства? Это же—как воздух, как пища… В этом мире, Бак, где всё так зыбко, так неустроенно…
— Не знаю, не знаю… Я дышу нормальным воздухом, ем нормальную пищу,—защищаясь, сухо возразил он.—У меня, в целом, всё устроено.
— Ну да, конечно,—Маша огорчённо покачала головой.
— А насчёт литературы тебе лучше поговорить со Стивом.
— Да, извини,—согласилась она.
— Я, наверное, ординарней, чем кажусь,—сказал он, всё терзая в пальцах бедный ивовый прут.—Я простой человек, неплохо знающий своё дело. Сними меня, пожалуйста, с пьедестала—ты слишком высоко меня вознесла,—он усмехнулся, угасая и уходя в себя.
— Не надо, не наговаривай на себя!—она ухватилась за его руку, не пуская в себя.—Ты сложный, ты неординарный, ты сильный и добрый!

— Поэзия — это прекрасно. Но я не имею к ней отношения, — упрямо пробормотал он.
— Милый, да ты сам — кусок чистой поэзии! И не стану я тебя с пьедестала снимать — стой и терпи, а я буду смотреть на тебя, и восхищаться, и молиться на тебя, и никто мне не указ! Не на кого мне, Бак, больше молиться, так что позволь воспользоваться тобой. Что делать, если я не могу без этого?..

Обнять бы его ещё да расцеловать, это идолище деревянное, эту буку высокомерную и обидчивую, но нет у неё сегодня настроения — есть лишь гремучая смесь горечи и грусти... Что с ней? Отчего на неё наваливается временами такое? Регулы ли тому виной — или смена лунной фазы? Катастрофически ли падающее в ненастье давление? Или ещё что-то, непонятное ей самой?..

А когда возвращались — не удержалась: прочла ему ещё и небольшую лекцию про их же, американскую, сегодняшнюю литературу, чуть-чуть кокетничая познаниями: вот вам, профессор, получите! — правда, умолчав при этом о Вадике: это ведь он, светлая головушка, следил за всеми новинками беллетристики, своей и зарубежной, — до всего-то ему дело, всё-то, что ни спроси, он знает; это он притаскивал вороха журналов, и она, притворяясь любознательной, читала, чтоб «быть в курсе» и было о чём поговорить...

И таким развитым, таким крутолобеньким обаяшкой показался он ей отсюда — где-то он сейчас, и чем набита его головушка? — при этом у неё ещё и вырвался вздох сожаления: эх, Вадька, Вадька, замешать бы вас с Баком в одном миксере да разделить пополам — каких бы два чудесных человека вышло! Ну почему всё так несовершенно в этом бестолковом мире?..

В последние дни Бак был с нею странно рассеян, прикрываясь излишней приветливостью.

Когда она хорошо высыпáлась и ещё не успевала устать, то всем своим естеством чувствовала, какой он её воспринимает, видела себя его глазами, причём так ясно — будто переселялась в него... Отношения его с этой экстравагантной особой с красивым русским именем «Машъа-а», начавшиеся как забавное приключение на фоне дикой природы, свалившиеся на него так нежданно и окрасившие в мажорно-легкомысленные тона эту интересную с научной точки зрения поездку, неудержимо перерастали в нечто бесформенное, как всё у них, русских, бывает, похожее по странности и нелогичности своей на поединок разума с дикой стихией, где олицетворение разума — естественно, он сам, а стихия, соответственно, — она, вкупе со всей нетронутой пустынной природой; рядом с этой стихией, с этой немереной бездной там, где, по всем приметам, должно быть мелкое место — страшновато; но она и влечёт...

Впрочем, стихия эта — не только Маша и не только природа, но и всё тёмное, живущее в нём самом под слоем интеллекта, всколыхнувшееся навстречу этой маленькой неутомимой женщине, да так, что сам удивлён: как он до сих пор обходился без неё, без её непрерывной смены настроений, без её непосредственности? И как он теперь без этого будет обходиться?..

И всё же олицетворением этой стихии, её светящимся сгустком была Маша, такая непростая за кажущейся простотой — и стихи-то читает, и рассказывает ему про литературный процесс в его собственной стране, и служит мощным каналом общения меж ними всеми; но ведь сама тяга к стихам, к природе, ко всему иррациональному и есть признак дикой, чувственной стихии, пусть и окультуренной, её женское начало, слепое и агрессивное, тёмное и влажное, как глина древнеюрских отложений... Причём стихия эта отнюдь не безобразна: в ней свежесть молодости, доверчивость, цельность, самоотверженность...

И всё же его разум — в глухой защите против этой стихии, потому что у неё, у стихии, никаких правил нет: всё идёт в ход в поединке, — в то время как у разума — правила, хотя бы потому, что это — разум, а разум обязывает...

Маша чувствовала, что в нём что-то зреет, но, не в силах понять, что именно, — вела себя всё глупее и ничего не могла с собой поделать: то ластилась к нему, как кошка, и отдавалась в безумных приступах, словно билась в отчаянии головой о скалу, — то презирала себя и злилась на него.

7.

Так прошли две недели; впрочем, чтó прошли? — промчались неостановимо. И вот уже старенький экспедиционный автобус везёт гостей — и её, естественно, тоже — в город, и снова их сопровождает Скворцов.

Чем ближе к отъезду гостей, тем он внимательней и суетливее по отношению к ним — так и журчит, и исходит весь словами, неугомонный, как весенний ручеёк, так и глядит в их глаза с немым вопросом: удовлетворены ли? — ведь теперь ему ехать к ним в Штаты; он беспокоился, как бы что не помешало этому свершиться, и это беспокойство выливалось у него все последние дни в раздражение на подчинённых, отравлявшее всем настроение: он просто гусём шипел, если те не были слишком внимательны к гостям или делали что-то не по его. Видеть это было Маше неприятно; и неловко после этого переводить его многословные сладкоречивые периоды...

Она всегда любила дорогу; с детства всякая дорога радовала её, возбуждала, наполняла чуточку, может быть, остуженным годами, но и поныне

ярким приподнятым настроением от быстрого движения, от ожидания чуда за каждым поворотом, от ощущения сродни ощущению полёта.

Она надеялась, что хоть в эти сколько-то часов поездки Бак, наконец, поговорит с нею о чём-то, касающемся только их. Они и сидели в автобусе рядом: она у окна, он у прохода… И снова он, занятый общим разговором, с Машей—почти ни словечка; как завёл Скворцов вместе с гостями с самого начала шарманку относительно итогов, впечатлений и перспектив на будущее—так и не закрывали ртов, торопясь сказать напоследок всё; не успели, бедные, наговориться, брали реванш у всех предыдущих поколений, а тут нá тебе, разглядели друг друга, расслышали!—так что Маша едва поспевала за ними; получивши за эти две недели неоценимую практику, она переводила теперь автоматически, даже не вдумываясь в смысл фраз, а сама тем временем зачарованно поглядывала на проплывающие мимо пространства, злясь на Скворцова, который молол языком сам и провоцировал на болтовню остальных.

А меж тем автобус, мягко переваливаясь с боку на бок и скрипя всеми узлами, оставляя за собой густой шлейф пыли и неспешно одолевая увал за увалом, уходил по земляному просёлку на север. Потом вывернул на тряскую гравийную шоссейку, потом—на горячий от солнца, струящий жаркое марево асфальт и покатил веселей.

И вот уже кончилась сухая дикая степь; дорога, то вскарабкиваясь на перевал, то петляя по глубоким долинам и пересекая ручьи, ныряла поочерёдно то в весёлые белоствольные березняки, то в чутко трепещущие каждым листком осинники, то в безмолвно-торжественные пихтовые леса, мимо буйно заросших кипреем, скердой и белоголовником, пахнущих мёдом розовых, жёлтых, белопенных, влажных и душных лесных полян.

—Ты посмотри, какая прелесть!—не выдерживала Маша и трясла Бака за рукав, показывая на цветущую поляну, или на широко распахнувшиеся в просвете меж деревьев крутые зелёные волны уходящих в небесную высь горных валов, или на могучий, неохватный кедр, впившийся в скалу мускулистыми корнями, на нависшую над лесным ручьём лобастую серую скалу, испятнанную голубыми кругами лишайников.

Ручьи манили остановиться, глотнуть чистой и холодной, только что из-под земли, воды и послушать тишину.

Возбуждённый, с ничего не видящими глазами—как же, домой торопится!—Бак отвлекался от общей беседы, походя улыбался Маше своей парадной белозубой улыбкой, произносил дежурное:

—Да, как в Швейцарии,—или в Чили, или в какой-то там Боливии—и где это, интересно, такая: то ли в Африке, то ли в Америке?—и снова с головой в беседу.

Маша только досадовала: ну до чего бесчувственный—тоска…

Потом автобус долго катился вниз мимо сенокосных лугов, на которых вовсю кипела работа и шевелились люди, трактора, лошади: там косили, гребли, метали сено,—мимо неспешно зреющих под солнцем пшеничных полей, через лоскутные перелески и просторные сёла, сытно пахнущие укропом, мятой, подсолнухами и парным молоком; миновали сонный одноэтажный районный городишко, и снова—пологие, то уходящие вверх, то сбегающие вниз склоны холмов, но уже родной, своей для Маши стороны, где зной слабей, а небо светлей и выше, а в светлой этой глубине толпятся огромными белыми клубами облака, прострелишвающие насквозь немыслимую высь, в то время как далёкие горизонты уже дыбятся тучами, и эта круговерть туч соединена тут и там с землёй косыми полосами дождя. Всё это—уже до боли знакомо Маше: у неё от этого легчало на душе.

А автобус катил и катил себе не слишком торопливо и только поздно вечером привёз их в город, ни разу даже не сломавшись дорогой, к Машиному тайному огорчению, потому что ей очень хотелось, чтобы он всё-таки сломался, и они бы заночевали где-нибудь у костра над речкой или в поле под стогом, и у них у всех была бы ещё целая чудесная ночь…

Город встретил их тихим дождём, шелестящим в кронах тополей и в траве газонов, лаковым сверканием мокрого асфальта, отражающего в себе всё что ни есть: свет фар, уличные фонари, окна непривычно высоких домов, мертвенные сине-красно-зелёные огни вывесок.

Скворцов велел ехать к самой фешенебельной гостинице, «Центральной»: да-да, городские власти наконец-то помогли выделить для его американских гостей номера в ней,—и когда автобус подъехал, стал торопить гостей: в полночь истекает срок брони, и он беспокоился.

Уставшие от дороги и тоже обеспокоенные: в этой диковинной России всё может статься!—они подхватили сумки и торопливо, совсем уже как наши,—на удивление быстро люди свыкаются с обстоятельствами!—ринулись из автобуса вслед за Дмитрием Ивановичем. Отправилась вслед за ними и Маша.

Но зря Дмитрий Иванович волновался—на этот раз всё было как нельзя лучше: встретила их, несмотря на поздний час, сама администраторша чуть не с распростёртыми объятиями и улыбкой на лице (как же, американцы приехали!); всем—отдельные номера, и даже буфетчицу ради поздних гостей задержали!.. Бедный Стив так просто приуныл: никакие сарказмы на ум не шли. А Маше пришлось трудиться—заполнять на всех гостиничные бланки.

И вот гости, предвкушая горячий душ, чистый унитаз и надёжную кровать без раскладушечных

скрипов, ведомые Скворцовым, повалили гурьбой на второй этаж, а она осталась в холле. Не бежать же ей за ними, как собачке, правда? Рабочий деньто ведь, как ни крутите, кончился.

Ждать не хотелось, пока Скворцов рассуёт гостей, вернётся и, быть может, попросит шофёра отвезти до дома и её тоже. Устала, надоело. И, скорей всего, не соизволит уважаемый профессор заняться её ничтожной персоной, а если и соизволит — выполнит ли ещё его соизволение шофёр, не заявит ли, нагло ухмыляясь: «Да вы что, Дмитрий Иваныч! Не могу, у меня бензин кончился, баллоны спустили, искра в колёса ушла!..» — у этих скромных тружеников такой чуткий слух на интонации начальства! Только и хватит бензина и искр в свечах, чтоб отвезти домой самого шефа да самому доехать — очень нужно ему везти какую-то свистульку! Не велика барыня — ножками... Поэтому она, ничего больше не дожидаясь, вскинула на плечо тяжёлую сумку, вышла из гостиницы и побрела на автобусную остановку под ласковым, таким тёплым и добрым, не в пример людям, ночным дождичком.

Однако автобусы в её сторону уже не шли... Остановила легковую машину и сговорилась с порядочным с виду водителем, чтоб отвёз до дома. А тот дорогой возьми да примись липнуть:

— Что, детка, загрустила? Поедем да повеселимся где-нибудь, а?

Ой, обмишурилась! Хорошо хоть села на заднее сиденье. Было самое подходящее настроение отвесить этому ящеру комплимент поувесистее — да страшновато: над одинокой каждый сукин сын готов поизмываться — жулькнет за горло или просто высадит в полночь на пустыре, и — кукарекай; так что ещё пришлось хитрить:

— Да какая детка — я бабушка уже; меня муж дома ждёт!

— Чего ты мне мозги пудришь? — самодовольно ухмыльнулся ящер на колёсах. — Нету у тебя мужа — я вас, незамужних, за километр чую!

— А проницательный, однако, у тебя глаз! — продолжала она хитрить.

— Точно! Глаз снайперский, — заржал сукин сын, размякший от похвалы. — Я вас всех вот так вижу! — отцепил он от баранки и растопырил пятерню, в которую ей хотелось плюнуть; но вместо этого она, ещё взявшись за ручку двери, чтобы в любой момент выпрыгнуть, любезно отозвалась:

— Это так интересно! Приглашаю на чай, и ты мне всё про себя расскажешь! С таким можно дело иметь, а то чтó нынче за мужик: ни в постель, ни за столом поговорить?

— Эт ты в самый раз! Эт мы мигом! — урчал мерзавец, наддавая газу.

Но тут уж она обыграла его в два счёта: только подъехали — швырнула ему скомканные деньги и с сумкой — вон из машины. Тот рванул было следом, но она, уже взявшись за ручку входной двери, дала себе волю, вызверилась:

— А ну вали отсюда, а то щас позову! — и, прежде чем с хряском захлопнула за собой входную дверь, ещё сподобилась услышать напоследок отзыв ночного любезника:

— С тобой по-человечески, а ты! Дура ты недоделанная!

Вздохнула с облегчением только в своей комнате. Посбрасывала с себя одежду, кое-как освежилась над раковиной, достала из холодильника и откусила шмат полузасохшей колбасы — ни вымыться как следует, ни готовить ужин, ни даже дождаться горячего чая уже не было сил, — распахнула настежь окно, с наслаждением бухнулась в постель и под шорох дождя в верхушках клёнов, достигающих её окна, моментально уснула, и во сне её всё несло и несло куда-то в лодке, а лодка, качаясь, плыла прямо по зелёным холмам, то вздымаясь, то падая в густые цветы и травы...

8.

Проснулась она от невообразимого стрёкота воробьёв, устроивших в клёнах перед её окном сборище; на улице, похоже, давно уже властвовал нежаркий, хорошо промытый дождём и ещё влажный с утра солнечный день. Она сладко потянулась, чувствуя себя совершенно отдохнувшей и полной сил. Экспедиция отодвинулась далеко-далеко — как хороший, цветной, приятный сон. Но сны — снами, а надо жить дальше.

Всё-таки жгла обида на Бака Свенсона. Жердина старая, сухостойная, чёрствый, бесчувственный, ординарный, — убеждала она себя, чтобы уж совсем избавиться от неприятного осадка из-за этого сна. Да на что он тебе? Ну, был — и нету! Лучше найдём...

А вообще-то они, скупердяи, могли бы и приплатить — она всё-таки старалась для них, молола языком по шестнадцать часов кряду, да без выходных; у Скворцова не разживёшься — всё на энтузиазме; хоть бы пару сотенок: курточку бы новую Серёже и себе джинсы — совсем истрепала за поездку... А впрочем, чёрт с ними, надо хоть свои кровные успеть стрясти со Скворцова, а то опять умотает; да ехать к сыну, к мамке с папкой, огород полоть...

И только она вознамерилась встать да сварить для начала отпускной жизни кофейку — стук в дверь. И следом — соседкин голос сквозь дверь:

— Эй, Машка, тебя там к телефону!

— Кто? — отозвалась Маша, не вставая с постели.

— А чёрт его знает, не сказал! Мужик, между прочим!

Странно! Кто бы это? — ещё немного помедлила она.

Телефон был один, на первом этаже, и звонили Маше по нему только в экстренных случаях — ведь

нужно большое терпение, чтобы до неё дозвониться: пока это ей передадут на третий этаж, да пока она спустится…

Каково же было её удивление, когда, быстро спустившись, она услышала в трубке голос Скворцова! Ну и ну! Что же это за дело заставило его вдруг отыскать её, козявку, которую и в микроскоп не разглядеть,—телефона она ему, насколько помнится, не давала!—и терпеливо ждать, пока она соизволила спуститься вниз, вся ещё рассиропленная?..

А дело такое—она даже растерялась от неожиданности и не знала, что ответить: он приглашает её сегодня к семи вечера на банкет в ресторан «Центральный»! С чего бы такое внимание к ней?.. Разъяснений на сей счёт не последовало: недостойна. Ну, спасибо и на приглашении… Однако Дмитрий Иванович, весь такой любезный—надо же, вспомнил, никак совесть всю ночь мучила, что бросил вчера на произвол судьбы!—повторил приглашение, так что оно прозвучало точно приказ, и сумел сорвать с неё обещание прийти, хотя она пока что и не собиралась отказываться—просто, по своему обыкновению, не любила она произносить страшно категоричные, твёрдые, как скалы, «да» или «нет»—а больше предпочитала проскальзывать между ними где-то посередине, произнося расплывчатое: «Не знаю. Может, и приду».

И тут же, пользуясь моментом, намекнула, что хотела бы сегодня получить расчёт—вот уж тогда бы пришла обязательно, а то ей на банкет-то и надеть нечего,—не преминула она поторговаться; однако он, хитрец такой, всё равно её переиграл—понял, что она у него на крючке, и мигом своё условие поставил: вот придёшь—и поговорим!.. Видит Бог, её припирали к стенке.

Вернувшись к себе, сварганила кофе и по такому случаю—все планы на сегодня ей разом поломали!—снова забралась в постель, уже с чашкой кофе, обсосать факт со всех сторон… Решила, что Скворцов собирается залучить в экспедицию новых иностранцев, иначе зачем бы он её звал на этот их банкет так настойчиво? Напиться они и без неё прекрасно напьются; для ресторанного общения с ними его английского вполне хватает… А она ещё не знает, что ответит ему на этот *закидон:* ежели, к примеру, опять в поле! Смотря как попросит: может, даже и поедет; только надо условия поставить жёстче—чего их жалеть?.. В общем, ничего-то она ещё не знает, не решила пока…

Но как ей вести себя на этом банкете с американцами, и как, интересно, будет смотреть ей в глаза Бак?.. А что им, мужикам: подопьёт, так ещё и наберётся наглости тащить к себе в номер! Да-а, вечно тебе, Марья, в дурах оставаться; такая уж судьба… Ну нет, тут-то она ему всё и скажет; фиг вот ему ещё отломится—с женщинами сначала научитесь разговаривать, мистер бурбон мороженый!.. А может, назло ему с Майком зафлиртовать? Уж тот умеет с женщинами обращаться, огневой мужичок… Впрочем, ну его в пим дырявый—пусть о семье думает… А этот *старпер* Стив, пыльный классик американской литературы? Опять, наверное, со своими ручонками полезет?.. Её передёрнуло всю. Нет, ну их, этих американцев, им Мэрилин Монро каждому подай, в худшем случае Лиз Тейлор, чтоб и тут, и там—всего вдосталь. Где уж нам… Захмурю-ка я лучше какого-нибудь нашего коммерсантика завалящего, чтоб не совсем зря вечер пропал—там сейчас, говорят, весь цвет их табунится…

Так, лениво решая, поедет ли она вообще на этот их банкет или не поедет, хоть и дала слово,—ведь у неё и наряда-то подходящего нет, будет выглядеть щипаной курицей,—встала и долго бродила по комнате, рылась, поднимая кавардак, в шкафу, разбрасывая по полу вещи, сидела в кресле, досадуя чуть не до слёз, что ничего-то приличного надеть у неё так и нет… Однако к обеду всё же решила, что поедет, а после обеда начала торопить время, энергично готовиться и собираться, гладить и примерять—и снова отбрасывать, без конца поглядывая на часы и мучаясь от нетерпения, что так медленно, на хромой лошади да скрипучей таратайке, ползёт время.

Ровно в шесть она была уже готова—накладывала последние штрихи грима на лицо и восхищалась сама собою: хорошо промытые, огрубевшие от степного ветра и слегка завитые волосы её так пышно струились волнами вокруг лица, грим прекрасно ложился на загорелую кожу, придавая лицу законченность; за эти две недели она, оказывается, похудела—с чего бы это?—и фигурка её теперь не лишена точёности, так что любая одёжка её только красит, а на загорелых и оттого приобретших более чёткие формы ножках так прекрасно сидят подружкины белые туфельки на тончайших высоких каблучках. Она просто ощущала исходящее от неё электрическое напряжение и чувствовала себя готовой жечься и выплёскивать протуберанцы. «О-ох, что-то сегодня будет!—с некоторым даже страхом, так что у неё дыхание захватывало, предощущала она.—Ох, что-то я сегодня, чует сердце, натворю!..»

А вышло-то всё совсем не так, как ожидала.

Ровно в семь, рассыпая по асфальту сухую дробь каблуков, небрежно помахивая сумочкой, с высоко поднятой головой, подчёркнуто независимая, подгребла она к ресторану и ахнула: на крыльце стоит, переминаясь, с букетом великолепных роз в руках, предназначенных—сразу угадала!—именно ей, с доброй и одновременно виноватой, просто обезоруживающей улыбкой, из-за которой невозможно на него сердиться, чисто

выбритый, помолодевший, разодетый в пух и прах, весь подтянутый и сияющий — прямо неземной какой-то! — в светлом элегантном костюме, в белоснежной сорочке с алым галстуком, не кто иной, как Бак Свенсон! И первое, что он сделал, когда она поднялась на крыльцо и хотела уже с разбегу броситься ему на шею, — низко наклонился и поцеловал ей руку! Ей, Маше Куделиной, с которой не каждый соизволяет едва поздороваться через губу, седовласый, весьма известный, между прочим, в мировых учёных кругах, как ей самой теперь доподлинно известно, американский профессор, склонясь в нижайшем поклоне, поцеловал руку!

Целовали руку ей впервые и впервые дарили такие вот роскошные розы, так что от одного этого она вспыхнула вся и пришла в смятение — даже голова закружилась. Господи, да чего ещё в жизни надо, кроме как стоять на высоком крыльце на виду у всего города с букетом шикарных роз и чтоб такой вот весь из себя элегантный иностранец, профессор из заоблачного учёного мира, целовал тебе руку и говорил что-то страшно вежливое и доброе, так что у неё слёзы от волнения навернулись, делая её глаза ещё зеленей, крупней и ярче?

В ещё большее смятение она пришла, когда до неё дошёл смысл его слов, ибо он сначала сказал что-то ужасно лестное относительно её сегодняшнего вида и вкуса, с которым она одета, — ай да Бак, что это с ним? какая муха его укусила? — а он, очень сожалея, что они вчера так нелепо расстались, что он хватился её через пять минут, кинулся искать под дождём и не нашёл, — продолжал говорить уже о том, что соскучился по ней за эти сутки, будто не видел целую вечность, — Господи, да она сама чувствует, как успела за ночь соскучиться по доброму взгляду его глаз, по его улыбке, его рукам, — а он уже рассказывает о том, как потребовал от господина Скворцова — да-да, «вплоть до бойкота банкета!», — чтобы тот непременно разыскал её и пригласил. Так вот, оказывается, где секрет внимания к ней нашего мэтра!.. Она готова была сама с благодарностью целовать руки этого милого, чуть-чуть старомодного, такого непривычного для неё сегодня с его галантностью человека; сердце её победно стучало, а сама она готова была разрыдаться от счастья; единственное, кажется, что её удерживало, — страх, что поплывёт грим и всё-всё сразу и навсегда испортит.

Потом Бак повёл её в зал, где у окна за большим столом на шесть персон уже сидели Майк, Стив и Мэгги, все празднично одетые, немного чопорные, торжественные, вежливо-галантные, пряча всё это за ослепительными улыбками, и все приветливы по отношению к Маше, а Мэгги ещё талдычит о каком-то сюрпризе, делая из этого тайну; и Скворцов тут же — только, хлопоча, всё бегает по проходу и даёт пояснения женщине-официантке, которой, кажется, успел надоесть своим усердием; а на столе уже закуски и вина; Бак отодвигает для Маши стул, усаживает её и сам садится рядом и внимательно ухаживает за ней. И Скворцов, наконец, усаживается, и они все начинают пить вино и закусывать, и Скворцов провозглашает тосты, торжественные и многословные, по поводу плодотворно проведённого времени, и за будущее сотрудничество, и ещё много-много раз за что-то, и она всё это переводит, а американцы пошучивают и смеются, уже непринуждённо, пытаясь сбить с Дмитрия Ивановича подобающую обстоятельствам чопорность, и она сама включается в эту словесную игру — прямо как равная с равными! А Бак рядом с нею всё время подчеркнуто предупредителен, и всё внимание — только ей, ей одной; он, сама учтивость, весь для неё новый какой-то, непривычный, так что даже ставит в тупик: зачем он так? — она не привыкла, она уже боится, что сделает что-то не так и не то скажет, начинает уставать от напряжения и смотрит ему в глаза, умоляя взглядом: Бак, милый, освободи меня от этого, будь как прежде; если прощаешься, так уж будь мужчиной, не тяни жилы, скажи, что хочешь сказать, и дело с концом, — переживём! — и натыкается на его по-прежнему добрый и в то же время вопрошающий о чём-то взгляд, а о чём — понять она никак не может, только окунается в него и утопает, однако от беспокойства не освобождается.

Потом он приглашает её танцевать и танцует только с ней, с ней одной! Он не очень-то хорошо и танцует, и она незаметно сама его направляет, а он чутко слушается.

— Ты прекрасный партнёр! — улыбаясь, ободряет она его.

И тут… Тут он говорит ей такое, что она останавливается среди танца, опускает руки и изумлённо смотрит, подняв на него глаза: не слишком ли он пьян, не оговорился ли, не ошибся ли адресом? — он предлагает ей выйти за него замуж!

Повторите, пожалуйста, мистер Свенсон, что вы сказали; вы что-то сказали, а я задумалась и не расслышала — я почему-то как раз вспомнила экспедицию, ночь, костёр, и как я неожиданно подошла к тебе, и ты меня обнял, а я запела и обняла тебя сама, и как необычайно хорошо мне было в тот миг, а фейерверк наших с тобой ночей был ещё впереди… Но очень даже членораздельно ей было повторено: он не спал всю ночь и о многом-многом передумал, но все круги его мыслей роковым образом возвращались к ней, и он понял, наконец, что уже не сможет без неё, а потому, хоть и не в совсем трезвом состоянии, но вполне обдуманно предлагает ей быть его женой.

Ей бы, дурочке, радоваться, ликовать: она победила этого чужеземца, преодолела его осмотрительный твердокаменный характер, она сразила его и повергла к стопам! Но почему она не радуется, не торжествует? Почему ей вдруг стало так

грустно, что опять захотелось плакать? Вот те раз: готовилась жечься и сражать наповал, а у самой глаза на мокром месте!

Да потому, наверное, что давно переросла она эти невинные радости и слишком научилась быть осторожной—столько обжигалась, столько бита жизнью, столько раз учили: не верь никому—разочаруют, облапошат, обведут вокруг пальца, потому что все вокруг или подлецы, пошляки и проходимцы—или никчёмные, безвольные, слабохарактерные болтуны и краснобаи, ничего-то им не стоит подурачить и обмануть. А тут вообще фантастика! Красивая фантастика—но вне всяких пределов.

Она не могла больше ни танцевать, ни даже находиться в этом зале, битком набитом людьми, столами, посудой, говором, музыкой, запахами резких духов, обильной пищи; ничего не объясняя, она повернулась и быстро пошла по проходу вон. Ей, честно говоря, хотелось малодушно сбежать, выбраться из этого странного положения, в которое она попала из-за своей вечной простоты и доверчивости… Бак, ничего не понимая, догнал её и растерянно пошёл сзади… Миновали входную дверь, охраняемую внушительным, как генерал, стариком-швейцаром, и вышли на свежий воздух.

Было, наверное, уже около десяти вечера; солнце зашло, оставив после себя тёплые светлые сумерки.

Маша оглянулась, увидела растерянного Бака, неотступно следующего за ней; сжалившись, она взяла его под руку и попросила провести её в сквер напротив, через дорогу,—там, в зелени среди подстриженных кустов, прятались скамьи и было малолюдно. Они прошли туда и сели.

— Что с тобой? Тебя чем-то огорчило моё предложение?—спросил он, ничего не понимая.—Прости меня, я, наверное, слишком самонадеян: я ведь немолод и скучен, а ты так молода…

— Ах, да не в этом дело!—перебила она его.—Зачем тебе это, Бак? Ну и придумал—ляпнуть такое… Ты просто пьян!

— Нет, Маша,—покачал он головой.—Для меня это серьёзно, и я не могу позволить себе…

— Но почему именно я?

— Потому что, мне кажется, ты, как и я, одинока,—продолжал он серьёзно и мучительно.—Только, может, ты связана с кем-то словом? Я угадал?

— Нет, нет!—возбуждённо выкрикнула она.—Обними меня, пожалуйста!—и когда он осторожно обнял её, спросила:—Признайся, ты пошутил? Ты решил компенсировать мне сколько-то приятных минут, что я дала тебе там?

— Что ты говоришь?! Разве я в твоих глазах болтун?—спросил он.—Я действительно не могу без тебя—я это понял сегодня. Мне хотелось бы, чтоб ты всегда была рядом. Ночью я не могу без тебя уснуть, а днём не могу успокоиться, пока не узнаю, где ты и что с тобой. Я, повторяю, уже немолод…

Она закрыла его рот ладонью и тихо попросила:

— Не надо об этом, пожалуйста! Я уже говорила тебе, что человеку столько лет, сколько он сам чувствует, так что я уже почти старушка и если могу вот так, как сегодня, тряхнуть стариной—это видимость,—улыбнулась, наконец, она.—А ты—такой сильный, такой энергичный, ты—просто молодец!.. Но ведь ты завтра улетаешь? На этом наша женитьба и кончится?

— Нет-нет, как только я прилечу—сразу начну оформлять приглашение для тебя. Если ты согласна… Но я должен сказать… Хочу предупредить: я женат, у меня взрослые дети.

— Я так и знала,—проговорила она, и взгляд её стал безучастным.

— Но я уже два года живу в фактическом разводе! Мне нужно всего лишь оформить его. Это судебный процесс, а он занимает у нас много времени…

— Но почему обязательно что-то разрушать? Я не хочу ничего разрушать!—она сидела с выражением разочарования на лице.

— Маша, милая!—он порывисто взял её руку и поднёс к губам.—Я приложу все силы, я сделаю всё как можно быстрее!

Она неопределённо пожала плечами, не зная, как быть и что ответить.

— Зачем я тебе? У тебя ведь есть Прекрасная Дама—Археология, и вы,—усмехнувшись, она шутливо тронула его пальчиком за нос,—так нежно любите друг друга. Мне ты предназначаешь место второй любовницы?.. Не торопись, милый,—подумай хорошо. Приедешь домой, окунёшься в свою среду, отдохнёшь, впряжёшься в лямку—и всё станет на место: появится и сон, и покой, а я отодвинусь в сторонку и превращусь в ма-аленькую точечку в твоей памяти. Мне ужасно приятно, Бак, что ты мне предложил, но это нереально. Ты подумай. Поезжай домой и там спокойно подумай.

— Нет, Маша, нет! Ещё совсем недавно я так и думал: зачем мне женщина? С физиологией покончено: у меня есть моя работа, моё дело, и довольно. Но ты сама виновата! Ты меня разбудила, я проснулся и безмерно благодарен тебе за это! Я небогат, Маша, Майк и Стив против меня—богачи. Но я думаю, что…

Ей про его богатство было неинтересно, и она сразу перебила:

— Скажи, Бак, честно: а с Мэгги у тебя что-нибудь было?

— С Мэгги?—удивлённо переспросил он, обескураженный её вопросом, медленно собираясь с мыслями, из чего Маша сделала твёрдый вывод: было!—Честное слово,—ответил между тем он,—ничего никогда не было.

— А что же она хмурилась, как только видела нас вместе?

— Я не знаю. Это её проблемы.

— Она замужем?

— Тоже не знаю,— он растерянно улыбнулся.— У нас не принято интересоваться чужой частной жизнью, если человек не хочет рассказать сам. О Майке и Стиве я знаю только потому, что они мои друзья… И потом, Маша, если ты будешь со мной, тебе придётся научиться верить мне на слово, когда я говорю. У нас так принято… Я, повторяю, небогат, но у меня есть профессия, есть дом. Тебе не будет хуже, чем здесь.

Она чуть не поперхнулась: «Это уж точно — не будет!..»

— Но у меня есть сын — я тебе говорила.

— В моём доме найдётся место и для него. Я готов его усыновить, и он будет нашим с тобой сыном. Думаю, мы поладим.

Она ясно представила себе замкнутого, как волчонок, сына в чужой стране… А если у неё с Баком не сладится? Если с ним что-нибудь случится?.. В её мозгу мгновенно выстроилась цепочка вопросов, и ей стало страшно за сына; потом она вспомнила родителей: как же они без неё, и как она — без них? А комната? А работа? А подруги? Всё — в тартарары?.. Господи, сколько всего отрывать от сердца, бросать посреди дороги!.. А ведь мечталось в минуты отчаяния: бежать без оглядки, только бы кто пальцем поманил! Кому они здесь с сыном нужны? Так ведь вот оно, свалилось: не просто манят — упрашивают!.. Бог ли, лукавый ли услышал?

— Бак, миленький, можно, я подумаю?

— Да, разумеется! — Бак, с напряжением ожидавший её реакции, слегка, кажется, воспрянул духом: раз соглашается подумать — значит, дело небезнадёжно.— Только,— спохватился он,— сколько времени ты будешь думать? Русские любят думать долго,— он виновато улыбнулся, боясь её обидеть.— Я хотел бы получить ответ здесь, чтобы мы ещё успели обсудить детали.

— Я постараюсь, Бак,— сказала она, уже чувствуя его мягкий напор.— А скажи, твои друзья намекали на какой-то сюрприз — это он и есть?

— Нет! — рассмеялся тот.— Просто у нас для тебя скромные подарки — они передали их мне, потому что знают, что я собирался тебя найти.

— Правда? — она порывисто обняла его и расцеловала; с души свалился камень: она думала о них хуже.— Какие вы молодцы!

— Да, мои товарищи — неплохие люди,— скромно подтвердил он.— Хорошо бы нам с тобой прямо сейчас объявить им…

Странно, что ему так не терпится объявить! Какое-то между ними недоразумение?..

— Бак, милый, не надо меня торопить! — попросила она.— Потерпи, а?

— Хорошо,— согласился он.— Но, может, мы с тобой поднимется ко мне? Я закажу в номер ужин. Мне так хочется сегодня быть с тобой!

А может, в этом вся разгадка?.. То ли ей не хотелось идти ни в какое помещение, то ли решила на деле проверить силу своей власти над ним — только она отказалась идти и в номер, и за столик, а предложила ему погулять: неужели ему неинтересно пройтись и посмотреть на её город?

Он согласился. Она попросила его только сходить за сумочкой, которую оставила в ресторане, и он ушёл, а она ждала и волновалась: вернётся — не вернётся? Вдруг всё, что с нею происходит,— мираж, игра её воображения? Или его там отговорят от необдуманного шага?.. Вот сейчас, сию минуту всё решится! Она со всё ускоряющимся биением сердца не спускала глаз с входной двери. Загадала желание: быстро вернётся — она согласна!

И вот он вышел, трогательно неся в руке её сумочку — как хрупкую драгоценность. Она с облегчением выдохнула и улыбнулась. Вскочила со скамьи и крикнула, помахав рукой:

— Ба-ак, я здесь!

И всё же она не торопилась, она оттягивала время — чтобы побыть ещё в сладостной неопределённости. Или, может, подразнить его, помучить неизвестностью — уже имея над ним маленькую власть. И как только он подошёл — эх, пропадай на асфальте бальные подружкины туфельки, что уж теперь! — подхватила его под руку и повела, еле сдерживая себя: хотелось бежать вприпрыжку и петь от радости.

Шли по главной улице, ещё людной в сумерках, и она показывала ему: вот они, её святыни, её молельные храмы — это вот театр, это концертный, это выставочный зал, вот сюда, в музей, они ходят иногда с сыном… А вот — посмотри! — просто красивый старинный дом — она мечтала пожить в таком… Он рассеянно кивал, а думал о чём-то другом; опять, небось, о своей Прекрасной Даме?.. Или на этот раз о том, как лучше устроить дела с Машей? Ладно, думай, Бак, думай… А по ней, так уж лучше бы говорил глупости и дурачился… Она внимательно следила за выражением его лица, и когда он ловил её взгляд, улыбалась ему, и он улыбался.

Свернули в парк; вдоль главной аллеи били высоко вверх подсвеченные снизу струи фонтанов, рассыпаясь вверху и падая вниз цветными сверкающими гроздьями брызг, наполняя воздух шелестом, плеском и лёгким сырым туманом… Везде людно — не присесть; за деревьями на танцплощадке ревёт музыка, из распахнутых дверей ресторанчика неподалёку густо несёт жареным мясом; но стеклянный блеск висящих в воздухе и рассыпающихся водяных струй, их плеск, шелест и лёгкий туман приглушают грубые запахи и звуки.

— Красивые фонтаны,— отметил Бак, и Маша порадовалась его скупой похвале: хоть что-то западёт в его непробиваемое сердце от её города, хоть какое-то живое воспоминание увезёт он с собой за край света!

По главной алее вышли на берег реки, на высокий, пологий его откос с ухоженной зелёной травкой, с купами рябин и сиреней среди травы; вдоль откоса шла дорожка и стояли массивные скамьи со спинками; здесь, на задворках парка, было тихо: люди предпочитали толпиться ближе к шуму, свету, еде.

Небо ещё оставалось светлым, но широкая река меж тёмных, поросших деревьями островов уже потонула в густых сумерках, вся иссечённая дрожащими световыми дорожками от фонарей на том берегу, на мостах, от прожекторов на далёких причалах. Город, насколько хватало взгляда, сиял и переливался ожерельем огней, окаймляющих тёмную воду. Далеко за городом, на том берегу, скорее угадывались, чем виднелись, высокие холмы.

— Тебе нравится здесь?—спросила она; сама она обожала это место и любила сюда приходить, когда ей плохо; просто, наверное, некуда было больше деться; ощущение простора снимало с её души часть тяжести и даже лечило: какая-то музыка начинала звучать в ней от этого ощущения.

Именно сюда, в это любимое место, ей и хотелось завлечь Бака, показать ему его—или, наоборот, показать его самого её реке, её холмам и всему городу сразу.

— Да, красивый вид,—согласился Бак настолько, кажется, искренне, что даже не смог на этот раз сравнить его ни с Кенией, ни с Аляской; он крепко при этом обнял Машу, и она зябко прижалась к нему.

— Я рада, что тебе хоть что-то понравилось в моём городе,—сказала она.—Пойдём сядем,—она потащила его к ближайшей пустой скамье, стоявшей лицом к реке.—Я хочу тебе что-то сказать.

— И что же ты хочешь сказать?—спросил он, когда они сели.

— Бак!—вкрадчиво произнесла она.—Я хочу тебе сказать, что я тебя люблю! Я подумала, Бак, и я согласна. Согласна! Стать! Твоей! Женой!—теперь уже громко выкрикнула она каждое слово в темноту пространства.

— Правда?—он вскочил, легко, как ребёнка, подхватил её на руки и закружился с нею.

— Ой, Бак, уронишь!—взвизгнула она и вцепилась в его шею, прижимаясь и чувствуя, как он ощущает её руками, грудью, щекой и задыхается от волнения: настоящего ли, или чуть-чуть утрированного—какая разница?—Оставь, не надо, не надрывайся! Тебе ещё так много предстоит тратить сил!

Он расхохотался:

— Ты не представляешь, сколько сил ты мне прибавила!

— Да, я согласна, согласна, согласна!—продолжала она, одной рукой держась за его шею, другой вороша ему волосы и одновременно целуя в губы, глаза и щёки, ощущая себя шаловливой девочкой в его больших и сильных руках, пока он её кружил.—И свидетелями моего согласия пусть будет эта ночь, эта река и весь мой город!—восклицала она, чувствуя себя словно на сцене, где они с Баком вдохновенно во что-то играют.

Но вот они снова сели; она забралась ему на колени, обняв за шею, он обнял её, и она никак не могла понять: или они, двое взрослых, потрёпанных жизнью людей, играют в юную любовь—или на самом деле любят друг друга горячо, страстно и нежно, ничего не растеряв и не растратив?

Она уже верила, что это не сон и не игра, и, вверяя себя ему, ещё крепче обнимала его и ещё порывистее целовала, прижимаясь к его щеке, вся дрожа непонятно отчего—от нервного ли возбуждения, или от нарастающей ночной прохлады, и он, возбуждаясь от мощного потока её чувств, по-юному крепко прижимал её к себе и грел, расстегнув свой элегантный пиджак и запахнув в его полы её, и они порывисто говорили, не успевая закончить фраз и перебивая один другого, о том, как они любят друг друга и ещё будут любить, и ничего-то у них сейчас, кроме них самих, не было—ни детей, ни друзей,—они остались одни; их скамья уносила их с земли в небеса, и, уносясь, они сливались в один плазменный сгусток нежности. Маша, теряя голову, даже уже не ворковала—каждое её слово теперь выходило слабым от нежности стоном: люби меня, Бак, люби, милый, добрый мой, мой светлый ангел, лучик мой солнечный, чудо моё нежданное, я хочу любить тебя всегда-всегда, я так устала от одиночества, без любви, без опоры, мне так холодно одной, я буду твоей тенью, твоей вещью, твоей собакой, ты можешь меня побить, если буду плохо себя вести, я только крепче тебя полюблю и исцелую твои руки, я твоя верная раба, Бак, я хочу быть маленькой, как Дюймовочка, чтоб ты носил меня с собой в кармане, вот здесь, возле сердца, Бак, я хочу быть мягкой травкой, цветущим лугом для тебя, чтобы ты падал на меня и мял, чтоб тебе было хорошо, чтобы, когда устанешь, ты отдыхал со мной, надо мной, подо мной, чтобы, когда ты со мной, для тебя всегда была весна и лето, чтобы в тебе всё цвело и пело и чтобы никогда, милый Бак, не было у тебя холодной зимы и дождливой осени… Её несло, словно половодьем, она сама не понимала, что с ней, откуда в ней эта уйма нерастраченных слов: нету Маши—одна сплошная нежность; каждая клеточка её оттаявшего тела готова прильнуть к этому громоздкому мужчине, объять его и утопить в море этих слабых стонов, в ласках, в добрых словах, и не было ни у неё, ни, наверное, и у него тоже до сего времени часа счастливее—часа ли, мига, или вечности, сжавшейся до мига?..

Вот что такое, мистер Свенсон, настоящая-то нежность!.. А вы, ребята, что жили с ней до этого, спали с нею и лениво тискали,—вы и не

подозреваете, что в этой маленькой незаметной женщине может бушевать пламя разбуженной любви, которое осветит, и обогреет, и одарит силой, что там, в этой тёмной душевной глубине, может скрадываться атомный реактор, полный энергии, когда она любит… Проспали, проглядели, прохлопали, ребята!..

Потом она спохватилась, что уже поздно и ни души кругом, и, боясь,—нет, не за себя, а за него!—потащила его туда, где ещё есть люди. Он намекнул, что хотел бы, чтоб она пригласила его к себе,—ему, видите ли, захотелось чуточку домашнего уюта!—но куда ж его было тащить в свою дыру со скрипучей диван-кроватью, с перевязанным верёвочкой креслом, не говоря уж о треснувшем унитазе и вечно текущей раковине! Она невнятно объяснила, что живёт слишком далеко, сейчас туда уже не доехать, и они отправились в гостиницу.

Однако прежде чем они добрались до его номера, их ещё ждал неприятный инцидент. Дремавшая в своём полукресле за столиком дежурная по этажу бдительно встрепенулась, когда они проходили мимо, бесцеремонно оглядела Машу, пытавшуюся спрятаться за Бака, и строго сказала:

— Девушка! Я вас не пущу—гостям так поздно нельзя!

Маша втянула голову в плечи и остановилась.

— Что она сказала?—спросил обеспокоенный Бак.

Маша объяснила, и Бак с побагровевшим от гнева лицом стал выговаривать женщине: кому какое дело, кого и когда он ведёт в гости?—ведь он заплатил, стало быть, номером распоряжается только он, и никто—слышите?—никто не имеет права совать нос в его личную жизнь и диктовать условия, что ему там делать, кого и когда приглашать!—так что и без перевода было ясно, о чём это он; тем не менее дежурная безапелляционно и, быть может, даже издевательски, потому что глаза её при этом торжествующе улыбались, заявила:

— Ничего не знаю! Есть распорядок!

Маша попыталась урезонить его:

— Бак, миленький, не надо скандала, я уйду, я доберусь до дома, а завтра приеду пораньше!

Разъярённый Бак сначала слышать ничего не хотел, но потом вдруг, по одному лишь выражению лица этой ревнительницы его нравственности, понял, наконец,—или вспомнил?—что тут нужны иные доводы, извлёк бумажник, достал десятидолларовую бумажку и положил на столик, и дежурная сию минуту преобразилась: приторно улыбаясь, подняла на Бака теперь уже благодарный взгляд и сказала, что она только-только заступила и совсем не знала, что он иностранец («Врёт!»—убеждённо подумала Маша), но есть, видите ли, распорядок, а ей-то какая разница—надо, чтобы людям хорошо было… А Маше стало нестерпимо стыдно—и оттого, что её приняли за проститутку, и от омерзительного пресмыкания этой её соплеменницы перед чужой бумажкой; но мучительней всего—она даже покраснела—было от сознания: зачем она сама прётся сюда? зачем согласилась на это эфемерное супружество? И не сидит ли в ней самой бес жадности и расчёта?..

И всё же она пошла с ним, не в силах отказаться, в его номер, и разделась там, и с брезгливостью легла в гостиничную постель, и принимала его жёсткие неумелые ласки, и сама с не очень искренним теперь воркованием, не в силах войти в роль, ласкала его, такого угловатого, заторможенного, и было ей в ту ночь у него в номере неуютно, холодно и гадко, гадко, гадко.

Зато утром, пока она лежала в дремоте, не в силах поднять голову, он, такой хлопотливый, чувствуя Машин минор, сбегал, купил, и принёс, и поставил в стеклянный кувшин на столе большой букет огненных гвоздик, притащил из буфета пакет бутербродов с осетриной и балыком, коробку конфет, яблоки, апельсины, напитки—и она, проснувшись и увидев всё это, вместо того, чтоб радоваться, чуть не расплакалась от умиления и счастья. Господи, да что это у неё за плаксивая полоса такая—как у оттаявшей берёзы?!

Они завтракали и говорили, она—о переполняющей её нежности к нему и о совершенно новом, проснувшемся в ней чувстве: будто у неё совсем не стало кожи—до такого блаженства ей приятны его прикосновения, когда она с ним, и так болезненны прикосновения всего чужого и грубого; он слушал её, улыбался и, в свою очередь, загибая один за другим пальцы, говорил о том, что́ ей обязательно нужно успеть сделать до того, как он пришлёт приглашение.

Потом он пошёл сообщить своим друзьям о помолвке. И вот уже все—Майк, Стив, Мэгги—пришли поздравить их, подчёркнуто доброжелательные и улыбчивые. Немало удивив Машу своей бережливостью и вниманием, они принесли розы, которые Бак вчера вручил ей,—тщательно сохранив до этого часа!—и их подарки для Маши: красивую, модную, её, Машиного, размера, стального цвета блузку, большую коробку шоколадных конфет, изящную сувенирную записную книжку с лаковой миниатюрой на обложке; но самое прекрасное, что среди этих подарков она обнаружила—коробочку с *обалденными* французскими духами! Уж в них-то, будьте уверены, толк Маша знала—но как, интересно, узнали они, что это именно её духи? Верно, не без Мэгги обошлось? Господи, какие же они молодцы!.. Но более всего удивляло и трогало её отношение к ней Мэгги; все две недели Маша с тайным страхом ожидала от неё подвоха… Мэггино добросердечие казалось ей хитростью, тактической уловкой, и теперь она была обескуражена: неужели эта Мэгги и в самом деле *простая*?..

Потом—до отъезда их оставалось всего четыре часа—они с Баком прошли по близлежащим магазинам; Бак высмотрел в ювелирном магазине и подарил ей очень милый гарнитурчик: золотой перстенёк и серёжки—все с «Машиным» камнем, зелёным александритом, за которые выложил уйму денег, да ещё тёплый, рельефной вязки пушистый пуловер, а Машиному Серёжке—яркую мальчишескую курточку, джинсы и большой игрушечный пистолет; а Маша подарила Баку—просто удивительно, что прихватила с собой вчера все деньги, что были, будто чуяло сердце, что понадобятся,—скромные милые запонки из черненого серебра с охряными медово-тёпленькими янтарями.

А потом в гостиницу прибыл Дмитрий Иванович. Он раздобыл сверкающую чёрную «Волгу». Сам он не поехал—в машине просто уже не хватало места; помочь же гостям в аэропорту наказано было шофёру.

Однако Маша упросилась втиснуться в машину четвёртой и поехать с ними; заартачившемуся было шофёру дали понять, что нарушение им правил вождения будет вознаграждено, и тот умолк.

Маша, давшая себе зарок держаться перед Баковыми друзьями с достоинством, в аэропорту, целуя Бака перед выходом на посадку, не выдержала: представив себя без него опять одинокой и заброшенной, залилась слезами и—совсем уж ни в какие ворота!—душераздирающе, по-бабьи запричитала:
—Возьми меня, Бак, с собой, забери, не хочу я без тебя, не могу уже, Бак, миленький, я с тобой быть хочу! Ба-а-ак!..

Он, чувствуя крайнее смущение, неуклюже обнимал её и, грустно улыбаясь, пытался успокоить:
—Да, да, скоро уже, потерпи немного!..

И друзья его готовы были биться об заклад, что у него самого подозрительно влажно блестели глаза; ай да женщина эта Маша—раскачала-таки их сурового Бака на вполне основательные чувства, так что его проняло сентиментальной скупой слезой! Вот разговору-то будет—на всю Америку!

9.

Надо было ехать к родителям, к сыну, отпуск уходил, а она двое суток после проводов Бака безвылазно сидела дома. И хоть не просто сидела, а занялась домашними делами, спохватившись, что изрядно их запустила,—однако голова её была занята другим: снова и снова переживала она происшедшее, восстанавливая в памяти каждую фразу, каждое слово, сказанное Баком, жест, улыбку, взгляд, паузу молчания, ничего из этого не упуская, всё перебрав и оценив. И с какой стороны ни бралась осмыслить случившееся, эта скоропалительная помолвка с каждым днём всё более казалась ей сном. Или, на худой конец, спектаклем: выбрали себе роли, разыграли, сымпровизировали, чтоб жизнь не такой скучной казалась,—и ведь хорошо сыграли, слаженно, все остались довольны. Но сыграли—и по домам: дальше у каждого—своя жизнь.

Однако доставала коробочку с синим бархатом внутри, в котором так тепло и уютно посверкивало солнечным блеском ажурное золото перстенька и серёжек с александритом, вынимала их и, держа в ладони, всматривалась до ощущения плотоядной сытости в прозрачные гранёные камешки, спокойный изумрудно-зелёный цвет которых вечером превращался в пурпурно-красный, дразнящий, глубокого винного цвета огонь, и эта таинственная перемена цвета будила воспоминания о жаркой степи, пахучих травах, о полыхающих в полнеба закатах, об их с Баком ночках—ночной этот огненный цвет камешков заставлял чаще дышать и сильнее биться сердце: было ведь, всё было!.. Но этот же изменчивый, словно красные фонарики уходящего в ночь поезда, огонь рождал в ней и сомнения: а что, если он откупился камешками?—носи, Маша, да вспоминай иногда... Как его теперь достанешь через океан, как заглянешь в глаза? Ой, далеко-о... Женишок на мою голову!..

Потом вспоминала его сухие ладони с длинными пальцами, его улыбчивые глаза с паутинкой морщинок вокруг, всегда почему-то виноватые—или то всего лишь гримаса доброты? Так, наверное, мужчины смотрят на детей, чтобы не слишком пугать их своей суровостью. Хотелось выть по-звериному от тоски. Вспоминала его монотонный, без интонации, голос: «Ты меня околдовала: я всё время ощущаю пустоту без тебя, особенно ночью; от тебя исходит удивительный, успокаивающий магнетизм. Я бы смог заставить себя обойтись без тебя—но зачем?..» И думала: да, зачем? Конечно, она ему нужна, как собака или кошка под рукой,—снимать эмоциональную *отрицалку* своими касаниями... Голова шла кругом, и ныло от этих сомнений сердце.

На третий день не выдержала—созвала на «малый девишник» подруг, каких смогла отловить по телефону посреди лета. Выставила пару фуфырей вина, намолола кофе, собственноручно тортик сварганила.
—Чо у тебя, мать, за событие?—вопрошали подруги, вваливаясь по одной, шмякая на пол сумки, с облегчением стряхивая с отёкших ног туфли и босоножки, шлёпая дальше босиком и устало плюхаясь на диван.

Все они, вполне владея добротной и бесцветной интеллигентной речью, и на работе, и в семьях своих умели произносить не сибирское простонародное «чо», а вполне литературное «что», и только между собой позволяли себе пофасонить на языке, прихваченном из детства, из деревень и городишек, переняв его у мужиков, баб, древних старух и собственных родителей; щеголять им

считалось и шиком, и отдыхом одновременно — всё равно что дышать после загаженного городского воздуха воздухом клеверных и клубничных полян.

Взглянув на Машу, они находили, что она изменилась, а всмотревшись повъедливей, сделали коллективный вывод:

— Да она у нас, девки, похорошела!

И черты-то лица утончились, и бесенята в глазёнках забегали, и какая-то не то загадочность, не то одухотворённость появилась, и вся она, с одной стороны, вроде бы подтянулась и постройнела, а с другой — как будто и расцвела: не Маша, а прямо-таки маков цвет! Заподозрили: никак влюбилась? А Маша только глазками повела и помалкивала до поры.

Когда же собрались, наконец, за столом, утолили первую жажду выговориться и клюкнули по первой — тут-то она и *разродилась*…

Вообще-то она намеревалась выдать им всё на полутонах, *без грязи:* посоветоваться, обсудить с ними своё положение да послушать их — *обща*-то всё всегда легче. И подруги, предчувствовавшие, что Марья приготовила им на десерт рассказ об очередном пикантном приключении, — знали же, что работала с американцами в экспедиции и, конечно, привезла воз впечатлений — и готовые к неспешному перевариванию их уставшими за день мозгами, так и разинули *коробочки*, когда она их огорошила:

— Я чо сказать-то хотела? Похоже, девки, скоро в Америку свалю!

Прямо так и брякнула, хоть и сама верила в это половина на середину, но — чтобы уж сразу перевалить ношу на подруг, а самой вздохнуть облегчённо: устала носить одна. А ошеломлённые подруги сподобились пока только на восклицания:

— Ой, Машка!.. Ну, ты даё-ёшь!.. Правда, что ли?

— Ей-богу, позвал один, — кивнула Маша. — Лопнуть на месте, если вру.

Когда первое ошеломление прошло, потребовали деталей:

— Не темни — давай всё по порядку!

— Ладно, будет по порядку, — согласилась Маша, перестав тянуть из подруг жилы. — Сразу *докладаю:* мужиков американских было три и одна ихняя баба. Баба, как выяснилось, ничего, без выпендрёжу, за две недели — можете себе представить? — ни разу не вызверилась, хотя и не медово ей там было. Я сама — каюсь вот, как перед Богом! — не выдержала, кинула в неё пару камушков — проверить на слабину… А мужики эти американские поначалу показались мне шибко невзрачными: пожилые, во-первых, и видом — ни кожи, ни рожи! Жара, пыль, провоняли они там дезодорантами; по мне, лучше уж пусть мужик по́том воняет — всё живой, человечий дух… Ну да не об этом речь. Один там был черноглазенький такой толстячок, просто лапочка; чуть глаза не вывихнул, на меня глядючи. Но — многодетный, девки; это меня, как хотите, тормозит: тут надо про любовь, а он мне про своих деток будет?.. Второй там, девки, был писатель. Настоящий миллионер и холостой, между прочим. Так он, писатель этот, что вытворял: как подопьёт — всё руку мне под юбку намеревался запустить; такой охальный старичок! Но — полный отказ с моей стороны: там просто смотреть не на что, труха, и миллионов не надо. Хотя сподобилась, девоньки, быть потисканной живым американским миллионером, тоже есть что вспомнить… Ну вот, значит. А третий… Вот третий-то, — с долгим вздохом продолжала она свой отчёт, — самый что ни на есть бич бичом: тощий, занюханный и весь в рванине, за которую наши барыги и полушки не дадут, — но профессор, между прочим! — так вот этот, девки, и стал моим суженым… — Маша перевела дыхание и вгляделась в замерших подруг, проверяя впечатление от рассказа. — Правда, рост там хороший, — добавила она. — С детства о такого роста мужчине мечтала.

— Дальше, дальше! — нетерпеливо подгоняли они.

— Вам прямо всё сразу и выложи!.. Ну, дальше — известное дело. Он меня трахнул, ему это занятие приглянулось, и я ему его широко предоставила. Свободно причём, без всяких условий, без выкрутас, простенько, по-провинциальному. Но обставлено, считаю, всё было разнообразно, с фантазией: и при звёздах, и при луне, и при ясном солнышке. И веночки себе и ему на головы плела, себя нимфой, его этаким богом лесов и полей изображала, и русалкой-то в омуте ночью плавала, его зазывала. Жутко ночью в омут лезть, а надо антураж поддержать. Он же задвинутый на своей работе, ничего такого, похоже, и не знал никогда — как-то одушевить ему это дело, любовь эту, хотелось, интерес придать, этакого, знаете, сибирского колориту подпустить. Иногда ему, правда, казалось, что шибко у нас все как-то антисанитарно, но я ему втолковать сумела, что это просто наша русская специфика такая… А теперь вот он меня, значит, замуж зовёт. Ей-богу. Подарков надарил! — она поднялась и достала все его подарки ей и сыну: коробочку с ювелирным гарнитурчиком, пушистый пуловер, Серёжины курточку и джинсы, даже пистолет игрушечный.

Подруги выпали, наконец, из оцепенения и обрели дар слова.

— Ой, Машка-а! Ну и ловка — такое провернуть, при твоих-то данных! Ай да тихоня наша! — со смесью зависти и вполне искреннего восхищения ею восклицали они, рассматривая и рвя из рук гарнитурчик.

— Просто не знаю, что и делать, — продолжала между тем исповедоваться Маша. — Не могу, говорит, без тебя… А знаете, зачем я ему? Ему со мной спится крепко, очень тепло ему рядом со мной. Печку из себя изображать, выходит, надо… Но

чо-то потащило меня, девки, как хотите, на тихое семейное счастье, пусть даже и печкой — прямо сама над собой ржу. И вот не знаю…

Итак, вопрос на повестку дня поставлен. Предлагалось обсуждение и выработка мнений.

— Что, сильно старый? — начались вопросы к докладчице.

— Да не сильно. Но потёртый изрядно.

— Женат?

— Женат, конечно. Развестись хочет. Дети взрослые. Говорит, два года уже с бабой *евонной* не живёт.

— Ох, сомнительно, — усмехнулась одна. — У них мораль строгая.

— А по-моему, интеллигент — он везде интеллигент: корёжит бедного совесть — а свежей ягодки ему подай, — возразила другая.

— А где вы нынче найдёте холостого-неженатого? — рассудила третья. — Если в таком возрасте да холостой — значит, не мужик. Что ж, нас теперь на помойку, если холостых нет?

Обсудив вчерне вопрос, приступили к выработке предложений.

Что касается практического совета: ехать — не ехать? — взгляды разделились. Самые бедовые тут же горячо её поддержали:

— Езжай, конечно! Что ж, что женатый? Надо брать судьбу в свои руки!

— Ой, Машка, чо тут гадать? Да предложи мне кто-нибудь в Америку, хоть бы и печкой, — от своего бы дурака удрала! Хуже не будет!

— А не сладится — и вернуться недолго! Уж найдёт тебе твой профессор тыщу баксов, чтоб выпроводить. Не обеднеет, небось, — а мы тебя в беде не оставим. Хоть прокатишься, свет посмотришь!..

Другие, более осторожные, советовали не торопиться: посмотреть, как поведёт себя жених дальше, проверить чувство временем, а позовёт — съездить пока в гости.

Третьи набросились с возмущением на тех и других:

— Эх вы, дешёвки, — из-за вас, таких вот, нас и презирают! Купить вас *ничо* не стоит — за долларовую бумажку и себя, и друзей, и родину продать готовы!

Однако бедовые с жаром принялись защищать Машу:

— Бросьте вы про родину да про друзей! Что она ей дала? Вот эту конуру? И где её друзья? У женщины нет друзей!

— Вот и поговори с вами, если у вас ничего святого нет!

— Бросьте вы про святое! Хотите её поймать в сети своих правил? А она не хочет по правилам! У неё одно правило: ей мужик нужен, ей детей рожать и обеспечивать их, и она бросит всё и пойдёт за мужиком, если ей надо для этого даже океан переплыть!

— А ну вас! — краснея, возмутилась защитницами Маша. — Вы меня совсем уж за козу или за корову держите!

— А ты нас не слушай, у нас свои споры!..

Причём спорящие стороны не только не приходили к компромиссу, а наоборот — у возбуждённых женщин вспыхнули румянцем лица, заискрились хищным блеском глаза, а голоса напряглись до истерических всплесков; спор угрожал вылиться в ссору. Только этого Маше не хватало… Чтобы разрядить атмосферу, она поделилась с ними ещё одной проблемой: её наречённый пожелал будто бы увидеть её там в день бракосочетания в русском сарафане и с заплетённой косой:

— И должна я, девки, стало быть, Америку удивить своим костюмом… Как быть? Ум нараскоряку!

— Сарафан мы тебе сварганим, — тотчас подхватили подруги. — Да такой, что твой мужик закачается вместе со всей Америкой!

— Но один-то сарафан — ни то ни сё, — продолжал кто-то. — Блузку белую с вышивкой к сарафану надо!

— У меня, Маш, есть, я тебе отдам!

— Только сарафан, Маша, надо красный!

— Да ведь они решат, что Машка — большевичка, в красный флаг завернулась! — уже ёрничает кто-то из них.

— А лапти, мать, к сарафану? — вторит другая. — Куда ж без лаптей-то, раз ансамбль? Удивлять так удивлять!

— А почему именно сарафан? «Домострой» для вас авторитет?

— Для меня — нисколько: он мне противопоказан!

— Это твои проблемы, но, по «Домострою», сарафан — мужской кафтан. Это вам как?

— А у Пушкина, между прочим, сарафан Лизы Муромской очень даже подробно описан!

— Так он что, Пушкина, думаешь, читал?

Это уже вопрос к Маше; Маша разводит руками и улыбается — ей просто хорошо сидеть с ними и слушать, не перебивая.

— Ой, да чего вы о них так хорошо? — уже опять возражает кто-то. — Ни фига они про нас не знают! Помните киношку по «Живаго»? Я так хохотала, что уписалась, — кичня кошмарная: один уральский дом Живаго чего стоит!

— Точно! Ой, умереть! — вторит другая. — Золотых маковок на крышу штук шесть насажали!

— Да они просто кремлёвский Теремной дворец скопировали!

— А кладбище-то — три гнутых креста в чистом поле! Железных, заметьте!

— А я так там ссала над нашей революцией; один офицер — другому: «Сэр, разрешите расстрелять мятежников!» — а тот: «Извольте, сэр!»

— А что у них, интересно, не кич — ну-ка напомните?!

— И всё равно Омар Шариф там — лапочка!

— А мне сдаётся, что всё проще,— заметила одна, возвращая остальных к теме.— Машкин мужик какой-нибудь наш ансамбль танца видел — кичовый а-ля рюсс там сейчас в моде!
— Да какой ансамбль танца? — покачала Маша головой.— Он там, девки, в такой дыре живёт — не выговорить.
— Но в Европах-то бывал же?
— Бывал. Где он только не бывал!
— Ничо, и ты побываешь!..
— Он, девки, знаете, чего ещё хочет? Чтобы я на свадьбе была в кокошнике и с русой косой,— поделилась Маша ещё одной заботой.
— Нет, Машка, твой хахаль не иначе как про Россию начитался! А теперь у него — регрессия в виде эротической фантазии; он тебя в этом кокошнике ещё и трахать будет!
— А насчёт косы — ты, Маш, объясни ему, что косу у нас только не целованные девушки носили.
— А может, она за не целованную сошла? Русская девушка после трёх абортов! — и подруги раскололись дружным хохотом, а Маша лишь поморщилась: всё-то, подлые, обсмеют и измохратят...

Укорила, вздохнув устало:
— Да ну вас к лешему: ржёте как кобылы, а он — серьёзно!
— Ну, мать, тяжёлый случай! Дожила, считай, до седых волос и мозги мужикам пудрить не научилась!
— Да уж, нам бы её заботы!..

Так вот, наржавшись и натрепавшись вволю, подруги всё выпили и смели со стола и ушли, а Маша — опять одна со своими проблемами: ответов на вопросы не получила и сомнений не развеяла. Но всё же ей было теперь легче и теплей на душе.

И из этого привычного круга ей предстоит выпасть?.. Она совершенно не могла представить себе жизни без подруг, как не могла себе представить собственной смерти: как это, её — её! — не будет, а солнце всё так же будет вставать и заходить, и всё кругом — длиться и длиться без конца? Нет, нет и нет! — её мозг отчаянно протестовал против этой несправедливости. Точно так же не могла она представить себя без подруг...

Нет, не получила она от них никаких ответов; всё решать самой. Пора, видно, и в самом деле кончать этот многолетний девичий междусобойчик да взрослой становиться — а выходить из блаженного состояния игры так неохота! Вот будто чувствовала: *там* игры в жизнь уже не будет, *там* — всё всерьёз.

10.

В Зеледеево приехала к вечеру. Перехватывая из руки в руку тяжеленную сумку, догоняя свою тень, шла она своей родной улицей, время на которой остановилось: всё та же пыль на проезжей части, те же придвинутые один к другому деревянные домики в три окна по фасаду, глухие ворота, палисадники под окнами, в которых чахнут мальвы, «золотые шары» и дельфиниумы... Вот уже и родной дом, а радости от встречи с ним нет, не считая томления по сыну.

Первым её приветствовал, как всегда, старый лохматый Тарзан; как бы долго её здесь ни было, он всегда чует её шаги далеко за воротами и, грохоча цепью по натянутой проволоке, начинает рваться, визжать и лаять — и, наконец, улыбаться всей своей собачьей пастью, хрипя и задыхаясь в ошейнике.

Затем встретил её во дворе Серёжка с тяжёлой дедовой тяпкой в руках, тотчас прибежавший с огорода, заслышав лай и визг Тарзана, босой, тоненький, как тростинка, в одних трусиках, всё такой же лопоухий, с умненькими неулыбчивыми глазами, глядя в которые, Машу просто пронизывало неодолимой жалостью,— но и загорелый уже, и, кажется, даже подросший и окрепший; сколько, интересно, раз он выбегал вот так на лай Тарзана, боясь не встретить первым драгоценную свою мамочку?

Она вдруг обнаружила, что он уже не мяконькое нежнотелое дитя, а какой-то весь угловатый, жилистый, хотя и совсем по-детски ткнулся в её мягкую грудь лицом и обхватил руками; она гладила его выгоревшие вихры, его загорелую горячую кожу на острых лопатках и шептала:
— Ничего, сы́ночка, ничего, дорогой мой, вот мы и снова вместе, и всё у нас с тобой будет хорошо, всё ладно...

А на крыльце уже стоит мать с ведром пойла для свиней. Грузная, неповоротливая на больных ногах, взяла прислонённый к косяку посох и только тогда обратилась к дочери:
— А-а, приехала? — причём так бесцветно, будто Маша отлучалась из дому на час, не более: вспрыгнула, как в детстве, на *велик* и сгоняла искупаться или в магазин за хлебом,— и тут же, скрипуче-строго, внуку: — А ты чо рассиропился при матери-то? Урок твой на огороде кто доделывать будет?

Ну почему она забыла, что в жизни бывают праздники? Сколько таких окриков досталось когда-то самой Маше!.. А как ужасно, как быстро стареет мамочка: седые космы, скорбно опущенные углы рта, тусклые глаза... А тут ещё синяк под глазом... Опять дрались?
— Здравствуй, ма! — взбежав единым духом на три знакомых, родных ступеньки, обняла и расцеловала мать в каменные губы; нет, не разгладить ей кисло-горького выражения на них!.. А так хотелось бы взять за плечи, сонную, невесёлую, встряхнуть и взмолиться: «Да очнись же ты, ма! Ну кто тебя заколдовал?..» Ах, как несправедливо всё! Вон завкафедрой — мамина сверстница, а бегает на шпильках и без удержу хвалится юными любовниками, купленными за пустячок — за оценку в зачётке!..

Маша входит в дом, и сквозь запах свежих пирогов—да никак любимые, с клубникой!—её обступают знакомые застарелые запахи пережаренного сала и табачного дыма… Ф-фу-у, ну вот и дома!

А вскоре и отец в дом ввалился, да этаким франтом—светлая рубашечка, выглаженные брючки,—балует его мамочка: как же, мастер теперь в своём цеху, начальство! И совсем ещё молодец: хоть и ссутулился, и руки повисли до колен; но как расчешет кудри—куда с добром мужик; по-прежнему, поди, ещё лапает нормировщиц? Ну да что матери ревновать—сам теперь рыдает по пьяному делу: нет, не любовник уже—так только, привычка осталась… А перегони-ка через себя цистерны спиртного—это ж какое здоровье иметь надо!.. И опять навеселе—тотчас тискать и лобызать дочь, словообильный и косноязычный:

— Ах ты, мать честна, *дочура*, радость моя! А я, Машуня, пивка дёрнул—жарко же! Мы это, с Сергунькой твоим картошку, значит… Да сено надо косить, мать его за ногу!.. А ты у меня молодец—и куда мужики смотрят?.. Давай, мать, на стол скорее—мы *щас* это, выпить по такому делу!

— Ты уже, я смотрю, и так хорош!—укоризненно ему—Маша.

— Да пивко, Машуня, для здоровья—охладиться после работы!

— А синяк мамке кто поставил?

— Ой, да это… Погорячились! Бывает!

Ну вот, собрались вместе… Не откладывая, сумки—настежь, отцу—новый галстук, матери—тапочки, изнутри меховые, а снаружи—красная кожа и яркая аппликация по ней: «На твои, мамочка, больные ноги!»; сыну—кроссовки и Баковы подарки, пистолет духовой и джинсовый костюмчик, о самом Баке до поры умалчивая. Ну и, конечно, ворох сладостей к столу: конфеты, торт, печенье, а отцу—будет ведь обиженно зудеть: «Я, ты ведь знаешь, сладкого не ем!»—бутылку хорошей водки, чтоб не пил всякую гадость.

Потом ужинали втроём—Серёжка быстро улизнул в обновках и с пистолетом за поясом на улицу. Мать, из соображения, чтоб меньше досталось отцу, пила водку наравне с ним, но он всё равно быстро раскис, а матери хоть бы что: сидит как вырубленная из дерева. Но разговорилась, и всё свелось к жалобам на отца и на маету с коровой и свиньями:

— Всю жизнь с чугунами—как каторжная! И когда это кончится?..

Маше её жалобы были словно ножом по сердцу.

— Ах, да зачем вам, мама, эти свиньи? И от коровы, может, уже пора отказаться? Неужели, папка, не прокормишь маму? Пожалей её!

Однако сама мать слышать об этом не хотела:

— Тебе легко говорить—а что жрать будем? Боровков заколем—и мяско, и сало; на базаре не разгонишься—вон как цены кусаются! И вас с Серёжкой жалко: сядем за стол, вспомним, как вы там одни,—кусок в рот нейдёт.

— Да зачем тебе, мамочка,—с твоими-то артритами—сало?

А та, прядя одной ей ведомую нить разговора—после третьей-то!—сама стала жалеть Машу:

— Ну вот что ты там одна маешься? И мы тут одни. Возвращайся, живите у нас! В школе *училки* английского всегда нужны, и отец получает неплохо—так бы зажили ладно! И Серёжка бы под присмотром. Боровка можно ещё одного взять—как сыр бы в масле катались!

— Да не надо мне, ма, боровка!—пыталась возразить Маша, вспоминая, как мается с этим салом в городе, не зная, куда девать,—раздаёт, в конце концов.

— Чо не надо-то, чо не надо?—возмутилась мать.—И мужа бы тебе нашли! Вон у Егоровых сын—ты его должна знать—тридцать лет мужику: тебе-то бы как раз; на элеваторе работает, с комбикормом-то бы уж всегда были. Серьёзный, книжки читает. Что ж это одной за жизнь? И парень без отцовского присмотра—наделают, нарожают, понимаешь, а воспитывать некому…

Маша только сокрушённо качала головой… А мать всё убеждала и убеждала и так, наконец, *достала*, что Маша не выдержала—набрала побольше воздуха, чтобы уж сразу, и выпалила:

— Ну что ты, мама, со своим боровком да с Егоровым—знаю я этого Егорова! Ты думаешь, именно его мне и не хватает для счастья? Не нужен мне ваш Егоров! Я, мам, наверное, скоро в Америку уеду.

За столом наступила мёртвая пауза, и у обоих родителей сами собой открылись от удивления рты. А Маша уже спохватилась и кляла себя: Господи, ну почему у неё язык такой—всё тут же выболтала?..

— Как в Америку? Зачем?—наконец, спросила мать.

— Замуж зовёт американец.

— А ты что?

— Да, наверное, поеду, если вызов пришлёт.

Оба родителя задумались, обкатывая информацию: Америка была для них абстрактным, пустым звуком—и вдруг, оказывается, эта Америка существует на самом деле, да ещё туда должна уехать их дочь?.. Мать, начавшая было оттаивать, снова наглухо замкнулась и отвердела голосом:

— Там чо, своих дур не хватает?

— Ну зачем ты так, мам?

— Как? Что, я должна хвалить тебя, какая у меня дочь, раз тебя в Америку поманили? Да мне, если хочешь знать, стыдно будет соседям в глаза смотреть! Тебе что, своих, русских блядунов не хватило, американского захотелось?

— Да он совсем не такой, мама!—у Маши выступили на глазах слёзы.—Он учёный, профессор!

— А сколько, интересно, он тебе платить будет за ночь, твой профессор? Шалашовка ты, и больше ты никто!

— Пап, ну скажи ей что-нибудь, защити меня, не могу уже! — сквозь рыдания отчаянно выкрикнула Маша.

Отец, понурясь, только ковырял вилкой в тарелке, крякал и громко сопел. Маша выскочила из-за стола и выбежала на крыльцо. Сквозь распахнутую дверь слышно было, как переругиваются в доме родители: реденько бубнит отец, и напористыми волнами его глухое бормотание перекрывает крикливый голос матери. А из Машиных глаз брызнули слёзы обиды; она села на ступеньку крыльца, закрыла лицо и дала им полную волю.

Как давно она не плакала так обильно и безоглядно — до икоты, до бессилия! Все волнения истекали из неё сейчас с этим неудержимым потоком, и всё, что текло у неё в три ручья из глаз и носа, в течение нескольких минут вымочило насквозь носовой платок и подол лёгкого платья и теперь лилось по рукам. Подошёл, громыхая цепью, Тарзан, стал ластиться и лизать её мокрые щёки и руки. Она ревела навзрыд, гладила его, понимала, что глупо так рыдать, и не могла остановиться — очень уж обидно было, что мать бесстыдно всё обнажает и непременно норовит обозвать её самыми грубыми и гадкими словами.

Вышел отец с аккордеоном, присел рядом и заиграл что-то бравурное. Она не унималась. Он аккуратненько отставил его и обнял её за плечи.

— Ничо, доча, всё будет *нормалёк*… Да ну её в задницу, кержачку дремучую! Не бери в голову!

— Не надо, пап, так — замолчи! — взмолилась она сквозь слёзы.

— Чо не надо-то, чо не надо? Уже всю плешь и тебе, и мне переела, перечница старая! И как только я с ней живу?

— Ну почему ты такой? Почему меня не защищаешь, когда она меня оскорбляет? Ведь я же твоя дочь! — выкрикивала она сквозь рыдания и икоту.

— Ой, доча! — тяжко вздохнул тот, безнадёжно махнул рукой и выудил из кармана мятую пачку папирос.

— Эх, папка, папка, — всё ещё икая, укоризненно покачала она головой. — Совсем она тебя задолбала. Какой ты беспомощный! Извини, но меня от таких, как ты, тошнит. И мамку понимаю: она всю жизнь вместо мужика в доме… А он, пап, хороший, американец этот! Он правда хочет жениться на мне.

Отец хмыкнул.

— Не веришь? — спросила она.

— Да почему ж не верю? — ответил он и вдруг надулся пьяной важностью: — Ну американец, так что? И им тоже перо вставить можем! Немцам вставили, и им вставим!

— Смотри-ка ты, вставил, герой какой! — хмыкнула она снисходительно, улыбнувшись, наконец, сквозь слёзы.

— Только чо болтать-то? Какой американец? Кому ты нужна?

— Не веришь? — ещё всхлипывая, с бесконечной тоской и обидой спросила она. — Ну и ладно! А я вот приехала, посмотрела на вас и решила: распоследней дурой буду, если не уеду. Пусть, по-вашему, продаюсь. Зато, может, хоть сыночке будет лучше — с вами, лодырями да пьянчугами, построишь тут жизнь! Только… Я в доску разобьюсь, но пришлю вам долларов, чтоб мамка перестала держать скотину, слышишь? И обещай мне, что приоденешь её и достанешь ей путёвку на курорт; у неё уже ноги не ходят — не видишь, что ли?

— Всё, доча! Понял! — он потянулся и слюняво поцеловал её в щёку.

— Только твёрдо обещай, а то завтра же забудешь! И пообещай, что перестанешь пить, — сколько можно жить обормотом?

— Обещаю! Всё обещаю! — он решительно взмахивал сжатым кулаком, а она смотрела на него с недоверием и качала головой.

Вернувшись через две недели в город и на всякий случай оставив сына у родителей, она приготовилась ждать вызова.

Но Бак вестей пока не подавал. Правда, чему-чему, а терпению жизнь ее научила. Она даже не была уверена, что Бак этот вызов пришлёт, — просто в ней теперь жила надежда, что всё это может однажды случиться, и огонёк этой надежды освещал теперь её маленькую, незаметную жизнь.

Маленькую-то маленькую — но неожиданно для себя она открыла, что стала в своём окружении заметной фигурой.

В первый же день, выйдя на работу, она с удивлением обнаружила, что женщин на кафедре будто подменили — так они стали добры и участливы: спрашивали, как там у неё родители, как Серёжа, не надо ли чем помочь… А потом появилась, не догулявши отпуска, заведующая, и первое, что она сделала, придя, — пригласила Машу к себе в кабинет. Разнос устроить, что ли?.. Однако в кабинете, сев в своё кресло за столом и усадив Машу напротив, заведующая шумно выдохнула:

— Фу-у, устала! — словно пришла отдохнуть от отпуска, и, ей-богу, даже, кажется, подмигнула Маше, как подружке или сообщнице.

После этой подготовки, которой Маша отдала должное, та, ласковее родной матери, спросила, заглядывая в Машины глаза:

— Правда, Машенька, говорят, что ты в Америку собралась?

Маше не хотелось отвечать, но, припёртая прямым вопросом, она вынуждена была полупризнаться, на всякий случай прикинувшись простушкой:

— Да, пригласили в гости, и прямо вот не знаю…

К Машиному удивлению, заведующая не стала метать молний, а мило побеседовала с ней, пытаясь выведать подробности, о которых Маша, однако, умалчивала, отбояриваясь общими словами. А в финале беседы начальница великодушно объявила, что готовит приказ о переводе Маши с первого сентября в старшие преподаватели — открылась вакансия. Причём взамен она ничего не требовала, ни на что не намекала! Обескураженная Маша ломала голову: в чём тут подвох? И всё же была удовлетворена: уедет или не уедет — ещё вопрос, а должность старшего преподавателя — это вам не журавль в небе!

А лучшая её подруга, Лена Шидловская, только успев поздороваться, с порога заявила Маше, что сегодня же вечером придёт в гости. Ну да Маше грех увиливать: должница. И обещание за Леной не заржавело: действительно, заявилась вечером с коробкой конфет и бутылкой винца — «тесёмочки развязать».

Пока Маша молола и варила кофе да расставляла чашки и бокалы, Лена, не теряя времени, подробно расспрашивала об американцах, обнаруживая при этом исчерпывающее знание всех обстоятельств Машиной экспедиции, хотя на том девишнике, где Маша держала отчёт, её не было; оставалось восхищаться, с какой точностью работает «сарафанное радио».

— Ну, Машка, ты и молодец: так охмурить американца! — внаглую льстила ей Ленка. — А ведь, если ты не забыла, тебе это место уступила я! И вообще могла оказаться на твоём месте: думаю, твой археолог мной бы не побрезговал, а? Ну да ладно. Надеюсь, сочтёмся — ты ж понимаешь: за всё надо платить!

Маша не поняла: как, чем платить?.. Та пояснила:

— Там этот… писатель или как его — он что, миллионер?

— Ленка, да ты что: он такой старый стручок!

— Ну ты, мать, даё-ёшь! — снисходительно хмыкнула Лена. — Сама-то за юнца, что ли, выскакиваешь?

— Да Бак по сравнению со Стивом — молодец!

— А мне с этим Стивом детей не рожать — мне его миллион нужен: что ж он пропадать-то будет?

Машу этот неприкрытый Ленкин цинизм коробил. Да имей она Ленкину внешность — и не морочила бы ни себе, ни людям головы, а давно бы нашла себе какое-никакое счастье здесь, и не было бы нужды пилить в такую даль киселя хлебать. Но главное — так хотелось сохранить в чистоте всё, что касается их с Баком отношений: слишком она прониклась уважением к его решимости и его доверию к ней. Маша попыталась предостеречь подругу:

— Не делай, Лена, глупостей! Ты думаешь, он настолько глуп, что поддастся на твою авантюру?

Та лишь расхохоталась:

— Да все они одним миром мазаны! Спорим, поддастся?!..

Ма́шина попытка переубедить её была безуспешной — наверное, потому, что пусть чуточку, но сама она была влюблена в эту статную красавицу, в её раскованность и очарование грешницы, в которой даже цинизм обольстителен, — к её броской красоте нельзя было быть равнодушной. И, наверное, потому ещё, что атмосфера их общения в тот вечер была очень уж расслабляющей: винцо, кофе, *обалденные* конфеты, — и хитроумная Ленка, которой просто застил свет проклятый миллион, свободно импровизируя по ходу беседы, навязывала Маше свой план действий: не теряя ни дня — да что дня, сейчас же, сию минуту! — Маша должна сесть и накатать письмо своему разлюбезному Баку («Ну и имечко! Ты ему его переделай потом: пусть будет какой-нибудь Алекс или Ричмонд!..»), а в письме заверить, что её чувства к нему не только не меркнут от времени и расстояния, а разгораются сильнее, что она уже тоскует по нему, по его голосу, глазам, губам, рукам («Ну, и так далее, сверху вниз!»), и всё это расписать на двух, трёх, четырёх страницах — мужчине кружит голову, когда женщина сама страстно объясняется в любви. И пусть Маша даст ему Ленкин телефон, чтобы он позвонил: будто бы Маша должна сказать ему по телефону что-то очень-очень важное («Мужику, Машка, тайна нужна — тайну ему для приманки дай!»), — и пусть он звонит, чтобы не отвыкал от её голоса: разве выразишь в письме всё, что можно выразить живым словом? Можно всякую чушь нести, но нежность, трепет, слеза в голосе — они же скажут обо всём помимо слов! — а она, Ленка, готова предоставить Маше и телефон, и комнату, чтобы никто не мешал ей изливать свои чувства в любое время дня и ночи. Но за это Маша должна в самом кончике письма попросить Бака передать другу-писателю — как его, Стиву Николсу, что ли? — что одна её подруга, молодая, между прочим, красивая, и при этом — подчеркнуть обязательно! — горячая поклонница Стивова таланта, достала и прочла одну из его книг и в полном восторге от неё; так пусть бы Стив прислал ей какую-нибудь новую свою книжку — их здесь так трудно достать! — и обязательно с автографом… Ничего Лене больше и не надо — только ма-а-аленькая закорючка автографа в книжке, а уж дальше всё предоставьте ей самой — она сумеет превратить эту закорючку в начало такого захватывающего романа, который слабо́ придумать самому вашему Стиву вместе со всеми писателями мира! Только уж пусть Маша расстарается, вытребует, выклянчит эту книжку с автографом!

И в тот же вечер, сдвинув в сторону бокалы и чашки и закурив по сигарете, они это письмо вдвоём сварганили — этакий отчаянный вопль раненной любовью женской души и одновременно — сознательный и вдохновенный акт возбуждённого алкоголем, кофеином и никотином коллективного женского разума в его творческом взлёте. А что тут такого? Ведь ничем же Маша этим письмом не навредила Баку? И что, скажите, дурного в том, что у Маши там, в Америке, будет под боком подруга, с которой можно слово молвить?

Окончание следует

Дмитрий Мельников

Белый варан

● ● ●

Вот и лето миновало,
солнца много, лета мало,
в небе, в облачных руинах,
пролетают журавли,
на ветру холодном стынут
губы тёплые твои,
но от солнечного света
остаётся лёгкий след
в тёмной памяти поэта —
только этим жив поэт,

только этим, только этим,
и ещё — бросать на ветер
окрылённые слова,
видя, как смеются дети,
как вокруг желта листва,
как плывёт Кассиопея
рыбой, полною икры,
как на кошку на рассвете
мышь выходит из норы,

не жалея, не жалея,
что уже конец игры.

● ● ●

Вата переходит в дым,
в дым над белой хатой,
улыбаются живым
дети и солдаты.

Как инверсионный след,
как в груди осколок,
вата переходит в свет,
переходит в холод.

Улетает налегке,
дарит нам прощенье,
лишь у девочки в руке
красное печенье.

● ● ●

В гору поднимается душа без изъяна,
перед нею Пётр в чинах эцилоппа.
«Я жена взрывателя, — говорит мембрана, —
в бежецком котле за пучком укропа
варятся мои промокшие берцы,
жёлтая мабута, покрытая солью,
будь так добр, апостол, подай мне смерти,
я свои грехи искупила кровью.
Что же ты глядишь на меня, улыбаясь?
Где моя желанная смерть вторая?»

Пётр, гремя ключами от гравицапы,
рукавом космического хитона
отирает лицо от кровавого крапа
чуть живой души, из ларингофона
сквозь помехи доносится голос Бога:
«Всё в порядке, Камень, не медли, трогай».

● ● ●

Где на жёлтые шхеры
наползает туман,
между сивучей серых
ходит белый варан.
Он огромней карбаса,
коча в белом дыму,
эта серая масса —
только пища ему.

Свежей плотью и кровью
переполнен и пьян,
в небо Белого моря
смотрит белый варан,
и густая пороша,
белым-бела,
намерзает на коже,
как два крыла.

Владимир Берязев

Равнина

● ● ●

Зацветала сосна по всему Караканскому бору,
Зноя солнечный шар поднимался на летнюю гору,
На смолистую кручу, на хвой изумрудную тучу,
Там, где ветер и свет омывают скалу бел-горючу,

Там, где, мал и ничтожен пред храмом Творения Божья,
Затерялся счастливый берязев у бора подножья…

● ● ●

Тёмные воды бурлят под винтами…
Иззелена
Мгла глубины… Прикоснись же устами,
Выпей до дна.
Так, чтоб уже не очнуться, не слышать
Осени стон,
Жизнь чтобы с лёгкой душою открыжить—
Кончился сон…
Что тебя держит—долги, укоризны?
Не прекословь!
Дружества путы? Заботы отчизны?..
—Только любовь…

● ● ●

Пой, золотой мой, и пей, не робей!
Катит свой шарик жук-скарабей.

Неупиваем омут скорбей,
Пей со смиреньем и пой, не робей!

В храме ли Божьем и средь зыбей,
Позже не сможешь—пой, не робей!

Жребий наш брошен, ужо не слабей,
Пей, мой хороший, и пой, не робей!

Что ж, коли после—осот да репей,
В тлен-сердцевину осину забей!

● ● ●

Если чиркнуть о небо синицей,
То проклюнется солнечный луч
И осыплется, свеж и скрипуч,
Снег с упругой февральской страницы.

Эй, не вырони ключ у крыльца,
Рыжий смайлик читая с лица!

● ● ●

Запах осины в парной
Стоек и сладок, как ладан.
Из полудикого сада
Слышится шорох ночной.

В дебрях черёмух сырых,
В яблонях дымно-цветущих
Сруб утаил двух заблудших
В жарких объятьях своих.

Банные брёвна темны,
Влажные губы припухлы.
Рушатся алые угли
В пепел, в пуховые сны.

Будет шафранный поло́к,
Веника шумная птица
Будет летать и кружиться
С крыльями под потолок.

Тело, как тающий мёд,
Всё обомрёт и затихнет.
Ночь нас у чаши застигнет
И, не назвав, позовёт.

Ладан осины. Слюда
Месяца… Свет ниоткуда…
Чистые, без парашюта,
Мы упадаем—*туда*.

● ● ●

Я уеду,
Ни позже, ни раньше.
Я уеду.
Чай допью.
Сдам бельё кастелянше.
Ключ—соседу.

За рулём.
На последнем пароме.
С первым снегом
Над землёю…
А этого кроме—
Перед небом.

Равнина

Здесь тишина следит за тишиной,
Здесь тундровый, таёжный и степной,
То снежный, то огульно-травяной
Покой не размыкается покоем.

Один Транссиб проходит поперёк,
Да тянет из России ветерок,
Да катит самой первой из дорог
Шар полуденный — перекати-полем.

Ещё змеёй не стиснуто кольцо,
Ещё светло Отцовское лицо,
Ещё кружит пасхальное яйцо
На блюдце золотого миллиарда…

Меняет Кремль опалу на почёт,
Обратный начинается отсчёт…
. . . .
И только Обь течёт себе, течёт
До северного Чума-Салехарда.

● ● ●

Либо-либо… Оплыли следы.
Травы в инее. Синь проступает.
Много холода. Много воды.
Ясность — осени не искупает…
То ли плыть по зеркальным горам,
То ли падать в отвесное море?..
Умирает старик Авраам,
Сыновья перессорятся вскоре.
Облака — словно демона крик…
Пусть я нищ, но не ведаю боен!
Пусть в зените скользит материк
С фиолетово-сизым подбоем.
Это плавится в море закат.
Лишь уголья остались от славы…
Путь высок и, как прежде, покат
От земной до небесной державы

● ● ●

Дорога на Нижние Чёмы
Зачерчена серым дождём…
О чём это, Боже, о чём мы?
О том ли, что в плаче рождён?..
Рождён для скорбей, для печалей,
Но тщусь уж полвека почти
Сказать о царе, о мочале,
Что были в начале пути.
Сказать о любви, о дороге,
О чарке на тризне друзей,
И снова, и снова о Боге,
Воскресшем в Отчизне моей!
. . . .
Уже недалече до дома.
Уже различимы края.
Дорога на Нижние Чёмы
Вдоль хмарной черты бытия…

● ● ●

Если шибко-шибко затужу,
Я в горшок цветочек посажу.

Буду горевать и горевать,
Буду поливать и поливать.

И заботу, и любовь дарить,
Говорить с ним буду, говорить:

— Ты, цветочек, вырасти большой,
Небушку откройся всей душой,

Лепестки пошире разверни,
Стебельки повыше протяни,

Сколь нам жить, напрасно не считай,
Расцветай, цветочек, расцветай!..
. . . .
Только бы, зелёный мой дружок,
Мышка не смахнула наш горшок.

● ● ●

Тыкву потяну за оселедец:
— Славься, незалежный огород!..
Будет, будет лету окорот,
Но и снег не вечнопоселенец.
Стройся, гренадёрская морковь,
По гуртам, картоха, собирайся!
Урожая радостная раса —
От вольнонаёмных до царьков,
Все стручки, все клубни, кочаны,
Головы, тела, плоды и грозди —
Ать, два, три — по рангу и по росту,
Для оборонительной войны!..
А когда проклюнется весна
Или не весна, а что-то вроде,
Я пойму на добром огороде:
Духоплодна рідна сторона.

● ● ●

Тёмная роза предзимья
В тонком бокале.
Дней шелестящий консилиум…
Лето, любовь ли, Россию ли —
Всё проморгали!

Эти бутоны, набухшие
Кровью венозной,
Это молчанье — не будущее.
Это мерцание будничное
Мглы коматозной.

Ждём же — нагими да голымя —
Горнего крова.
Но, коль ещё не призвал Ты мя,
В сердце есть место для полымя
Угля багрова.

Вадим Гройсман

Конец уроков

В Галилее

Оттеснило жар ветерком прибрежным,
Солнце спрятало золотые жала,
И в саду, на столике для приезжих,
Разложил я писчие причиндалы.

Смотрит небо, прошитое звёздным шёлком,
Сквозь листы магнолии, чёрное и резное.
Над ожившим к ночи дачным посёлком
Спит гора, остывающая от зноя.

Провернуло землю с людским довеском,
И совсем не стыдно поддаться страху
Южной ночью, когда с межпланетным треском
Насекомые падают на рубаху.

Прометей

Тяжелы твои муки, титан Прометей!
Нет покоя тебе от безумных детей.

И за то, что ты алгебру им изобрёл,
Твою печень клюёт византийский орёл.

Им хотелось бы снова не знать ни фига,
Снова острые камни метать во врага.

Но нельзя повернуть твой огонь, Япетид.
Всё сильнее, всё жарче его аппетит.

● ● ●

То и дело зрачок, утомлённый
Одинаковым ликом страны,
Добавляет картуш и колонны
Там, где голые стены видны.

Существа непонятные, мы ли,
Только задним обзором крепки,
В перемешанном с памятью мире
Собираем её черепки?

Невозможно забыть без остатка
Всё, что сделало время с тобой,
И в кривые разломы асфальта
Лезет прошлое сорной травой.

Бег по городу скучен и долог,
Ни на миг оглянуться нельзя,
И царапает кожу осколок,
Хоть и лечит больные глаза.

● ● ●

В жестоком, обжигающем краю,
Где дымный полог скрадывает дали,
Мы, будто в нескончаемом раю,
К живой воде губами припадали.

Струна воды и колесо огня
Затихли в утомлённом вертограде,
И в сумерках безжалостного дня
Деревья растворяются в прохладе.

Когда же станет пусто и темно,
Мы сядем на кривом пороге рая
И будем пить последнее вино,
Последний хлеб делить, благословляя.

Пускай простит улыбку и слезу
И сложит из теней подобье знака
Создавший виноградную лозу
И хлебный колос выведший из мрака.

● ● ●

Расстоянье между городами
Сжалось до пробела и тире.

Шар земной опутан проводами—
Будто в новогодней мишуре.

Набираю в пустоту куда-то:
«Никому тебя я не отдам».

Старая и вечная цитата
Кружится по нашим проводам.

Голос

невыносимый морок утренний
итог полночного пиратства
и всё настырный голос внутренний
твердит что надо собираться

носков и брюк никак не выберу
не вижу мира за вещами
а он грозит какой-то гибелью
какой-то выход обещает

не то ожог россии нищенской
с её кустом неопалимым
не то глоток земли кладбищенской
над горным иерусалимом

● ● ●

Быть поэтом, хотя бы посредственным,
Знать бесхитростной рифмы секрет,
Языком, как богатством наследственным,
Пробавляться до старости лет.

В густолесье Тургенева, Чехова
Отыскать корневище и плод,
И чтоб речь моя запросто черпала
Из глубоких и медленных вод.

Крик и давка, убыток и выгода,
Неприкаянной жизни сумбур,
Но мелькает подобие выхода:
Быть поэтом — исправить судьбу.

Дальше можно без шума и ярости
Заглянуть в мутноватый кристалл,
Темноту наступающей старости
Отогнать белизною листа.

Громко тикает время настенное,
Тарахтят холодильник и лифт,
И стихи — городские растения —
Вылезают из каменных плит.

● ● ●

Когда пройдёт безумная неделя,
Настанет вожделенный выходной,
Закрой глаза без грусти и веселья,
Опять привыкни к темноте родной.

Наёмный клоп, работник чернолобый,
С расклёванным нутром, как Прометей,
Хотя бы так остановить попробуй
Кружение невидимых смертей.

Китайская ширма

Разгадал я правила игры,
Тайну встречи с горними умами:
Ширма, разделившая миры,
Сделана из рисовой бумаги.

Кто-нибудь, ребёнок или бог,
Разорвёт послушную завесу
И меня, бесформенный комок,
Подготовит к новому замесу.

А пока иного дела нет —
В хаосе бамбука и пионов,
Процедившем заоконный свет,
Различать павлинов и драконов.

● ● ●

Мои стихи попали в оборот:
Присвоил их бездарный рифмоплёт,
Издал, переписал, переиначил,
Со сцены их читал из года в год
И сам уже считать своими начал.

Я тоже перед ними виноват
В том, что срывал незрелый виноград
И прожил век учеником способным.
Я, собственно, давно уже не рад,
Что создавал подобное подобным.

В конце концов, забыл, что я поэт,
И молча воевал за хлеб и свет,
Переживая праздники и боли,
А сборники, печали прошлых лет,
Подальше запихал на антресоли.

Но даже закопай их в лунный грунт —
Стихи найдут невидимые тропы.
Они, быть может, учинили бунт,
Чтоб выйти в мир, обламывая строфы.

Вернитесь же, вы мне теперь нужны —
Жить рядом и лежать в одной могиле.
Одним недугом мы поражены,
Израненные, нищие, нагие,
Не знающие собственной цены.

● ● ●

Дети носятся с криком истошным —
Долго длился последний урок!
Он оставлен физруком за то, что
Подтянуться ни разу не смог.

Живший дурно, привыкший к плохому,
Я вошёл в зарешеченный зал,
И ему, от обиды глухому,
Я о собственной смерти сказал.

А потом дотянулся до двери,
Будто зная, что сделает тот:
Не заплачет о горькой потере,
А всего лишь глаза отведёт.

Лилия Газизова

Белые слова

* * *

Дожди идут, как пленные солдаты,—
Не в ногу, спотыкаясь и вразброд.
А я пока не чувствую утраты.
Неверие мне силы придаёт.

Дожди идут, взбивая пену в лужах,
Своею нескончаемой тоской.
И мне должно от этого быть хуже.
Но жизнь течёт сонливою рекой.

Пока дожди идут, я под наркозом,
Не жжёт остекленелая беда.
Но выглянет лучистая угроза—
Сумею ли я справиться тогда?..

* * *

Люблю деревья—не цветы—
За высоту и необъятность,
Геометрическую ясность,
Их очертания просты.

Люблю деревья—не цветы,
Коры надёжную шершавость,
Парящей кроны величавость
И говорящие листы.

Люблю деревья—не цветы,
За их корней немую силу,
Что небеса преобразила…
Люблю деревья—не цветы.

Первый снег

Сорок первый первый снег
Выпал на земле.
Я усталый человек.
Паучок во мне

Продолжает дальше ткать
Жизни полотно,
Нити важные искать…
Я смотрю в окно.

Так сидеть за веком век.
И не спать уже.
На рябине тает снег.
Тихо на душе.

* * *

Листья падали, падали, падали…
Г. Иванов

Беспросветный, из разряда
Серых с грустью вечеров,
За окном отрывок сада
Из ивановских стихов.

В дебрях слабости и страха
Я нащупываю суть,
Чтобы в хляби полумрака
Проложить надёжный путь.

Мне без устали и спада
Надо сдёргивать покров
Серой мглы в глубинах сада
Из нерадостных стихов.

* * *

Какой старик красивый!
Морщинистый, худой!
Надменно, несчастливо
Глядит перед собой.

В него могла б влюбиться!
Но знаю я, что мы—
Из разных книг страницы
На полке синей тьмы.

* * *

Пятое апреля.
Белые снега.
Белая Казанка.
Белая тоска.

Словно морок белый
Лёг на город мой.
Как легко от снега
Потерять покой!

Прорастёт нескоро
В городе трава.
Стынут на бумаге
Белые слова.

Александр Петрушкин

Империя языка

Псалом

Гудит вода свинцовая у дома,
припоминая тени незнакомых
по имени и циферке на бляшке,
по долговой исписанной рубашке.

Чужой стоит у номерного дома
(горгулий сноп в огне попеременном),
когда ты загоришься—он издохнет
и выдохнет тебя, как тень, мгновенно—

ты загудишь—и часовая бляшка
тик-так воде споёт—и куст взорвётся:
там ангел твой горит—и, как бумага,
на человека и цикаду рвётся.

Псалом 2

Узел, который ты положил, как свет,
туго завязанный, в чрево тугой земли,
себя расплести пытается, и гора
там изнутри себя—как тщета—горит.

Если и крикнешь чего—всё одно судья
все показанья положит тобой под сукно.
Видишь? стоит гора, как бы дно—когда
воздух на нить расплетает сухой жасмин—

не поругаем в нутре у него Господь:
узел меня и тьмы нуждается расплести—
почва внутри темноты, как змея, жирна—
ласточкою в небесах не своих летит.

Псалом 3

Кто ловит нас, когда на гнёзда
ложится тень отца и слепит?
Плачевна песня у урода—
узор росы в побеге светит.

Умножатся враги, и встанет
урод (росой великолепен),
лежит в своей оленьей стае,
и мир воловьим глазом метит,

и разминает мир, как глину,
который вовсе беспричинен,
и тень отца лежит, как воды,—
посередине всех повинен.

Псалом 6

И стыд мгновенен и возвратен,
как немощь хора,—и хоры
не милуют и смрть, как славу,
поют костями из норы.

Ни ярости своей, ни гнева
не утишить в твоих садах,
чьи корни обнимают чрево
нечеловечье—наугад

даря то мрак, то состраданье,
то исцеление врага
и силу превозмочь молчанье,
пока и смрть ещё нага.

Псалом 8

И небо это в животе,
и радость от пореза кожи
и оттого, что ты и я
на наше тело не похожи,

что славный гул внутри стоит,
как рой пчелиный, что с пьяной рожей
мы здесь ещё не мертвецы
и стали частью своей дрожи,

что славен вол моих чудес,
в свой рог поёт младенцу стойло,
а что смолчит, то сохранит,
поскольку сохранить всё стоит.

Псалом 9

Невинно небо—пренебречь
приглядом птицы молчаливым,
сгибающим, как ветви, скорбь.
Своё когда-нибудь увидеть

лицо, как будто бы лиса
внутри силков смолой бежала,
когда у ямы нас кладут,
чтобы душа с норы причала

сгибалась ивой в жидкий свет,
что ждёт ея с лицом закрытым,
доверчивым, как точный суд,
и водомеркою увитым.

● ● ●

внутри холма стоит пастух—его
не слышен гул когда лицо приблизит
он (к) двойнику со света не того
где дождь четыре дня себя не видит
не узнаёт пока растёт внутри
пастух с изнанки узнавая стружку
не голосит не спит и мертвецов
своих не бережёт—пока им нужен
внутри холма пасётся (как тюльпан
по десять дней—когда жара спадает)
и из сквозных (в) мир смотрит Себастьян
на двойника чей гул не затихает
чей гул растёт прекрасный как тростник
бессмысленный в осмысленной чащобе—
едва ли ты его не разберёшь
(как бы листву)—хотя давай попробуй
пока гул ширится беременный как шмель
внутри холма и рот свой обрывает
и рот летит сквозь гул и всяк предмет
по имени как мёртвый называет

● ● ●

О воздух, ты, который позабыт
в гусиной стае, ставшей моей плотью

(почти что крайней), где Хироном сшит
и прожит маслянистою любовью.

Бензина россыпью на негустой воде,
на отраженье жжёном и тяжёлом

лежишь, как два любовника в траве,
и шевелишь в ней узкой головою…

О ты, который выжит и нашит,
как туз бубновый на кленовой жабре,

ты из меня—щеглом из тьмы—дрожишь
и жабой голоса во рту то
длишь, что умираешь.

Кипарис

Есть дно дождя—но мы его не видим:
окрестная вода растёт, как ветвь
у кипариса, речь в птенцах и дыме,
в ожогах и щеглах, в моём дите.

Есть дно дождя—следы непроходимы,
как будто заступившие на смерть
приветствуют потоп—из чёрных линий
воды, не ощущающей их вес.

Они идут—и будто виноватый
смотрю в птенца, влетевшего в мороз,
на дно дождя, где дно рисует даты
и чёрточку меж ними, как вопрос.

● ● ●

От взгляда Бога остаются в тёмной
смородине следы—ещё темней
здесь светится вода—и от свободы,
как скважина, становится длинней.

И, протяжённый ощутивши холод
сквозь двери скрип, как память от костей
(что вероятнее—костяшками расколот),
вплывает в каплю он—
чтоб каплей стать плотней.

Автоэпитафия

Когда оставлю я не выросшую речь
свою расти, как сорную, немую,
темным-белу, из дырок и одежд,
которую не я себе взыскую,

которой рот мне вымолен, зашит,
уткнувшись в тьмы, пейзажи нарекает,
любую лодку Богом—пустоты
корявы ангелы, что с видом нас теряют.

Когда оставлю вас, вы, имена,
друзья—на свет, что вырезан из пробки,
не вынимайте, сохранив меня
в кармане потаённом смертной кромки.

● ● ●

Вот роза догорает, словно речь,
которая вернулась за ребёнком,
чтоб на язык родителя обречь
его, ожегши ледяное горло.
О-А-У-О, остановивши тьму,
стоишь в её открытой горловине
и видишь (как словарь иной) вину
за мёртвый свой язык
на детской половине.

● ● ●

пошита шуба мертвецу
лежит травой своей к лицу
поворотившись в чай из хвои
здесь всякий прав или доволен
лежит и смотрит из себя
в холодное вперёд глядя
и изучает непонятный
и насекомый коловратки
язык торчащий из всех дыр
которые в вещах прорыл
и звук не покидает шубу
стучится в кедры и дубы
и чаем пахнут мёртвых лица
и вдоль дорог стоят жлобы

Империя

Я же родился в империи—время даст, что я в ней умру:
ничего не бывает задаром—хрустишь хурму,
лелеешь маузер за ширинкой или наган,
бабе своей говоришь: дура—
но не отдам.

Лоб прижимаю к своим границам в толчёном стекле—
стекло говорит: полетели—пока терпел
пару друзей, комнату и пустоту
за малым их кругом,
который меня во рту

влажном своём крутил по часовой, жевал—
хорошо ли быть маленьким?—
да, хорошо, и спасибо тебе, что меня держал
ангел, возможно, куривший одну со мной на двоих траву,
я пережил двадцатый, двадцать первый не проживу.

Катится мёртвых вагон—скоро я здесь один и перрон
станет добычей дождя или горящих ворон,
варваров новых, любителей площадей,
свободных стихов, воды с водою—
не смей!—

говорю—переступай черту—крутись на золе своей, снова строй не ту
империю, и не страну—огород,
капусту, всяк часовой—оборот
новый вставляет в речь, как бы в скважину ключ,—
вот у меня нет родины—только язык. Вонюч

ватник, в котором в детстве ходили двором на двор,
пили палёный спирт с музыкальным названием—вор
после пяти ходок в зону учил, как молчать любовь
(каждый хохол был братом,
Полтавой—двор).

Вот и теперь выходишь—словно в зрительный зал
все персонажи со сцены сошли—или ум мой мал,
или зрение стёрто наждачкою табака—
трогаешь декорацию и говоришь:
пока.

Говоришь «пока» синей курице, что летит в облаках,
в облатке своей найдя, что цезарь ещё она,
что воздух, свернувшись в трубочку,—свистит,
что детство всегда одно—пахнет подгузником,
возможно—чуть позже вином,

девою первой, возлёгшей с тобою спать,
порезом, вокзалом, бритвой, которые учишься брать,
как революцией—улицу, ночь, фонарь,
ватник накинув на плечи, что ныне звучит
как брань,

переминаясь с одной босой на другую босу, стою,
в зубах неся на княженье ярлык—как зека́,
пою в ноту своей богоматери—чудный поклёп словарю,
и вокруг прорастает империя языка
и Византии его белый волк—в облаках.

Наталья Лясковская

Concordat aristos

• • •

всем тем кого люблю в ком часть меня живёт отчаянным девичьим жадным всплеском
кто презирая боль и корчась и кляня что ночи тянется к потёртым занавескам
и чуда ждёт хотя уже с трудом вдруг домофон взорвётся тайным кодом
и голоса наполнят стылый дом тех уходящих с каждым новым годом
вернётся смех и смысл и яркий свет и жизнь задвижется в счастливой круговерти
но ничего за занавеской нет лишь лунный блик на инструменте смерти

боюсь цветаевой

боюсь цветаевой она влезает в кровь и шепчет воспалёнными устами
в седьмом ребре есть древняя любовь ещё не осенённая крестами
и власть мужчин сильнее власти слов и сладко жизнь предать в объятья ката
и страх и грех лишь повод для стихов и ты ни в чём ни в чём не виновата
и можно так от страсти прогореть что тело станет пеплу оболочкой
и так в петле мытарно умереть чтоб жить остаться в мире каждой строчкой
боюсь лишь потому что так близка её тоска и горький зов сиротства
и в бирюзовых капельках рука и искушений потаённых сходства
как и она утратила покой заснуть мечта сознания потеря
но Бог помог и кру́ченой такой и мне поможет я терплю я верю
ей прощены мне кажется давно и дерзость речи и тщета стремлений
и увлечений тёмное вино и разрывны́е муки отрезвлений
за краткость безнадёжного пути за то что так поэты одиноки
но чёрствый хлеб умеют превратить в стихов и слёз святые опресноки
за то что «возлюби» не звук пустой а боль и горе и страданий корчи
не оставляй о Всеблагий постой Ты сможешь изменить всё чудотворче
утешь её а мне молитвы соль вложи в ночей и дней разверстых раны
вразей последних расточить позволь и я на свой колок для прочих странный
такой достигну сердцем высоты что смерть покажется желанным хладом в зное
и разрешу убийце класть персты в им нанесённое ранение сквозное

• • •

И к вам придут моих бессонниц муки,
и вас за рёбра вздёрнет кат на крюке,
и вам сжигать слезами склеры глаз…
Хоть не моими прокляты губами
и не моими сбудется мольбами—
вы вспомните меня ещё не раз.
А мне теперь одно—тулиться к Богу,
чтоб возвратил мне силы понемногу,
чтоб душу в мирный погрузил наркоз.
Грехи мои попалены страданьем,
виски пробиты сединою ранней.
И я живу.
Concordat aristos.

игорю меламеду

по телефону по емейлу ли не передать любви тепла
о что ж мы Господи наделали как нас москва-то развела
зачем болтали ересь разную зачем хранили на потом
слова лечебные прекрасные что говорят не грешным ртом
а сердцем радостным как яблоко в блаженной юности раю
пускай хоть тоненько хоть слабенько услышь сейчас печаль мою
зачем откладывали встречи мы вдруг в суете узревши суть
ответ твой кротостью подсвеченный ну ничего ну как-нибудь
да я из тех из не доехавших теперь измученных виной
посмертно охавших и эхавших над вестью совесть выносной
жизнь проживаем косо-криво мы уходим часто без следа
благими выстлана порывами дорога ведомо куда
бежим по ней под дудку медную на лбу библейская печать
а нам бы надо меламедные слова и звуки излучать
в них дух мятётся неприкаянный зато он жив горящ и смел
бессонниц горьких полон тайнами и сопряженьем душ и тел
божественным мерцаньем гения в болотной мгле ночей и дней
в твоей нерастворённой тени я хотела б стать тебе родней
ища погибели успеха ли не вижу грани замкнут круг
ну вот мы все к тебе приехали
встречай нас
друг

Элеоноре Акоповой

Рождённая править какой-нибудь древней страной,
где к маленьким ножкам её припадали бы страстно мулаты,
и жизни царей и героев бы стали обыденной платой
за ночь среди локонов, крашенных хартрумской хной,
меж юных грудей угнездился б златой скарабей—
залог возрождения девы в посмертных объятьях Амона,
и пели бы подданных рты ей во славу в подножии трона,
пока бы сама не сказала узорной гадюке: «Убей!»

Иль нет—в Вавилоне, насыщенном праздничным злом,
над гордостью жриц в непреклонно-лимонных одеждах
взлетела бы птицей, поднялись библейские вежды:
«О Бог мой—Ты Свет мой!»—и молний крестовый разлом…
И в медном быке, раскалённом толпой докрасна,
её бы сожгли, уже зная явленного верою Бога,
и крали бы угли, и клали невинных детей у порога,
когда, невредима, по улице шла бы в открытое небо она!

Да, имя-судьба—в нём налит христианский елей,
и русская ель до земли под тяжёлым сгибается снегом,
и взгляд оленёнка под вечер—с восточною негой,
а утром опять в нём остылость российских полей…
Ты здесь не чужая, но всё же не вовсе своя.
По венам стихов вьётся кровь благороднейших слитий:
эль хмеля, il France, дух Леноры, серебряный литий
и вечный таинственный элеосвет бытия…

Григорий Горнов

Уезжая в Крым

* * *

Что может мниться в эндшпиле судьбы?
Вот пешка, заминировав мосты,
На чёрной клетке крестики рисует.
А у неё в зеницах — по орлу.
Я ночью выйду к речке, поору
За просто так, пока мой ферзь пасует.

Темнеет небо, отражая Днепр,
И звёзды кувыркаются на дне,
Совокупляясь в новом Вавилоне.
Резвитесь же, пока хозяин спит
И плавает его безглазый кит
В сновидческом необратимом лоне.

Когда ещё ходили поезда,
Нас согревала белая звезда
Среди черёмух, стонущих в тумане,
И утра были свежи и горьки…
И у людей не свёрнуты колки
В разумном неоглядном океане.

Когда ещё не потеряли шанс
На жизнь, на смерть, всё было как сейчас,
Но только с оборота дней зеркальных.
Обратный продолжается отсчёт.
Мой Ангел дудку в руки не берёт.
И мне б не видеть глаз его причальных.

Триптих о вечной жене

1.

Что под запретом на чердаке — разрешено в подвале.
Все тихие звуки привкус дают бемоля.
Свои стихи мы на улице продавали
Рыбе-пророчице — деве (царице моли).

И она читала стихи и сразу же отвечала,
Комментировала каждую рифму, любой топоним.
А её сестра у лодочного причала
Била хвостом, захлёбываясь, кричала:
«Зря родители ту икру на праздники не продали.
Мы тебя, уродина, заживо похороним».

Звенели трамваи. Церковь вверху горела.
Море дымилось. Закат донимал багровым.
А дева, не оборачиваясь, на нас смотрела,
Защиты просящим глазом цельнозрачковым.

2.

Дома дымятся. На конечную
Спешат последние трамваи.
Лишь час назад ухмылки вечные
На наших душах пировали.

Теперь куражься не куражься, но
О бытие хребет сломаешь.
Тебе достанется неважное
Великолепие пожарищ.

Хрипит динамик. В небе трещина.
Песочный дождь — во все пределы:
«Прикрой, отлюбленная женщина,
Автоматическое тело».

3.

Беда, несчастье родины моей,
Исчадье незаконного рожденья,
Мой воин, заклинательница фей,
Весь страх и ужас падшего растенья.

Смотрительница гаек на путях,
Завода, городка, военной части.
Я, на тебя когда-то набредя,
Всё потерял — от имени до страсти.

Убийца русских честных мужиков,
Царь-колокольня, флюгер и предатель.
В твоём мозгу нет места для подков —
Один сплошной магнитный прерыватель.

Вруби колонки на хвостах комет,
Межмирную заросшую плотину,
Сирени ни на что не сносный цвет,
Чернобыля дымящую градирню.

Всё то, что есть во мне, губи, губя, —
Гласит закон невидимого братства.
Природа наградила им тебя
Иль ты её — уже не разобраться.

Но если солнца проскользнёт язык
В твой левый глаз — замкнутся все герконы.
А в правом зло умножится в разы,
Как Аониды в зеркале Горгоны.

● ● ●

Хлеб, разделённый на половины,
Мерцающей мякотью смотрит вдаль.
В корке спёкшейся крови—твоя печаль,
Жизни динамические горловины.

Снится мне: целуешь, не уставая,
Грудь мою (материал поэмы конца),
В безмерной книге родного лица
Беснуется молния шаровая.

А потом сытым ртом уминаешь грушу.
Зрачков до того дьявольское драже,
Что кажется: знание о душе
Начисто, на корню истребляет душу.

На границе бабочку, кажущуюся громадной,
До смерти растерзала толпа рябин.
Так и я обращён в религию половин
Твоего тела алмазной пилой канатной.

Извилины, обтянутые неврозом,
Всё детальней слышат судьбы
разрушающийся шарнир.
Но кажется: я весь в иной перекачан мир
Твоего тела вакуумным насосом.

● ● ●

Уезжая в Крым, ты сожги жильё,
Паспорт выбрось прочь, а своё бельё
Замени другим и воды не пей.
Не бери туда гривен и рублей.

Поменяй цвет глаз и надень парик.
Воспредставь, что ты—пропитой старик.
Вспоминай меня, только если нет
В небесах ночных никаких комет.

Если в море нет никаких судов,
Не ходи в места мировых судов:
Погуляй в горах, собери кизил,
Прогони свой страх, чтоб не откусил,
Как слепой волчок, он тебя кусок—
Чтобы я не сжёг ночь наискосок.

Мне беречь тебя завещал Харон.
Не бери ты в Крым золотых корон.
Ты бери стихи и читай кустам
И вино любви подноси к устам.

● ● ●

Стоим и курим молча у ворот,
Без прошлого, без будущего, то есть
Совсем одни, но то, что мы—народ,
Подсказывает дождь повсюду, совесть—
Об этом же—всё шепчет изнутри
С упорством знатока метеоданных,
Сидящим в первобытной той пыли,
В которой стало башенок стеклянных
И башенок кирпичных полутьма.
Но ждать посмертной полочки ашанной
Теперь не комильфо, коль есть сума
Метровагонных символов прощаний.
Бессмысленно—о смерти, коль уйти—
Лишь проявить сады на фотоплёнке,
И нет уже понятия пути
Здесь, на бессрочной жизненной продлёнке,
Где у людей, стоящих на краю,
Забвения терновые короны,
Я не с тобой, не с женщиной стою,
А с сущностью своей неопалённой.

● ● ●

Там, где Чёрное море—белых гонец кровей,
Память очерчивающая—пестра.
Как одномерные проекции кораблей,
Распускает веер женщина из песка.

Не висящий сад—вольно слепленный клон корней.
Демон огня смотрит на ряд колонн.
Сердце моё тебе не делается годней.
Голой Горгоной встречает меня фронтон.

А в том дому, где ты, позволяющая любить,
Будучи сильно выпившей, с похмела,
В углу фосфоресцирует и коптит
На тот свет выметающая метла.

И если ты пару минут назад
Была просто женщиной, подбирала себе чулки,
То теперь ты—ткацкий станок, и в тебе скользят
Судьбы мира хватающие челноки.

И из-под ног твоих выбегает на землю ткань—
Шёлковые бесцветные кружева.
И безлюдную землю утром встречает брань
Обманутых звёзд. И только ты—жива.

Сергей Смирнов

Так провожают самолёты

Николаю Мацневу

Вы когда-нибудь провожали самолёты? Не жену, не любовницу до арки металлоискателя или даже до накопителя: чмок-чмок, и полетела,—а сам самолёт? Настоящий грузовой самолёт полярной авиации! С двумя огромными двигателями наверху. Его потому и называют—«чебурашка»: движки у него как уши смотрятся. А крылья—как у полярной крачки, которая летает два раза в год с полюса на полюс: мощные, дугой выгнутые, но лёгкие, изящные, несут короткое толстое тело, будто прицепленное снизу, и в нём груз. На расстояние в пять тысяч километров—восемь тонн коммерческой загрузки! И всего с одной дозаправкой. Это немало.

Лапы тоже сильные, крепкие, чтоб держать выпуклый серебристый живот, не дать ему растечься по бетонке.

Взлетает он легко, после небольшого разбега уверенно набирает высоту и, красиво накренившись, уходит за горизонт. Ах, чёрт, просто хочется рассматривать его! Глаз на нём отдыхает!

Но не будем, конечно, сравнивать тут нашу любимую «чебурашку» с другими самолётами, прошлыми, что сошли уже навсегда с северных авиалиний,—они своё дело сделали и встали, легендарные, на постаменты. И с настоящими тоже, «Антеями», «Геркулесами» и прочими силачами, сравнивать не будем—это другая весовая категория. И по затратам—тоже.

Главное, эта машина—последнее, что досталось Северу от государства, затеявшего на полном ходу поворот на сто восемьдесят курсовых градусов: перевернулись, врезались, распались на куски. Северные окраины наши, покинутые первопроходцами и героями пустынных горизонтов,—кто-то же остался?—отдалились настолько, что Европа, Азия и Америка, недосягаемые раньше, пришли в наши центральные города и вломились в наши квартиры, и связывать их—окраины, я имею в виду,—с миром пришлось опять-таки американцам, лётчикам и тоже героям, поклявшимся возить через океан толпы новоявленных коммерсантов, бизнесменов, из которых каждый второй—функционер с комсомольским стажем.

И за смешные, как сейчас говорят, деньги! Хотя это совсем не смешно.

Представляете: бесплатно и пока хватит сил! То есть просто жизнь на это положить! Нести на крыльях новую удачу сквозь пургу и туманы. А что же! Это благодарное и достойное занятие!

Наши северные люди это понимают. Для них нет в этом ничего необычного, особенного. Неписаный закон прост: захотели—сделали!

Романтики!

Но романтики и те, кто остался жить в полуразрушенных посёлках и других населённых пунктах, настолько редких, рассеянных на гигантских территориях, что их названия можно встретить даже на глобусе! Так территория казалась заселённой. И остались они тоже, между прочим, один на один с пургой, туманами и морозами. И не просто так—хлеб есть, а работать, пользу приносить.

Когда первые серийные «чебурашки» сошли со стапелей, их необходимым образом подвергли лётным испытаниям в «материковых» условиях и отправили эскадрилью в количестве пяти штук на северо-восток Якутии.

Давайте, птички, оперяйтесь! Пришло ваше время!

Настоящие испытания на живучесть и начались с этого трансконтинентального перелёта. Летели с семьями, с имуществом, мебелью и другими народно-хозяйственными грузами. Везли запчасти для самолётов, для своего и местного начальства—свежие овощи и легковые автомобили… До цели долетели четыре. Одна из перегруженных птичек, борясь на взлёте с земным притяжением, не справилась и врезалась в поросшую кондовой тайгой гору…

Склоняю голову и скорблю…

Возможности машины ещё не были точно определены.

Они погибли не зря…

И вот экипажи «чебурашек», состоящие из наших простых северных романтиков, пережили всё-таки трудные времена—отсутствие топлива, зарплаты, нормальных бытовых условий, нехватку денег у государства и у народа.

Предпринимателей-то настоящих не было. А нет заказчика—нет и денег! А если по-простому—внимания, братцы, не хватало! Нам же на самом деле совсем немного нужно от государства.

Но, повторяю, пережили лихие времена.

Наступили другие. Весёлые.

Теперь прилетел, скажем, экипаж в какой-то южный город, приземлился. Командир берёт набитый деньгами портфель и идёт платить: за посадку, за заправку, за стоянку, за воздух, за солнце над головой. Кончился портфель — сиди, отдыхай, пока следующий не подвезут. На эти деньги не одни «Жигули» можно было бы купить, но все эти не купленные автомобили и не построенные коттеджи ушли в ничто, в копилку без дна.

А по месту, по Северу то есть, работы почти не было. Экспедиция «Северный полюс» закончилась, полярные станции ликвидировали, позакрывали; кресла, чтоб под пассажирский вариант «чебурашки» переделать, купить было не на что. Так стояло это чудо советской техники и потихоньку старело. Любой механизм — самолёт ли, корабль, даже велосипед — должен работать. Как только люди оставляют его, он начинает болеть, тосковать, ржаветь и — умирает!

Но — пережили и это. Стали заказчики появляться: туда слетай, сюда слетай, привези то — не знаю что, но привези! Забогател народ! Пилоты-лётчики опять себя людьми почувствовали, накапливая и обобщая лётный опыт. Разворот в плечах и блеск в глазах появились.

Молодёжь потянулась — новые, стало быть, романтики пришли. Пилоты неоперившиеся, бортинженеры, операторы. Последние на морском флоте называются суперкарго, и там, понятно, счёт идёт на тысячи, десятки тысяч тонн, то есть перевести с английского можно как «отвечающий за размещение и перевозку большого количества груза»; а здесь, в авиации, — всего на тысячи килограмм. Но всё равно груз надо разместить правильно, чтоб судно, в данном случае воздушное, не испытывало крена и дифферента. Помните? — «...во избежание нарушения центровки самолёта...» А в новых условиях без таких «отвечающих» вообще не обойтись. Вы это потом поймёте.

А-а, сейчас хотите?

Вот то-то! Сколько самолётов на хвост посадили, когда неуправляемые пассажиры к выходу толпами бежали, лишь бы побыстрей на землю ступить.

Кроме того, груз ещё надо посчитать и сделать, если уж начистоту, контрольное взвешивание, закрепить его правильно, обтянув специальной сеткой. В общем, дело это непростое и очень ответственное, извините за подробности.

Звонит мне как-то перед Новым годом старый друг с берегов великой русской реки Колымы. Слышно, как всегда, плохо, и говорить нужно по очереди, как по рации, иначе вопросы накладываются на ответы, — таковы российские расстояния.

Говорит он мне: придёт на подмосковный аэродром самолёт за продуктами к празднику, не поможешь ли моему знакомому из экипажа собрать посылочку для цинготных родственников, а я, мол, рыбки тебе на строганину пришлю.

Нет вопросов, отвечаю. Даже если и рыбки не пришлёшь. Мне, говорю, всегда интересно с северянами пообщаться, старыми или новыми, и помочь тоже, жизнь у вас, говорю, непростая, да и, если вспомнить, мы с тобой, старина, никогда дружбу на «ты мне — я тебе» не мерили.

Вот так отвечаю, без лишних слов.

Через несколько дней раздаётся звонок, и немного странный, как бы замороженный голос говорит:
— Я Дима звоню от такого-то с берегов Колымы можем ли мы закупиться продуктами на каком-нибудь оптовом рынке я посылку для вас привёз.

Договорились мы, где встретимся, я прицеп к легковушке прицепил и поехал. А прицеп у меня непростой, с усиленными рессорами. Одна ездка, если под жвака-галс набивать, на тонну точно потянет.

Ну, так и сделали, набили и прицеп, и машину.

Первым делом, конечно, водка, коньяк, шампанское, вино: по-северному — «витамины Ю». Немного пива в банках: с него навара никакого, но как изюминка — пойдёт. Конфеты-манфеты. Колбаса деликатесная всякая-разная, окорочка американские в плоских картонных ящиках по пятнадцать килограммов, овощей-фруктов — каждый помидор или апельсин в отдельную бумажку завёрнут. И под конец — мороженого несколько коробок. Оно хоть и лёгкое, но места много занимает. Я про себя подивился, но, для детей, думаю, северных, обделённых, тоже что-нибудь надо, не только же «витамины Ю»!

А Дима этот оказался человеком немногословным, если не сказать — почти немым. А по тому, как Дима следил за моими губами во время разговора, я догадался, что он глуховат, слышит плохо. А если всё вместе собрать, то получится — глухонемой. Ну, мы как-то общаемся, прекрасно друг друга понимаем, в основном знаками и междометиями: «во!», «ага!», «эх!», «на!» и так далее, вплоть до общепринятого «б!..» с множеством оттенков.

Димина речь потому и казалась замороженной — как будто он губами отмороженными говорил, — что сам себя не слышал, и речь была без интонаций, механическая.

Отвезли мы это всё ко мне, рассовали по углам самое ценное, из ящиков со спиртным целый штабель получился, такого количества даже в квартире просто так не спрячешь, колбасу с мороженым — на балкон, и Дима уехал, сказав, что «день вылета назначат позвоню».

Дима, как я сразу же понял, человек ответственный и организованный, через пару дней утром позвонил, попросил нанять «газель» и ехать по такому-то адресу.

У подъезда я застал такую же гору ящиков, что привёз в кузове «газели»: телевизоры, видики,

телефоны, центры музыкальные и так далее. Короче, здравствуй, китайская Южная Корея!

Загружаем мы это всё в грузовичок — как раз полная загрузка получилась, тонны под полторы; видите, везде для «суперкарго» работа найдётся! И трогаемся в сторону аэродрома.

Приезжаем — на пятачке, у ворот в небо, полно машин, и легковых, и грузовых. Все газуют, ждут начала погрузки. Мы скромно так в сторонке встали со своей «газелью». И тоже начали ждать с нетерпением.

Неужели, думаю, вся эта автоколонна нацелилась на нашу славную «чебурашку»? Затопчут же! Может, там ещё какие-то самолёты под пара́ми стоят? Аэродрому же выгодно принимать побольше коммерческих рейсов, живые ж деньги!

Тут подходит ко мне парень такой бритоголовый, внимательно на меня смотрит и говорит:

— Где-то я тебя видел, уж больно лицо у тебя знакомое, братан.

— Так я ж, дорогой ты мой, десять лет на правом берегу Колымы прожил, — отвечаю ему. — А сколько нас там всего было-то, друг! Примелькались лица-то!

— А-а, ну тогда понятно, тогда ладно, земеля!

Заулыбался и отошёл.

Интересно, а если бы нас там, на Севере, больше было, или бы он лицо моё не вспомнил?

Та-ак, думаю, значит, грузовики эти тоже наши, вернее — наоборот, как раз «не наши», а конкурентов. Самолёт-то, понятное дело, не резиновый. Упадёт — мячиком прыгать не будет.

Стемнело. Ждём.

Дима куда-то бегает, собирает информацию. Сколько груза у заказчика, сколько у блатных, сколько пассажиров было и сколько обратно полетит, и все, понятно, с грузом. То есть занимается своей работой, ведь он как раз и есть тот самый «суперкарго», отвечающий за крен, дифферент и полётный вес.

Командир только решение принимает на основе полученных данных.

Лицо у Димы — так, между прочим, — всё больше сереет, и молчать он уже начал как-то обречённо. Мне тоже не по себе сделалось: колбаска, говорите, деликатесная? Окорочка американские? Мороженое?! И в край Вечного Холода?!

Ждём, но уже сидя на иголках. Как перед дракой: быстрей бы уж, что ли, началось! Нервы не выдерживают! Вспомнил я, конечно, сразу, как мы грузили однажды вертолёт, «восьмёрку». Забили её, бедную, под самую крышу, уже непонятно, куда самим садиться, а покойничек Витя Ерофеев ходит кругами вокруг командира и собачьими глазами в лицо ему заглядывает: «Ну ещё ящичек с тушёнкой, ну ещё бочечку с бензином». Командир стоит, спичку жуёт: «Грузи-грузи!» А лететь надо было на острова Новосибирского архипелага, сто километров над морем Лаптевых.

«Грузи-грузи!»

Командир знал, что говорил. Мы долетели и по дороге забрали со Святого Носа ещё и две резиновые лодки по сто пятьдесят кило каждая и двухсотлитровую бочку бензина. Мы долетели. Вернее, нас довёз командир, но когда мы увидели сквозь кисейные облака неясные очертания земли — поняли, что вполне могли от чего-то отказаться и не перегружать «вертушку». Не думаю, что нам повезло, просто командир наш тоже был романтиком и настоящим лётчиком! И ещё он был государевым человеком, простите за пафос. Ведь недра в любой стране принадлежат Государству.

Делай как можешь и как умеешь на благо Ему, но не мешай другим делать больше и лучше!

Да, витал, витал дух северо́в над нами и газующей автоколонной, перемешиваясь с выхлопом. Честно говоря, вот за такие моменты я люблю встречать и провожать самолёты полярной авиации… Чувствуешь себя по-прежнему одним из…

Неожиданно люди и грузовики зашевелились, откуда-то вынырнул Дима с осунувшимся лицом, и мы первыми подъехали к воротам. Ай да «суперкарго»!

Солдат с автоматом проверил пропуск, подсвечивая себе фонарём, и выдохнул морозным воздухом:

— Проезжай!

Как-то слишком быстро наша «газель» свернула с центрального проезда в темноту. Лучи фар прыгали вверх-вниз, иногда упираясь в чугунно нависшие небеса. Разбитая деревенская дорога шла по лесу, нас болтало, словно мы ехали по танковому полигону, в заднюю стенку кабины что-то с грохотом стучало. Боюсь, что это были телевизоры.

Цепляясь мостами за гребень, «газель» выползла на опушку к невероятно высокому глухому забору, наклонённому в нашу сторону.

Дима, как всегда, молчал, только тыкал пальцем водителю, куда ехать.

Наконец, в заборе возник неширокий пролом, танковая трасса — или тропа контрабандистов? — змеёй ныряла в него, а вслед за ней нырнули и мы.

И оказались на краю лётного поля. В тридцати метрах от пролома стоял наш пузатый и крылатый «Дед Мороз», перевозчик праздничной закуски.

Дима сразу побежал в самолёт, и через несколько минут щиток под хвостом уехал вверх, аппарель с тихим жужжанием опустилась, в свете плафонов голливудским героем возник невозмутимый «суперкарго» и махнул рукой.

Машину подогнали к аппарели, и мы с водителем стали сгружать на неё ящики с коньяком и водкой.

Тем временем Дима начал лихорадочно вскрывать пол внутри фюзеляжа. Он складывал пайолы гармошкой и ставил их вдоль стенки, к иллюминаторам. Обнажились дырчатые шпангоуты, показались толстые жгуты разноцветных проводов, какие-то релюшки, пускатели, коммутаторы…

Потом Дима схватил первый ящик и опустил его между шпангоутами, потом ещё один и ещё. Он перешагивал через металлические рёбра, высоко поднимая ноги. Ящики вставали точно в размер, и количество их на аппарели быстро убывало.

Чёрт возьми, вот триумф советского самолётостроения!

Мы подавали спиртное конвейером и почти закончили это дело, когда я увидел толстую тётку в норковой шубе и бесформенной мохеровой шапке, в которую обычно подкладывают для формы ещё что-то, вроде старых колготок. На лице у неё было написано изумление, а позади стоял до верху нагруженный «зилок».

Я понял, что это—заказчик.

Который оплачивает рейс.

Который сто́ит как раз как две малолитражки.

— Э-э…— сказала тётка.—Э!

В свете далёких прожекторов блеснули её золотые зубы.

Вот оно, родное! Северное! Узна-ал, узнал своих по зубам и мохеровому головному убору.

— Ты не знаешь, как его зовут?!—грозным голосом спросила она меня.

— По-моему, Дима,—ответил я, пытаясь выиграть время. Почти все ящики сидели уже по своим местам, как воробушки в гнёздышках.—Это же бортоператор,—резонно добавил я.

— Э-эй!—заревела тётка, подняв вверх руку.—Может, хватит уже, оператор?!

Глухой Дима, не поднимая глаз, стал укладывать пайолы. Видимо, у него тут же обострились какие-то другие чувства, например, шестое, то есть «чую ж…». На аппарели осталось два ящика, которые Дима утащил куда-то в глубь салона.

Первый тайм мы выиграли.

Пока грузчики таскали мешки с мукой и сахаром, мы перекурили в сторонке. Кстати, мешок муки—восемьдесят килограмм, сахара—пятьдесят.

Гружёные машины продолжали подъезжать. Прискакали две «газели», видимо, блатные с бритоголовыми водителями, пришла «термичка» заказчика, вернулся снова загруженный ЗИЛ. Покряхтывая под мешками,—время, время!—грузчики сновали в самолёт и обратно. Один ящик разбился, из него на снег высыпались ананасы с вечнозелёными хохолками. Как северные помидоры.

Все сидели по своим машинам или, как и мы, стояли, засыпаемые снегом, покуривали с мрачными лицами вдоль невероятного забора, который, похоже, выполнял ещё и снегозащитную функцию.

Погрузкой командовала Мохеровая Шапка и зорко следила за контрабандой. Дима размещал груз внутри самолёта и мелькал то тут, то там, но подойти к нему было невозможно, и не было никакой лазейки, чтоб засунуть внутрь что-либо из «нашего».

Вдруг он чёртом выскочил из темноты откуда-то позади нас и прошелестел своим механическим голосом, словно сквозь зубы его шипел сжатый воздух:

— Бери окорочка пошли со мной.

Я взял две коробки под мышки и непринуждённо двинулся к самолёту. Дескать, гуляю я тут, несу авиационный инструмент или тару пустую выношу. Дима взял несколько коробок с мороженым.

Мы зашли на тёмную сторону фюзеляжа, куда не попадал свет прожекторов, и «суперкарго», подёргав среди заклёпок какие-то защёлки, открыл на гладкой металлической поверхности лючок. За ним оказалась довольно объёмная полость, в которую я, оглядываясь по сторонам, засунул две свои коробки, потом сходил ещё за двумя, и так далее. Дима открывал всё новые и новые лючки, куда уложился почти весь морозоустойчивый груз.

Один лючок оказался занятым, и Диме это очень не понравилось, он что-то прошипел и захлопнул его.

Потом мы подошли к гондоле, в которую прячется шасси. Там, среди гидравлических трубок и телескопических амортизаторов, бортоператор уверенным движением выдернул какую-то затычку и стал запихивать туда, в темноту, коробки с мороженым.

Господи, я представил, как Ты будешь стараться помочь экипажу в борьбе с неубирающимся шасси или, наоборот, постараешься выпустить его, и внутри у меня всё похолодело, словно я сам находился в этом лючке на высоте десяти тысяч метров.

— Слушай, Дим, а там ничего… это… не заклинит?

— Иди к машине как дам знак кидайте всё подряд никого не слушайте ничего там не заклинит.

Вот! Не заклинит, и всё. Не может заклинить, потому что—проверено, потому что советское—самое надёжное.

— А сколько всего будет загрузки? Сколько там этих помидоров-то?

Хотя я уже и сам примерно представлял, что вес аппарата приближается к критической массе.

«Суперкарго» долго шевелил во тьме своими отмороженными губами и пальцами, потом ответил:

— Около двенадцати главное взлететь всё будет в порядке.

И я вернулся к машине, а Дима ещё несколько раз уходил к оседающему гиганту с сумками и кульками, как в ночную разведку за линию фронта.

Мохеровой Шапки видно не было—наверное, загрузила своё и уехала оформлять документы.

Тут уж «газели» облепили самолёт, как гиены загнанную антилопу, какие-то люди таскали мешки и коробки в салон, уже доверху набитый грузом, обтянутым сеткой. Как ни странно, для всего находилось место!

По толпе провожающих прошёлся лёгкий шепоток: «Экипаж приехал!!!»

Теперь-то, подумал я, всё должно как-то упорядочиться, нельзя же так грузить воздушное судно, у которого впереди пять тысяч километров возбуждённой тропосферы. Как же крен и дифферент, дорогие мои?!

Одна из «газелей», недовольно урча, отползла в сторону, уступив место более сильному противнику.

С экипажем пришло две машины — «газель» и «Волга», обе на прогнутых рессорах. Командир, второй пилот, штурман, радист, бортинженер. И ещё один, которого все называли по имени-отчеству.

Я тоже знал его. Это был так называемый пилот-наставник, двадцать лет бороздивший небо Арктики вдоль и поперёк, снизу вверх и сверху вниз, по диагонали и по окружности. Много-много лётных часов. Буквально на износ, по-северному.

Ас.

Высокий, спокойный, уверенный в себе человек с сединою на висках. Поверх форменного кителя — гражданская поношенная куртка, и на голове барашковая шапка с козырьком, чтоб солнце не слепило.

Тихо и неторопливо, по нескольку раз на дню, в течение недели, пока заказчик собирал по продовольственным базам загрузку, он ходил на местный рынок с клетчатой сумкой на колёсиках и возил.

Что возил?

Да не важно что! Заслужил, и всё!

Кап-кап — привёз.

Привёз — кап-кап.

Таких асов в эскадриле было несколько человек, и каждый из них имел право раз в месяц куда-нибудь слетать. Поучить, понаставлять молодёжь. Может быть, даже провести какие-то учения, на земле или прямо в полёте. Помочь принять решение в экстремальной ситуации или даже создать её, чтоб потом — помочь.

Экипаж тоже чувствовал себя спокойно, уверенно; молодёжь быстренько закидала свои полторы тонны и пошла готовиться к взлёту. А вот блатные как-то излишне суетились, долго искали укромные уголки, куда бы что сунуть, от глаз спрятать. Они же не специалисты, как «суперкарго». А сразу, вот так, на бегу, этому не научишься.

Возились, короче.

— Коля, — спокойно сказал пилот-наставник, — пойди движки включи. Может, побыстрей дело-то пойдёт.

Коля, второй, пошёл и включил. Принял наставление к действию.

Все, конечно, тут же забегали, кричат что-то друг другу, руками машут, но ничего не слышат — двигатели-то ревут-свистят, ветер ураганный дует из турбин.

Поднялась полярная позёмка.

Отовсюду, из темноты, от машин, согнутые фигуры потащили уже всё подряд, как Дима и говорил. Мы тоже не зеваем, тащим прямо на аппарель. Но ставим немного как бы сбоку, скромно, осторожно. Телевизоры с видиками вообще на снег поставили: мол, не наши, но если что — обратно заберём, до следующего рейса.

А чуть в отдалении, под крылом, стоит такая маленькая сумочка болоньевая, и в ней ящичек. Ящичек стоит, а сумочка вокруг него бьётся, вот-вот улетит, разорвётся в клочки. Но не улетает — ящичек не даёт. Думаю, в нём килограммов двадцать-то было!

Восемь блатных пассажиров сидят на ящиках внутри перед аппарелью и тихо смотрят на остающихся, с жалостью, похоже: вам-то не повезло, вас-то не взяли, вы, значит, остаётесь, а мы уже там, за чертой, почти в небесах.

Откуда-то сверху, с груза, сваливается бортоператор Дима, торжественно подползает к пульту и включает аппарель на подъём.

Жужжание есть, а подъёма нет.

Ещё раз.

Подъёма нет, а жужжание такое, как будто батарейки кончились. У-у-у… И тишина.

Вокруг ревёт, снег летит, все стоят, не знают, что делать.

И тут, перекрывая всю эту свистопляску, раздаётся зычный командный голос пилота-наставника:

— А ну, парни, взялись!!!

И все, кто был, мешая друг другу, ухватились за эту чёртову аппарель, уставленную, как на вокзале, вещами, и дружно воткнули её на место.

Клац!

Дрын-нь. Сорвалась с крючков!

— А ну ещё!!!

Клац!

Дрын-нь…

— А ну!!!

Клац!

Дрын-нь…

— Устали! Положили!

Дима сверху помогал, сидя на этой самой аппарели, делал зверски озабоченное лицо. Когда опускали, быстро убрался.

Пилот-наставник немного подождал — и снова:

— А ну, так тя!!!

Клац!

Повисела немного. Дрын-нь…

Димина голова снова в прорези появилась, и он, глядя куда-то в толпу под хвостом, прошептал кому-то одними губами—всё равно не слышно ничего, но все поняли:

— Топор неси.

— А где он?!—прошелестело снизу.

— В туалете.

Этот кто-то шустро побежал в туалет, и через минуту Дима уже ловил хороший такой тяжёленький плотницкий топор.

Тут же сверху раздалось: бам-м! бам-м!

По стратегическому металлу! По крючку этому, мля! Ненавистному.

У бортоператора лицо было как у Чарли Чаплина, когда он сам с собой из-за занавески дрался. И даже по лицу себя бил. У оператора лицо было даже более осмысленное, чем у Чарли. Ведь бил он наотмашь топором. По маленькому такому крючочку.

Хе-хе, повисло!

Повисело.

Дрын-нь…

Клац! Бам-м! Бам-м! Дрын-нь…

Клац! Бам-м! Бам-м! Дрын-нь…

Музыка, едренть! Сюита «Полёт валькирии»!

— О-пус-кай!—это, конечно же, пилот-наставник.

На то он и наставник, и пилот, чтоб всегда вовремя найти единственно правильное решение!

Аплодисменты.

Наставник сам забрался на проклятую аппарель, внимательно осмотрел щель между нею и корпусом и… и вынул оттуда расплющенную такую болоньевую сумочку. Может быть, ту самую, тут я душой кривить не буду. Но—расплющенную!

Занавес. Триумф пилота-наставника. Понятно, он свой хлеб недаром ест!

Ну, дальше всё просто и обыденно: клац! Повисло. Дима глазами: давай!

Но его уже никто не спрашивал, пилот-наставник всё принял на себя. Полетели в щель сумки, телевизоры, видики, кульки, ящики—в общем, всё, что было разбросано вокруг крылатого «Деда Мороза».

С Новым годом, северяне!

Сверху надвинулся щиток, мелькнула в последний раз счастливая физиономия нашего «суперкарго». Потом—рёв, почти грохот, снежный буран, покачивание крыльев. Скрип дутиков по насту—или скрип напряжённых амортизаторов?..

Через два дня я позвонил другу, на Колыму. Он очень удивился:

— Конечно, прилетел! А что там случилось?

Я что-то промямлил в ответ, слыша в эфире собственный неуверенный голос. Поздравил с Новым годом…

С тех пор, когда я вижу ползущую среди облаков «чебурашку», меня переполняет чувство гордости за наш воздушный флот, за людей, которые, несмотря ни на что, работают в твоём небе, Родина.

Спасибо им.

Но на всякий случай я всё-таки вжимаю в плечи голову, боясь получить на неё, и так теперь нездоровую, тридцать порций мороженого или коробку летящих сверху американских окорочков.

Виктор Теплицкий

Из жизни сидящих на подоконнике

Голос

И день-то был тогда пригожий. Настоящий такой, уже апрельский, знаете. А небо — чистое-чистое! Ну, где-то вдалеке, как бы в закоулках, облачка полосками тянутся, а так — голубизна! Хоть ныряй. Да, и ещё — ветерок. Уже вроде как и тёплый, но как бы и не до конца: подует посильнее — поёжишься. Да…

И вот, значит, сидел я на облезлой скамейке в нашем заплёванном скверике, подставлял солнышку небритую физиономию, радовался. И даже гипсовые пионеры среди кустов — не напрягали. Только они-то, безносые, здесь и торчали со своими раскуроченными горнами. Понедельник тогда был — сами понимаете. Разговоров чужих не слышно, машины где-то далеко, и я, помню, развалился так вальяжно, руки раскинул, глаза закрыл, первый ультрафиолет выхватываю. Возле ног пакет; в пакете парочка пивка абаканского холодненького. Трогал я бутылочки ногой, слушал их звон, улыбался.

И только я собрался за первой в пакет нырнуть, тут-то и затрезвонил мобильник. И так некстати эта музыка пришлась! Звонить-то никто не должен был в это время. Если мужик-заказчик, то мы с корешком вчера весь кафель отработали. Линия в линию, всё по чесноку. Да и отпустил он нас без претензий, рассчитался, как обещал. Светка? Но в этот раз я ей всё до копеечки отдал. Пацану на шмотки, шоколадки-мармеладки всякие. Так что звонка я, прямо скажем, не ждал и мобилу доставать не торопился. Вынул, глянул — номера нет. Не высветился. На табло — пусто! Чудно́. Ну, думаю, ладно, не хочешь называться — не надо, хозяин — барин. Но постанова такая мне не понравилась. И я так развязно, что ли:

— Алё.

А там молчат. И молчат как-то по-особому. И сразу въезжаешь, что там не прикалываются и всё не просто так. Я, по правде говоря, напрягся, но не так чтобы сильно, и уже посерьёзней в трубу:

— Да, слушаю. Кто это?

А мне в ответ негромко:

— Я.

И знаете, у меня от этого «Я» всё внутри как перевернулось. Словно куда рухнул. Вот раз — и полыхнуло откуда-то сверху и вмиг опалило всего. Думаю: может, так умирают?

А голос не понять чей, но знакомый-знакомый.

Короче, сижу я на лавке ошарашенный с трубой в руке. Во рту сухо, язык тяжёлый, а почему — не знаю. Вроде ничего такого, а спёкся я моментально, хотя и разговора-то ещё и не было. Ну ладно, разжал губы — и так уже робко:

— А кто это?

А мне в ответ снова:

— Я.

И назвал меня по имени.

Такое не забудешь. Я вот сейчас рассказываю, а меня опять колотит. Да, голос! Он как будто не из мобилы шёл — будто внутри меня говорил. Но когда он моё имя произносил, что-то вспомнилось мне, давнее-давнее. Ну, знаете… как в детстве. Помню: батя рыбалить рано ушёл, до зари ещё, на клёв утренний, а я позже встал. Накинул штормовочку свою и поплёлся на наше место, речка-то — рукой подать. И вот иду спросонья по лесу, ёжусь, тропинку высматриваю. Туман. И свежо так по-утреннему. Птицы заливаются — звонко-звонко, и речка где-то шумит, ласково, по-домашнему. Я по мокрой траве в дедовых резиновых сапогах — ширк-ширк, хлеб в руке белый. А туманище густой-густой, и где-то впереди берег, и где-то там отец. Я так потихоньку, чтобы рыбу не спугнуть:

— Папка-а…

А он в ответ чуть слышно:

— Санька, сюда…

Вот и этот голос… будто отцовский. Как тогда из тумана под говорок речной. Меня даже как обожгло: не батя ли? Да осадил себя тут же: папку я год как схоронил.

А внутри что-то не отпускает. И опять детство вспомнилось. Как мама меня будила. Проснёшься, а глаз не открываешь. Лежишь, в одеяло укутанный, слушаешь, как она у печки с кастрюлями возится, ждёшь. Она, конечно, знает, что я уже не сплю, — и таким голосом, которым одни матери и говорят:

— Ну-ка подымайся, лежебока.

И мне это «лежебока» так нравилось. Такое оно какое-то тёплое, и смешное, и доброе. А ещё солнышко по глазам зажмуренным, и запах печки нашей маленькой, и… И всё это за какие-то секунды, мгновения. А потом из памяти посыпалось, как

вещи из кладовки. Всё подряд: и доброе, и не очень, и за что стыд до сих пор по ночам гложет,—вся житуха моя никчёмная. Вся пролетела перед глазами—птица с крылом перебитым. Эх, променял я золотые тихие утра на первые батины сигареты, из пачки стянутые, да на первые копейки из кошелька бабушкиного. А потом пошло-поехало: «Агдам» из горлышка в кустах, девки в лопухах, враньё—как варенье мазал. Руки откуда надо растут, да голова не к тому месту пришита. Жизнь—как балалайка ненастроенная: бренчит громко—толку мало. В общем, ни кола, ни двора, ни жены, ни бабы, проскакал по верхушкам, земли не видел.

А потом я как очнулся. Сижу с мобильником в руке на изрезанной лавке, под ногами шелуха от семечек. Ветерок волосы треплет, и в глазах непривычно мокро. А в телефоне—тихо. И тут меня как прорвало, кричу в трубу среди сквера:

— Кто это? Кто?

Ответь! Ну же!

Да кто это, Господи?!

Кто это?

Господи!

Молчал телефон, качались ветки, и небо было синее-синее.

Из жизни сидящих на подоконнике

Я живу на пятом этаже. Моя квартира чем-то напоминает раковину моллюска: без излишеств, но со всеми удобствами. Аккуратно прибранная комната с окном на улицу, крохотная гладкая кухня, небольшой коридор.

Мои дни—обычные будни человека. В них я существую. Мои вечера—комфортное одиночество моллюска. В них я живу.

Почти каждый вечер после телефонного разговора с мамой я выключаю свет, сажусь на подоконник, обхватываю ноги руками и… смотрю.

Сейчас идёт дождь. Свет фонарей отражается в подёргивающихся лужах. Небо заволокла холодная и вязкая темень. Капли без устали секут жёлтые электрические круги и пластик автобусной остановки под моим окном. Дождь выстукивает что-то меланхоличное, и в эту монотонность органично вливается шум одиноких машин. Уже поздно, и на улице почти никого.

Я собираюсь покинуть место наблюдения, как откуда-то сбоку появляются двое—парень и девушка. Парень, в пиджаке, джинсах, с сумкой через плечо, спешит к остановке, перемахивая через лужи. Девушка, в лёгком светлом платье, обхватив руками плечи, тянется за ним. Я вижу её мокрые, скрученные в завитушки волосы, жалкую чёлку, закрывающую лоб.

Парень прячется под прозрачным куполом. Следом подходит девушка, садится на узкую скамейку. Друг с другом не говорят. Неужели незнакомы? Непохоже. Он стоит, отвернувшись в темноту соседней улицы. Она неподвижно сидит, глядя прямо перед собой. В конце концов, он выходит под дождь и начинает «голосовать» (я успеваю заметить короткие взгляды в её сторону). Останавливается забрызганная иномарка с шашечками. Парень ныряет на переднее сиденье и что-то кричит ей из машины. Вопрос? Прощание? Она не реагирует. Хлопает дверь, машина срывается с места, окатывая тротуар мутной волной.

Я в замешательстве: такой странный, нерадостный финал…

Девушка какое-то время сидит, опустив голову и обхватив плечи. Потом ставит ноги на скамейку, натягивает край платья на колени и обвивает их руками. Волосы растеклись по плечам, и плечи, как мне кажется, чуть подрагивают. От холода? От плача? Или это воображение?

Я решаю действовать: надо взять зонт, какой-нибудь свитер, вызвать ей такси…

Набрасываю куртку, прыгаю в сандалии, захлопываю дверь. Как же медленно ползёт лифт! Тусклый свет подъездной лампочки, скрип двери. Мокрые морды автомобилей вдоль чёрных окон. Капли выстукивают что-то несуразное по натянутой ткани зонта. Холодно… Огибаю угол дома… чахлые кусты сирени. Впереди маячит прозрачный купол остановки. Ещё немного, и девушка будет спасена! Стоп!!! А как это вообще будет выглядеть со стороны? За кого она меня примет? И что я скажу ей: «Извините, я подсматривал за вами из окна»? Вопросы, как капли по зонту, стучат в моей голове…

Вздрагиваю. Я всё так же сижу на своём подоконнике, обхватив ноги. Да уж!..

…Есть другой вариант. Можно просто открыть окно и крикнуть: мол, не пугайтесь, сейчас спущусь, помогу. Она поймёт. Ей нужна помощь. Всего лишь открыть окно, набрать воздуха в лёгкие и крикнуть—совсем не трудно для сидящего на подоконнике человека…

Дождь не затихает ни на секунду. Капли стучат по жестянке карниза. Лужи дёргаются и пузырятся. Из темноты квартиры-раковины одинокого моллюска наблюдаю жизнь за окном: редкие машины, качающиеся провода, одиноко бредущая фигурка в светлом платье, удаляющаяся из поля зрения.

Я сижу на подоконнике.

Он должен прийти в четыре

Он должен прийти в четыре. Вчерашний звонок вмиг переворошил всё. Словно ветер весело шаркнул по сухой листве. Пыль поднялась и тут же развеялась четырьмя буквами на экране телефона.

Он был немногословен. Просто сказал, что завтра заскочит. Но от этих коротких фраз в комнате будто посвежело, за окном потеплело,

городского снега стало меньше, а февральского солнца—больше. Настолько больше, что этот снег начал наконец-то таять. И тогда я захотела в этом убедиться. Так я решилась.

Почему? Наверно, всё оттого, что он сказал—заскочит. Это прыгучее, смешливое слово вдруг закипело во мне ключевой водой с такой силой, что я отшвырнула плед и ухватилась за спинку дивана. Мамы дома не было, бабушка закрылась у себя перед телевизором, а тело упрямо тянулось за рукой. Так я села.

Боль остро-остро заскребла коготками. Но слово уже безостановочно бурлило тремя весёлыми пузырьками—гласными. Оно будто жило во мне само по себе! Так я поняла: мне необходимо увидеть жизнь—настоящую, не умолкающую ни на секунду. Дойти до окна. Там—за стёклами—она. Играет и кипит. Чтó ей сырой городской ветер или обезображенный снег? О, как же неистово она бьётся в окно!

Я всё-таки поднялась, хотя ноги этого совсем не желали. Как будто слово наполнило только верхнюю половину тела, а нижняя осталась в немоте. Но всё-таки через спинку дивана, край письменного стола, дверцу шкафа я добралась до стены.

Какие глупые картинки на обоях! Как я раньше этого не замечала? Так, куда дальше? А ведь он говорил немного. Сотовая связь и всё такое. Но он обещал. А где будем общаться? На кухне? В комнате? Полчаса? Час? Больше?! Стоп. Прекрати мечтать, дура! Тебе же хуже будет. Я должна отучиться мечтать? Но почему?! Стоп! Стоп, я сказала! Хватит! Сейчас я просто должна опереться двумя руками о стену и идти боком, переставляя негнущиеся ноги.

Я двигалась, выдавливая из себя шаги. Вперёд? Назад? Теперь всё относительно. Теперь у меня всё—относительно, и всё—медленно. В этой комнате жизнь замедляется. Она не скачет. Она плавно останавливает ход. Как и время. Настанет момент—стрелки совпадут и застынут в вечной немоте. Хотя он говорит, что это не так, время плавно вольётся в вечность, а вечность—это безостановочное движение. Вперёд? Назад? Он говорит, что всё определяет наш свободный выбор. У него он есть. А у меня? Почему-то, когда гляжу на комнату, заклеенную тусклыми обоями, заставленную громоздкими, угловатыми вещами, приходят мысли цвета поздней осени—точь-в-точь как на моих рисунках.

Я прошла больше половины пути. Столик у дивана, заваленный таблетками и шприцами, остался позади. Со всем тем, что поддерживает жизнь, но почему-то напоминает о… чём-то другом. Не хочу произносить это острое серое слово.

Да, знала бы о моих подвигах мама! Однажды я ходила к окну самостоятельно. Не дошла. На моё счастье, мама тогда вернулась быстро.

Когда я обогнула книжную полку, у меня закружилась голова. Как в прошлый раз. Стена куда-то медленно поехала. Я помнила: нужно быть ближе к стене и крепко-крепко держаться за неё руками. Как альпинисты, когда идут над пропастью. Он рассказывал мне про горы и сам бывал в них не раз. Я тоже альпинист! Ха! Только они карабкаются вверх, а я двигаюсь куда-то в сторону. Они всё подальше да повыше—от суеты, а я—прямо к ней, в самую гущу. Мне так необходим хотя бы глоток чужой жизни!

До окна всего метр—это пять моих шажков. Пять движений косного тела до чужого, шумного мира. Пять шагов по скальному карнизу. Начали.

Раз. Очередная иллюзия?

Два. Может быть.

Три. Несмотря ни на что, я продолжаю.

Четыре. Зачем?

Пять. Не знаю.

Но когда он придёт, мамы не будет. Нужно его встретить, проводить на кухню, напоить чаем. И мы будем разговаривать! Целых полчаса! А может, больше? А может, время замедлит ход и вольётся в вечность? Ту, что движется вперёд. И я буду нужна! На целую вечность! Целую вечность без столика с лекарствами и мазями! Будет жизнь. Настоящая. Как эта!

Вчера я дошла до окна. А сегодня всё это выглядит глупым и нелепым.

Я стояла, держась за оконную ручку. Смотрела. Слушала. Сначала улыбалась. Потом стали неметь руки, по ногам побежала дрожь. Мелкая. Гнусная. А потом—мерзкое чувство беспомощности, страха и отчаянья. И уже не до чужой жизни—надо спасать свою.

Я искала пути к отступлению, но их не было! Тело застыло в судороге. Тело сдавалось. Я висела над пропастью и чувствовала, как предательски разжимаются пальцы. Я уже была готова закричать, когда в замке зашевелился ключ. Мама!

Она, конечно, меня отругала. Но я знаю, что потом она тихо плакала в своей комнате. Укрытая пледом, без дрожи, я ей сказала, что завтра придёт он.

Скоро четыре. Я сижу в коридоре на пуфике, в руке телефонная трубка, но я жду звонка в домофон. Я открою сама. Мамы нет, и я слышу, как скрипят половицы под неспешными шагами бабушки. На кухне всё приготовлено: две чайные пары, печенье в вазе, конфеты на блюдце, тёплые пирожки под салфеткой, заварник укутан полотенцем; два стула—рядом. До его прихода остаётся совсем немного—всего несколько минут. Я вижу в зеркале своё отражение, часть прихожей, часы на стене и две тоненькие стрелки на серебристом циферблате—одна застыла, другая пока движется. А вдруг он не придёт? Нет, не верю! Сегодня я

настроена жить. Жить — и точка! Жить столько, сколько будет длиться наша встреча. Знать бы только, сколько это по времени. А впрочем, зачем? Сколько бы ни было, я буду каждую минуту проживать, впитывать в себя, как раскалённый песок влагу. Ведь если ты кому-то нужен, пусть даже на короткое время, пусть даже на «заскочить», значит, есть смысл жить. Но хватит умничать, ещё немного — и в тишину коридора ворвётся трель звонка…

Я сижу перед входной дверью с телефонной трубкой в руке. Жду… Он должен прийти в четыре… Должен… прийти…

ДиН стихи

Мария Луценко

На взлётной млечной полосе

День и ночь

Маме и папе с любовью и пониманием

День поучал родную ночь
и говорил: «Смотри
не трать под вечер силы, дочь,
включая фонари!

Твой свет неясный завлечёт
в ловушку светлячка.
Пускай подремлет звездочёт…
Не стоит потакать

влюблённым паркам и садам,
звезду получше скрой!
Герою я её отдам,
когда придёт герой.

Зачем на всенощной свече
велит стоять поэт,
и воспевает он зачем
кружение планет?

Стихи его не стоят свеч.
Дороже стоит воск!
Заставь поэта раньше лечь —
Не то расплавит мозг.

Светила в небе погаси,
На небо не мани.
На взлётной млечной полосе
нам не нужны огни!»

Дочь возмущалась:
«Днём — с огнём…
А ночь… И без огней?!»
Но день уверен был в одном:
как жить — ему видней!

Варраван

Шепни на ухо мне, что сам устал
от парадоксов мира несусветных…
Зачем возвёл на белый пьедестал
своих надежд нас, слабых, глупых смертных?

Великий ум с сомнением в Тебя
Ты людям дал. И вечность дал на время.
О праведной любви Твоей трубя,
на брата брат идёт! На племя — племя!

О, сколько войн принёс Твой тяжкий крест!
Поди спроси любого иноверца,
как много нынче праведников есть,
что веруют — и не имеют сердца!

Кто с сердцем — нынче знает только нож!
Живые — лживы! На слово не верь им!
Покуда трижды сам не провернёшь
заветный ключ под левым подреберьем!

Я — варвар!
Нерв мой рван! Я — Варравван!
Но равен вам я, подлый, злой, паршивый!
Неужто я, мой Боже, виноват,
что оправдать меня толпа решила,

чтоб дать воскреснуть Сыну Твоему?
Зло тоже крест несёт и терпит муку…
Но если зло живёт не по уму,
спустись к нему, протягивая руку,

и стань Любви божественной учить
того, кого Ты вычеркнул из списка!
Здесь степь… И мы не в силах отличить
взгляд василька от взгляда Василиска!

Евгений Мартынов

Вшивый

Согласно сводке Информбюро, переданной по репродуктору хозяев, бабушки Ули и её мужа — дедушки Павла Гавриловича, которую Женька слышал перед уходом, фашисты не могли противостоять нашей силе! Откатывались. Советские войска сражались уже за пределами владений великой Родины. И *все жители Союза* без исключения (так представлял себе ситуацию Казанцев Женька, шагающий в школу) понимали, что враг будет разбит, победа будет за нами! И, наверное, недалёк тот день, когда Гитлер *капитулирует*!

Жизнь — мгновений лад.

По каким-то неведомым Казанцеву причинам изменили расписание занятий, и класс 7 «в» теперь учился в первую смену.

Сумерки. Трепет снежинок чарует.

Серенький день. Пролетали уроки…

На последнем — литература.

— Что ты всё ёрзаешь, Крендель, чешешься?!.. — со свистом прошептал Гришка Чуркин, поворачиваясь за партой всем туловищем, и, подозрительно пристально глядя ему в глаза, отодвинулся к краю общей скамейки. Лицо Женьки без спроса владельца побагровело до верхушек ушей. Ольга Михайловна, их классный руководитель, молча вывела на доске (белым по чёрному) прописными буквами: «*ТЕМА УРОКА: БАСНИ КРЫЛОВА*».

И тут вдруг Гришка Чуркин, нетерпеливо привскакивая, стал тянуть вверх руку, просить слова. Затараторил:

— Можно? Можно?!.. — обращая внимание учительницы на себя.

Женька, повернувший голову в его сторону, с ужасом узрел, что крупная, ядрёная вошь, как с луны слетев, пересекает невидимую границу парты, переползает на территорию Чуркина!.. Казанцев хотел было придавить её ногтем большого пальца, но Гришка отпихнул его руку…

— Ну что тебе? — недовольно вскинув подбородок, спросила Ольга Михайловна, обратив наконец-то внимание на Гришку. — Что случилось, спрашиваю?!..

— Ольга Михайловна! Пересадите меня на другое место!.. — завопил Чуркин.

Казанцев онемел даже.

— Это ещё почему? Вон Женя совсем уж небольшого роста, сидит с тобой на задней парте и не просится, а ты вон какой вырос, — рассудительно выговаривала учительница.

— Да вы гляньте, Ольга Михайловна, он же вшивый!.. Ну подойдите и посмотрите, если не верите!

Женька снова хотел было сникнуть ладошкой непрошеную перебежчицу, но Гришка и на этот раз опередил его и огородил виновницу этой сцены своей ладошкой, прошипев:

— У, оглоед!

Ученики повскакивали из-за парт.

— А ну-ка все по местам! — скомандовала классная дама, но, видимо, заинтригованная необычной ситуацией, подошла к их парте и, вглядевшись, брезгливо поморщилась и промолвила: — Ну и ну. Хорошо, Гриша, подумаю… Я кому сказала, сядьте на свои места! — повысила она голос, поворачиваясь лицом к классу.

Побледневшие было щёки Женьки наливались кровью, из глаз брызнули слёзы.

Не хватало ещё зареветь, бичуя себя, подумал Казанцев, силясь сдержаться.

— А впрочем, — после непродолжительной паузы, подходя к первому от двери ряду парт, подперев указательным пальцем правой руки щёку так, что появилась небольшая ямочка, Ольга Михайловна заговорила, но снова *призадумалась*. И через какие-то полминуты распорядилась, определяя сопровождающим жестом руки действие: — Ребята этого ряда, встаньте и слушайте меня внимательно!

Ученики незамедлительно поднялись со своих мест, недоумевая.

— Вы сейчас соберёте учебные пособия и переместитесь на одно место ближе ко мне. Понятно?.. Ну вот. Разъясняю: Варя от этого момента будет сидеть здесь, на первой парте, а Витя перейдёт на её место, и так по всему этому ряду. С последней парты на предпоследнюю переместится Вова.

Ребятишки наконец-то поняли её требование и *засобирались*.

— Женя Казанцев поменяется местами с Петей Меченым, — командовала учительница.

Сборы были недолги. И когда класс в основном успокоился, Ольга Михайловна завершила:

— Не крутитесь!.. Таня Незнамова, не оборачивайся!..

Женька оказался один за партой. Сник. Сдвинулся к стене, что ближе к коридору.

Очутившись в изоляции, он машинально и в растерянном состоянии, со слезами на глазах, раскрыл тетрадь в косую линейку, обмакнул пёрышко «Пионер» в чернильницу и дождался, когда никчёмная *капелька* наконец-то упадёт в устье непроливашки.

«*Шлёп!..*» Вывел с красной строки, стараясь соблюдать в нужных местах *нажим* и держа положенный *наклон*, как учила его любимая первая учительница (на чистописании): «*ТЕМА УРОКА: БАСНИ КРЫЛОВА*».

Прозвенел, взорвал атмосферу долгожданный колокольчик, оповещая о конце урока, а для подавляющего большинства учеников — об окончании занятий.

Казанцев Женька сгрёб собранную заранее сумку, сгорбившись, глядя в половицы, «вшагнул» в образование потока соклассников. Многие сорванцы не преминули оглянуться и крикнуть:
— Эй, Крендель вшивый!.. Ну ты, вшивый!

Женька был *вынесен* сначала в широкий, кишмя кишащий галдящей ребятнёй коридор, подхвачен этим (*турбулентным*) течением и выброшен в ограду, а затем и за пределы школы, на улицу деревни Калачовки. *Сердечко Женькино трепетало...*

Навострять лыжи для следования в Увальную Битию уже не приходилось, потому что Казанцев теперь жил неподалёку от школы, в переулке через пять-семь домов по направлению к детдому. После того злосчастного случая, когда он заблудился, ему сняли-таки угол у дедушки с бабушкой, как и разумела тётка Марья. После того досадного случая Женьке строго-настрого наказали не приходить в детдом, в Увальную Битию, в середине недели и даже лыжи велели сдать руководителю физкультуры и военного дела.

«*Кто бы мог подумать, что ты доживёшь до такого дня?!..* Несчастный».

Поднявшийся авторитет Казанцева после его сочинения «В подшефный госпиталь», (в котором он рассказал, *как* декламировал отрывок из «Как закалялась сталь» раненым) рухнул на ещё *более низкую отметку*.

Сыпал мокрый снег. Женька пришёл на квартиру не сразу.

Заледенелый, униженный, он открыл калитку, поднялся на крыльцо, дёрнул за скобу двери.
— Ну вот и ты пришёл, — ласково проворковала бабушка Уля. — А я как знала — на стол накрываю. Раздевайся, Женя, ужинать будешь. Пока светло, а за тобой, должно быть, скоро приедут, суббота сегодня, подкрепишься перед дорогой.

Баба Уля — маленькая, но значительная! Подвижная. Веснушчатая. Лоб у неё высокий — наверное, умный. С морщинистыми (в сеточку) щеками, но это ей было даже к лицу. Глаза живые, весёлые, озорные такие. В простенькой кофте с отложным воротником, застёгнутой на все четыре пуговки. В платке ситцевом, синем в белый горошек, затянутом под подбородком в узел, а когда и вперехлёст сзади на шее. Руки у неё сильные, с полнокровными венами...

Женька снял шапку и пальтишко. Повесил их между шубеек, подхватил сумку за лямки, подошёл к своей тумбочке, привезённой из детдома (она стояла между кухонным столом и кутью), но не стал выкладывать содержимое сумки, а небрежно поставил её возле, пинком подвинув к тумбочке вплотную. Сходил к умывальнику, вытер о полотенце руки.

Молоденький петушок в деревянной клетушке, что расположена от порога вдоль горничной стены, неумело, дерзко, шутейски так, загорланил и куриц встревожил: закудахтали.

Женька подошёл к столу и пополз на заднице (как младенец по полу) по лавке, едва не касаясь спиной стёкол окошка. Остановился на «своём» месте (в простенке между окон) и присмирел. Бабушка Уля, в старом переднике, налила половником щей, горячих-прегорячих, в большую тарелку и поставила перед ним. Отрезала горбушку. Женька оттаял вроде, даже заулыбнулся, себе на уме. Углубился в еду и размышления. Сопит, изредка почёсывая голову — ему, как старшекласснику, разрешили носить чёлку. Вспомнились школьные неприятности.
— Будь как дома, Женя, — промолвила добрая бабушка Уля.

А через какое-то время вдруг спросила:
— Что ты чешешься всё, хлопчик? Ай вши завелись?..

Женька вздрогнул, вылил зачерпнутые щи в тарелку и посмотрел умоляющим взглядом на бабушку. Кусок хлеба застрял в горле, Казанцев чуть не подавился.

«Вот допью молоко и собираться буду в детдом...» — думает.

После обеда баба Уля убрала со стола и принесла на небольшом листе из жести глиняные игрушки, налепленные им и ею, бабушкой, недели полторы тому назад. Высохшие и обожжённые! Коровушки, Мишки-медведи, суслики-свистульки, крестьянин с трубкой, нищенка, конь, Полкан... ну и так далее! Женька стал их, то одну, то другую, поднимать, рассматривать, любоваться.
— Ловко!.. — вырвалось.

Поглядывал то на игрушку, то на Ульяну Ивановну. Улыбался.

— Ну, насмотрелся, Женя? Давай я их составлю на полку. Приедешь в понедельник — расписывать будем. Я красок в сельпо подкуплю. Скоро уж и Михаил Яковлевич Рогозин приедет за тобой. Давай-ка я тебе в головушке поишшу, может, вша какая завелась, высмотрю да выдавлю, ложи голову-то на стол.

Женька глянул на неё и чуть-чуть не заплакал, а она спокойным голоском продолжала:
— Да не стесняйся ты, мы же ведь, женщины, бабы-то, ишшемся. И ничо. Соседка — у меня, я — у соседки. А как же? Давай-давай…

Женька нехотя склонил перед ней голову. Она взяла в руки кухонный нож, надела очки…
— Ох, Женя ты, Женя! Ну, сынок, как же это?!..

Когда просмотр головы был закончен, она велела Женьке снять защитного цвета толстовку, а потом и нижнюю белую рубашку. Вывернула её наизнанку, присмотрелась и подала Женьке, строго сказав:
— Одевай — тут ещё и гниды, а их не перещёлкаешь, в детдоме разберётесь.

С улицы пришёл дедушка Павел Гаврилович. Разделся. Не спеша сел на лавку ближе к закутку. Бабушка что-то ему нашёптывала. По секрету.

Заскрипела дверь.
— Здравствуйте! — громко произнёс дядя Миша, захлопнув дверь за собой и проходя от порога ближе к столу.

Юный петушок — золотой гребешок в курятнике снова было запел, завопил, но смолк почему-то. Гаврилович поднялся, встала и баба Уля. Дядя Миша пожал дедушке руку. И поклонился Ульяне Ивановне.
— Как поживаете?

Повернулся к Женьке:
— Одевайся, Женя, поторапливайся, поедем.
— Погоди-ка, Михаил Яковлевич, присядь-ка, разговор имеется.

Женька прислушался.
— Вот что, — она прокашлялась, — вот что я хотела тебе сказать: сегодня у Жени после школы вшей в голове искала. Их там… — и покачала головой, — видимо-невидимо. Передавила. И гнид тоже. Потом велела ему показать нижнюю рубашку. Вывернула её и ужахнулась!.. Не поверишь — там их не перебьёшь. Разве что утюгом… Я ишо в его постели не искала. Посмотрю. Найду — вынесем в сени или сразу на улицу. Вымерзнут, поди. Да кто его знает? Воша — она живучая, можа, и уцелеют… И мы с дедом так решили, Михаил Яковлевич, передашь это решение наше директору Дубинину.

Она снова прокашлялась.
— А оно такое: мы… — глянула на своего дедушку. — Ну что помалкиваешь сидишь, на меня ответственный разговор переложил? Не буду долго тебя задерживать, Михаил Яковлевич… Мы, если Женю в понедельник привезёшь вшивым, мы вам отказываем в квартирантстве! Доложи директору. Так, что ли?

Она глянула на деда, и он кивнул, соглашаясь с её доводами. А она продолжала:
— И жалко, Михаил Яковлевич, парнишка-то хороший. Помогает по хозяйству. Женя для нас как внучек, что ли. Своих-то детей нетути. Были, да померли… Петя — от скарлатины в раннем детстве, а Гриша — от сыпного тифа в четырнадцать лет. Вот в погреб лазили за овошшами да за картошкой — глину там усмотрел. Женя-то. Оставили для замазки щелей печи, появятся — подымливать станет, так вот принёс ведёрко. Сколько-то водицы добавил, замесил и лепить стал. Да ловко!.. Как вроде от Бога руки-то умные, умелые! И меня в детство вманил. Погляди-ка вот, — она подошла к полке, на которую игрушки составила, и сдвинула *занавесочку*…
— Мы с дедом, — она кивком, подбородком указала на Павла Гавриловича, — ведь из деревни Гарь Каргопольской волости Архангельской губернии, так у нас тамо-ка в зимнее-то время ремеслом разным занимаются и теперь ишо. Кто режет из дерева ложки, игрушки, кто лепит из глины. Там на одном крестьянском труде не прокормишься — земли мало. Это здесь, в Сибири, широко, раздольно, а там нет. Так что я-то знакома с этим занятием, а вот от кого Женя-то научился? Лепить стал. Да ить и хорошо *лепит*!.. И меня как вроде растормошил, разбудил. Вспомнила. Вот мы с ним и занимаемся в свободное время. Ребячимся. Но и дед даже иногда присаживается! Печку русску натоплю — дров берёзовых два беремя — обожгу, когда игрушки хорошо высохнут.

Увлеклась бабушка Ульяна Ивановна.
— Мы-то сюда, в Сибирь, перед самой войной приехали. Как чуяли. По здешному-то мы — кацапы… — и вдруг как бы опомнилась, договорила своё окончательное решение: — Но всё равно, если привезёшь Женю в понедельник вшивым, откажем!..

Она строго посмотрела в глаза дяде Мише и перевела взгляд на деда, всё так же сидящего с краю стола на лавке. Он снова закивал, не промолвив ни слова.

Павел Гаврилович — высокий, поджарый, с бритыми щеками и седыми жёсткими усиками, похожими на две зубные щётки (без ручек, конечно), состыкованными под носом. Седые волосы стрижены «под польку». В старенькой глаженой гимнастёрке, перетянутой солдатским ремнём на поясе, и в широких шароварах, заправленных в голенища поношенных яловых сапог (это по дому да в ограду, пока погода не установилась, а на службу — пимы наденет). Работает он сторожем сельпо. Доказательством тому — ружьё одноствольное, висящее на гвозде в горничной стене у входной двери над курятником-клеткой.

Женьке стало невмоготу выслушивать бабушкины рассуждения, и он, наспех одевшись, выскочил на улицу со слезами на глазах, готовый в любой момент взорваться, разрыдаться.

«Сплошные сов-*падения*. Будто на заказ нынче, начиная, можно сказать, с полуночи, всё круче и круче. Точно, что спина леденеет, как вспомнишь!..» — подумал с горькой самоиронией.

За оградой подошёл к коню и погладил его по лбу. Проверил узел супони — одной-то рукой дяде Мише трудно хорошо завязать. Опустился на подстилку из сена в короб кошёвки, с правой стороны по ходу. Затолкал сумку себе под ноги. И заплакал горькими… Неутешно.

Скрипнула калитка. Вышел дядя Миша. Отвязал мерина Удалого и завалился в короб. Дёрнул за вожжи. Поехали.

Доро́гой дядя Миша вдруг натянул вожжи, притормаживая коня, переводя его с рыси на шаг, повернул голову в Женькину сторону и заговорил:

— Женька, я вижу, ты разволновался. Не переживай, выбрось из головы. Пустяки сущие, но всё же правда то, что наговорила на тебя хозяйка?

Казанцев кивнул. Хотел промолчать, но не выдержал, заговорил страстно, со слезами на глазах, будто бы отчёт держал:

— Дядя Миша, ты, может, не поверишь. Но вот честное пионерское слово! У нас в простынях этих широких, в спальном белье и в нижних рубашках и трусах столько их расплодилось!.. Да у нас-то на втором этаже, в спальнях старших, ещё ладно, поменьше, а вот у ребятни Вовкиной группы, так там, вот честное пионерское, Гарька Потехин, моего Вовки сосед по кровати, их, этих вшей, вывернет рубаху наизнанку и со злости коренными зубами давит, швы прожёвывает. Правда-правда! Рычит и прожёвывает. Да ещё и что-то сердито приговаривает!

— Ну, Женя… а что же воспитатели-то, не видят, что ли?!..

— Не знаю. Может, и видят.

— Вот это да, вот это новость!.. Диво! Ну, брат!.. Расскажу Марусе. А она, наверное, воспитателям и директору Дубинину доложит. Что-нибудь придумают… без прожарки не обойдёшься… Ох ты, косуля, смотри-ка ты, как сиганула!.. — и взмахнул плетью.

Долго ехали молча. Женька немного успокоился. Хватал ртом свежий воздух, смотрел по сторонам и думал: «Надо же, как это я ухитрился — спутал эту дорогу с той, что привела меня в Аксёново. И при выезде из Калачовки, и потом, в начале пути. Совсем непохожи: эта — шире и торная. И растительность непохожая. Можно было бы разглядеть. Да и вернуться, пока было не поздно»

Снег застилал глаза.

Раздвинулись тучи. «Полыньи» на небе. Солнце-шаньга — на закат.

Нелепость какая-то. Затемнение нашло тогда… Вспомнил озеро-болото Пёстрое, *лавды*… утомился, начал погружаться в дремоту…

— Ох, Женя, — разбудил его дядя Миша, — совсем из ума вышибли, надо же, эти ваши «последние известия»!.. Вот, на-ко тебе передачу от Маруси. Проголодался, небось, время-то позднее, поди, не евши, а до деревни ещё далеко.

— Да, нет, дядя Миша, бабушка Уля меня покормила перед дорогой. Она добрая. Славная…

— Ну, всё равно, не возвращать же.

Казанцев развернул тряпицу и несколько слоёв газетной бумаги, а там — два толстеньких нежных творожника, вроде ещё тёпленьких — пар ещё, дух вкусный, и каждый творожник — между двумя румяными оладышками, как будто мороженое, которое в Омске покупал на вокзале с папкой тогда, перед отъездом в Шараповку. Только побольше. Тогда только-только война началась, а уже три года с лишним *длится*…

— Это мои любимые, — заметил дядя Миша.

Женька заулыбался, а дядя Миша повернулся лицом в сторону мерина Удалого, причмокнул, дёрнул за вожжи и покрутил их свободным концом для острастки. Коняга прибавила ходу…

Марат Валеев

Золото

Счастливый день

Я возвращался из армии. Поезд тащил меня трое суток через саратовские и казахстанские степи, пока не довёз до Павлодара. У меня были деньги на дорогу, причём неплохие деньги — я их заработал в стройбате. Но я так загудел в поезде с другими дембелями, с девчонками-халявщицами, что, когда оказался на перроне павлодарского вокзала, в карманах у меня не было почти ни шиша.

Но я всё же наскрёб мятыми ассигнациями и мелочью больше десяти рублей. За десятку я купил огромную красивую куклу в большой такой упаковке, билет на автобус до родной деревни (ехать надо было ещё сто пятьдесят километров), на оставшуюся мелочь выпил три стакана крепкого чая в станционном буфете и с посвежевшей головой и в самом радостном настроении пошёл на посадку.

Ещё четыре часа езды по шоссе Павлодар — Омск, и вот он, мой родной Пятерыжск! С дембельским чемоданчиком в одной руке и с куклой под мышкой другой, я почти бегом пробежал пару сотен метров грунтовки, соединяющую село с автотрассой, вышел на знакомую улицу и свернул… нет, не к дому, а к детскому саду.

Там сейчас вовсю взрослела моя милая маленькая сестрёнка Роза. Она была одна у нас, у троих братьев, и все мы её очень нежно и трепетно любили. И это я по ней больше всего соскучился и её хотел увидеть в первую очередь. Когда уходил в армию, Розочке было всего четыре года, и мне очень интересно было увидеть её уже шестилетней, которой вот-вот в школу.

Долго сестрёнку мне искать не пришлось: все обитатели садика, десятка полтора-два разновозрастных малышей, гуляли во дворе и беспрестанно щебетали на своём детском полуптичьем языке.

Розу я узнал сразу — её непокорные русые кудри выбивались из-под смешно, по-взрослому, повязанного на маленькой голове платка. И она тоже поняла, что этот солдат с красивой коробкой под мышкой и чемоданчиком в другой руке — её старший брат.

Роза с визгом кинулась ко мне, я бросил на стылую уже, но не замёрзшую ещё землю свою ношу и подхватил лёгонькое тельце сестрёнки на руки, и вознёс его над собой, к самому синему небу, и подбросил её, и поймал, и снова подбросил и поймал, и девчонка от восторга закричала ещё громче.

Воспитательницы с улыбками наблюдали за этой фееричной встречей брата с сестрой, а другие дети молча таращили на нас глаза, плохо понимая, что происходит. Наконец, расцеловав Розу в обе холодные румяные щёки, я поставил её на землю и приступил ко второй части задуманного торжества.

Я не спеша распаковал коробку и вынул из неё громадную, ростом с саму сестрёнку, большеглазую куклу, с мохнатыми хлопающими ресницами и с толстой платиновой косой за спиной, в невообразимо красивом платье, в туфельках на изумительно стройных ножках. И протянул её Розе:

— Это тебе, моя хорошая! Назовёшь её сама.

Роза смотрела на эту красавицу во все глаза и потрясённо молчала (нет, дома у неё куклы, конечно, были, но так, мелочь всякая пузатая. А тут-то!..). Но потом всё же совладала с собой, крепко обняла пластмассовую в пух и прах разодетую красавицу и пролепетала:

— Спасибо!

И мы пошли с ней домой (Розу, конечно, тут же отпустили), держась за руки и каждый неся в руке свою заветную ношу: я — дембельский чемоданчик, сестрёнка — куклу.

Спустя долгие годы мы с сестрой сравнивали свои ощущения от того ноябрьского дня, и он оказался самым счастливым в нашей жизни.

Золото

Тёплым и солнечным майским днём я шёл с автотрассы по грунтовой дороге к родительскому дому — приехал на выходные из райцентра, где трудился после недавнего увольнения из армии.

И тут мне навстречу — дядя Ибрай. В своей обычной рабочей (она же — повседневная) одежде, то есть в телогрейке и ватных штанах, с деревянным ящичком столяра, висящем на изгибе руки, в потрёпанной шапке, клапана которой по случаю тёплой погоды были завязаны наверху, и узелки шнурков забавно торчали в разные стороны искривлённой восьмёркой.

Уставившись на меня одним большущим выцветшим серо-зелёным левым глазом через мутноватую выпуклую линзу роговых очков (второй

был закрыт чёрной матерчатой повязкой по поводу полного его отсутствия, и стекла с этой стороны очков не было), дядя Ибрай радостно закричал:
— Эй, балам, шаво, на выходной приехал?

Он неплохо говорил по-русски, но с неистребимым татарским акцентом.
— Ага! — не менее радостно подтвердил я.
— Пошли к мине, шиво покажу!

Надо пояснить, кто такой дядя Ибрай. Он был главой третьей татарской семьи, проживающей в русской деревне в Казахстане, на Иртыше. Одна была моих родителей, другая — сестры отца, и вот полтора года назад появился он, семидесятилетний старик Ибрай-абый.

Он был из той же татарской деревушки, откуда на целину ещё в пятидесятые приехали мои родители. Потом, в шестидесятых, моя тётка с мужем. И вот в семидесятых появился ещё и дядя Ибрай. Причём с женой вдвое моложе его.

Он по-русски говорил ещё сносно, а жена его, ну, может, чуть хуже. Говорили, что дядя Ибрай каким-то образом умудрился отбить Галию у сильно пьющего и поэтому нещадно бьющего её мужа и увёз куда подальше из той татарской деревни, не то Альметьево, не то Амзя, где они в последнее время обитали.

В нашем селе эта странная пара прижилась быстро. Дядя Ибрай был хорошим столяром и очень сгодился при совхозной мастерской. А молодая жена его была просто домохозяйка.

Я её видел пару раз, когда они приходили к родителям в гости, — всегда с опущенными глазами под надвинутым на чистый белый лоб платком. Симпатичная, хотя с виду вроде как забитая. Но на самом деле не забитая, а чрезвычайно скромная. И что она нашла в этом старике? Но — чужая душа потёмки, и никто не лез им в эти души.
— И чего ты мне покажешь, чего я ещё не видел, Ибрай-абый?
— Золото! — понизив голос, сказал мне старик.

Я с недоверием посмотрел в его единственный лукавый глаз. Врёт, конечно.
— Ну и бражка быпьем, — добил меня Ибрай-абый, поняв, что я заколебался: идти — не идти к нему?

Бражка у него была хорошая. С полгода назад он вот так же зазвал меня к себе, и мы с ним опорожнили трёхлитровую банку на двоих. Холодненькая такая, кисло-сладкая, вроде и не крепкая, а когда уходил — ноги не слушались.
— А, пошли, показывай своё золото! — решительно махнул я рукой. — Родители не потеряют меня, небось. Тем более я и не сообщал им, что приеду на этот выходной…

И мы пошли к дому дяди Ибрая, обыкновенной для нашей деревни саманной мазанке с плоской крышей. Жилище это стояло на земле не первый десяток лет и начало уже опасно скособочиваться (саманные кирпичи имеют свойство со временем проседать).

Но дядя Ибрай в нескольких местах предусмотрительно подпёр стены со двора и снаружи косо приставленными горбылями, так что хата его могла ещё простоять не один год.

Надворные постройки — глинобитные сарай для коровы и курятник, дощатый дровяник — тоже были не первой молодости, но выглядели аккуратными, без следов отвалившейся глиняной обмазки и дыр.

Я также не без удовольствия отметил, что небольшой двор у дяди Ибрая был чистенько подметён и каждая присутствующая на нём вещь имела своё место и не валялась абы как. Хозяин, однако!

Сразу из сеней мы прошли на кухню (две жилые комнаты располагались от сеней в противоположной стороне). Ещё в сенцах мне послышалось, что кто-то там, за дверью в комнаты, поскуливает. «Щенка, поди, старик завёл», — подумал я.

Дядя Ибрай сам стал хлопотать по столу: принёс из кладовки квашеной капусты, огурцов, затем приволок и водрузил во главе стола уже знакомую мне запотевшую трёхлитровую банку, до самой горловины наполненную желтоватого цвета жидкостью с плавающими поверху тёмными изюминками — его знаменитая бражка. Он никогда не гнал самогонки, дядя Ибрай, а всегда пользовался только брагой и от регулярного её потребления постоянно ходил в приподнятом настроении.
— Погоди, дядя Ибрай, а где же твоё золото? — вспомнил я вдруг о заманухе, применённой стариком для того, чтобы я сегодня разделил с ним компанию.
— Тьфу ты, сапсем бабай стал, забыл! — хлопнул себя по лбу Ибрай-абый.

И далеко не пошёл: шагнул к печке, пошуровал в закутке между нею и стеной и торжественно водрузил, пристукнув о столешницу, явно тяжёлый газетный свёрток.
— Вот, малай, смотри!

Я нетерпеливо потянулся к свёртку, на секунду вообразив: а чем чёрт не шутит, вдруг старикан нашёл где-то здесь, в окрестностях села, золото? Когда я был маленьким — ну, лет так десяти, — мы с пацанами случайно выкопали за деревней, у фундамента старинной церкви, самый настоящий клад. Вот нисколько не вру, я ещё об этом целый рассказ написал.

Это был тяжёленький такой, оббитый проржавевшими жестяными полосками и доверху набитый серебряными и медными монетами и большими пачками царских денег сундучок. И мы с пацанами его вмиг распотрошили и растащили по домам всё его содержимое.

Я с тех пор и начал увлекаться нумизматикой, правда, всего на несколько лет, а потом остыл к этому делу. Особенно после того, как,

вернувшись из армии, увидел, что младшие мои братья раскулачили всю мою коллекцию.

Дядя Ибрай поощрительно покивал мне головой, сам между тем набулькивая бражку в стаканы, и я развернул газету. И увидел, что в ней покоился кусок какого-то жёлто-зелёного цвета металла. Я внимательно присмотрелся и понял, что это—обломок какой-то бронзовой или медной втулки, о чём свидетельствовал фрагмент гладкого углубления с одной из сторон куска «драгметалла».

— Выкинь,—почти равнодушно сказал я дяде Ибраю.—Это не золото, а бронза, запчасть какаято сломанная.

— Да што ты?!—с сожалением воскликнул дядя Ибрай, сверкнув в мою сторону единственной выпуклой линзой своих очков.—И-и-и-и, балам, а я-то думал—буду отпиливать по кусошку, продавать, а как деньги накоплю, новый дом куплю, лошидь, всякий шурум-бурум для свой Галия…

И трудно было понять, шутит он или в самом деле расстроился. Вообще-то я понимал устремления дяди Ибрая: обстановка в его доме была чисто спартанская, одежда столь же непритязательная, вот в чём он ходил на работу, в том ходил и всегда. Впрочем, в деревне тогда многие жили ненамного лучше его, заработки в совхозе были не особенно большие.

— Да, а где же твоя Галия, дядя Ибрай?—вспомнил я про его жену, когда мы выпили по первому стакашку прохладненькой и кисло-сладкой бражульки и захрупали квашеной капусткой.

— Там, дома,—неопределённо махнул рукой дядя Ибрай и снова потянулся к банке.—Ребёнок няншит.

— Какого ребёнка?—не понял я.—Вам кто-то из соседей своего ребёнка оставляет?

— Никто не оставляет,—пробурчал дядя Ибрай.—Сами родили…

Я чуть не подавился только что откушенным куском пахнущего укропчиком и чесноком огурца, закашлялся, замахал руками.

Дядя Ибрай встал со стула, зашёл мне за спину и пару раз хлопнул по спине своей заскорузлой тяжёлой ладонью. Огурец провалился внутрь, и я задышал свободно и часто.

— А чего ж сразу не сказал, что у тебя такое событие?—утерев выкатившиеся из глаз слезинки, спросил я дядю Ибрая.

— Да какой такой событий?—сокрушённо вздохнул дядя Ибрай.—Я малай, мальшик хотел, а Галия, зараза, депка принесла…

— Так пойдём, покажешь мне свою «депку»,—с жаром сказал я.—Это ж надо: в семьдесят с лишним… Сколько тебе точно, Ибрай-абый?

— Щас скажу,—закатил к потолку свой единственный глаз Ибрай-абый и заморгал им, подсчитывая в уме.—Симьдисят шетыре в июле будет. Придёшь на день рождение?

— Вот, взял и родил в семьдесят четыре!—продолжал восторгаться я.—Это не каждый сможет… А ты смог!

— А шево там мощь?—искренне удивился Ибрай-абый.—Ну, пошли, покажу тебе мою кызым.

И мы торжественно прошествовали через сени на жилую половину дома.

Галия, всё в том же белом платочке, надвинутом на лоб, сидела на кровати и кормила ребёнка. Увидев нас, она засмущалась и быстро упрятала белую полную грудь за вырез цветастого платья, стала ловить тонкими пальцами пуговицу, чтобы застегнуться. Плотно запелёнатый ребёнок недовольно закряхтел.

— Привет, Галия!—дружелюбно поприветствовал я молодую жену дяди Ибрая. Ну, по крайне мере, по сравнению с ним молодую.—Можно посмотреть на девочку? Как назвали?

— Алтынай,—смущаясь, сказала Галия и повернула ребёнка от себя, чтобы я смог его разглядеть.

Собственно, смотреть там пока было не на что: недовольно искривлённое (не спросив, отняли от титьки) сморщенное младенческое личико. Но что мне надо было, я разглядел.

— Дядя Ибрай, да она вся в тебя!—радостно воскликнул я.—Глаза точно твои, такие же серо-зелёные. Красавицей будет! Вот оно, твоё настоящее золото, а не та твоя железяка! Не было у тебя, как говорится, ни гроша, и тут вдруг Алтынай! Золотая девочка! Вырастет, замуж удачно выдашь—кто откажется от золотка?—и будете вы жить за богатым зятем как за стеной, как сыр в масле кататься будете!

Бражка, по два стаканчика которой мы уже успели пропустить, пробудила во мне самый настоящий фонтан красноречия, и я сыпал и сыпал любезностями и похвалами как из рога изобилия.

Дяде Ибраю и Галие мои слова явно пришлись по сердцу, они разулыбались, порозовели. А маленькой Алтынайке по фигу была эта благостная атмосфера. Она хотела есть, но титьку с тёплым вкусным молоком ей почему-то никто не предлагал; она возмутилась и выразила свой протест доступным ей способом: стала пискляво плакать, негодующе болтая в воздухе маленькими кулачками, как будто грозя нам.

— Ну, китыгыз, китыгыз (уходите.—*тат.*),—посуровела Галия.—Нам кушать надо…

И мы на цыпочках вышли с дядей Ибраем в сени и вернулись на кухню.

— Ну ты, дядя Ибрай, даёшь!—восхищённо сказал я, стукаясь своим стаканом с бражкой о его.—Ты меня извини, конечно, но в твоём возрасте завести ребёнка—это, мягко говоря, поступок.

Дядя Ибрай не спеша опустошил свой стакан, прямо пальцами отправил в рот жменьку капусты, с хрустом прожевал её и только потом ответил мне:

— Ну, так полушилось, балам. Не полушалось, не полушалось—и полушилось… Как ты говоришь,

за богатый зять её отдать? А вот пусть растёт, там карабыз (посмотрим).

У меня и в мыслях не было шутливо заикнуться насчёт того, почему это у дяди Ибрая и его молодой жены долго не получалась — во всяком случае, около двух лет уже прошло, как они сошлись, — а тут вдруг получилось.

Во-первых, несмотря на солидный возраст дяди Ибрая, я рисковал бы получить от него или трёхлитровой банкой с остатками бражки, или куском его «золота» по голове. Во-вторых, я стопроцентно был уверен в их совместном производстве этого маленького сокровища по имени Алтынай: Галия, воспитанная в мусульманских традициях в татарской деревне и ведшая замкнутый образ жизни, была вне всяких подозрений. И в-третьих, в ещё младенческом личике Алтынай уже можно было разглядеть черты, доставшиеся от отца, то есть дяди Ибрая. По крайней мере, глаза — стопроцентно.

— За твою дочурку! — поднял я очередной стакан, впрочем, чувствуя, что пора бы уже домой, к родителям, а то дядя Ибрай пойдёт за второй банкой, а это будет явно лишним.

— За дощурка! — согласился дядя Ибрай.

Мы чокнулись, выпили, и я стал собираться домой.

— Так что, мине этот, как ты говоришь, бронза выкинуть? — спросил дядя Ибрай, кивая на всё ещё лежащий на столе кусок металла.

— Как хочешь, Ибрай-абый, — сказал я. — Хочешь — собирай их в кучу, такие куски цветного металла — медь там, бронза, алюминий, а потом отвезёшь в райцентр и сдашь, тебе за них денег дадут. Не думаю, что много, потому что много ты у нас этого металла не найдёшь.

— Ну, тогда выкину, к шайтану, раз не золото, — решил окончательно дядя Ибрай. — Может, ещё посидишь, а? У меня много бражки.

— Не, не, дядя Ибрай, — замотал я головой. — Мне хватит, спасибо. А то приду домой к маме с папой пьяным — чего им скажу?

— Скажешь, Ибрай-абый был, дошка, моя Алтынай, обмывали! — горделиво заявил старик и растроганно шмыгнул большим пористым носом. — Моя золотая дебошка!

— Вот правильно! — согласился я. И повторил уже однажды сказанное: — Вот кто у тебя настоящее золото! Ну, дядя Ибрагим, спасибо тебе за всё! Живи долго-долго, пока Алтынай не вырастет и внука тебе не подарит.

— А то! — согласился дядя Ибрай.

И мы пожали друг другу руки…

ДиН пародия

Евгений Минин

В разладе и разброде

Рифмень

В лесу гуляет виктор цой
с перебинтованной лицой…
Виталий Кальпиди

Я стихотворец неплохой,
импровизирую стихой,
придумал новую рифмень,
что все поэты — обалдень.
Теперь на строчки, чёрт возьми,
иными я смотрю глазьми.
Могу отныне каждый день
писать по сто стихотворень,
чтоб с перекошенной лицой
читатель крикнул: молодцой!

Само собой

Поскольку воздух сам себя не дышит,
а бог не хочет верить сам в себя…
Виталий Кальпиди

Душа моя в разладе и разброде,
от напряженья прошибает пот.
Смотрите: снег — он сам к себе не ходит,
ну а вода сама себя не пьёт.
И тишина сама себя не слышит,
себя никак не вылечить врачу.
И стих такой себя сам не напишет,
лишь только мне такое по плечу.

Юрий Серов

Снег

Стюардесса предложила мясо или рыбу.

В салоне самолёта оживлённо ужинали, распаковывая масло и кусочки хлеба. Передо мной появилась пластиковая коробочка с выбранным блюдом, чашка чая и влажная салфетка, чтобы освежить руки.

Я отхлебнул из чашки, согревая желудок, и приступил. Вокруг шумели десятки пассажиров, но дискомфорта не создавалось. В Москве все давно научились не замечать посторонних. Шумит под окнами молодёжь, бренчит в ночи гитара и мешает уснуть—встань и закрой окно. Оппозиция собралась на митинг—сделай вид, что не видишь бурлящей, недовольной властью толпы, и проходи мимо. Затевается пьяная драка у метро—стеклянными глазами в пол и по стеночке, по стеночке. Не замечай никого, центр Вселенной—ты.

Ужин прекратился. Контейнеры и чашки забрали, пассажиры насытились и напились, откинулись на кресла. Уткнулись—кто в ноутбуки, кто в планшеты, кто в газеты, кто закрыл глаза и отдыхает. Я у иллюминатора, подо мной непроглядная тьма. Час как вылетели из столицы, плотность городов уменьшилась, и огни селений встречаются редко. Страна огромна, а что делать с землёй, мы не знаем.

Отыскал в спинке кресла автомобильный журнал, начал читать, но мешались мысли, и я предпочёл разглядывать картинки. Листал страницу за страницей, размышляя о родителях, о работе, о выбранных машинах. Думы громоздились одна на одну, образовывали кашу, и сон, обняв коварными мягкими лапками, убаюкал меня, унёс во владения Морфея.

Разбудил пилот, бодрым голосом сообщая, что через двадцать минут самолёт приземлится в аэропорту Нового Уральска. Я размял виски, поднял упавший на пол журнал, спрятал в сумку. Пассажиры выглядели возбуждёнными, лётчик наматывал круги, сжигая топливо, а мне никак не удавалось прийти в себя. Не люблю спать ни днём, ни вечером: потом ходишь варёный и ночью вертишься с боку на бок. Ничего хорошего. Вот и сейчас состояние, будто на голову примерили колокол и от души врезали по нему кувалдой. Процессор мозга шумит и отдаётся эхом в ушах.

Объявили посадку. Самолёт устремился вниз, паника захватила живот и активизировала нервные клетки. Люди замерли в ожидании толчка о землю, шасси коснулось асфальта, самолёт тряхнуло, и он понёсся по полосе, завибрировал, останавливая набранную скорость. Я потёр вспотевшие ладошки и выдохнул. С детства боюсь высоты, но полтора суток в душном поезде с пьяными дембелями или ребятами бандитского типа не украшают железные дороги. В России умеют бороться с фобиями.

В аэропорту сообщили о прибытии московского рейса. Родина встречала крепким тридцатиградусным морозом, под ногами хрустел снег, а лицо, привыкшее к умеренному климату, с непривычки щипало и покалывало. Я прошёл до выхода, неся сумку с биркой «Ручная кладь», и, так как багаж не сдавал, через минуту оказался на улице. Вот он, Новый Уральск, город, где я родился, вырос и научился жить. Город, который я покинул, но всё равно люблю.

У стоянки такси я увидел отца. Высокий статный офицер, не теряющий военного шарма и в гражданской одежде, папа стоял, облокотившись на крышу автомобиля, и курил. Заметив меня, махнул рукой. Обнялись, хлопая друг друга по спине: в сорок шесть старший был в прекрасной форме, обладал недюжинной силой, тренируясь и бегая по утрам, и мои позвонки хрустнули, отдавая дань богатырским мускулам. Душа трепетала. Вдыхая запах отцовского одеколона, я осознавал, что и вправду вернулся. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, и не в Казани, я—дома.

— Вот и приехал,—сказал я.

Как чертовски уютны маленькие города. Главный проспект, широкий, яркий от неоновых вывесок и фонарей,—словно жёлтое сердце, от которого отходят сотни артерий-улочек—полутёмных, с серыми панельными домами в пять и девять этажей. На проспект выходят те, кто живёт за «сердцем», они шагают по асфальту, щурясь с непривычки от огней, показывают, что тоже являются частью системы и рано ещё их списывать со счетов. Правительство видит в нас мусор, и я, ребята, с вашей свалки.

Уральск не изменился за последние два года. Не прибавилось новостроек и торговых центров, не видно магазинов и бутиков. Но на Комсомольской площади, рядом с театром драмы и памятником Ленину, возвышается высокое здание российского

банка. Будто прыщ на лице, оно уродует красивое лицо города. Сегодня появился банк, завтра построят автосалон, послезавтра привезут инвесторов: всё для того, чтобы потребитель насытился и выложил денег в бюджет. Для меня, человека, в детстве бегающего в крохотный ларёк за хлебом, это дико и совестно, я стыжусь и не узнаю родного края. Всё напоминает Москву, муравейник, поглощающий людей пачками и выплёвывающий за борт.

Таксист мчал по разбитым дорогам. Президент приезжал давно, губернатора возили по центру, так что асфальт не ремонтировали добрые лет десять. Подвеска тольяттинской «Калины» отстукивала по колдобинам и рытвинам, стонала о тяжёлой доле автопрома, а я, вытянув ноги по мере возможности, отдыхал после полёта. Отец сидел позади, улыбался, не в силах спрятать суровый нрав в момент приезда сына, а дома ждали мама и накрытый стол. Горячий харчо с луком и чесноком, сваренный из отборной говядины, любимые пельмени, мешок конфет, купленных к Рождеству, и самовар с водой, набранной из родника. Мама знала, что готовить для кровинки, а я предвкушал кулинарные изыски, несмотря на лёгкий перекус в самолёте. Ради такого ужина стоило преодолеть две тысячи километров; да я бы, честно, вытерпел и четыре, и пять, лишь бы похвалить старания хозяйки и откинуться с полным животом на стул. Для матери нет лучшей благодарности, чем сытый и довольный сын на кухне. И не страшно, что его не было так долго, сейчас он — за столом, и эти минуты милы и радостны.

Я моргнул, сбрасывая наваждение. Отец рассказывал о деде: старик, седина в бороду, бес в ребро, встречался с женщиной пятидесяти лет и не замечал почтенного возраста. Порхал бабочкой за «молодухой», ухаживал и дарил подарки. Я представил деда в костюме, наглаженного и причёсанного, при параде, невольно засмеялся, а в душе порадовался. Если я доживу до семидесяти, хватит ли у меня сил приударить за дамой, или я буду напоминать разваленный диван?

А в следующий миг навеяла грусть. Какой я глупец, если радуюсь за чужую женщину. Три года как не стало бабушки, а дед позабыл о горе и поёт дифирамбы, выбросив золотую свадьбу за борт. А как же обещание чтить память о браке и второй половине, выбранной в далёком послевоенном времени? Выходит, всё — пустота, и наши слова теряются в памяти? Или мы сами их теряем? Нет, я бы себе такого не позволил. Помню, у друга Сергея умерла бабушка: мыла окна, поскользнулась на мокром подоконнике и выпала с пятого этажа. Никогда не забуду печальные глаза Серёгиного дедушки, когда он сидел на краю лавочки у подъезда и глядел на палисадник, где разбилась любимая жена. Вот это любовь и уважение. А что происходит с моим стариком?

Я поделился мыслями с отцом, но он лишь пожал плечами. Обернувшись, я всмотрелся в него, в морщины, в серые глаза и посеребрённые виски, попытался представить старшего на месте деда, но отец, человек военный и дисциплинированный, в образ не укладывался. Он всегда жил строго по распорядку, предпочитал интригам казарму и сборы, полёты на самолёте и прыжки с парашютом, а в чужаках видел людей, которые хотят разрушить его семью, бастион, строящийся десятилетиями.

Такси миновало старый город и въехало на мост. Там, за мостом, деревянные дома, памятники купцам и отцам-основателям Нового Уральска уступали местность индустрии и урбану. Первооткрывателем начинал машиностроительный завод: весёлое название, если учитывать, что ни одного автомобиля так и не построили, а производили исключительно холодильники. На стене завода висели огромные электронные часы, показывающие время и температуру. Сколько себя помню, они никогда не ломались и не ошибались ни на секунду. Поворот налево: здесь здание «Уральского вестника», пожарная часть, где мы лазали в детстве с пацанами и играли в войнушку в разбитых красных ЗИЛах, знаменитый танцевальный клуб «Астероид», на сцене которого выступали все значимые звёзды эстрады, площадь Васнецова и кинотеатр «Урал». Улица Мира, поворот направо — и мы на проспекте Ленина. Это и есть сердце Нового Уральска.

Водитель сбавил скорость, заметив мою заинтересованность, и я позволил себе поглазеть. Восьмая школа, по соседству пятиэтажка деда, в народе называемая «голубым экраном», военкомат, ресторан «Корабль», трамвайное депо, а сразу за ним институт, где я учился. Знаменитый перекрёсток бьющихся машин на пересечении с улицей Тагильской, опасный и унёсший жизни сотен жителей. Рынок на остановке «Тбилисской», разделяющий Новый Уральск на Ленинский и Октябрьский районы. Поликлиника на улице Сорокина, ещё один рубец в памяти из детства: крикливые малыши, больные уколы под лопатку и стоматологический кабинет с бормашиной. Следующая остановка — «Улица Добровольского», справа — «бедный посёлок», или, в простонародье, «квартал нищих»: элитные коттеджи, отстраиваемые мэрами, заместителями, генералами и прокурорами на деньги налоговиков; большущее пятно на карте «Гугла». Автостоянка, где раньше оставляли «десятку», пока не приобрели гараж; конечная трамвая номер четыре, холодные минуты ожидания на морозе и долгая дорога в школу. Сейчас трамваев практически не осталось, люди пересели на маршрутки, люди захотели стать мобильными и бесстрашными, отдавая право на жизнь уставшему лихачу-водителю. Им не жалко свои жизни.

За «бедным посёлком» — окраина: степь, гаражи, сады и река Бусинка. Перед окраиной несколько девятиэтажек, гордо называющихся проспектом Ленина. По задумке властей, в конце восьмидесятых главную улицу Нового Уральска планировали продолжать дальше, а на месте нашего района собирались отстроить «зелёный город» с высотками в шестнадцать и двадцать этажей, множеством деревьев, цветочных клумб и детских площадок; но СССР рухнул, дома забросили на уровне фундаментов и свай, а мы остались жить на краю.

Расплатились с водителем и присели у подъезда. Я угостил отца турецкими сигаретами, привезёнными из путешествия в Кемер, и мы закурили. Поговорили о зарплате и московских пробках, старший поинтересовался давками в метро и электричках, карьерным ростом. Я рассказал о компании, в которой тружусь, о лизинговых заказах, о выставках в «Крокус Экспо». Посмеялись, вспомнив, как десять лет назад отец застукал нас с другом Стасом с пачкой сигарет и заставил выкурить её целиком.

— Было дело, — согласился папа.

Над головой сияли звёзды, приятная тишина ласкала уши, и никакой мороз не мог прогнать две родственные души с подъездной лавочки. Мы задымили ещё по одной, собираясь обсудить планы на выходные, и тут совершенно неожиданно пошёл снег. Он падал крупными хлопьями на фонари, на припаркованные авто, снежинки покрывали каждый миллиметр земли.

— Помнишь, ты рассказывал мне о снеге? — спросил я. — То, что снег образуется, когда капли воды в облаках притягиваются к пылевым частицам и замерзают. После чего падают вниз, растут, и мы видим их уже в форме снежинок.

— Давно, наверное, — нахмурился отец. — Не припоминаю. Но если ты знаешь, значит, рассказывал. Ты когда маленький был, я много чего говорил. Вычитывал в книгах, а потом тебе за завтраком или за ужином вкратце объяснял.

— Новогодний, — сказал я. — Как в американских фильмах. Здорово. Стоял бы и смотрел. Так успокаивает.

Отец кивнул, подставив руку под снег. Хлопья падали на большую ладонь и таяли. Я всегда удивлялся, как папа легко преображался: вот он полчаса колотил грушу в спортзале, выбивая песок могучими кулаками, а через минуту, во время передышки, разгадывая кроссворд, как ни в чём не бывало, богатырская рука держала карандаш и не дрожала. Волшебство, да и только.

Побросав окурки в урну, мы вошли в подъезд. Я шагал по ступенькам, представляя, что нахожусь у двери, палец промахивается мимо звонка, не слушается; но вот он, чёрно-белый звонок, каким помню его с девяносто первого года, когда наша семья переехала в дом на окраине, — и не могу промахнуться. Нажал три раза — условный сигнал, по которому родители знали, что вернулся я, а не кто-то другой.

Дверь отворила мама. В домашнем халате, подпоясанном фартуком, на ногах — пушистые тапки-зайчики белого цвета, традиционная короткая стрижка (жаль, седых волос стало больше, время не щадит), стильные очки с тонкой оправой, на шее — золотое колье, подарок отца на юбилей. Мама изменилась, но я легко узнаю дорогого человека среди сотен миллионов людей на Земле. Переступил порог, поставил сумку на пол и повторно за этот день попал в объятия.

Я разулся, поставил полуботинки на батарею в ванной, помыл руки и прогулялся по квартире. Странное ощущение: возвращаясь в дом, где ты провёл детство, отрочество, юность и часть взрослой жизни, словно попадаешь в первый раз в гости. Всё на своих местах: рамки с фотографиями, телевизор, шкафы, люстры; всё неоднократно виделось и запомнилось, но глаза обманывают, и кажется, что ты где-то на чужбине. Дня через три приходит осознание реальности, вспоминаются подробности, и квартира обретает привычный вид.

— Я погрела, — позвала мама.

Можно много рассказывать о кулинарных способностях матушки, но никаких слов не хватит. Лучше один раз попробовать — к чему болтовня? Полтарелки горячего, обжигающего рот харчо, семь пельменей (таких сочных, что кусаешь осторожно, чтобы прочувствовать весь смак), танцующий самовар на кухонном столе, а следом и чай. Не та бурда, которую привыкли пить в столице. Этот отец достаёт у знакомого таможенника — крепкий индийский или зелёный китайский, настоящий; его надо заваривать в специальном чайнике водой из родника. Тогда чай получается густым и ароматным, каждый глоток доставляет наслаждение и расслабляет.

Мама помыла посуду и ушла спать, а мы забрали чайник и перебрались на балкон. Несколько лет назад папа выбросил хлам и старые вещи, застеклил лоджию, замазал щели, утеплил стены и пол. Пустое пространство превратилось в уютный кабинет, появились кресла и гостевой диван, батарея, чтобы зимние вечера не досаждали холодом, крохотный светильник и электрическая плита. Мы расселись, закурили и устроили чайник на плиту. Разговаривали на разные темы, слушали друг друга, соскучившись по родным голосам, хлебали чай и дымили.

— Ёжики в тумане, — шутил отец.

Спать я лёг с рассветом. Разобрал диван, расстелил простыню, взбил подушку, устроился, накрылся пуховым одеялом.

За окном шёл снег. Белел, отражая свет луны.

— Дома, — прошептал я и провалился в сон.

Разбудила мама:

— Вставай, соня. Сегодня Новый год, пора готовиться.

Я проснулся, помахал ей рукой. Глянул на часы: половина десятого.

— Мы вчера засиделись,— сказал я.— С петухами легли. Столько не виделись, столько всего произошло, даже не представляешь.

Мама рассмеялась, присела на край дивана, потрепала меня по голове, будто маленького детсадовца.

— Надо за ёлкой сходить, украсить. Приготовить салаты, мясо в духовку поставить, убраться, стол разобрать. Умывайся, я кофе сварю.

Я отправился в ванную. Ополоснул лицо тёплой водой, побрился, всмотрелся в отражение в зеркале. На лбу появились кривые морщины, глаза потускнели, и нет огонька, который в юности позволял совершать чудачества. Москва высосала из меня яркость, потушила огни. Недавно справил двадцать шесть, а на вид далеко за тридцать. Я прижался лбом к прохладному стеклу, собрался с силами.

На кухне пахло кофе. Мама грела турку на медленном огне, и крепкий аромат витал в воздухе. Я нарезал хлеба, сыра, очистил от кожуры яйца, намазал маслом кусочки белого, разложил бутерброды на тарелке.

— Знаешь, на днях в журнале статью прочитал, что кофе на завтрак пить вредно. Врачи советуют зелёный чай и кашу, а кофе — часов в двенадцать, так сказать, для поддержания тонуса.

— Сколько вы дымите с отцом — никакой чай на пользу не пойдёт. У нас завод за день столько отходов в воздух выбрасывает, что кофе и незаметен, а в Москве твоей подавно: и пробки, и выхлопные газы, и прочая гадость. Травят нас, как крыс, а потом удивляемся: здесь болит, там болит, тут опухоль выросла, рак по области пешком гуляет,— сказала мама.

Мы позавтракали, зарядившись «вредным» кофе, и отправились за покупками. Снега за ночь навалило по колено, дороги расчистили, а тротуары красовались протоптанными тропинками, поэтому мы шли как заправские лыжники — паровозиком. Мама разговаривала по мобильному телефону с кумой, спорила о выбранном меню, предлагала разные варианты, а я наслаждался внутренним спокойствием и вспоминал район. Вот детский сад «Лёвушка», прямо рядом с домом: здесь собирался гоп-компанией сначала десятый, а потом и одиннадцатый «В» класс, пятнадцать-двадцать человек, несколько баклажек «Три медведя» или «Арсенального», пластиковые стаканчики, потрёпанные пачки «лм». Каждый проходил эти этапы, когда хочется казаться взрослее и сигарета во рту превращает из жалкого щенка в сердитого барбоса. Дешёвые понты. Как мы были глупы в те годы!

За детским садом — дом буквой «Г», а за ним — небольшая асфальтовая дорожка. В девяностых здесь были болота, затем их высушили, собирались строить дома, но дальше свай дело не зашло, котлованы так и остались с «зубами в сто рядов». Сейчас местные шишки хотят обустроить тут пруды и превратить захудалый район в место отдыха, но я слышу эту легенду из года в год и знаю, что приеду через десятилетие — и картина не изменится.

— Сошлись на мантах и «шубе»,— сообщила мама, вырывая меня из раздумий.

— И столько нужно было спорить?— захохотал я.— Десять минут идём — вы сто тридцать вариантов обсудили.

Дорожка привела нас к остановке. Когда-то здесь бурлила жизнь: был крохотный рынок со сладостями, ларьки с кассетами, продавались проездные на трамвай. Смешные бабульки в оренбургских пуховых платках торговали семечками, а в «Роспечати» всегда имелся свежий номер «Советского спорта» или молодёжного журнала «Кул». В настоящем — нет ничего: ларьки и рынок снесли, «Роспечать» переехала в центр, журнал «Кул» канул в Лету, а кассеты никто не слушает. Нынешнее поколение школьников наверняка не знает, что такое магнитофон. Интернет правит миром, как телевидение в девяностых.

Мы свернули направо, на улицу Пацаева. Пара минут — и перед взором большой ёлочный рынок. По традиции, искали сосну, невысокую, но пушистую, с несколькими шишками. Мама потянула за рукав, махнула головой. Я приметил красавицу, поторговался с продавцом, снизив цену до приемлемой, и мы тронулись обратно.

— Помнишь, в пятом или шестом году за сосной дядька ходил?— спросил я.

— Это когда он ту куцую принёс? С длиннющим стволом?— уточнила мама.

— Ага, всех в округе рассмешил… Да ещё с таким гордым видом нёс, будто у него кремлёвская ёлка на плече лежала.

Сосну занесли домой, а сами продолжили хлопотать. Сходили в «Великан», купили мяса, овощей, консервов, муки; мама занялась тестом, а я вооружился пылесосом и бросился на охоту за микробами и пылью. Не поленился и пройтись по углам с мокрой тряпкой: что за веселье в грязи? Протёр все полки, компьютер, люстру и большую антресоль.

А потом пришла очередь сосны. Обожаю этот момент. Среди всей новогодней и рождественской суеты он долгожданнее, чем выступление президента и бой курантов. Четыре блина от штанги кладём стопочкой, в них аккуратно ставим зелёную красавицу, обматываем блины белой тряпкой, создавая иллюзию снега. Из недр папиного кабинета появляется старый коричнево-красный чемодан

с надписью «Минск», полный разнообразных игрушек: шаров, гирлянд, мишуры, снежинок, дождика с кусочками ваты.

Я щёлкнул пультом, и из колонок полилась музыка. Моя любимая группа «25/17», сборник хитов десятилетия — отличное подспорье для тех, кто правильной волне. Давным-давно отец морщился, услышав первый альбом «Многоточия», но я объяснил, что рэп для нашего поколения — такой же манифест, как в восьмидесятые рок — «Кино», «Аквариум» и прочие уважаемые люди. Папа похмыкал, а спустя какое-то время (вроде в девятом году) мы слушали рэп-альбом, посвящённый Виктору Цою. Диск объединил меня с отцом, сблизил наши души, и теперь я всегда привожу ему хорошие диски.

— Мам, — окликнул я. — Глянь, как здорово.

Сосна и вправду получилась на пять баллов. Широкая, около двух метров, украшенная дедушкиными и бабушкиными игрушками, покупными шарами, гирляндами, на макушке яркая звезда — символ Нового года и Рождества. Мама оценила мои старания и позвала помогать; мы переместились на кухню.

Кухня напоминала Вьетнам в период войны с США. Жара, высокая влажность, хаос и неразбериха.

— Подключи мясорубку, — скомандовала «лейтенант». — Надо фарш для мантов. Для «шубы» всё сварилось, поможешь. Я лук пока порежу.

— А что ещё из меню будет? Кто что принесёт?

— Наталья обещала печёночный пирог и оливье, кумовья — корейские салаты и холодец, Олежка утку в духовке запечёт, они с Надей только к одиннадцати придут, Надя работает сегодня. Дед со своей мадам что-то пекут, вроде говорили про пироги с мясом и капустой.

В половине пятого пришёл с работы отец. Мы пообедали, попили чаю, перекурили и сели за лепку мантов. С детства не любил лепить ни манты, ни вареники, ни пельмени, хотя они выходили ладными и ровнёхонькими; но сегодня гостей ожидалось прилично, и лишние руки были на вес золота. Под шутки Петросяна и компании мы соорудили четыре доски главного шедевра вечера.

— Красавцы, — сказал отец. — Не налюбуешься.

После шести потянулись гости, и суета достигла максимума. Посреди зала собрали стол, расстелили скатерть, и блюда появлялись одно за другим. «25/17» выключили, заиграла дискотека восьмидесятых, и под бодрые ритмы «Аббы» и «Модерн Токинга» год вступил в завершающую стадию.

В одиннадцать, когда банда была в сборе, отец провозгласил тост: «За прощание со старым годом!», все крикнули: «Ура!», чокнулись фужерами и выпили до дна. Под разговоры и лёгкую закуску мы дождались выступления президента, и когда тот вышел в эфир, каждый непроизвольно повернулся и замолчал. Путин говорил, грозил террористам, обещал побороть коррупцию и расправиться с нечистью, а мы слушали. Я верил, что когда-нибудь Дед Мороз услышит слова президента и сделает подарок всем россиянам. Страна выйдет из трясины, из смрадного болота, куда её загнали. Может, не сразу, может, через десять или двадцать лет, но мы выберемся.

Никогда не замечал, но президент в Новый год навевал грусть. Люди в предвкушении праздника, с заготовленным шампанским, готовым выстрелить пробкой в любую секунду, а у него лицо — словно накормили прокисшей капустой. Народ хочет видеть улыбку, радость, он триста шестьдесят пять дней батрачил и убивался на работе, грустил, а сегодня жаждет забыть о горестях и недовольствах, мечтает упасть лицом в салат, да так, чтобы никому не досталось.

Куранты отсчитали двенадцать раз.

Шампанское хлопнуло и полилось в фужеры.

— Ура! — закричали мы. — С Новым годом! С новым счастьем!!! Ура!!!

Все бросились обниматься, теория хаоса применилась как никогда. Мама фотографировала на память, мы корчились и смеялись. Год ушёл, впереди только радость и лёгкость.

Ночью отправились кататься на горку. Взрослые и дети, свои и чужие, — с криками и улюлюканьем покоряли вершину, а после летели вниз, подложив под пятую точку фанерку или картон. Разыгравшись, кидались снежками, лепили снеговиков и строили крепости, прятались в ледяных туннелях и лабиринтах, взрывали петарды.

Меня переполняло счастье. Выпил я немного, глоток шампанского и бокал красного вина, но чувствовал себя пьяным, кричал и отжигал гопака. В Новый год можно впасть в детство, вычеркнуть негативное, обнять маму и папу, сказать пару добрых слов и стрельнуть фейерверком в чёрное небо. Мы стареем — и я, и они, но Дед Мороз расколдовал всю семью, и мне снова пять лет, я маленький и беззащитный, держу родителей за руки, они молоды и грациозны, кувыркаются в сугробах, лица красные от снега. Волшебство.

— Снова снег, — сказал отец.

Мы посмотрели вверх. Снег появился неожиданно, но падал уверенно, мягкий и холодный, первый в этом году. Ложился белой простынёй, укрывая всё вокруг.

— Пойдёмте домой, — позвал всех папа. — Попьём чаю и завалимся спать. Хватит веселиться.

Мы сидели с отцом в кабинете, обсуждали летнюю поездку на Волгу.

Над потолком клубился сигаретный дым, чайник разогревался на плите, обогреватель, принесённый из гаража, работал на полную мощность.

Папа настаивал на месяце, я предлагал две недели: в августе надо было готовиться к осенним выставкам, на больше начальство не отпустит.

— Поехали в июле,— сказал старший.— Правда в это время жарче, в августе температура умереннее. Будем рыбачить, подводной охотой займёмся, я тебя научу. Феликс приедет из Сибири, попробуешь оленину и медвежатину, он всегда привозит… Можно и ружьишко прихватить, нам удавалось птиц подстреливать, но в основном ухой и тушёнкой питались. Здорово, ничего не скажешь… Костёр, Волга, палатка, гитара, горячая похлёбка из рыбы и Куприяныч с тысячей историй из жизни. Какие две недели? Месяц пролетит — не заметишь. Я бы и на всё лето уехал, но сам понимаешь — служба. Мужики с июня по сентябрь там, эх… Ну как, махнём?

— Оно, конечно, заманчиво, но максимум две недели. В июле не смогу, отпуска распланировали практически, а в августе запросто, но четырнадцать дней. Договорились?

— По рукам. Закрепим? — отец разлил по бокалам зелёный чай.

Выпив чаю, я пошёл на улицу. Решил прогуляться до центра. Вчерашний снег принёс тёплую погоду, столбик термометра остановился на минус десяти, и гуляние обещало превратиться в сплошное удовольствие.

Последний раз я ходил на такие расстояния в институте. Как-то утром заболел преподаватель, «пары» отменили, и получилась прогулка от «Корабля» до дома. До этого отрезка я добрался быстро: особых достопримечательностей тут не было, а из магазинов многие закрылись на праздники. Книжный около «Голубого экрана» не работал, зато восточное кафе приглашало в гости. Я съел две отличных самсы с курицей и сыром, выпил эспрессо, любуясь у окна на прохожих, поболтал немного с официанткой, скучающей от недостатка посетителей, и погнал дальше.

На Комсомольской площади построили огромный ледяной город. Копии Московского Кремля, лондонского Биг-Бена, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, Маугли верхом на медведе Балу, Винни-Пух с Пятачком, Белоснежка и семь гномов — фантазии строителей били через край и вдохновляли. Приятно увидеть подобное не у метро «Охотный ряд», а дома, на Комсомольской, в центре Нового Уральска.

Я закурил, прохаживаясь мимо, и удивлялся. Каждая скульптура сделана с любовью, все грани и изгибы аккуратны и сглажены. Изумительного таланта люди создали красоту из обычного льда. Через год или два они покинут город, уедут, как и многие, в поисках лучшей доли и нормального заработка. Москва, Питер, Самара или Екатеринбург примут их с радостью, дадут надежду, а Новый Уральск вырастит новых гениев. Так происходит всегда: большие и сильные забирают всё себе, либо силой, либо деньгами.

Как-то меня спросили: «Саша, а зачем ты поехал в Москву? Что она тебе дала в итоге?» Я задумался и не смог ответить на вопрос, а много позже поразмыслил и пришёл к выводу, что ничего не дала. Съёмная комната, средняя зарплата (круто зарабатывают в столице топ-менеджеры, обычные специалисты довольствуются малым), жалкие попытки пройти вверх по карьерной лестнице, но три года я топчусь на первой ступеньке, и повышения не планировали и не планируют. Всем нужны работники, которые выполняют план и имеют достойные показатели: у начальства тоже есть планы, только глобальнее,— и никто не станет терпеть неудачника. На твоё место всегда есть с десяток претендентов, молчи и трудись в поте лица.

Да, я слетал в Эмираты, удивился уровню жизни арабов, мега-стройкам и грандиозным сооружениям. Да, я отдохнул в Таиланде, полежал на белых азиатских песках и попробовал тайской кухни, пообнимал местных девочек и покупался в море. Да, я видел Эйфелеву башню и римский Колизей, снимал на камеру крайнюю точку Европы в Португалии, гулял по Ватикану, недавно мотался в Турцию. Хвастаться особо нечем, для Москвы я — чужой, чужеродный элемент. Чтобы купить там квартиру, надо зарабатывать другие деньги, а путешествовать по миру можно и из Нового Уральска. Не понимаю, зачем мы туда едем. Не понимаю, зачем я там выживаю и мучаюсь. Здесь родина, любимый город, родители, друзья, там я один-одинёшенек, в борьбе с пробками, давкой в метро и электричках, злыми приезжими и агрессивными прохожими. Москва — город борьбы, борьбы непонятно за что.

— Сашка! — крикнули рядом.— Санёк!

Я обернулся на голос, но искали не меня: блондинке в пушистой шапке нужен был высокий Саша.

Нагулявшись, я побрёл обратно. Не стал тратить деньги на такси (к слову, стоили они здесь чуть дороже одной поездки в метро), шёл по проспекту и дышал воздухом города. Заряжался энергией перед очередным возвращением на работу.

На пересечении улицы Тагильской и проспекта Ленина я попал под снег. Он появлялся в праздничные дни неожиданно, по взмаху волшебной палочки Деда Мороза. Столица плыла в лужах от дождя и плюсовой температуры, а на Урале царил дух Настоящего Рождества.

— Как в кино,— сказал я.— Только актёры настоящие.

По возвращении домой меня напоили глинтвейном с корицей, я отогрелся и присоединился к столу. Сегодня гостевали кумовья и дядьки с жёнами, спорили о распаде СССР: жилось раньше лучше или сейчас. Я налёг на салаты и прислушался к полемике, но тема была чужда: осознание

действительности пришло ко мне в России, те времена далеки, как Владивосток для Калининграда.
— Раньше жили лучше,—сказал отец.—И не спорьте. Давайте выпьем и закусим, скоро курицу подавать, а мы трындим.
— Как же так?—возмутился кум.—Неправы ведь!

Всё началось сначала: доводы, предположения, аргументы и факты, дефицит, политика Горбачёва, ссылки, война с Афганистаном, где отец получил пулевое ранение и испорченные нервы, заводы, пятилетки, закрытые режимы. Кум любил доказывать своё мнение, хотя порой ошибался, но ему прощались все выходки: его сына Митьку крестил отец, да и семьи наши дружат с ледникового периода.

Под вечер буря успокоилась. Кум, убаюканный алкоголем, уснул в кресле, и тема сменилась. В эпицентр попал я, всем было интересно, как там, в Златоглавой.
— Пробки,—рассказывал я.—Я жил в Подмосковье, в Ивантеевке. В электричке давка страшная, все надушатся, наодеколонятся, дышать нечем. Я несколько раз ездил, выходил на половине пути: голова кружится, перед глазами «мошки» мелькают. Пересел на автобус, но с поворота до МКАД порой час стоишь. Посчитал, дешевле в Москве снимать. Переехали с друзьями на ВДНХ, сняли однушку втроём, на метро тридцать минут до работы. В метро легче, хотя народу хватает. Не поверите, но можно не держаться за поручень, плотность так высока, что тебя поддерживают, и если падаете, то вместе.

Все рассмеялись.
— Неужели столько людей?—не поверила кума.
— Битком. Половина России перебралась в столицу и ближайшее Подмосковье; москвичи по две квартиры имеют: в одной живут, другую в ипотеку берут и приезжим сдают. Сказка, а не жизнь. Нам ловить нечего. Ещё и гастарбайтеры едут, дворниками устраиваются, снег чистят, посуду моют, убирают подносы в ресторанных двориках. Получают копейки, но в странах СНГ на сто долларов можно месяц прожить.
— Вот вам и итог спора про СССР,—сказала мама.— Москва жирует, у народа ворует, а провинция в заднице. Куда прикатимся, никто не знает.

Расходились под овации кумовьям. Перебравший кум споткнулся, сломал вешалку и наступил на хвост беременной кошке, попал под раздачу маминого недовольства, виновато развёл руками и сел на цветок в коридоре (его переставили со стола и забыли убрать). Началась всеобщая истерика, мы хватались за животики и лили слёзы, не в силах удержаться, а мама сердилась и требовала прекратить паясничать, отчего ситуация выходила комичнее, и волна смеха накатывала заново.
— Эта орхидея осталась от бабушки,—мама топнула ногой.—Что вы за слон, господин кум?
— Пардон, кума… Я… ик… восстановлю… Посажу новый… Кума!

Мама обиделась, вернулась в зал, а мы с отцом пошли провожать кумовьёв. Заказали такси, но ни одна машина не приехала, а отпускать пьяного кума папа не захотел. Взяли его под руки и выбрались на улицу.

Район встретил пустотой, горожане спрятались в квартирах, а редкие прохожие, заметив шумную компанию, обходили стороной. Без приключений добрались до улицы Добровольского, вручили кума крестнику Митьке и пошли обратно. Под ногами хрустел снег, мороз щипал за нос и щёки, и чтобы согреться, я откопал из сугроба пластиковую бутылку, бросил под ноги и отпасовал отцу. Старший принял снаряд на носок, подбросил в воздух и ударил. Я увернулся и пропустил гол, армия вышла вперёд. Силясь отыграться, нападающий Александр прорвался по флангу, крутанул корпусом, обвёл армейского вратаря, получил по ногам и рухнул на газон.
— Пенальти!—закричал я.—Фол!

Отсчитал одиннадцать шагов, вгляделся во вратаря. Армеец стоял, будто памятник в Бразилии: руки широко расставлены, спина ровная. Я размахнулся, врезал от души по «мячу», но отец вытащил из «девятки», коснувшись пальцами.
— Мазила,—сказал папа.—ЦСКА, вперёд!

Он ринулся в атаку, сделал пару финтов, прицелился, но бутылка соскользнула с ноги и прикатилась ко мне.
— Москва отразила опасный контрвыпад,—я спародировал комментатора.—Защитник получает мяч от вратаря, пас Смертину…
— Он уже лет сто как карьеру завершил!
— Да без разницы… Смертин отдаёт налево, Жирков подхватывает мяч. Какая техника! Прямо Зидан, если издалека смотреть. Навес! Сычёв рядом с воротами! Удар! И гол!!! Москва отыгрывается в суперигре сезона!

Домой пришли мокрые и трезвые. Алкоголь выветрился, по спине струился пот, ноги гудели.
— Есть два предложения,—сказал отец.—Сейчас по чайку с тортом, а завтра с утречка на охоту.
— Принято,—отозвался я согласием.

Вечером папа достал из сейфа патроны и ружьё, похвастался биноклем с функцией ночного видения и подарком от Феликса-сибиряка—старинной немецкой винтовкой времён Второй мировой войны, трофеем Великой Победы советских солдат.
— Из неё убивали русских,—папа принялся чистить шомполом ружьё.—Немцы завоевали всех: французов, поляков,—но не СССР. Советы дали им по носу, да только какой ценой. Сколько людей погибло, никто и не сосчитает… Эх… Твой прадедушка, братья его—всем не больше двадцати пяти было, ещё жить и жить, а попали в мясорубку под Сталинградом.

— Вся наша жизнь — война.
— Навоевались. Если начнётся Третья мировая, планета не выдержит.
— Я слышал, отправили первых жителей на Марс? Через десять лет прилетят и останутся навсегда.
— Люди и там воевать станут. Тем более если они перемешаны — разных рас и национальностей. Поспорят о религии, об исламе и христианстве. Или у них будут общая марсианская религия и марсианское гражданство? Вряд ли. Мы поселены на планете Земля, Марс непригоден для жизни… Давай-ка закругляться, разбужу рано, ехать за город, а автобус ходит редко.

Я послушался и лёг, однако уснуть удалось не сразу. Представил себя жителем Марса, в скафандре с кислородными баллонами за спиной, неуклюжим и хрупким, чужеродным элементом, коим я являюсь для москвичей. Задумался: а смог бы я там остаться и не сойти с ума от красных пейзажей и другой гравитации? Нет, наверное, я не тот, кто должен войти в историю как первый марсианин. Я зависим от Земли, я здесь рождён, я дышу грязным воздухом и выбросами машин, не вижу смысла в своём существовании, но всё-таки люблю Россию и Новый Уральск, чтобы собрать пожитки и срулить в неизвестность. Наверное, я слишком осторожен и труслив, хотя однажды не побоялся в одних джинсах, футболке и летних сандалиях сесть на плацкарт и приехать с пятью тысячами рублей в столицу. Половину из них отдал за койко-место в квартире в Ивантеевке, остальные потратились на дорогу до Москвы и метро. Друзья помогли в поисках работы, устроился в лизинговую компанию помощником менеджера, голодал, оброс долгами и кредитами, но выбрался и прижился. Каждый день думаю о родных, грозясь уехать, однако дни летят, а я в столице, накапливаю трудовой стаж и мечтаю о позиции старшего менеджера или руководителя отдела.

Отец разбудил в пять. Стянул одеяло, унёс в спальню, чтобы я не надумал спать дальше, отворил окно и ушёл готовиться. Я быстро умылся, решил не тратить время на бритьё, помог папе со сборами, и в половине шестого мы спешили на автовокзал. Одетые в утеплённые штаны и камуфляжные куртки, с рюкзаками и большими ружейными чехлами, мы напоминали группу омоновцев, едущих на задание. Разве что масок на лицах не хватало.

В автобусе я полчаса подремал, а когда водитель привёз двух охотников на конечную остановку и мы вышли на мороз, стало внезапно холодно. Хлебнув чая из термоса и перекурив, я ощутил прилив сил и взбодрился.

Мы переобулись в снегоступы и направились в сторону леса. Солнце поднималось из-за горизонта, окрашивая деревья в красный и оранжевый цвета; вспомнился вчерашний разговор о Марсе. Снег блестел синевой, сугробы были похожи на горы Килиманджаро и красовались чистотой, каждая снежинка словно кристалл. По мере углубления уши окутывала тишина, и лишь наши шаги нарушали её. А если остановиться, замереть на месте, можно услышать лёгкое дуновение ветра, ощутить его прикосновение — лицом, ресницами, губами. Лес тоже чувствовал ветер, макушки деревьев покачивались и будто напевали песню: ш-ш-ш, ш-ш-ш, ш-ш-ш, — и по мере приближения мы слышали её отчётливее, а скоро тишина отступила. Лес жил и звучал.

Отец бывал в этих краях множество раз и шёл вперёд уверенной походкой. Снегоступы легко скользили по снегу, ноги не проваливались, за час мы одолели несколько километров и следов человека не замечали. Только ровный и белый снег.

Когда мы пробрались в глубину леса, отец замедлился, приложил палец к губам и показал на странный сугроб между соснами. Не понимая, я пожал плечами, а папа изобразил медведя, подняв руки вверх и согнув ладони наподобие когтей. Мы обогнули берлогу стороной, сделав приличный круг, и выбрались на широкую равнину, разделяющую лес.
— Не думал, что у нас водятся медведи, — сказал я.
— Они всегда водились, пока отстреливать не начали. А как спохватились, то и медведей не осталось. Заповедники открыли, запреты поставили, можно срок получить, но браконьеров не пугает: деньги дороже своей шкуры. Одного недавно поймали, в багажнике чего только нет, по ящику показали в местных новостях, вроде показательной порки, а им хоть бы хны. Бегают, стреляют.
— Нам, получается, тоже нельзя?
— Почему это? У меня лицензия, и медведей и лосей я не трогаю. Мы охотимся на лису, а если удача отвернётся, попробуем птицу добыть.
— Слушай, а какое самое красивое место в Оренбуржье? — спросил я.
— Никогда не задумывался, — отец поправил шапку. — Столько лет здесь живу — и такой вопрос… Хм… За Кувандыком есть замечательное место — хребет Шайтантау. Это не совсем Оренбуржье, это и башкирские земли, от Уфы километров триста ехать. Рядом с рекой Казанбулак у Феликса живёт друг, в деревне Идельбаково, он и водил нас смотреть хребет. Красотища неописуемая! Леса, степи, горы, воздух так чист, что голова кружится. А горы! Полкилометра в высоту, тянутся до горизонта. Кстати, Шайтантау переводится с башкирского языка как «Чёртова гора». Местные считали, что перепады температур и сильные ветра — козни нечистой силы, вот и нарекли. Хотя у меня лично Шайтантау ассоциируется почему-то с медведем.

Папа засмеялся и замолчал, вернувшись в раздумья. Я потянул его за рукав и остановил.
— Давай не будем сегодня охотиться, — попросил. — День прекрасен, не хочется никого убивать,

а пообедать можно и консервами. Есть рыбные, с них уху сварим, а постреляем в банки или вообще не станем.
— Как скажешь,— отец расчувствовался и обнял меня.

Душа трепетала у обоих.

Мы расчистили площадку для костра, наложили сухих дров, папа принёс заготовленные с осени ветки, спрятанные в укромном месте, и разжёг огонь. Пламя разгоралось; я отыскал две рогатины и воткнул в землю, третья палка послужила вешалкой для казана. Побросав снега в посуду, мы занялись приготовлением, и пока уха из рыбных консервов закипала, закусили тушёнкой и луком и выпили коньяка из фляжки. Согревшись от огня и спиртного, добавили по порции горячего супа, выкурили по сигарете и прогулялись до края леса. Отец рассказывал о животных Южного Урала, показывал следы лисы и зайца, устье реки Бусинки, месторождение яшмы и необычную сосну с искривлённым стволом, а я взирал на мир заново открывшимися глазами. Никогда не представлял, что оренбургский край имеет неповторимый шарм и скрытую глубину, за которой скрывается истинное лицо природы. В мегаполисах люди не видят этого.

Домой пришли к ночи. Уставшие, счастливые и с позитивным настроением. Выпили чаю и собрались спать. Молчаливое ружьё, не сделавшее ни единого выстрела, отправилось в сейф, а мы — по койкам.

— Посмотри. Американское кино, ей-богу,— мама стояла у окна и удивлялась.

Я отодвинул штору и обомлел. За окном ничего не было видно: снег валил плотной стеной.
— Сегодняшние рейсы отменили,— сообщила мама.— Трассы закрыты, маршрутки и такси не ходят, на дорогах только уборочная техника, и та не справляется.
— Да чихать!— засмеялся я.— Мне на работу девятого числа, а билет на самолёт восьмого, до той поры всё растает… А до восьмого я вообще могу из дома не выходить, кушать манты, пить чай и торчать в ноутбуке.
— Так ты превратишься в крота! А сначала — в ленивого трутня.
— Может, мне подстраховаться и купить билет на поезд? Вдруг снегопад реально не закончится? Смех смехом, но на работе никого не волнует, что я опоздаю. Выпишут прогул, прогул приравнивается к предупреждению, три предупреждения — и свободен, словно птица в небесах.

Отец уехал на работу, и так как делать было нечего, я решил идти до улицы Мира, где находились ближайшие кассы. Собрался, одевшись теплее, попрощался, но через двадцать минут возвратился. Снега навалило по пятки, и скромная прогулка до развилки напомнила передачи о диких джунглях: продирался я аналогично. Ноги застревали, метель кружила, и ледяной ветер отбил последнее желание двигаться.

Мама сравнила рекордное путешествие с передвижением ленивца по дереву. Я махнул рукой, не обращая внимания на провал, заварил чаю и забронировал билет через Интернет: купе, верхняя полка, восьмое января. Таким образом, утром десятого я приеду в Москву, получу первое предупреждение, но не буду бегать как угорелый, если самолёт останется в Новом Уральске.

Успокоившись, я набрал в поисковике: «Достопримечательности Оренбуржья»,— и получил огромнейший список: лесопосадки Карамзина, Аксаковский парк, Бузулукский бор, гора Полковник, Красная Круча. Я открывал страницу за страницей и удивлялся, попав в новый мир. Мир, в котором жил, но которого не знал. Спросил у мамы, бывала ли она в парках или заповедниках.
— Я не помню,— ответила она.— В школе ездили в Бузулукский бор, это в памяти отложилось, с бабушкой в Саре травы и грибы собирали, на месторождение яшмы учительница водила.
— Удивительно. Мы не знаем, что нас окружает красота. Мечтаем о загранице, а дальше носа не видим.
— Я, кроме работы, ничего не наблюдаю. Утром — маршрутка, днём — компьютер, вечером — маршрутка, плита и кровать. Как тут успевать?
— Хватит тебе ворчать. Давай лучше что-нибудь сготовим.

Предложение маму заинтересовало. Готовить я вызывался редко, но талант и любовь к съестному делали из меня творца: кулинарные шедевры получались вкусными и красивыми. Бабушка, царство небесное, говорила, что и пальчики оближешь, да и глянуть любо-дорого. Когда Бог забрал её на небеса, баловать стало некого, а для себя я варганил обычные вещи вроде макарон по-флотски или картошки с курицей.

А в те добрые времена, когда работа не чернила белую студенческую жизнь присутствием, я обнаружил в шкафу занимательную «Книгу о вкусной и здоровой пище» советских авторов и приступил к экспериментам. Бабушка и дедушка питались по системе Александра: попробовали салат «Цезарь», маринованную утку с яблоками, сырный крем-суп, мясо с капустой, тушенной в собственном соку. Шеф-повар Саша был достоин двух звёзд «Мишлена».

Продуктов после праздников осталось немного: кусочек мяса, кефир, кругляш сыра, яйца, пакет с лавашами, пачка макарон да килограмм картофеля.
— Здорово, потушим мясо с картошкой,— сказала мама.
— Мясо с картошкой?— возмутился я.— Всего лишь? Сам гуру снизошёл на кухонные просторы,

а тут мясо с картошкой! Нет, извольте! Я использую все ингредиенты.

Вооружившись ножами, приправами и воображением, я прикинул, что может получиться, и приступил к делу. Нарезал мясо кубиками, обжарил на сковороде, добавив тёртой моркови, лука и чайную ложку томатной пасты. Полученную зажарку измельчил в комбайне до состояния фарша, остывший фарш перемешал с тёртым сыром и зеленью. Два лаваша устроил в форме с нахлёстом на бортики и высыпал смесь в форму. Кефир перемешал с яйцом, посолил, порвал оставшиеся лаваши в чашку, смочил и положил сверху на фарш. Закрыл пирог последними двумя лавашами, смазал маслом и закинул в разогретую духовку. Мама, наблюдавшая за спектаклем, только ахнула. Я, вытерев руки о фартук, поклонился.

Вечером вся семья собралась за столом. Папа, мама и я ели пирог, запивали горячим зелёным чаем и разговаривали. Главной темой дня был возможный переезд в Оренбург.

— Сегодня разговаривал с Николаем, это дедов крестник, если не помните,— отец взял паузу на расправу с пирогом.— Он работает в госструктуре: то ли в администрации, то ли у губернатора, не важно. Весной запускается проект, строительство которого шло последние пять лет.

— Ракетная база?

— Всё верно… Так вот, мне предложили перевестись туда, без увольнения из армии, да ещё и с повышением. Обещают полковника, если контракт подпишу. Но не в этом суть. Николаю нужен помощник для проекта. Угадайте, кого он хочет видеть?

— Кого?— хором спросили мы.

— Дед сосватал ему тебя, Сашок. Они пробили в твоей компании, там дали рекомендации и положительные отзывы, в итоге Коля решил вернуть блудного родственника на родину.

— Как-то неожиданно,— сказал я.— А как же Москва?

— Да плюнь ты на неё! Тебе упал с неба шанс, повторно звать никто не станет. Николай на пенсию скоро уйдёт.

— И правда, Саш,— сказала мама.— Ты подумай, никто не наседает, но это достойная работа. Москва Москвой, но пора задуматься о будущем. Не всю же жизнь клиентов искать и лизинг втюхивать!

Позже, когда родители устроились у телевизора, я мыл посуду и размышлял о перспективах жить дома и стать помощником дедова крестника. Я ни черта не мыслил в ракетной индустрии и военных делах, но несколько лет назад не разбирался в лизинговых сделках, что не помешало переступить порог нынешней работы.

Москва манила и завлекала, но неудачи и реальность остудили пыл, и вера, которая раньше била через край, закончилась. Остались мечты, а одними ими сыт не будешь. Новый Уральск загибался: заводы закрывались, объявляя себя банкротами; предприятия перекупались, год-два барахтались на плаву на старом выхлопе, а затем уезжали в неизвестном направлении. Так, к примеру, перевезли куда-то на Дальний Восток крупнейшую кондитерскую фабрику, оставив без хлеба и пищи тысячи специалистов. Возвращаться сюда означало только одно — поставить жирную точку в делах карьеры и личностного роста. Оренбург был интереснее. Областной центр забирал и забирает лучшие местные умы, переманивает спортсменов и талантливых учеников и студентов, в него вкладывают и развивают, а мы в лучшем случае превратимся в свалку для отходов ракетного комплекса. Президент подписал соответствующий указ в конце десятых, местные власти, получив откат, согласились. Мнение обычных горожан никого не интересовало.

Отец понял, что жизнь в любимом и родном городе подошла к концу. Для меня — с переездом в Москву, для них с мамой — в ближайшем будущем. Возможно, это произошло и раньше, и он ждал, когда позвонят с переводом. Не исключено, что предложение было до начала строительства. Всё-таки больше папы в Оренбургской области никто не служил. В детстве — кадетский класс и школа ЦСКА, затем — лейтенантские значки и звание мастера спорта, сборы и командировки, и как итог — подписание контракта. Отец женился на армии, говорила всегда мама. Про него писали в газетах, принимали с почестями в мэрии, подарив звание почетного гражданина города, но папа ценил только казармы и солдат. Он воспитал стольких «дедов» из «салаг» и «черпаков», сколько и не снилось врагам государства. Его уважали и побаивались генералы, воспринимая советы как должное и прислушиваясь к ним, словно к сладостным речам оратора, обещающего манну небесную. Перевод в Оренбург он заслужил как никто другой.

Я переводов не заслуживал, но судьба распоряжалась иначе. Я запутался в ощущениях и не знал, соглашаться или отказываться. Оренбург сулил новый виток в совершенно разных направлениях. Были вопросы, но они отпали. Никто на переезде не настаивал (кроме родителей), и разобраться хотелось самому. Я метался, втайне лелея столичные мечты, и надеялся на чудо. Русские любят верить в чудеса, это повелось со времён царя Гороха, когда добродушные крестьяне махали рукой и приговаривали: «Авось пронесёт!» Я жил в России и ничем не отличался от древних соплеменников. Разве что отсутствием бороды и современными технологиями, а во всём остальном разница в тысячелетие нивелировалась.

— Размышляешь?— вошедший на кухню отец вывел меня из задумчивости.

Я дёрнулся и понял, что несколько минут мою одну и ту же тарелку. Вожу губкой по фарфоровой поверхности и тереблю душу.

Папа включил чайник и хлопнул меня по плечу.

— Любое решение окажется правильным,— сказал он.— Это твоя жизнь, и ошибки, которые совершишь, тоже твои. Это твоё счастье и твои разочарования. Ни я, ни мама не проживём жизнь за тебя. Не мучайся, до конца праздников определишься. Захочешь — поедешь в Москву, захочешь — в Оренбург. Сейчас выходные, и не надо заморачиваться.

— Хорошо,— ответил я.

Я заварил китайского улуна и пошёл в кабинет. Мы просидели до рассвета, но тему переезда не затрагивали. Разговаривали об охоте, о сибирской тайге и медведях, о выживании в экстремальных условиях и закаливании организма.

В шесть утра разгневанная мама выгнала нас с насиженных мест, и прокуренный кабинет опустел.

На Рождество в гости позвал дед. Мама согласилась, но в её душе сохранился осадок. Глядя на сияющего улыбкой деда, она видела в нём горе-гуляку, на старости лет крутанувшегося головой в ненужную сторону.

Женщина по имени Мария, которую дед выбрал для сожительства (так выразились родители, и определение весьма точное) была некрасива, нестройна и напоминала манерами мужика. Её муж служил в лётных войсках и разбился в начале войны с Афганистаном, оставив троих детей на попечение жены. Мария ношу приняла с достоинством. Вкалывала на двух работах, а по выходным подрабатывала посудомойщицей в ресторане. Платили немного, но оставалась еда, которую поровну делили между сотрудниками. Дети, лишённые материнского воспитания, росли самостоятельными и своенравными трудными подростками и по достижении совершеннолетия разъехались по матушке-России, да так и потерялись. Писем и телеграмм от них Мария не получала. Говорили всякое, народ горазд на сплетни: старшая дочь якобы вышла замуж за африканца и попала в рабство; младшая стала наркоманкой и доживает дни в больнице; сын отсидел в тюрьме, алкоголик и крышует коммерсантов. Мария не верила в чужие россказни и знала, что с детьми всё хорошо. Материнское сердце чувствует на любом расстоянии.

С дедом они познакомились после похорон бабушки. Он ходил на рынок через дворы и наткнулся на одинокую пожилую женщину, что-то спросил, та ответила, и завязался разговор. Выяснилось, что оба родом из соседних сёл: Ивановки и Халилово. Дед рассказал о случившемся горе, Мария его поддержала и поведала о потере мужа. День за днём они встречались во дворе, садились на лавочку и говорили. Она — о своей жизни, он — о своей. Привыкали друг к другу и притирались.

Мама восприняла чужую женщину в штыки. С похорон бабушки прошли считанные месяцы, а дед крутил хвостом, будто кобель перед сучкой, и считал подобное поведение в порядке вещей. Называл Марию женой, вгоняя в краску от стыда, смеялся и вёл себя не по-джентльменски. Его окрыляло, как в рекламе энергетического напитка. Дед порхал бабочкой по Новому Уральску и забывал звонить мне и маме. Его подменили, подсунув чужого старика.

— Правильно бабушка говорила,— злилась мама.— Как только меня не станет, он сразу бабу в дом приведёт! Так и вышло. Все вы, мужики, из одного теста слеплены.

— Что ты всегда всех под одну гребёнку чешешь? — парировал отец доводы.— Люди разные, и среди женщин подлецов хватает, и среди мужчин. И дети не подарками бывают.

— Ничего,— мама обиделась и ушла в спальню.

— Женщины,— развёл руками папа.— Никогда их не поймёшь.

Мы шли к деду в молчании. Мама — демонстративно отвернувшись, а я и отец — следом, как верные оруженосцы. Гулким эхом разносились шаги по подъезду, сообщая о прибытии, и на пятом этаже гостей встречала Мария.

Я прожил здесь детские и школьные годы и настолько привык, позвонив в домофон и преодолев лестницу со скоростью беззаботного юнца, видеть у двери с номером 60 бабушку, что сейчас невольно заморгал и встрепенулся. Бабушки больше не было, Марию я не знал и видел впервые.

Мы вытерли ноги, отряхнув остатки снега и грязи на коврик, потопали и спрятались за дверью. Я разулся и прошёл внутрь, удивившись, насколько изменилась квартира. Вещи стояли те же, что и пять-десять лет назад, но выглядели по-другому, словно с налётом пыли, хотя ни одной пылинки я не заметил: чистота и порядок, даже стёкла в шкафах протёрты.

Дед сидел во главе стола, поднялся с деловым видом навстречу — эдакий буржуа на приёме — и заулыбался.

— Сашок приехал! Обнимемся!

— Здоро́во, дед,— сказал я.

Мы обнялись, но объятия получились картинными. Сцена напомнила неудачную игру двух картонных персонажей из скучного фильма.

— Жена приготовила пельмени,— сказал он.— Пальчики оближешь.

— Ты женился? — «удивился» я.

Он сделал вид, что не расслышал, сморщился и обратил взор на папу и маму, оставив вопрос без ответа. Дед обнял отца, хрустнул под тисками старшего и закряхтел. Мама чувства проявлять не пожелала и заняла свободное кресло. Дед не

смутился, холодная война ему нравилась, он чувствовал себя главным генералом на поле боя и мастерски хитрил.

— Сашок, как в Москве? — спросил дед.

— Хвастаться нечем. Работа, съёмная квартира. Всё как у всех. Обыденно.

— Я тут с Колей недавно разговаривал. Тебе отец говорил?

— Да, мы общались. Думаю пока.

— Маша, вода закипела? Закинь сорок штук!

— Закипела, — отозвалась с кухни Мария. — Бросаю.

Мы выпили по стопке крепкой и сладкой малиновой настойки, закусили салатами и ждали. Мама не проронила ни слова, дед улыбался и подмигивал, а я и отец налегали на еду. Атмосфера накалялась.

Взгляд упал на приоткрытую тумбочку, и я заметил стопку пластинок. В мозгу щёлкнуло, и он перенёс в девяностые, в далёкое, беспроблемное и беззаботное детство.

…В зале танцевали гости: кумовья, коллеги деда по заводу, соседи, друзья. Пол сотрясался под звуки «Синего инея», «Сиреневого тумана» и «Миллиона алых роз», а на столе гордо стоял проигрыватель. Пластинки меняли, менялись танцующие, веселье не прекращалось. Звучали тосты, я сидел у бабушки на руках и изумлялся праздничному балагану. Было одновременно и весело, и страшно…

— Пельмени, горяченькие, — Мария принесла в зал большую тарелку.

— Жена, умница! — похвалил её дед.

Мама не сдержалась, стукнула кулаком по столу и напомнила деду, что он не женат, и если надумает, то общаться они прекратят немедленно. Дед насупился и убрал показное веселье, сбросил маску.

— Некрасиво, — мама постучала пальцем по виску. — Тебе семьдесят лет, а ты глупости городишь, как ребёнок. Ты жену похоронил недавно, если не помнишь. Забыл уже, что ли?

— Отставить крики! — вмешался папа.

Мама всхлипнула, Мария поставила тарелку на стол и ушла на кухню, а дед заиграл желваками.

— Может, перестанем ругаться и поедим? — сказал я. — Пельмени остынут. Выпейте настойки, выпустите пар.

Отец разлил спиртное по рюмкам и огласил:

— За понимание!

Все чокнулись и выпили.

— Ты не знаешь, что по зарплате в Оренбурге выходит? — спросил я деда, уводя от разговоров о жёнах.

— Жаловаться вряд ли придётся, — ответил дед. — Коля обещал не хуже, чем в столице, платить. Я так просил. Дальше — как договоритесь. Принесёшь справку о доходах, примерно и посмотрят. В эту базу денег вбухали, на зарплате не экономят.

— Как у тебя с садами? Сажаешь ещё?

— Разграбили всё. Летом уже не сажали. Трубы срезали, воды нет, будку разобрали… Сносить их хотят, по пять тысяч компенсации на нос дали. Я взял, зачем мне теперь сад? Пенсии со скрипом, но хватает. Ты изредка денег присылаешь, так что не жалуюсь. Жалко, конечно. В семидесятом году сад купили — считай, сорок лет кормил нас и баловал. Дерево в углу помнишь? Ранетки. Ровесники его. Ничего не осталось… Вандалы… Ни стыда, ни совести, Сашок.

— А у Бусинки сады продавали, я на форуме читал. Взял бы себе, там охрана, никто не сунется.

— Хватит. Пора и честь знать. Я теперь настоящий пенсионер, к сёстрам поеду в Башкирию, в Стерлитамак, и к брату, он в Крыму живёт, в Севастополе. Николай звал, у него дом под Оренбургом, проведаю на недельку-другую, там сауна и бассейн, природа. Отдохну и душой, и сердцем. На рыбалку сходим. Поедешь с нами?

— Мы с отцом на Волгу договорились, если отпустят. Он тоже в Оренбург переводится, и у меня под вопросом.

— Я бы на твоём месте вернулся, — сказал дед. — В гостях хорошо, а дома лучше. Надо расти, Сашок. Здесь помогут, пока Коля в администрации, а на пенсию уйдёт — там и ты на ноги встанешь. Успеешь карьеру сделать.

Я не ответил. Откусил пельмень, высосал из него сок, помазал «огоньком» и посмаковал. Пельмени в нашей семье ценили, готовили на праздники и по приходе гостей. Сложившаяся традиция передавалась из поколения в поколение, и когда я угостил ребят в Москве, они удивились, насколько вкусным получилось блюдо. Привыкшие к магазинным кругляшам, они и не догадывались, что правильная форма напоминает чебурек, и в чебуреке сохраняется больше сока, чем в круглом.

— Дед, пельмени, как всегда, на высоте, — похвалил я. — Марку держишь.

— Талант не пропьёшь, — отшутился он.

Выпили по третьей и смягчились. Мама перестала цеплять деда, Мария сидела тихо и в разговорах не участвовала, а мы втроём балагурили, вспоминая смешные эпизоды из жизни: как я укатил на велике из-под зоркого ока прабабушки; как отец сломал лестницу и упал в крыжовник, поцарапав спину и плечи; как мама впервые варила суп и высыпала банку риса, и рис выбежал на плиту. Дед веселился, но глаза его были печальны. Я видел, а родители не замечали. Им казалось, что он наслаждается новой жизнью без ограничений и стоп-кранов, отрывается, как выражается молодёжь, на полную катушку. Однако искорка в глазах, которая всегда выделяла деда из толпы, потухла со смертью бабушки. Вся показуха — притворство и театр, дабы не умереть от одиночества. Чтобы увидеть это, необходимо разбираться в людях.

Пообедав, сыграли в «дурака» — каждый за себя, но получалось в командах: я с отцом, а дед с мамой. Папа играл сильно, помогал, и битва вышла на загляденье, особенно когда козырные обходили стороной. За вечер мы ни разу не остались.

Домой шли пешком, наслаждаясь очередным снегопадом. Снег падал с Нового года, подарив новоуральцам праздник и неповторимую радость. За прошлые годы зимой не выпало и десятой доли того, что погода преподнесла в эту. Метеорологи винили циклоны, но я знал, что они ни при чём. Город удерживал от уезда, хотел, чтобы я если и не остался здесь, то хотя бы не покидал область.

Зимний проспект был чист и прекрасен. Одинокие прохожие вязли в снегу, улыбались, и мир казался выдуманной сказкой. Мы держали маму под руки, и когда она начинала скользить, дружно подхватывали и ставили на место. Мама смеялась, ей доставляло удовольствие внимание любимых мужчин. Наверное, она вспоминала детство, когда дед и бабушка помогали не упасть, а она каталась на льду, позволяя иногда оторваться от земли и повиснуть на родительских руках.

Годы уходят, воспоминания остаются навсегда, и их не заменить. Каким бы ни было впечатление, плохим или хорошим, оно вгрызается в память, словно заноза в человеческую плоть. Мы живём этим, и слаб тот человек, который мечтает забыть прошлое.

Я шёл и мысленно представлял себя на месте мамы. Мелким шалуном, только-только начинающим жизнь в большом и грязном мире. Я был беззаботным и не ведал преград. Какие преграды, когда крепкие руки отца подкидывали тебя, как ветер пушинку?! Легко и непринуждённо — папа брал награды по тяжёлой атлетике и подбрасывал меня. Легко и непринуждённо — папа казался героем из комиксов. Детство виделось бесконечным, а не успел оглянуться, как тридцатилетие маячит на горизонте, и пора задуматься о свадьбе, о наследнике, о жене.

Решение сложилось само. Я подмигнул отцу, сжал крепче мамин локоть, и прогулочным шагом мы направились к новым переменам. Душа успокоилась и трепетала.

Как тогда, в детстве…

Д*и*Н пародия

Евгений Минин

Игры с классикой

Спортивное

Сказать, какой? Но я и сам не знаю,
Удобно ли в таком признаться сне?
Что я в футбол с Ахматовой играю,
Пасую ей, она пасует мне.
Александр Кушнер

Мы как-то раз с Ахматовой играли
В футбол — подумать, что приснилось мне!
А Рейна вместе с Найманом не взяли —
Они страдали горько в стороне.
Недолго пасовался со старушкой,
И получалось всё у нас о’кей.
Я спал в трусах, а завтра лягу с клюшкой,
Чтоб погонять с Андреевной в хоккей.

Дендрологическое

Эта пальма, наверное, ель,
Обметённая инеем сплошь.
Александр Кушнер

Этот цветик, наверное, мирт,
Если глянуть издалека,
Камышом у реки не шумит,
Да и где тут в квартире река?
Архилохом клянусь — не сосна,
Не берёза — царица полей!
«Это фикус», — сказала жена.
Лейка рядом — возьми и полей!

Олеся Рудягина

Подруги

«Хр-р-рясь!» — топор смачно вонзился в дверной косяк в нескольких сантиметрах от Зинкиной головы. Медленно-медленно она обернулась.

Жутко осклабясь, на неё надвигался свёкор лучшей подруги. Громадный, в растянутых на коленках тренировочных штанах и майке, прикрывающей невнятную татуировку неоднократно честно отсидевшего человека, с удивительно покатыми, неширокими и мощными, как у борцов, плечами и волосатыми ручищами до колен, он был грозно смешон. Сейчас рванёт эту затасканную майку, заорёт: «Моргалы выколю-ю-ю-у-у-у!», некстати подумалось Зинке, и не то чтобы вся красивая недолгая Зинкина жизнь продефилировала перед её внутренним фиалковым взором, но какие-то моменты последних оглашенных лет замелькали слайдами.

1.

— Алло! Привет! Ну? Как?! Не лучше?

— Откуда возьмётся лучше-то?.. Всё то же, Зин.

— Прости… Слушай, а ты ему книги читаешь?

— А зачем? Нет. Книги его расстраивают и раздражают.

Голос в телефонной трубке заторможенный и усталый.

— Что же ты делаешь, бедолага моя, сидя с ним безвылазно в четырёх стенах? Можно же с ума сойти!

— Зачем с ума?.. Я рассказываю. «Вот мы садимся с тобой в поезд. Вот раскладываем вещи. Вот глядим в окно на перрон. Люди. Спешат. Провожают. Поезд трогает. Сначала так медленно, будто показалось. Но вот уже понятно: едем! Проезжаем цирк — на пригорке стоит. Красивый… Город кончается. Сады. Виноградники. Вон стадо овец. А вот коровы лежат в траве. Жуют себе. Такие большие… Небо. Птица. Птица летит…»

Юля замолкает, будто следит взглядом за долгим полётом этой сказочной последней птицы Славки. Её муж, красавец, жгучий брюнет Вячеслав Даркó, с которым — весёлым дембелем — четыре года назад она познакомилась в поезде, умирает. Умирает в двадцать пять лет. Стрёмно сказать — от рака яичка. Как-то обронил в разговоре с женой, что в казарме неловко и зело больно сел промежностью на ребро койки. Да кто правду знает? Может, отметелили его когда там — бóрзого каратиста и домостроевца… Юльку он ни на шаг от себя не отпускал, в первый же момент их встречи — в том самом купе — всё для себя решив и ничуть не заморачиваясь планами самой девушки. «Держит в золотой клетке!» — смеялась Юлька, рассказывая, как, не позволяя выходить в магазин, снабжает её оборотистый муж всем-всем, от недавно появившихся диковинных крылатых прокладок «ОБИ» до мебельных гарнитуров для кухни, столовой и прихожей. Правда, расставлять их было пока негде — ютилась молодая семья в крохотной комнатёнке родительской квартиры, но зато, упакованное и многоярусно громоздящееся до потолка, всё это хозяйство представляло из себя вполне реальное, осязаемое «семейное благополучие». Иногда Славка Юлю поколачивал. Даже выбил ей коренной зуб в припадке беспочвенной ревности. Зинка тогда оскорбилась за подругу: «Разводись!» — но Юля только загадочно улыбалась, прикрывая веками светящийся счастьем прозрачно-бирюзовый взор. Они и правда были счастливы. Новорождённого сына Слава собрался назвать звучно и мужественно: Тигран. Опешившая Зинка, которой первой об этом торжественно поведали, еле отговорила молодого папашу, нажимая на то, что мальчику когда-нибудь из-за прекрасного имени не дадут прохода не по-детски завистливые одноклассники.

Всё кончилось как-то опереточно быстро. После операции, сделанной, видно, слишком поздно, Славка ещё было тайком бегал по каким-то дремучим бабкам, разминавшим на его шее каменные лимфоузлы и возникающие по всему телу гули, а Юля собирала в ванной неумолимо осыпающиеся мужние чёрные кудри. И вот он слёг. Апельсины, мандарины, бананы — ещё пару лет назад невиданный дефицит, — принесённые друзьями по «бизнесу», лежали на постели. Славка время от времени дотрагивался до их прохладной пупырчатой или гладкой кожи.

— Всё такое вкусное. Раньше не ел. А теперь — не могу…

Сегодня ему приснилось факельное шествие, во главе которого шёл он, Вячеслав Дарко, красивый и удачливый, в генеральском мундире.

Он рассказал об этом Юльке, которая почему-то придушенно взвыла.
— Как же ты теперь? Ты ж у меня овца доверчивая,— скрипнул Славка зубами.— Выходи замуж за деньги. Слышь?! Пусть денежный будет… З-зараза! Не нажился я с тобой!

Тоскливо и зло глядит Славка в хорошее лицо Юли, переводит взгляд на дверь, за которой поскуливает трёхлетний Дениска. Сына Слава сюда не пускает. Не может видеть. И — не хочет…

После похорон, выдержанных в лучших народных традициях — с полотенцами-калачами, плакальщицами, щедрой поманой[1] и обильными поминками,— Зинка забрала Юлю к себе. Измученная, исплаканная, Юля вскакивала ночами и держала платяной шкаф: ей чудилось, что землетрясение и стены падают. И тут началась война.

2.

Вишня долго не разгоралась. А разгоревшись, сгорала ужасно скоро. Зинка, неловко орудуя пилой и каким-то подобием томагавка, расчленяла тело дерева, то и дело подкидывая обрубки в огонь. «Вишня, вишенка. Вот и пригодилась! Вот и оправдала меня». Зинка приговорила вишню прошлой ранней весной по бесконечным увещеваниям матери. В конце шестидесятых Зинкины родители таскали из недальнего питомника саженцы к этой новой своей, обживаемой такими же счастливыми новосёлами пятиэтажке, не предполагая, что со временем деревья, вместе с пыльной дорогой и машинами, загородят собой и солнце.
— Она совсем окно заслонила, свет не пробивается — листва густая. И ведь не плодоносит! Я шить не могу. Я слепну. Сруби её, проклятую, Христа ради!

В жизни не сломавшая ветки, всем телом ощущая боль живого создания, будь то кошка, птица, кузнечик или дерево, Зинка долго упиралась, ругалась, хлопала дверью, но, не выдержав слёз и упрёков стремительно стареющей мамы, однажды всё-таки спилила её, бесполезную и безответную. Никогда, наверное, не забудет она этого прощального всхлипа, когда, уже спиленная, секунду ещё постояла вишенка на своём пенёчке, вытянувшись в струнку, будто став на прощание выше, и охнулась оземь. И увидала Зинка, что вишенка вся в набухших бело-зелёных почках. А через день обмерла у окна: лежала внизу мёртвая вишня в белоснежном живом трепетном цвету… «Вот и пригодилась… Вода в казане наконец закипела; может, хватит тебя, чтобы картошка доварилась. А чайник и на угольках дойдёт. Хорошо бы. Не то останемся без чаю. И вообще без кипячёной воды. А сырую нельзя, в Днестре, говорят, трупов тьма…» Прогорит вишенка дотла. Тася и Денис воробушками тихонько сидят на пенёчках, Юля напряжённо вслушивается в странные раскаты за близким холмом, покрытым рышкановским леском[2], где они так любят гулять.

Того, что они раньше любили, становится всё меньше. Пространство сжимается шагреневой кожей. Нет больше страны, в которой родились и которой, убеждённые наследственные «совки», гордились. Нет многих друзей. И далеко не все отбыли в другие миры с вокзалов, груженные последним, самым необходимым скарбом. Многие ушли налегке. И встреч не будет. Площади выкипели яростными воплями «чемодан — вокзал — Россия», республика раскололась, и оторопелый брат пошёл на не менее оглушённого стремительными событиями брата. Верней, конечно, не сам пошёл. Задурили, науськали и погнали. Зинка слыхала от одного важного властного дяди, что ушлые начальнички по обе стороны реки умудряются между собой по-кумовски договариваться. Яростная молотиловка, о коей в Кишинёв до простых смертных доносятся только леденящие кровь слухи, на некоторых участках передовой замирает по приказу сентиментальных комбатантов в часы, когда по телевизору крутят «Богатые тоже плачут».

Расстрелянные выпускные вечера, прибалтийские снайперши на крышах провинциальных тишайших, утопающих в разморённой зелени городков, не похороненные убитые в кудрявых, любовно ухоженных палисадниках, пускаемые подчас в ход в карательных целях пилы-болгарки — всё казалось дурным действием кондового американского триллера-боевика. Никто не хотел умирать. И не собирался. Но кровь лилась настоящая. И настоящая граница разорвала сердце маленькой цветущей Молдовы…

Накануне вечером в телефонной трубке было отчётливо слышно, как стучат у мамы зубы. Зинка дозвонилась до неё со студии, откуда после эфира уходила за полночь.
— Здесь взрывы! — кричала медленно, словно в тягучем кошмаре, мама.— Взрывы, а звука не слышно! Только вспышки! Всё небо, всё небо в та-аких вспы-ышках! Это, наверное, какое-то новое оружие! Зиночка, мне страшно. Не уходи с работы! Сиди на студии!
— Мама, мама, мама, успокойся, это всего только сполохи. *Зарницы!* Понимаешь?! Это бывает, это гроза такая, без грома и дождя,— уговаривала Зинка, у которой подкашивались от ужаса и беспомощности ноги.

Она всё-таки добралась ночью домой на дежурной машине, на редкость бесшумно и быстро

1. Помана — одежда, предметы домашнего обихода, раздаваемые на похоронах на память об усопшем.
2. Рышкановский лесок — зелёный массив в городском районе Рышкановка.

рассекавшей чёрный густой накалённый воздух городских улиц. Крепко-накрепко обнялась на пороге с мамой и Таськой. Ночь прошла. Зинка знала: надо всегда только одну ночь пережить — не сброситься с крыши, не затянуть петельку, не открыть на полную газ — и всё встанет на свои места. Впрочем, «открыть газ» и не получится, хмыкнула про себя она. Никак. Газа-то и нет. Отключила его Россия бывшей братской республике. Звиняйте, граждане! Независимость так независимость. Во дворах закурились костры. Самые рукастые мужички мастерили маленькие печи. Домовитые хозяюшки умудрились на них даже закручивать консервы на зиму. По пятьдесят банок различных наименований. А две неразлучные консерваторские подружки, вдова да разведёнка, с двумя испуганными детками, похожими, как брат и сестра, две пианистки-разведчицы, варят на костре картошку, прислушиваясь к непривычным раскатам далёкого сводного оркестра.

— Зин, ты думаешь, это не гром? — упавшим голосом шелестит Юля.

— Да нет. Думаю, не гром, Юлька, — доламывая последнюю ветку, качает головой подруга и на всякий случай глядит в ясное небо. — Не гром.

— А если нас будут бомбить, я знаю, куда мы спрячемся! — вдруг выдаёт обычно задумчиво молчащая Таська.

— Куда?! — в один голос отзываются потрясённые мамы и Дениска.

— В диван! — радуется хитромудрая Таисья. — Вот только мне игрушечки будет жалко. Игрушечки ведь не поместятся.

Она крепче прижимает к себе облезлого жёлтого плюшевого кота.

— «Мы шли под грохотом нанады, мы смерти смотре-ели в лицо!»[3] — громко и зло запевает Зинка, и детки вздрагивают от неожиданности. — Юль, знаешь, я так в детстве пела «Барабанщика». Такая у меня была разволшебная «нанада»! То ли радуга вселенская, то ли хор ангелов мщенья. И вот под ними-то: «Вперёд продвигались отряды спартаковцев, смелых бойцов!» Когда меня мама, услышав, отчитала и открыла горькую истину, я очень плакала. Канонада — совсем, совсем другое дело. Куда ей до «нанады»!

3.

Юля и правда замечательно доверчива и добра. Родом она из российской глубинки, из славного города с нелепым названием на «Ч», при произношении которого Зинка каждый раз вздрагивала и отгоняла назойливое «И в воздух чепчики бросали». В Кишинёв Юленька попала не случайно, а, можно сказать, по указке судьбы. Именно её перст, видимо, приняв вид Юлиного крепкого пальчика пианистки, опустился в некую точку европейской части большущей карты Советского Союза, расстеленной в гостиной Калерии Валериановны — любимой учительницы по специальности. Юля только что закончила музучилище, поступать дома казалось пошлым и неинтересным. Хотелось романтики, не терпелось испытать себя — на самостоятельность, на прочность, на взрослость, на профессионализм, — благо страна огромная, а молодым, как известно, везде у нас дорога. Отмечая получение диплома, наставница Юли предложила доверить дальнейшее решение провидению. Вот они и уселись на эту карту, загнувшуюся на плинтус в районе Курил, покрытую лесами, горами и равнинами, таящую полезные ископаемые и трудовые ресурсы одной шестой части земной суши. «Кишинёв?! — вскинула бокал с «Советским шампанским» Калерия. — За-ме-чательно! Молдавия! Виноград, лэутары, красные поляны, „Табор уходит в небо“! Ты будешь там обязательно счастлива, Юлия! У нас бескрайняя прекрасная страна! И везде — братья!»

Юлька обладала потрясающим свойством жалеть людей. Она одинаково ласково и внимательно выслушивала и разведённого массовика-затейника, и пьяную бомжиху, и замороченную мать многошумного татского семейства, и чванливого националюгу-журналиста, и разочарованного профессора-музыковеда, и вкрадчивого рецидивиста-свёкра. Люди для неё не делились ни по национальным, ни по социальным, ни вообще по каким бы то ни было признакам. Последнюю комбинашку при необходимости могла отдать Юлька соседкам по комнате в консерваторской общаге. А уж накормить голодного, подать милостыню… Мошенники безошибочно чуяли её бесхитростность и дважды снимали с неё золото, подаренное родными. Да что там снимали! Сама отдавала Юленька мамины серёжки и колечки, поведясь на очередную мгновенную беспроигрышную лотерею или конкурс. «Прелестная дамочка, снимите и держите свои сокровища в кулаке. Сейчас посмóтрите, как их станет вдвое больше! Кто не рискует, тот не пьёт шампанское! Вы обязательно выиграете!»… «Ну как же так, Юля?! — кипела Зинка! — Ну ты же взрослый человек! Как ты могла?!» Юлька хлопала бирюзовыми глазами и убеждённо говорила: «Зин. Он там совсем без ног был. Совсем! В инвалидной коляске. Лотерея. Это не он виноват. Там девчонка какая-то. Знаешь, прям вырвала у меня золото из кулака! Больно так схватила. И побежала… Он так возмущался. Звал милицию. Даже плакал. Предлагал мне свою коляску продать. Чтобы возместить. Афганец!» Зинка всплёскивала руками,

3. «Мы шли под грохот канонады» — первая строчка немецкой революционной песни «Маленький барабанщик» в переводе М. Светлова. Часто исполнялась пионерскими хорами в 60–70-х годах прошлого века.

таращилась на безумную подружку и прижимала к щеке её широкое горячее лицо.

Один-единственный недостаток видела Зина в драгоценной подружке. Юля не умела быть одна. Любая-любая—косая-ушлая-необразованная—особь мужского пола могла претендовать на её сердце и руку, оказавшись рядом. Юля от мужского внимания млела и совсем теряла голову. До замужества Зинка то и дело оттаскивала её от «прынцев», начинавших бессовестно пользоваться Юлиной добротой. Юля готовила, стирала-обихаживала свежих кавалеров, перенимала словечки, привычки, увлечения и даже жесты и манеру говорить тех из них, с кем встречалась подолгу. «Душечка!»—презрительно бросила как-то их общая знакомая. Юлька не обиделась. Она не поняла. Читала мало, что тоже огорчало Зинку безмерно. Теперь же, когда не стало Славки, Юля, с энтузиазмом вкалывавшая на трёх работах, была поглощена идеей фикс—найти для сы́ночки достойного отчима. Кандидат не заставил себя ждать. Правда, на Зинкин взгляд, чем иметь такое рядом, лучше пойти на четвёртую работу и вообще забыть, что ты женщина. Ардей[4] был краснолицым, кривоногим кряжистым шофёром с вечно сальными волосами, спадавшими на узкий лоб. Он обычно шумно и долго ел, расставив гранитные колени коротких ног, практически не разговаривал, но легко поднимал Юльку за талию и переставлял по комнате, как статуэтку. Аутичное лицо его при этом приобретало совершенно блаженное выражение. Раз он притащил четыре кэгэ задохнувшихся «ножек Буша», другой—партию бракованных колготок. По постперестроечной отчаянной нищете и то, и другое было Юлией виртуозно использовано в хозяйстве. Шофёрские подвиги настолько впечатлили Юленьку, что она решилась доверить мужчине маленького Дениску на время срочно нарисовавшейся десятидневной командировки в Киев.

Но тут Зина решительно заявила:

— Только через мой труп! И не думай. Ты не оставишь Дениску с этим перцем. Совсем сбрендила! Хочешь потерять сына?

— О-о-о-ой, что же делать, Зиночка?! Мне очень-очень-очень нужно ехать. Ты же знаешь, я этого повышения квалификации пять лет ждала! Это же верная прибавка к зарплате! Как же быть?

— А так. У меня поживёт,—неожиданно для себя самой выпалила Зина.

— Ты забыла. Ты в доме не хозяйка,—шепнула Юля, зная неуживчивый нрав доброй Зинкиной мамы, и виновато опустила белёсые ресницы.

Но всё устроилось самым лучшим образом. Зинкина мама с грустным пониманием отнеслась к проблеме, заведующая детсадом поразительно быстро разрешила временно водить мальчика в Тасину группу, раскладушка для Дениса поместилась в Зинкиной светёлке, почти не перекрыв выхода, и Юля уехала с лёгким сердцем. С неожиданным удовольствием Зина вечерами возилась с детьми, читала свою старую любимую книжку волшебных сказок, по утрам с речёвками-прибаутками поднимала, весело подгоняла, вела, держа в обеих руках по хрупкой детской доверчивой лапке.

На третий вечер Зина обнаружила Дениса, безутешно рыдающего в судорожно обнятую подушку. «Приехали. Тоска по матери. Вот где мне, комару, и смерть пришла!» Зинка кинулась утешать малыша:

— Что? Что, Денисонька?! Кто обидел моего мальчика? Убью гада!

Тася, всё явнее ревновавшая мать к пацанёнку, сейчас неуклюже гладила его по голове.

— Я бо-о-ольше не пойду-у-у в сво-ой са-а-а-ад. Не-не пойду-у-у-у. Я б-буду ходить с Та-а-асей, в Тасин са-ад. У неё до-о-о-обрые… там до-о-обрые тё-о-о-оти.

И Зинка, среди слёз и сбивчивых, задыхающихся слов, врубилась, что в роскошном садике, куда с перепугу «некоренная» Юля отдала сына «сызмальства учить государственный язык и прививать любовь к народным традициям и обычаям родной страны», малыша за каждую провинность образцово-показательно наказывали, выставляя перед остальными детьми. И стоял он, без трусиков, часами—под иконами и кружевами крахмальных полотенец с фантазией обустроенной под каса маре[5] группы.

4.

Зинка чувствовала: ничем хорошим Юлино житьё в мужнем доме кончиться не могло. Крокодилы не приручаются. И благодушное чириканье подруги со свёкром, и готовки-постирушки ему ничего не меняют и не гарантируют. Однажды плотину прорвёт, и весь Юлькин мирок полетит в тартарары. Её свекровь с пятью младшими детьми накануне развала Союза получила долгожданную четырёхкомнатную квартиру в новом доме на окраине города и, перекрестившись, от благоверного умотала. Старшего сына свёкор побаивался и при нём бузил редко. Правда—феерически! С битьём стёкол и морд собутыльникам и соседям, диким ором на трёх языках, включая «феню», приездами милиции, отсидками по пятнадцать суток. Выходил чёрный и страшный, до крайности обозлённый; для Юли был му́кой путь в десять шагов через его проходную комнату до двери в коридор. Когда же Славки не стало, Юлька с Денисом остались один на один со Старым, как все его называли в семье,—с никогда не работавшим, жестоким и хитрым, ещё совсем не старым мужиком.

4. Ардей (перец.—*молд.*)—фамилия.
5. Каса маре—заветная, лучшая, гостевая комната в доме молдаванина.

В тот вечер к нему зашёл Жора, один из прежних приятелей Славы. Он давно положил на Юльку глаз, почему и был однажды, не без сопротивления, из дома выставлен. Теперь же лакомая добыча осталась без пригляда. Жора вытащил из-за пазухи бутылку фирменной водки:

— Помянем Славку, отец,—и плотоядно уставился на Юлю, проходившую через комнату свёкра к себе, где её ждала Зина.

— А что? И помянем,—Старый приподнялся с панцирной кровати, на которой мог лежать, не вставая, сутками, от запоя до запоя, уставившись в потолок.—Киса, а ну стой, давай-ка на стол сообрази!..

— Зиночка, пойдём посидим с ними, Старый зовёт,—Юлька, прикрыв за собой дверь, заметно дрожала.

— Вот ещё! Зачем ты ему потакаешь?! Не хватало ещё с ним водку распивать!

— Зин, ну только для вида присядем, пригубим, а потом сбежим. К тебе пойдём. Мы же собирались. Нас Тася ждёт. Только чтобы его не злить.

Прозрачные перепуганные Юлькины глаза были готовы скатиться на пол крупными бирюзовыми каплями. Зинка и не предполагала, как, на самом деле, подруга боится Старого.

— Ну хорошо. Давай.

И вначале вроде бы всё было чинно-мирно. Может, обойдётся, подумала Зинка. Вот сейчас будет удобный момент подняться и пойти «перекурить». А там они с Дениской и Юлей растворятся в летних сумерках. Чем этот вариант был лучше предложения изначально не садиться за стол, Зинка сообразить не могла. А Старый тем временем, помня Жоркину давнюю страсть, всё его подначивал, подмигивал, полешки подкладывал, всё к Юле подталкивал, так добродушно, по-отечески, почти обаятельно. Что уж, мол, там. Славку не вернёшь. Дело молодое. Глянь, какая краля! Вдовьи слёзы рожу-то не испортили! Глядишь, родственничками станем! Разогретый расположением Старого и выпитой водкой, Жора вдруг потянулся к Юле, чтобы приобнять, и тут же Старый молниеносным движением всадил ему в шею щербатую вилку. Зинка, кажется, даже услышала треск разрываемых тканей. Парень взвыл, зажал вилку у основания раны и, не проронив ни слова, ломанулся из комнаты. За окном мелькнуло его перекошенное лицо. Жорик нёсся к вендиспансеру, который лилово громоздился через дорогу. Сообразил женишок, что может найти там быструю медицинскую помощь. Было видно, как трясётся в такт его движениям перпендикулярно шее торчащая вилка.

Дальнейшее завертелось с невероятной быстротой. Старый вскочил, опрокинул табурет и, страшно выругавшись, развернулся к окаменевшей Юле; Зинка, сдёрнув её за руку с места и сильно оттолкнув в коридор, метнулась за Денисом; в руках Старого, непонятно откуда взявшийся, оказался новый инструмент…

…Жутко осклабясь, Старый надвигался на Зинку. Прижав к животу голову сына, выскочившего из соседней комнаты, Юлька глядела на топор, только что воткнувшийся в косяк и ещё, кажется, красиво звенящий возле уха побледневшей подруги. Маленький Денис вдруг рванулся из материных рук и ввинтился в пространство между «тётей Зиной» и Старым, упершись в необъятный живот «почётного зэка» тоненькими ручонками:

— Не надо! Дед! Не надо!!! Не бей её!

Крика было достаточно, чтобы вывести Зинку из оцепенения. Она сгребла Дениса и заорала Юле:

— Беги!!! Беги на двор!

Дверь, благодаря скоропостижному исходу Жоры, оказалась не заперта.

…Они брели втроём по улице старого города. Из десяти фонарей путь освещал только один чудак, не пожелавший быть разбитым. Ветер швырял под ноги обрывки газет, драные целлофановые разноцветные кульки, пустые яркие пакеты недавно заполонивших прилавки чипсов и прочей ядовитой импортной дряни. Ощущалась близость базара, далеко раскидавшего свои стрекала. Денис крепко держал мать и её подругу за руки. Чувствуя, что дорогие ему женщины никак не могут прийти в себя, он понял, что сию секунду нужно что-то с этим делать, любыми способами спасать, и на всю улицу завёл с выражением недавно выученного «Мойдодыра».

— Уеду я, Зин,—почти неслышно проговорила Юля.—Ну сколько можно биться? Ты видишь, ничего не выходит. У меня в России родители всё-таки. Брат. Что я здесь делаю?

— Да. Да. Конечно. Уезжай! Скорее! Россия поднимется, поднимется. И ты. Ты же там—коренная, своя, ты там нужна, ты классный музыкант, ты не боишься работы. Представь, у тебя сын будет расти, ничего не боясь!—горячо подхватила Зинка, развернувшись к подруге всем корпусом, видимо, потрясённая внезапным обретением такого простого и очевидного выхода. Но из жарких распахнутых её глаз вдруг—без предупреждения—хлынули слёзы.—А мы… А я… Здесь. Здесь моя родина.

Юлька рывком прижала Зинку к груди:

— Нет. Нет. Забудь! Я не уеду. Не уеду. Пока не буду знать, что у тебя всё хорошо, что ты не одна. Что за тебя есть кому заступиться. Не уеду. Не плачь только, сестра моя, сестричка, Зиночка! Дениска, ну давай расскажи тёте Зине: «Вдру-у-уг из маминой из спальни, кривоногий и хромо-ой…»

И они втроём громко захохотали посреди ночной столицы одной совершенно не зависимой от них страны.

Олег Посметный

Лицом к стене

• • •

Мы расстаёмся—ни больше, ни меньше.
На душу камень, и в сердце клин.
Сколько же мной перелюблено женщин?
Сколько тобой—мужчин?
Этой любви—не земное зачатье.
В миру золотых середин
Сколько мне женщин раскрыли объятья?
Сколько тебе—мужчин?

Сколько презрения брошено в лица
Лукавым подателям благ?
Крылом не измерит летящая птица
Убогий земной шаг.

Время оставит отчётливый признак—
Резьбу благородных морщин.
Ты—моих женщин оставленных призрак.
Я—призрак твоих мужчин.

• • •

И снова зима,
Я не помню, какая по счёту
(Я их провожал слишком часто—
Одну за одной).
Последний мой день
Безвозвратно с лихвою промотан,
А всё остальное—
Как будто уже не со мной.

О чём эта жизнь?..
В безграничном своём превосходстве,
На вздохе побед,
Незаметен был выдох потерь.
И душу знобит
В окружающем чванстве и скотстве,
Но, впрочем, всё это
Не так уже важно теперь.

Ты знаешь, кто я?
Я твоё близорукое сердце.
Я камень,
Который лежит у тебя на душе.
Я сон со слезой,
Приходящий из детства,
Но, впрочем, и это,
Наверно, не важно уже.

• • •

Вокруг бушует чёрная пурга,
И лютый холод сковывает душу,
Могильный мрак широт небытия
И свист ветров закладывает уши.

Я в этом мире чёрно-белых снов
Ищу дорогу к тихому приюту,
Чтоб сбросить бремя жизненных грехов
И обрести прозрения минуту.

Но время-странник ускоряет бег
И в книге жизни прошлое стирает,
Напоминая: «Ты лишь человек,
Который только в Боге оживает».

• • •

А у нас на Руси так водится:
Жизнь горька, как полыни вкус,
Что ни баба у нас—Богородица,
А мужик, как ни есть,—Иисус.

Но не то чтобы Богу равные,
И не то чтобы каждый свят,—
От рождения православные
С головы и до самых пят.

Их-то спины—от века гнутые,
Попривыкшие к хомутам;
Их умы одержимы смутою
К лжепророкам и лжецарям.

Батогами жестоко битые—
Раз уж грешных Сын Божий спас;
Видно было—не лыком шитые:
Смерть за смерть либо глаз за глаз.

На земле—словно дети-сироты,
Коротая свой век, скорбя,
А повсюду пируют ироды,
Омывая в крови себя.

Купола под крестами храмовы,
Злат сусальный слепит глаза.
Дети Симовы, дети Хамовы.
Дети Ночи и дети Дня.

● ● ●

Расстояние! И всего-то?
В мире, где расстояний нет,
Есть свобода, она, свобода,—
Панацея от всяких бед.

Есть глаза—раскалённые угли.
Взглянешь—выжгут. И сердце—в прах.
И на шкуре, с рожденья смуглой,
Клейма выжгут. На небесах.

Твой ли голос?.. ну, пой же, пой мне,
Чтобы знать, что лишь ради тебя
Я родился на скотобойне,
На планете грехов—Земля.

● ● ●

За каждую четверть грешную
Святую отдам половину,
И если на крест вешают,
Рук своих не отрину.

Глаз своих не закрою.
Равви, что может статься,
Когда себе яму роет
Слепое земное братство?

Бисер у ног—мечен—
Не возлюбивших Бога.
Вечный не был бы вечен,
Когда б не судил строго.

Равен и тот, и этот.
Архангел мечом машет.
Меч—это тоже метод
Спасения душ наших.

Каларгон

Дяде Виктору. Покойся с миром

Я помню ночь, звезду Полярную
И неуютный спецвагон.
Я помню станцию товарную
С чудны́м названьем Каларгон.

Конвойный крик: «Какого лешего?!»,
Полузаснеженный барак,
Тяжёлый путь этапа пешего,
Скрипящий по сугробам шаг.

Я помню: вышки, словно ёлочки,
Стояли, вкопанные в снег.
Вся жизнь разложена по полочкам:
Входи, заблудший человек!

И вот она, обитель скорбная—
Для падших ангелов приют,
Где все одеты только в чёрное
И Бог весть, как ещё живут.

В такой глуши, никем не хоженой,
Неужто правду говорят,
Что контингент тут «отмороженный»,
Что нет пути назад?

Глушили лаем псы слюнявые,
Срывая голос на фальцет,
Пришлись им явно не по нраву мы
Или одежды нашей цвет.

Равнина снежная белее белого—
Для тысяч душ один загон.
Жизнь перемешана и переделана
С чудны́м названьем Каларгон.

Арсений Анненков

Нельзя не быть героем

Олеся Николаева. Герой.—Москва: «Время», 2013

Одна из ключевых особенностей нормального ценителя заключается в том, что его суждение всегда отталкивается от продукта, а не от бренда. Это касается чего угодно, и не в последнюю очередь—поэзии. Так, меня до поры совершенно не трогали стихи Олеси Николаевой, и её весьма широкая известность ничего в этой ситуации не меняла. Но однажды я прочёл «Восьмилетнюю Соню», и это стихотворение, что называется, достало до сердца. Тогда и возникло имя. И потребовало к себе определённого отношения.

Одиннадцатая по счёту книга стихов Олеси Николаевой—«Герой»—даёт вполне достаточно материала для подобного осмысления.

Конечно, с первых же страниц ясно, что перед нами—весьма квалифицированный автор. Об этом говорят и владение техникой стихосложения, и разнообразие отделки материала. Информация о том, что О. Николаева—лауреат многочисленных премий (в том числе—«Поэт») и профессор Литературного института, лишь подкрепляет это впечатление.

И с тех же первых страниц отчётливо виден и строго заданный вектор духовных и творческих усилий автора. Вынужден заметить: слишком строгий. То, что она делает, должно называться «православной поэзией», что уже само по себе—повод для серьёзных опасений.

Понятно, что ни в православии, ни в поэзии—отдельно взятых—нет и не может быть ничего дурного. Проблемы неизбежны, когда эти понятия сливаются. Как только поэт становится под чьи-нибудь, пусть самые лазоревые, знамёна, то теряет своё главное свойство—быть первооткрывателем, охотником за новыми, неожиданными—в первую очередь для него самого—смыслами. С ним случается самое плохое, что может быть с поэтом,—он становится предсказуемым. Там, где поэт выходит в космос, поэт «специализированный» («православный», «пролетарский», «гламурный»…)—в коридор.

«Христианская просвещённость, представления об эстетической убедительности православия и церковной жизни в значительной мере определили своеобразие стиля зрелой Николаевой» (В. Славецкий). Определили. В значительной мере. И не было бы в этом ничего страшного, если бы поэзия как генератор смыслов не превращалась бы всего-навсего в один из способов их оформления. Тогда стихотворение становится не происшествием, не чудом, а всего-навсего хорошей работой.

Все признаки этого отчётливо видны в книжке «Герой».

Первое же её стихотворение, которое и дало название книге, призывает: «*Так будь же героем сам!*» Потому что только «*герой спасётся, корабль же уйдёт на дно*». Фраза—ключевая, позиция в ней—предельно жёсткая. Это в советской песне «когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой». То есть всё, может быть, ещё обойдётся. А здесь, во-первых, не обойдётся, и поэтому, во-вторых, даже приказывать не надо. Ты или с нами, и лучше добровольно, или—сам понимаешь… Выбора нет. Поэтому герой, в идеале,—это каждый читатель.

Легко догадаться, что герой, конечно, и сам автор: «*кто насыщен небом, трагический и блаженный, тот и есть герой!*»

И, разумеется, Главный Герой книги—это Бог. Там всё—«*о Тебе, Тобою, Тебя, с Тобой…*». В «Мастере и Маргарите» Воланд язвительно замечает: «…что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» Здесь ситуация зеркально схожа—здесь «кроме Бога, ничего нет».

Иногда, как в стихотворении «Майор», до Него ещё нужно дорасти. Тогда отец предлагает обормоту-сыну пойти в армию, где его «вкрутую сварят» и ещё много чего сделают не очень приятного—перечислению посвящена основная часть довольно большого стихотворения. И всё только для того, чтобы прийти к очевидному (не для молодого шалопая, он пока лишь герой стихотворения, но не *герой*) пониманию, что «*Бог тебя „крышевал“*».

Иногда, как в «Жизнеописании», о Нём и не упоминается, но Его незримое присутствие—стержень повествования. Бывший губернатор, у которого «*прикоплено, прикопано под корягой, прикуплено*» (понятно как), хочет под занавес сделать ещё одно приобретение. Но это не индульгенция и даже не шанс на другую—правильную—жизнь (как,

например, в рассказе В. Шукшина «Билетик на второй сеанс»). Он хочет, чтобы достойную судьбу ему слепил «из того, что было» в автобиографической книжке наёмный полусказочник. Тогда экс-губернатор будет тем, кем хочет,—главным героем. Ведь книжная жизнь станет общеизвестной, а значит, и настоящей… Но ничего не выйдет: «*Пожар! Пожар!»—так, наверно, закончится эта книга и—первым снегом*». А всё потому, что Главный Герой уже есть, и богатство его не «под корягой».

(То же самое понимает в другом стихотворении и хозяин яхты, мнящий себя, конечно, и властителем жизни:

> Нет-нет да чует он подспудно
> чутьём раба и нюхом вора,
> Кто подлинный Хозяин судна,
> Властитель вод и Царь Босфора.)

Но так или иначе, Бог в книге «Герой» «присутствует» тотально—«*всей Своей страшной Кровью и Пречистым Телом*». Всевышний нависает над читателем столь образцово-показательно, что вся наша повседневная реальность, подаваемая очень ярко и энергично, играет, тем не менее, подчёркнуто прикладную, второстепенную роль—служит иллюстрацией к идее. К идее, которая, как правило, известна из других источников (та, например, что Бог—везде) и часто вполне может быть подана гораздо проще, динамичнее.

Так, например, я нашёл в книге (хотя и не ставил себе такой задачи) как минимум два стихотворения, содержащие строки, иногда целые строфы, без которых вполне можно, а значит, и нужно обойтись. Почему нужно? Потому что в идеальном стихотворении, как в любой совершенной конструкции, нет лишних деталей. Один из обязательных признаков стопроцентного шедевра—из него как раз нельзя вынуть ни строфы, ни строки, конструкция сыпется. Любое стихотворение—башня: чем она прямее, тем выше и видней аудитории. Так что если можно сокращать—надо сокращать. Любитель поэзии—высшая читательская квалификация. Это, по сути, соавтор, и всегда надо оставлять ему возможность проявить себя. Достаточно дать яркий, точный штрих—он сам допишет картину, уже почти свою. За счёт чего, в том числе, стихотворение становится ближе, родней.

Что касается обсуждаемой книжки, то из семи строф того же стихотворения «Герой» легко, на мой взгляд, удаляются вторая и третья. К тому описанию ситуации, которое уже есть в первой и четвёртой (дальше идёт развитие сюжета), они ничего принципиально нового не добавляют.

В качестве вступления в стихотворении «Тело и душа» выступают ни много ни мало десять вопросительных предложений: «*Разве мучает себя лес? Терзает ли себя сад?..*» и т. д. Но если первые шесть убрать, произведение ничуть не пострадает—напротив, станет лучше. Почему? «*Потому что*,—подсказывает автор,—*надо тоньше, надо строже, затаив дыханье, чище надо, легче*».

В книге же вообще слишком заметны многословие, избыточная цветистость. Автор почти всякий раз не выговаривает смысл, а будто заговаривает, уговаривает его. Уговаривает явиться. Но снова выходит к одному и тому же. Захватывающе убедительно (этого не отнять) рассказывает, как Волга впадает в Каспийское море. И несложно понять почему. Человек «с идеей во взгляде» (выражение Достоевского), он присягнул и теперь всё знает. Тогда действительно опасно раскрываться: вдруг вылезет то, что противоречит заявленной позиции? Тогда не надо искать: пространство творческого манёвра сводится к тому, чтобы как можно ярче похвалить то, что твоей «идеологией» приветствуется, и как можно неожиданнее, острее заклеймить то, что ею порицается. Так «спецпоэт» становится просто «переводчиком на поэтический» уже готовых форм.

Неотъемлемой частью философии такого стихотворца, как правило, являются и твёрдые моральные установки. И опять вопрос не в том, хорошо ли таковые иметь. Да только всякий раз, когда автор говорит о тех, кто им не соответствует, и пытается создать увлекательное moralité (*фр.*; представление в средневековом западноевропейском театре, в котором действующими лицами выступали добродетели и пороки, боровшиеся за душу человека) с характерным названием («Соблазн», «Порок», «Чревоугодник»…), получается не стихотворение, а всего лишь профессионально сделанная рифмованная проповедь.

Конечно, стихи любого поэта можно рассматривать как один большой разговор с Богом. Но это справедливо, когда с Ним говорит поэт—не прихожанка, не жена священника и даже не профессор Литинститута. При всём уважении к этой команде, они всегда будут отталкиваться от канонического, известного, и только поэт способен опираться на то, чего (ещё) нет. Потому, собственно, интересен. В противном случае получается как во всех приведённых здесь стихотворениях: смыслы, выведенные в них, тривиальны не только для каждого верующего, но и для всякого пытливого индивидуума, принимающего существование Создателя ещё только в качестве философского допущения.

В итоге, прочтя книгу «Герой», читатель и не сомневается, что мог бы встретиться с большим поэтом. Который так и остался за (прекрасными) давно известными истинами и (глубокими) не им открытыми смыслами. И лишь когда он снова заговорит сам за себя, без оглядки, напрямую, можно будет надеяться на чудо, подобное тому, что случилось в «Восьмилетней Соне».

Потому что поэзия шире всего на свете. В том числе—любой конкретной религии.

Мария Бушуева

«Войду я в круг существ светопрозрачных…»

О поэзии Любови Никоновой

• • •

Сердце ловит намёки на чудо.
И сознанья касается зов,
Приходящий почти ниоткуда,
Уходящий в глубины миров.
Или это в серебряной неге
Изливают волнующий свет
Камни, вечно живущие в небе,
За грядой нерастраченных лет?
Или это мелодия только?—
В незапамятном отчем краю
Летней ночью свистит перепёлка:
«Фить-пирю, фить-пирю, фить-пирю…»

Её лучшие стихи кажутся не написанными, а родившимися вместе с долгой приволжской равниной, старой просёлочной дрогой, куполом белой сельской церкви,—стихи легко становятся «светом, воздухом и ветром», точно возвращаясь, произнесённые, к своим первоистокам. За ними стоит русская традиция—и поэтическая, и мировоззренческая. Они—из того светлого и лучшего в крестьянском космосе, что выражено старинным словом «лад», из той народной пытливости, того внезапного порыва—поднять глаза к небу, развернувшему свою звёздную ткань над старинным селом,—которые породили и Есенина, и великий тип русского деревенского чудака, и странничество, и русское юродство—сильное как раз своей кажущейся социальной слабостью. Однако Любовь Никонова, этот поэтический листок, оторвавшийся от родимой деревенской ветки, не была простушкой-пастушкой, не была даже и простой по характеру. Это, скорее, тот тип человека-самородка, русского self made man, который и составляет основу культуры, существует в её глубинных потоках, что наверх выбрасывают и грязь, и пену… И стихи Любови Никоновой, человека одновременно душевно чистого и высокоинтеллектуального, как бы минуя есенинскую традицию, ведут читателя к Тютчеву и Ахматовой, Заболоцкому, Самойлову. Из современников ближе всего она подступила к олимпийцу Юрию Кузнецову—но не со стороны символа, а со стороны сверхощущения мистической тайны мира и глубинности чувств. И не важно, были ли они при жизни близко знакомы. Остался в поэзии её женский мягкий, душевный и чистый отклик, отклик любви—на мужской вызов, брошенный Кузнецовым всему женскому миру. Эта та тихая, как бы покорная, любовь, о которой сама Никонова сказала так:

И бушующих мыслей угрозы,
И страстей неизбывных моря,
И конфликтов мятежные грозы
Не сильней, чем покорность моя.

А когда эта невидимая сила любви иссякает—след её дарует пусть горьковатый, но спасительный, способный утолить жажду глоток воды:

В обожжённой степи—вечный запах полыни.
Если б тучке пролиться сюда молодой!
В обожжённой степи след барашка на глине
Напоил меня тёплой горьковатой водой.
С ощущеньем последнего поцелуя,
Ничего не прося у судьбы своей вновь,
Он потом засыхал, обнажённо пустуя,
Будто сердце, истратившее любовь.

Удивительно чистую эмоциональность поэтического мира Любови Никоновой подчёркивал в своей давней рецензии Роберт Винонен. Но Любовь Никонова в своём созерцательно-мудром потоке света, огибавшем скверну, уходя в глубину чувства, одновременно поднималась и в дальнюю высь уже философского взгляда на мир, иногда, к сожалению, несколько рационализировавшего и даже делающего рассудочными некоторые её стихи в ущерб поэтичности. Однако когда рассудочность уходила и начинало главенствовать мистическое чувство, окрашивающее философскую картину бытия, рождались прекрасные строки:

Не помня дней недобрых или мрачных,
Желая петь, ликуя, словно птица,
Войду я в круг существ светопрозрачных
И попрошу немного потесниться.

Прабабушкой поэтессы была знаменитая владимирская паломница Лекса (Александра Андреевна Швецкова), странничество которой стало той духовной парадигмой, которая определила и вечный мотив дороги в поэзии Любови Никоновой:

Ещё немного по тропе коровьей,
Протоптанной среди травы суровой,
Средь выжженной, средь пепельной полыни,
Растущей на растресканной равнине…

Душа Любови Никоновой с её надвременно́й архетипностью странствовала, выбирая свои просёлочные дороги, одним концом всегда уходящие к той деревенской избушке, где вечно ждёт у окошка старушка-мать, а другим—выводящие к Млечному Пути. И всегда путь сердечный вёл её мимо поля. И в этой сильнейшей тяге ко всему родному: пространству, полю, церкви, тропе,—до слёз, до горького счастья разлук и встреч—она близка Ивану Бунину:

И забуду я всё—вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав—
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленям припав.
И. Бунин

Но мистическое чувство Бунина сливалось с его острым и гениальным мужским даром ощущать миг жизни как единственный; у Никоновой ощущение по-женски заменено чувством—и миг жизни у неё не выделен, не очерчен, даже если и обозначен, но зато он сразу бесконечен и глубок, как бесконечна и глубока в её стихах женская любовь. Любовь её как бы лишена чувственности. Она сродни религиозному чувству, мистическому экстазу:

И, проникаясь светлым приобщеньем,
Твой образ буду созерцать я долго
И жить одним глубоким ощущеньем—
Смиреньем, доведённым до восторга.

Настоящие странники не просто хотели посмотреть, как велика русская земля, не только искали легендарное Беловодье (возможно, какой-то генетический зов, тайный поэтический знак Лексы. поданный через сны, привёл вчерашнюю школьницу Любу Никонову в поэзию, а территориально—из Поволжья в Сибирь, в Кузбасс, где она и осталась навсегда)—они искали суть бытия. Их странничество часто кончалось смертью. Там же, в пути. На безвестной дороге.

Как соль земли повсюду обнажилась,
На каменном суглинке отложилась!..
Не то смысл жизни здесь я постигаю,
Не то в пути безвестном погибаю…

Особый тип являло собой религиозное, в отечественной православной традиции, паломничество. Собственно говоря, именно к такому духовному поиску и обретению вечных святынь в душе и в мире пришла и Любовь Никонова. Глубоко верующий человек, она, наверное, воспринимала и свою тяжёлую болезнь, от которой страдала последние годы земной жизни, в ключе православной житийной символики, как то необходимое испытание-очищение, которое даст ей возможность вступить в круг «существ светопрозрачных»,—её стихи последних лет такие же светлые и всепрощающие:

Но всё равно свой знак хочу подать я
С дороги сёстрам ласковым и братьям,
Хотя бы бабочку вам пыльную отправить,
Под цвет полыни, серую, на память…

Она оставила гораздо большее: её прекрасные стихи будут перелетать от сердца к сердцу, не зная границ ни пространственных, ни временны́х.

Вера Зубарева

Образ души

Обзор поэтических сборников 2014 года

Четыре сборника этого года на моей полке оказались созвучны друг другу, да и мне. Все они — о разном, но заглавная лирическая героиня каждого — душа.

Марина Кудимова

Душа-левша

М.: ипо «У Никитских ворот», серия, 2014

Сумерки, лампа, стол. Душа-левша пульсирует в такт хорею. Стих ворожит, затягивает в магию сна, где вершатся встречи «в час назначенный».

<…>
Сплю. Проснусь — не рассветает…
Самолёт уже взлетает,
Более того — летит, —
В ухе ветер и отит.
Небрежёт сосед соседом,
Не рисуется за следом
Конденсационный след…
Сохраняйте свой билет!
Сколько трепетных традиций
Над моею головой!..
Самолёт уже садится —
Древний, турбовинтовой.
Жизнь уходит, снег не тает —
Самолёт уже взлетает,
И по взлётной полосе
Я бегу во всей красе.

И я бегу за её лирической героиней, не в силах остановиться. А ветер несёт её слова кому-то на другом конце взлётного поля-листа: «Ты — изданье, где всё между строк, / Ты — моя Голубиная книга». Донесёт ли?

Строки сплетаются в узор судьбы, страница — ладонь, по которой с грустью читаешь: «Или время тебя затеняет, / Заливает, как ссадину йод, / Или Бог меня так сохраняет, / Что и снов о тебе не даёт».

Афористичность мгновений, афористичность взлётов. И напоследок — миг оцепененья, ставший обелиском любви. «Просто сердце зашлось — и стоит, / И ему не найти примененья». Что же дальше?

…Итак, продолжим плаванье, скитанье,
Где нас подстерегают испытанья.
Прощай, свиданий тайных кабинет!
Страсть алкоголем ревности бодрите,
Но только никогда не говорите
О верности — такого слова нет!

Людмила Шарга

Яблоневые сны

Одесса: Optimum, 2014.

…И погружаешься в сферичность яблока, в чьём изломанном пространствовремени сосуществуют библейские сады, история, человеческие судьбы.

Смещение пространств,
Смещенье лиц.
И тают крики перелётных птиц,
И воды рек неспешно засыпают,
И сонные деревья осыпают
Обрывки перевёрнутых страниц.

Мир обоюдных созерцаний. Ты несёшь в себе Яблоко; Яблоко несёт в себе тебя. Вы оба наливаетесь мудростью темноты и света, поиска и медитаций.

Видать, и мне
Отпущено сполна
Испить из чаши бдений у окна —
Из темноты пугающе-манящей,
И, приручая эту темноту,
Уверовать, что мудрость обрету,
Узнав, что только ищущий обрящет.

Ирина Дубровская

Близость моря

Одесса: Optimum, 2014

Близость моря даёт ощущенье свободы,
Одинокой, суровой свободы скитальца.

Волны этого моря проистекают из лермонтовских, но приливают к другим берегам. Они несут парусник лирической героини от «лазури» идеализма до того момента, «Когда развеется туман / Наивных

грёз и обнажится / Дороги жизненный изъян, / С которым надо примириться».

Примирение происходит в зоне надвечной мудрости, где открывается самоценность души:

<…>
И пока земным покровом

Укрывается душа,
За бегуньей следуй чутко.
Тяжела? Нехороша?
Но когда её побудка

Станет слышаться слабей,
Стихнет шум в ветвях зелёных,
Ты поймёшь, как много в ней
Было благ неоценённых.

Поэты настоящего времени

Сост. Е. В. Черникова

М.: Книга по Требованию, 2014.

О сборниках писать всегда труднее, и настраиваться на них сложно, но вот этот предстал цельной партитурой, и с первых тактов её я ощутила себя виолончелью из стихов Ефима Бершина:

Виолончель,
читающая книгу
под звуки нескончаемых дождей,
дрожала и была подобна крику,
живущему отдельно от людей.

Именно этот пик души испытываешь, читая Бершина, Аллу Боссарт, чьи стихи «На вылет» несут огнестрельный подтекст в названии, проницательно-острого Игоря Иртеньева, стремительную Наталью Крофтс и обжигающую зрелищем вечности Ирину Ермакову:

Я помню — весело и поздно
я помню — страшно и нельзя
за шиворот катились звёзды
по позвоночнику скользя

Помимо вышеперечисленных, в сборник включены стихи ещё шести высоковольтных поэтов, выступавших в Клубе Елены Черниковой в 2011–2014 годах: Марины Бородицкой, Лидии Григорьевой, Андрея Королькова, Натальи Лясковской, Олега Хлебникова, Юрия Юрченко. Партитура удалась благодаря виртуозности композитора — автора идеи, составителя и редактора Е. В. Черниковой.

Все сборники доступны для чтения в библиотеке журнала «Гостиная» (gostinaya.net).

Евгений Минин

Горчицу с чесноком!

Плач о плате

Можно с мата, а можно без мата —
Лишь отскочит крутящийся стул.
Но когда материнская плата
Иссякает — кричи караул.
Марина Кудимова

На детали уходит зарплата,
Я держу на компьютеры курс.
Жаль, во мне материнская плата
Исчерпала последний ресурс.
Без компьютера жить невозможно,
Он, как омут, в себя затянул.
Жить без платы, конечно же, сложно,
Но без мата — кричи караул.

Угощение

Кто против нас не воевал —
Тем в рот рахат-лукум!
Марина Кудимова

Тот, кто пародий не писал,
Мне брат, и сват, и кум!
Тому на волосы сандал,
А в рот рахат-лукум!

А если — пусть запомнит тот,
Кто каждому знаком, —
Лишь пискнет — и получит в рот
Горчицу с чесноком!

Владимир Яранцев

Один всегда прав?

Опыт комментированного чтения

Силаев А. Критика нечистого разума
«День и ночь» №6/2013, №1/2014

Нет, не заставить человека ни за что и никогда перестать думать. А если он ещё и способен мыслить, то тут только держись. Ибо любое думание, вырастающее до мышления, всегда оппозиционно кому-то и чему-то, и человек, иногда вдруг нечаянно обнаруживающий катастрофические последствия работы своей мысли, вынужден либо уйти в подполье (по Достоевскому), либо с головой окунуться в публичность, медийность.

Ныне мыслители предпочитают Интернет, сочетающий подполье с публичностью/медийностью. То есть пишу себе вдали от всяких аудиторий, читательских и слушательских, хорошо мне, уютно, а там уж дойдёт ли до масс, случится ли аудитория—Бог весть. Хотя несомненно, что даже у таких «мыслительных» писаний есть адресат, хотя бы один, если я правильно понимаю слово «пост», «интернет-пост». А это значит, что интернет-писатель здесь уже не свободен, не целиком подполен. Наоборот, он целиком в поле интернет-культуры—с его ухватками и гримасами самовыражения в её дурной бесконечности, что одновременно означает и безграничную несвободу. И это, увы, вечный парадокс свободы, переходящей в рабство, если эта свобода теряет границы, и история тут, с её усилиями разграничить этот «тяни-толкай», ничему не учит. Потому-то каждый новый адепт-вольнодумец весьма быстро превращается в раба интернет-сленга, почему-то точь-в-точь совпадающего с тюремным, бандитско-криминальным. «Дёргать», «тырить», «(с)линять», «въезжать», «вставлять», «посылать», «париться», «кирять» и тому подобное, вплоть до «трахаться», «фигня», «херня», «предъява», «подстава», «хотелка», вплоть до «пидора».

«Фишка» А. Силаева, автора уважаемого красноярского журнала «День и ночь», в том, что он соединяет этот бандитско-интернетовский сленг с философским, книжным, учёным в один пёстрый дискурс «критики». Честно назвав свой текст «сборником интернет-постов», он честно же объяснился и с читателем, что это «критика *нечистого* разума». Получилось хитро: и классика философии И. Канта с его главным трудом в подтекст вставил, и в «нечистотах» своего дискурса признался-извинился: я предупредил, а дальше ваше дело, читать или не читать и с какого места. А.И. Астраханцев начал читать с «части 2-й» и главки «Родина в головах». И «купился», оговариваясь, правда, что его спровоцировали. Но, даже допуская, что сей текст «весь, от начала до конца,—сплошная провокация», он судит А. Силаева совсем не за то и не потому. А. Астраханцев увидел в А. Силаеве лит. недоросля, Хлестакова, легкомысленно посягнувшего на святое, то есть на понятие Родины, назвав её «конструктом». И был за это высечен розгами—к счастью, умозрительными, в виде статьи более старшего коллеги.

Однако высек уважаемый автор «Критики критики нечистого разума» только «конструкт» А. Силаева-автора, помысленный им, А. Астраханцевым, фантом гражданственно неполноценного кощунника, ёрничающего над неприкасаемыми ценностями. И зря Александр Иванович поссорился с Александром Юрьевичем. На самом деле всё по-достоевски сложнее, по-розановски амбивалентнее. Ибо сей предтеча нынешних интернет-резонёров, постменов, блогеров и тому подобных В. Розанов только и делал, что опровергал себя в каждой следующей книге, «коробе» и даже «листе» из этого «короба». И был ли он ницшеанцем или православным, юдофилом или юдофобом, консерватором или либералом, патриотом или пораженцем в чистом виде—нельзя утверждать окончательно. Так и А. Силаев на своей жуткой смеси французского с нижегородским, то есть бандитско-блогерского с философско-литературным, пытается и думать, и мыслить прямо на наших глазах. Верим, что он бы мыслил как положено, терминологически безупречно, литературно гладко и профессорски научно (и почему А. Астраханцеву столь ненавистна университетская профессура, тем более униженная нынешней системой образования и морально, и финансово,—непонятно), но стесняется. Не хочет быть «как все», как та «дура» с кафедры философии,

у которой он был аспирантом и которая стала доцентом благодаря своей диссертации—«пустоте, даже не текстуально, а по жизни»,—пишет автор. С тех пор, очевидно, А. Силаев «стесняется» быть «пустым», набивая до отказа «посты» своего текста мыслями, неизбежно, в силу их тесноты, превращающимися в парадоксы и провокации, вкупе с чужими, цитатными, мыслями.

И, может быть, ещё глубиннее, первопричиннее—«оттепельно»-диссидентская, «перестроечно»-либеральная ненависть ко всему казённому, исходящему от лицемерной власти с её безбожной цензурой на всякую свободную мысль, до состояния той самой выхолощенной пустоты. Маленькая главка ли у А. Силаева или большая, но там, где пустота вытесняется до атома, и «бандитский» дискурс исчезает. И получается тогда вполне благопристойно и патриотично, в духе статьи А. Астраханцева: «Мир задыхается оттого, что слишком много вещей и поверхностей. Умножающий потребность в вещах и поверхностях служит чёрную мессу, обучая самого человека на вещь и поверхность». Конец главки. И ведь А. Астраханцев с ним согласится, так как сам цитировал У. Оккама и его «бритву», отсекающую «всё лишнее». Но разве «лишними» являются другие главки, соседствующие с процитированной? Наоборот, нужными. Это микроглавки об «избытке информации» в мире, губящем «смысл даже успешнее, чем её (информации) недостаток», и грядущем «обществе информационной глупости», а также о незавидной участи литературы, «снимающей культ классики» опусами прозаика В. Сорокина, а в итоге «наследуемой попсой» и «ублюдком с дубьём», и, наконец, главка о том, что начинать спасать литературу от краха надо с читателей, «и тогда с писателями всё наладится».

Главка о Родине («Родина в головах»), столь возмутившая А. Астраханцева и, очевидно, всех тех, кто готов защищать наличие вечных ценностей, является, таким образом, может быть, не менее же патриотично-гражданственной, чем их консервативные защитники. Ибо А. Силаев рассматривает Родину как «конструкт» лишь с точки зрения «политической рефлексии» и её «рефлекторов», испокон веку прикрывавшихся этим понятием для своих карьерных делишек. И советское тут в качестве объекта издевательства, как считает А. Астраханцев, не главное. Не зря для А. Силаева «умереть за Дерипаску» звучит столь же нелепо, как и «умереть за Никиту Хрущёва», и нынешним олигархам «говорить от себя о любви к Родине» столь же неубедительно, сколько и для Сталина с Брежневым. Получается, что о Родине кричат громче всех те «акционеры патриотизма», которые в «списки» патриотов если и входят, то обнародовать их не спешат. «Кидалово»,—резюмирует автор «Критики…».

Здесь, в этом контексте самого отвратительного, каким только может быть лицемерие, когда понятие Родины опошляется в «конструкт», это уголовное слово более-менее уместно. Но когда наш вольный философ «нечистого разума» начинает философствовать с использованием не совсем чистого дискурса, то вместе с недоумением возникает и недоверие. Если такое смешанное словоупотребление—способ привлечь читателя, «спасти», как вещает А. Силаев, его от не-чтения, то следующий вопрос—об адресате. А если данный текст читает человек уже «спасённый», имеющий подходящие «социальные условия для хорошего чтения», то зачем ему все эти «прибамбасы» (используя словарь А. Силаева) в виде нетривиальной лексики? Для игры в перекодировку текста из текста для читателей, условно говоря, «из трущоб», в текст интеллигентный, вроде любимых автором М. Мамардашвили или Д. Щедровицкого?

Вот пишет автор, например, о «сведении отсутствия агрессии к договору» и в ряд примеров аморального поведения, которое можно счесть и за «договорное», вдруг вставляет «потрахаться под кустом». Прибавит ли сие специфическое для определённой группы людей, к тому же мало читающих, слово в понимании данной юридическо-философской тонкости? Сомнительно. Кого-то позабавит, кого-то раздражит. А вообще-то сознательно или нет, но рассчитано это на возбуждение внимания читателя: «25-й кадр», рекламный эффект, вневербальный трюк (в понимании-то не прибавится, в голове не отложится, зато визуализируется). Расчёт это или инстинкт, привычка, виновато ли поле интернетовского словоговорения и письма, но А. Силаев с завидным постоянством кого шокирует, у кого сорвёт аплодисменты подобными перлами: «Можно задолбать человека вусмерть своей „влюблённостью“, „заботой“ и прочим» (далее следует цитата из С. Жижека); «политические интересы женщин, молодёжи, не русскоязычных, пролетариев, мещан и аристократов волнуют меня существенно меньше. Не в том смысле, что я им зла хочу. Просто: а хрен ли?» (заканчивается главка рассуждениями о «политической философии» в разных её исторических и экономических ипостасях); «всё, в чём сомневаешься,—на фиг», «совершенный мастер не выбирает именно потому, что свободен: задумывается только несвободный—„больное животное человек“, пугающееся „богатства выбора“».

Тут-то и можно поставить предварительный диагноз тексту и его автору. Ибо как «общество есть амплификация наших душ» (М. Пруст), так произведение есть «амплификация» авторской души. Тем более А. Силаев тут и сам проговорился о «бесе вариантов» и сумасшествии выбора. Его беда (или счастье?) в том, что он, как то же «бедное животное человек», задумался и допустил

«тысячи способов» решения той или иной проблемы. И ещё допустил, точнее, выпустил, как шута на сцену в шекспировских трагедиях, сленговорящего скомороха — то ли из Интернета, то ли из тюрьмы. И дальше не знает, что с этим делать. Не зря столь устойчив в этой «Критике…» мотив «кучи»/«мусора» и её «структурирования». То есть создания из «кучи» «конструкта» текста.

Но можно ли структурировать кучу, если она онтологически и метафизически аморфна? Ибо, даже структурированная, она остаётся кучей. Тем более что этот текст-«кучу» (а не кучу тестов!) разрешается читать с любого места. У Д. Галковского его «Бесконечный тупик» несравненно более строен, многократно откомментирован, пронумерован, отрефлектирован до безобразия разными способами «рационализации свободного мышления» (схемы, таблицы, указатели в конце пухлого двухтомника). У А. Силаева же попытка поделить свою «безалаберную книжку», которую к тому же почему-то «заставили быть книжкой», на вступительную, медитативную и содержательную части осталась лишь благим намерением. Мечтой о возможности систематически размышлять — отдельно о политике, отдельно о литературе, отдельно о мышлении, отдельно о человеке и человеческом, о социальности и её формах, казусах и парадоксах, курьёзах высокого и низкого отношении к жизни и прочем. Да и сам А. Силаев признался, что ближе ему метод Ф. Ницше с его «остротой мысли», хотя больше завидует он «силе мышления Гегеля». Проще же говоря, «косить почему-то хочется» всё-таки под Ницше.

Вот и подтверждение нашего диагноза: «бедное животное человек» по имени А. Силаев, допустив «тысячи способов» так или иначе подумать и обыграть тему, «обострить» её, — выбрать уже не в силах. Как Ф. Ницше, начавший диссертацией об Аполлоне и Дионисе и разоблачении отлакированной предшественниками Древней Греции и закончивший фрагментарными «Антихристом» и «Ecce Homo», оскандалившись во фрагменте № 29 «Антихриста» «физиологическим» диагнозом Христу: «идиот» (скорее всего, виноват тут одноимённый роман Достоевского и его князь Мышкин). Поистине, «человеческое, слишком человеческое» или «идиотическое, слишком идиотическое» — как финал ницшеанства. В. Розанов ведь тоже был ницшеанцем, по крайней мере, поначалу, а его дебютным трудом, самым философским, был трактат «О понимании» с необъятной систематизацией (таблицы прилагаются) разнообразнейших категорий, казалось бы, всего лишь двух категорий понимания — «космоса» и «мира человеческого». Но каких усилий это стоило!

А. Силаев не зря обронил по отношению к своему способу мышления: «либертарианство», то есть философия «запрета на агрессивное насилие», в результате чего помянутые сущности, предметы, «поверхности» должны только увеличиваться — «бритва» Оккама ведь тоже оружие (с другой стороны, либертарианцы выступают против запрета на оружие — вот и пойми их). В итоге «куча» философских «мелочей» должна только расти, а значит, и необходимость её структурирования, осмысления. А. Силаев мыслит точечно, а не панорамно, не магистрально, не по-гегелевски, и потому ему приходится быть не философом, а писателем, литератором. Как стали ими, Бог видит, не по своей воле, и Ницше, и Розанов. Потому, наверное, его мысли о литературе так отличаются от «политических» и «экономических», то есть газетных: ведь «читатели газет — глотатели пустот», по М. Цветаевой. По крайней мере, «литературные» мысли у автора не дробятся, как сад разбегающихся тропок, на тысячи дорожек. Они явно эгоцентричны: писателю пишется «ради кристаллизации опыта» — собственного, конечно: литература — «тонкий орган изменения самонастроек души», и то, что «произведение создаёт автора», нежели автор — произведение, не выглядит противоречием, так как это произведение, может быть, «уже у тебя, лежит где-то в файлах сознания»: «не допишешь — не поймёшь, себя не узнаешь». И само-то «писательство — что-то вроде уроков у самого себя», «гимнастика странных мышц, отвечающих за силу понимания-восприятия». За которую иногда кое-кому даже могут и платить, если, «занимаясь собой, ты можешь — о чудо! — быть ещё интересен людям».

Достаточно цинично, чтобы не быть правдой. И потому собственно литературные главки, не по поводу чужих «чёрных буковок на белой бумаге», до Набокова и Сорокина включительно, а вышедшие из файлов собственной души, достаточно «либертарианские», чтобы не быть литературой. Это уже сделавший свой свободный выбор «совершенный мастер»-ницшеанец, который выше любой морали и «аморалки» сорокинского розлива. Аргумент тут приводится настолько же естественный, сколько и сконструированный: «Что бы по факту ни было содержанием текста, сам акт чтения — против энтропии и искупает аморалку» и автора, и читателя. Эх, привёл бы уж тогда примеры из прозы девяностых и ранних нулевых годов, самых крутых по части этой самой «аморалки». Или процитировал хотя бы начало «Сердец четырёх» или конец «Романа» В. Сорокина. И узналось бы, что вряд ли читатель сподобится на какую-то высокую рефлексию с терминами вроде «энтропия». Скорее всего, побежит с приступом рвоты куда-нибудь «под кустик», а если он продвинут в подобном чтиве, то удовлетворяет свои явно не высокоинтеллектуальные потребности, а какие-то другие отделы мозга и тела. Но вместо примеров в «Критике…» — собственные тексты

на той же грани «аморалки». Как истинный ницшеанец, А. Силаев рад испытать на прочность христианскую религию. Самое отчаянное здесь — рассуждение о «христианах» с их «презрением к реальности», а тезис «последние будут первыми» уже не пугает автора, как предыдущий тезис, а едва ли не гневит: что же это за Царствие Божье, если оно будет «за лохами»?! Потому что «лох по жизни проклят настолько, что по смерти ему будет ещё хуже». И если уж онтология, то без метафизики (как у Ницше и его учеников Хайдеггера и Делеза), а если феноменология, то без онтологии (то есть буддизм). Лишь бы не христианство с его «лоховой» метафизикой. Кстати, М. Мамардашвили, далеко не «лох» и несомненный авторитет для А. Силаева, писал о «неизбежности метафизики», потому что «само отношение человека к сверхъестественному есть тигль его формирования в качестве человека».

Во всей этой чехарде упражнений в еретичестве больше литературы, чем философии или богословия. Ибо все названные философские понятия лежат в поле «мирской» философии, и даже религиозная философия (если таковая вообще возможна) от православия так явно не отмахивалась. А некоторые из этих философов так даже стали православными священниками, как о. П. Флоренский и о. С. Булгаков. И наоборот, те, кто с православием не хотели примириться, становились либо неоязычниками, как Д. Мережковский с его «Тайной Трёх», «Атлантидой» и так далее, либо завзятыми персоналистами, как Н. Бердяев, главная книга которого называется «Самопознание». Интересно, что обретённую на своём религиозном пути свободу он «переживал не как лёгкость, а как трудность», «долг» и «источник трагизма жизни», обнаружив вдруг близость Достоевскому. Впрочем, А. Силаеву ближе в его антихристианстве («если уж ему суждено закончиться, кончится он не атеизмом, а неогнозисом, или неоязычеством»), видимо, не Ницше, а его предшественник — М. Штирнер, автор книги с красноречивым названием: «Единственный и его собственность». Не зря же он почётный предшественник анархизма, лежащего в основе раннего либертарианства. Немало и совпадений: высокие понятия «Бог», «Родина», «государство» были штирнерианством «взвешены» и оказались слишком лёгкими, «привидениями», не достойными веры. А «государство, — пишет далее автор «Единственного», — хочет непременно что-то сделать из людей, и потому в нём живут *сделанные* люди». Как это похоже на «конструкт» А. Силаева! И только анархист мог, зная, что «скажу очень кощунственную, очень безграмотную, очень поверхностную вещь», её всё-таки сказать: «Любовь Христа — любовь с очевидностью материнская», то есть, надо понимать, слепая и вредная. В итоге получите «мир беспредельщиков», задыхающийся «в объятиях материнской любви».

Собственно, еретики и в религии, и в философии, и в литературе, да и в политике с экономикой жизненно необходимы. С одной стороны, как пишет Н. Бердяев, «еретик по-своему очень церковный человек и утверждает свою мысль как ортодоксальную, как церковную». С другой стороны, неравнодушные, пылкие, будоража умы, они, в конечном счёте, работали и работают на прогресс. Опыт еретичества зачастую делает, особенно самых пылких среди них, бóльшими христианами, чем никогда не ошибающиеся отцы церкви, — вспомним М. Лютера или Б. Паскаля. И не про себя ли, не про свою душу и веру писал А. Силаев во вступлении, на примере «кучи», которую надо «структурировать? Посыл есть, стимул в виде расплодившихся мифов-«конструктов» — тоже, мысль на уровне физиологических выделений функционирует, очевидно, тоже исправно, здоровый цинизм, позволяющий онтологию отличать от метафизики, не презирая реальности, — тем более. Иначе не сравнил бы наш критик нечистого разума силу и напор мышления с мочеиспусканием («мыслитель должен думать, ну, как люди, к примеру, мочатся»), не боясь быть гомерически высмеянным за такое сравнение. Как не побоялся он высмеять рубрики «Советы психолога» в СМИ, обозвав их содержимое «какой-то общеобразовательной ерундой, любой человек с общим гуманитарным образованием справится не хуже, как максимум — лучше». А ведь так можно нарваться на сравнение с самим собой: а его собственные «посты», преображённые в главы книги, не припечатают ли иные критики критикой в квадрате (вспомним: «Критика критики нечистого разума» А. Астраханцева), назвав такой же «ерундой», но «общеобразовательно»-философской? Ибо список употребляемых им имён философов сравним со «списком использованной литературы» к диссертации или к какой-нибудь «правильной» книге, над чем сам автор неоднократно насмехался.

Но, думается, у читателя, даже предубеждённого, язык не повернётся назвать эту плохо структурированную кучу мыслей ерундой. Скорее, это хорошо темперированный клавир, поток сознания мыслителя-писателя. Мыслящего одиноко не потому, что он одиночка по жизни или вынужденно, сутками бдя за компьютером, а потому, что таков удел мыслителя, самим своим родом деятельности ставящего себя в оппозицию едва ли не всем и всему (вспомним «подпольного» у Достоевского). Но «один всегда прав» — вспомним напоследок персонажа С. Довлатова из «Зоны» Купцова, уголовника по жизни. И как тут заодно не вспомнить знаменитую довлатовскую байку о А. Наймане, которому всё равно, «советский» был знакомый, к которому собирался идти, или

«несоветский»: какая разница? Вот и здесь грань между патриотизмом и космополитизмом, еретичеством и ортодоксией не проводится даже в подтексте—главное, чтобы мысль додумать, чтобы она была вообще, живая, свежерождённая, а не схематичная, с набором тезисов.

Потому и столь замечателен ответ А. Астраханцева, весьма резкий, «розговый», с желанием «публично посечь иногда нерадивых людей—хотя бы в переносном смысле». Важно даже не то, прав он или нет (прав частично, в своём измерении, по своим критериям), а то, что заметил: прочёл, возразил, написал—роскошь немалая в нынешнее неотзывчивое время. Вот недавно не выдержал С. Чупринин «токования» одиноких «критиков в себе» и пожаловался в «Знамени» (№7/2014), в статье с характерным названием «Дефектура», на подобных лит. одиночек: «Токуют, как глухари по весне, друг друга не слыша. Друг другу не возражая. Друг другом не интересуясь. И друг к другу не адресуясь. Оттого и мысли, прости Господи, коротенькие», и «генеральной думы» (А. Твардовский) о литературе у них нет.

Словом, «дефектура» там у них, в столицах, сплошная. Есть она, видимо, и у нас, в Сибири, хотя и не в столичных размерах. Есть, конечно, и у А. Силаева, исповедующего короткомыслие, как говаривал К. Чуковский,—жаль только, что на глубоких местах. Теперь же есть услышанность, полемика, пусть и в зачаточном виде. И это, пожалуй, главное во всей этой истории с «Критикой нечистого разума».

ДиН ревю

Нальчик
«Тетраграф»
2014

Александр Карпенко
Валерий Прищеп

Оправдание Лермонтову

Исторические документы и последующие исследования обстоятельств гибели М. Ю. Лермонтова рассматриваются в книге с позиции людей, чьим профессиональным делом многие годы было раскрытие и расследование преступлений. Авторы книги возвращают читателя к причинам возникновения дуэльной версии трагедии и показывают её несостоятельность, сводят в единую цепь доказательств детали обстоятельств, опровергающие устоявшуюся трактовку судебных и других исторических документов. Авторы не собираются пополнить армию лермонтоведов, их цель—в память о поэте посмертное восстановление справедливости имеющимися правовыми средствами.

Наталья Черкас

Арбуз

У одного трудолюбивого Человека был огород. Каждую весну он делил его на грядки и сажал разные полезные растения. Как-то раз рядом с привычными семенами и ростками посадил Человек арбузное семечко. Через положенное время оно проросло. Сначала огородное население не обращало на чужака никакого внимания. Но в один прекрасный день Помидор шепнул своей соседке Смородине:

— Надо бы с ним познакомиться: ведь бок о бок растём.

— Неизвестно, что это за фрукт и как его едят,— ответила та. И предложила:— А пусть Огурец первым с ним познакомится. Гляди, как они похожи: и цветут одинаково, и стеблями по земле ползают. Может, они родственники?

Долго-долго Огурец рассматривал незнакомца, потом сделал вывод:

— Вон у него под цветком круглый плод образуется. А у меня нет круглой родни, вся моя родня продолговатая.

— Значит, ты отказываешься? Скажи сразу, что боишься. Зря тебя весь огород называет Огурец-храбрец!— нарочно громко заключила Смородина.

Огурцу хотелось и дальше слыть храбрецом. Он подполз своим стеблем к Арбузу, уцепился усом за его стебель и громко спросил:

— Ты кто?

Арбуз обрадовался, что с ним наконец-то заговорили, так как очень нуждался в друзьях, и добродушно ответил:

— Я — Арбуз.

— Это нам ни о чём не говорит. Какого роду-племени?— вмешалась в разговор Смородина, которая поняла, что опасности нет.

— С ботанической точки зрения я — ягода!— гордо сообщил Арбуз.

Смородина, несмотря на ветреную погоду, даже застыла от удивления в своём углу у плетня.

— Ой, держите меня, а то осыплюсь! Тоже мне ягода! Вот мы — ягоды: я да Малина с Крыжовником.

Малина и Крыжовник, которые росли рядом со Смородиной, тут же закивали. Но она не унималась:

— Нет, ну какая наглость — ползать по земле и называться ягодой!

Тут Помидор подумал про Клубнику с Земляникой, но Смородине напоминать не стал. И без того красная, сейчас она покраснела ещё больше. Было ясно, что дело принимает недобрый оборот. Помидор, который считал ссоры занятием для сорняков, а не для культурных растений, стал спасать положение.

— А нет ли у вас каких-нибудь доказательств того, что вы — ягода?— вежливо обратился он к Арбузу.

— К сожалению, нет,— ответил Арбуз грустно.

Он уже понял, что надежда завести на этом огороде друзей рухнула навсегда. Но на всякий случай всё же спросил:

— А какие этому бывают доказательства?

— Разные. Но самое главное — тебя зовут в конфитюр,— сообщила Смородина.

— Куда-куда? Во фритюр?— тут же переспросила Картошка, которая росла неподалёку. Смородина только отмахнулась от неё веткой.

— Нет, меня никогда в конфитюр не звали,— тихо сказал Арбуз.

— Вот то-то же!— подытожила Смородина, которая любила, чтоб последним было её слово.

Все, кто слушал или принимал участие в этом разговоре, вдруг потеряли к нему всякий интерес и занялись своими привычными делами: одни переманивали пчёл с соседних грядок, другие прикрывали листьями плоды от палящего солнечного луча, третьи, наоборот, подставляли солнцу свои бока. Ведь забот у огородного населения всегда выше самых высоких макушек: дело идёт к урожаю.

С Арбузом с тех пор никто не говорил. Да он и не напрашивался на разговоры, так как понял, что чужой на этом огороде. Рос молча. И не по дням, а по часам. А вскоре круглый полосатый плод уже был виден от плетня до плетня. Как-то Смородина не выдержала:

— Гнать его надо отсюда! Ишь ты, как быстро растёт! Скоро за ним и других не разглядишь!

Помидор бросился предотвращать ссору:

— Куда он пойдёт?! Ведь у него здесь стебли, корни… И кому он мешает? Чужого не берёт. А что быстро растёт, так это его дело.

— А моё дело — предупредить: то ли ещё будет!— сказала на это Смородина.

Разговор услышали два закадычных друга — Лук и Чеснок. И тут же стали спрашивать:
— Что будет? Что будет?
— А то… Всем известно, что я — многолетнее растение. И у меня имеются кое-какие воспоминания. Вот и вспомнила я одну историю про Арбуз, — громко сказала Смородина и замолчала на самом интересном месте.
— Что это за история? — хором спросили Лук и Чеснок.
— В одном огороде произошла. Посадил Человек Арбуз. Вырос Арбуз большой-пребольшой, — ответила она.
— А что потом было? — не отставали закадычные друзья.
— Дальше я не помню. Но можно себе представить: Арбуз занял собой весь огород, а всех, кто на нём рос, смял своими полосатыми боками. Так будет и у нас.

Скоро эту новость знали на всех грядках. Смородина не зря рассчитывала на Лук и Чеснок — они умели давать о себе знать даже там, где на самом деле их и не было. Начался переполох. Огородное население забыло об урожае и занялось Арбузом. Сначала все, кто мог, уцепились за арбузные стебли. Потом стали тянуть их в разные стороны.
— Вот видишь, что ты наделала! — не выдержал Помидор и обвинил Смородину.
— Я же ещё и виновата! Для вас, между прочим, стараюсь! Мне самой-то что: я найду лазейку под плетнём, проберусь в соседний огород — только меня и видели. И Малину с Крыжовником с собой уведу. А вот что вы все делать будете — не знаю, — обиделась та.

Как ни пытались всем огородом, навредить Арбузу не удалось. Он вырос крепким и выносливым. Когда все это поняли, на каждой грядке стали придумывать свои способы спасения. Картошка сказала, что она — клубень, что всё самое важное у неё спрятано под землёй, а несъедобная ботва пусть погибает под арбузными боками. Морковка и Свёкла услышали это и между собой решили, что и им, корнеплодам, ботвы не жалко. Лук и Чеснок тоже собрались схорониться под землёй до лучших времён. Горох рос у плетня и придумал перекинуться через него в соседний огород. Капуста заявила, что ей этот Арбуз не страшен: в её кочанах листок к листку так плотно прижат, что ещё неизвестно — кто кого. Вскоре на огороде опять воцарилось прежнее стремление к урожаю. Только Огурец и Помидор не нашли для себя путей спасения. Обиженная Смородина не удержалась:
— Не видать тебе, Помидор, в этом году гаспачо, а тебе, Огурец, не видать оливье.

Помидор промолчал. Он и так держался изо всех сил: ведь культурное растение не должно показывать отчаяние и другие безрадостные чувства, чтоб не заразить ими окружающих. Помидор даже сохранил сочность плодов. И мужественно ждал своей участи. Огурец же увядал на глазах. Несколько раз приходил к огуречной грядке Человек. Он поднимал с земли стебли Огурца, заглядывал под листья и даже дополнительно поливал его. Но всё зря. Огурец лежал жёлтый, сухой, ни на какие плоды не способный. Все, кому видна была его грядка, старались не смотреть на неё, а как можно глубже погружаться в собственные заботы.

Однажды в полдень пришёл Человек, подошёл к Арбузу, погладил его полосатый бок, пощёлкал по нему пальцами и сказал:
— Всё, брат, ты готов.

Потом ножиком аккуратно перерезал тонкий хвостик, которым Арбуз крепился к стеблю, взял его на руки и унёс с собой.

Огород так и замер. Но ненадолго. Вдруг все повернулись в сторону Смородины и закричали. Шум поднялся такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Картошка голосила и приговаривала, что она раньше времени ботву забросила, и от этого клубни выросли мелкими. К ней присоединились Свёкла с Морковкой. Горох вопрошал, кто вернёт ему недостающие в стручках горошины, которых нет только потому, что все силы он бросил на лазания через плетень. Капуста причитала, что кочаны её не сочны, потому что для твёрдости она их всё уплотняла и уплотняла, даже бабочки-капустницы от них отказались. А от Лука с Чесноком такие обвинения исходили, на которые ни одно огородное растение и способно не было. Вскоре население выговорилось. И Смородина всем сразу сказала, как отрезала:
— Вас послушать, так я и во всемирном потеплении виновата. Займитесь лучше собой. Вам скоро грядки освобождать.

Никто из нападавших на неё больше не обмолвился ни словом: они не знали, что такое всемирное потепление и боялись опять во что-нибудь ввязаться. Несколько дней и ночей на огороде не происходило никаких разговоров. «Жалкие однолетние бедолаги; их жизнь так коротка, что ничего не стоит испортить её обыкновенным Арбузом», — думала Смородина. Она даже стала испытывать лёгкое чувство вины. А оно-то ей было ни к чему: начнётся брожение в ягодах, тогда в конфитюр точно не позовут. Поэтому одним тихим летним вечером Смородина вдруг громко сказала:
— Простите, что так получилось.

Помидор обрадовался и тут же за всех ответил:
— Мы-то простим. А Арбуз, ни за что обвинённый? А Огурец, ни за что пропавший?

Следовало бы промолчать, но Смородина не удержалась:
— Огурец сам виноват — не надо всё так близко к сердцевине принимать.

Потом опомнилась и пообещала:
— А перед Арбузом я извинюсь. Человек обязательно соберёт все семечки, когда будет есть Арбуз. И на следующий год их посадит. Вырастит не один, а много Арбузов. А я ведь многолетнее растение. Вот на следующее лето и извинюсь. Даже могу перед каждым Арбузом извиниться.

Помидор хоть и был однолетним, но видел не на одно лето вперёд. Однако своих сомнений Смородине не высказал. А ответил так:
— Всё надо делать вовремя: и извиняться, и прощения просить.

А потом ни с того ни с сего весело добавил:
— Гаспачо меня забери!

ДиН детям

Ефим Гаммер

Говорим по-русски

От автора

Как-то по российкому каналу «РТР-Планета» шла передача о преподавании русского языка в Тайбее—столице Тайваня. Китаянка, директриса школы, говорит: «Русский язык—самый сложный в мире. Очень трудно усваивается, так как имеет понятия, какие нельзя перевести на другие речения». Русская преподавательница, москвичка, проживающая в Тайбее, в подтверждение приводит примеры. Звучат простые слова: «Ничего себе!», «Вот это да!», «Ну и ну!», «Первый класс!» Сидящие вокруг неё ученицы-китаянки, читающие в подлиннике А.С. Пушкина, смущённо хихикают от непонимания. Наблюдая за этой сценой, я и подумал: а не написать ли мне цикл стихов с «непереводными» для иностранцев словами? Получится очень секретный для иностранцев, но вполне доступный для нас, включая даже нашу просвещённую детвору, цикл стихов.

Мировой язык

Мой герой—не волк, не птица,
не ребёнок, не старик.
Мой герой врагу—темница,
другу верному—светлица.
Кто он? Русский мой язык.
С ним в поход—за правду биться.
В космос, в сказку, в смех и крик.
Многозвучный, разный в лицах,
на Руси он, за границей—
русский—мировой язык.

Самокритичная лиса

Лиса торжественно клялась:
— Я утку ем в последний раз!
Ей не поверить трудно было.
Она уж всех передушила.

Ну и ну!

— С неба звёздочка упала.
И в печи заполыхала,
Проскользнула по трубе.
— Ничего себе!

— Руки грею я у печки.
Скачут искры-огуречки,
Каждый—новая звезда.
— Вот это да!

— Хоть нет глаз, отнюдь не слепы.
Из печи им видно небо.
Рвутся все они к окну.
— Ну и ну!

— Я окно им открываю.
В небо звёзды выпускаю.
Сверху радуют пусть нас.
— Что за чудо? Первый класс!

Мел и доска

Мел
как-то взялся объяснять
Доске
задачу новую.
Но ей
решенья не понять.
Она…
Дубовая!

Наглядное пособие

Задушевно, умно, просто
Лектор говорил о звёздах,
Что мерцали вдалеке.
В зале все в восторге были
И за звёздами следили
Через дыры в потолке.

Синяя тетрадь

Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами.
Ахматова

АСТАФЬЕВ. БЕЗ ФОРМАТА

К 90-летию В. П. Астафьева Красноярская краевая молодёжная библиотека провела уникальную акцию, направленную на популяризацию произведений нашего земляка, классика русской литературы, среди школьников и студентов. Организаторы акции предложили участникам стать как бы соавторами великого писателя, войти в мир его героев, представить и описать ту часть их судеб, которая осталась за пределами астафьевских сюжетов. В терминах современной культуры это называется «фанфикшн».

Странно, конечно: «фанфики» с героями Астафьева?! Но ребята справились с задачей. Перед вами — лучшие работы.

Дарья Бажина

10 класс, школа № 46, Красноярск

Несбывшаяся весна Гошки Воробьёва

По повести «Кража»

Удивительно, как жизнь бывает сложна, а судьба непредсказуема.

Заснув однажды в начале двадцать первого века, я проснулась в далёком тридцать девятом году, тогда ещё, конечно, о том не зная. Помню, как под ночь думалось мне о страшном морозе и протяжном вое ветра, стремящегося распахнуть старые оконные створки, ворваться в темноту спальни и обжечь своим холодом. Меня окружали ещё с десяток таких же детей, силившихся посильнее закутаться в подсыревшие одеяла и, забывшись, наконец, в мечтах о счастливом будущем, заснуть. И я тогда тоже задумывалась о том, что ждёт меня впереди, но не могла и предположить, что будущее ждало меня в прошлом.

И вот в ту самую ночь я в последний раз видела своих друзей — Дусю, тихую молчаливую девочку, полюбившуюся всем за кроткий нрав и душевную доброту, Сашку-кощея, измотанного голодным детством, но всегда весёлого и бодрого, и наших воспитательниц, и сторожа, и вообще всех тех, с кем я провела тринадцать лет жизни.

— Маша-а-а, — протяжно зазвенело у меня в правом ухе.

По-особенному звонкий детский голос, совершенно незнакомый, оттого и заставивший меня приподнять голову с подушки сразу же (казалось, подушка эта была твёрже, чем вчера).

Передо мной стояла незнакомая девочка, на голову выше меня, в изношенных штанах из грубой ткани и чистеньком, но заметно севшем белом свитере. На мгновение я замерла в оцепенении, потому как позади неё виднелись какие-то совершенно чужие дети и обстановка — обстановка совершенным образом переменилась! Стены, углы, окна — всё так же, да только словно бы из советских фильмов и старых фотографий. Полы деревянные, крашенные коричневой краской; потолки, видно, побелённые, но при том изрядно посеревшие; кровати железные, с пружинами; на шкафах — белые кружевные салфетки, и прямо над одним из них на меня смотрит Сталин. Смешанные чувства: смятение, внутренняя тревога, которая ещё как бы не осознавалась, но уже зародилась в сердце. Я пыталась что-то произнести, но ничего не выходило. В голову закрадывались разные мысли. Всё было ощутимо, всё было так правдоподобно, что совершенно не казалось сном, но я не хотела в это верить. Среди этих стен угадывался родной детский дом, но при этом всё было чуждым, странным, далёким от понимания.

Настал февраль. Почти месяц прошёл, а я всё молчала, по ночам тихо плакала в подушку, вспоминая свой дом — такой близкий и далёкий одновременно.

Видимо, раньше ребята знали меня общительной и весёлой — такой я и была в действительности. Но сейчас они сторонились и невзлюбили так же, как Гошку Воробьёва. Тот был от всех отстранённым и болезненным, отчего и получал разного рода привилегии; порой капризничал, выговоров не зарабатывал, зато заслужил себе плохую славу. Меня же сразу после того рокового дня окрестили «немкой» и побаивались, потому как поначалу я вела себя странно: всё высматривала каждый угол, трогала, бродила, искала что-то. И были мы

с этим Гошкой как две белые вороны. Поначалу даже друг на друга не смотрели, но…

Со временем, сама того не понимая, я потихоньку начала с Гошкой сближаться. Тогда все уже чувствовали приближение весны. Медленно тянулись дни, всё повторялись один за другим, и порой в них можно было даже запутаться. Дети общались, играли, а я вновь начала замыкаться в себе. Как же теперь быть? Что делать? Часто меня посещали плохие мысли, от которых бросало в дрожь.

Гошка. У него, так же как и у меня, ничего не было. И никого. «Счастье» — какое-то незнакомое слово, непонятное и далёкое, как я ошибочно предполагала.

С приходом солнца Гошка облюбовал место на завалинке и сидел подолгу в тишине и одиночестве. Он ни с кем не разговаривал, а если и говорил что-то, то хмуро и нехотя. Я глядела на него — спокойного и умиротворённого, будто бы почти счастливого, — и сама начала находить радость в простых вещах.

Гошка любил сосульки. Сам был очень хилым, а потому доставать их ему помогала я. Именно так произошло наше знакомство. Он поведал мне свою историю, а я ему — свою. Я снова заговорила. Наверное, потому что впервые по-настоящему захотела этого и ничего не боялась. Это было чем-то невероятно чудесным и приятным и для него, и для меня. Забавно: как легко можно найти отдушину в совершенно чужом человеке. Порой мы разговаривали часами, а иногда часами молчали. Когда с человеком приятно молчать — это говорит о многом. Наверное, единение душ?

Весна всё приближалась и приближалась, а вместе с ней — и долгожданная поездка Гошки в санаторий. Мы решили, что он выздоровеет, вернётся и будет ходить со мной на гору встречать рассвет по утрам. Лето сулило нам ещё много разных радостных мелочей, и мы ждали, ждали, ждали их.

Скорой ночью Гошка Воробьёв умер.

Но не умерли те надежды и мечты, которые он мне дал, которые вели меня на протяжении всей жизни. Всегда люблю и помню и ни о чём не жалею, как учил меня Гошка и как теперь я учу других.

Екатерина Бицюк

9 класс, Рыбинская школа

Вымолить вздох

Размышления увядающего листа.
По затеси «Падение листа»

В воздухе вьётся ветер, вырывая ветви и вётлами велюровые вены, ввергая в вековой вой.

Вопреки ветру-вору вьюсь, взъерошенный, вгрызаюсь в ветви, впиваюсь вглухую в восток.

Вою, ввергаемый в войну, взлетаю, видимый вами. Вёрткий, взъерошенный, вырываюсь вверх.

Ветер ввинчивается в виски. Вздох. Вращение вязнет. Вскарабкиваюсь вновь. Вялость. Время вливается в вечность, выедая волю. Выгораю! Воском всхлипываю. Вьюсь — вновь влечёт вниз. Ветер выводит Вивальди.

Всюду выглядывают выщербленные вершины. Витражной вязью вырисовываются воспоминания. Возникают и вновь выгорают, внезапной вмятиной внедряясь внутрь.

Возможно, в ворохе вьющихся вымолю вздох?! Важно выстоять, выжить!

Вдруг вижу вас, вслушивающегося восхищённо. Внимаю вам.

Верным вьюном вверяюсь в ваши вскинутые ввысь ветоши-ладони.

Выдох. Вялый вдох… Впалый взгляд. Всплеск веры.

Воздух волнами высекает волокна вен.

Весь вдребезги. Всё впотьмах. Впрочем…

Время вправе вернуть всё… вспять.

Вероника Павлова

9 класс, г. Абакан, школа № 19

Фотография, на которой меня нет

Продолжение

Прошли годы, много, уж много их минуло. Работал, но не в тягость мне мои труды были. Бывало, сядешь писать — так увлечёшься, что и о времени забудешь, а в окно глянешь — светает. А когда читатели письма с благодарностью стали писать, очень приятно эти тёплые строки читать было. Премии государственные стал получать — в дом пришёл достаток, жена сама приоделась, ребятишек нарядила, меня по магазинам таскать стала, всё норовила одеть помоднее. Ну какой из меня модник? Членом Союза писателей стал — квартиру получил пятикомнатную, так супруга от счастья плакала и всё хотела мне под кабинет самую светлую комнату выделить. А мне и самой маленькой хватит, пусть уж ребята в больших да светлых комнатах живут.

Дети выросли, стыдно признаться, без моего участия. Дочь Катя в университет поступила на филологический факультет, сама специальность выбирала, мы не неволили. Жена Татьяна повздыхала немного:

— Золотая медаль, все дороги открыты, а ты на такой простецкий факультет идёшь.

Дочка с детства ещё народным фольклором увлекалась, частушки пела, народные сказания записывала. В университет поступила, так мы её

на каникулах и дома не видели, всё по деревням моталась. Хакасские мифы, легенды и предания, обозначаемые в хакасском языке общим термином «кип-чоох», её любимыми произведениями стали. В Туву ездила, там алтыши шаманские изучала, мифами якутов тоже интересовалась. Дипломную работу написала, немного доработать — и на кандидатскую диссертацию потянет. В один год проводили дочь в аспирантуру в Москву, сына в горный институт в Новокузнецк и стали каждый вечер на телефон молиться: не один, так другой позвонит, — новостями от ребят только и жили.

Катя уже с темой диссертации определилась, руководитель хороший, сам по этой теме докторскую диссертацию пишет. Старославянские языки они изучали, в Прибалтику, Болгарию, Сербию вместе ездили. Я подумал, что руководитель пожилой, и говорю ей:
— Сильно-то старичка по деревням не таскай, знаю я тебя: как свой фольклор услышишь — никакого удержу на тебя нет.

Дочь только засмеялась мне в ответ. Приехал я на защиту диссертации и понял, что здорово ошибся: профессор-то наш моложавый, всего на десяток лет Катерины и постарше. После защиты диссертации в ресторане он у меня руки дочери и попросил. Я, конечно, согласился, день свадьбы назначили; хотел меня будущий зять с родителями своими знакомить, да не получилось. Самолёт у меня через час, надо в Сочи, на заседание членов Союза писателей, было лететь. И закралась мне в голову мысль одна, что где-то я этого Николая Евгеньевича уже видел, лицо мне его знакомым показалось. Извинился я, привет родителям передал и покатил на такси в аэропорт. И так и сяк голову ломаю: и голос у будущего зятя знакомый, и походка, а вспомнить не могу, ну где же я его видел. Дома жене все новости выложил, слёзы радости лились ручьём. Головомойку получил, конечно, знатную за то, что не задержался и с родителями не познакомился. А у самого мысль из головы не выходит, где я зятя будущего видел. А ведь точно видел и голос слышал, а вот где — не могу вспомнить. На свадьбу к дочери стали собираться, решили пораньше недели на две приехать, помочь с организацией торжества.

Ох и щедрый подарок судьба мне приготовила, поистине королевский! Знать не знал, ведать не ведал, с кем мне в Москве породниться придётся! Я наши сибирские дары приготовил в подарок будущим родственникам, а супруга меня по спецмагазинам неделю гоняла, всё требовала через Союз писателей заморских деликатесов доставать. Телеграмму дали дочери о времени прилёта, комнату в Доме писателей зарезервировали, погрузили вещи, летим судьбе навстречу. А в Москве будущие родственники больше нас волновались о том, как встреча со знаменитым писателем пройдёт.

В аэропорту Николай нас встретил, в Дом литераторов отвёз. Вечером стали собираться в гости к его родителям — знакомиться. Супруга армянский, французский коньяки, салями, рыбные деликатесы упаковывает, а я нашу сибирскую можжевеловую настойку прихватил, яблочки мочёные, орех кедровый. Заходим в гостиную, представляемся; имена у родителей схожие — Евгений и Евгения, оба Николаевичи; тут я и обомлел, узнал своих учителей, а они меня по имени-отчеству стали кликать. Тут я ясность и внёс:
— Был Витей — Витей для вас и останусь, никаких Петровичей.

Супруге сразу объяснил, кто это, она рассказ «Фотография, на которой меня нет» читала, сразу всё поняла, удивилась только совпадению. Разговор сразу завязался дружеский, встрече все были рады, ведь свои люди после стольких лет встретились. Засиделись мы в этот вечер за полночь, выпили по две рюмки можжевеловой настойки, все мы — не большие любители спиртного. А моя настоечка сначала ударит, а через двадцать минут отпустит: и голова как стёклышко, всё видит и всё соображает, и руки-ноги в отдыхе, и внутри тепло да благодать. По рецепту бабушки Катерины она приготовлена, сплошное лечение.

Рассказал мне Евгений Николаевич историю своей жизни. Сейчас уже можно такое рассказывать, документы на посмертную реабилитацию отца он пять лет назад получил.
— Имя моё настоящее — Арнольд Валерианович, учителем по образованию никогда не был. Прости, Виктор, но что сам знал, тому и учил вас, ребят. Отец мой был купцом, торговал с Китаем, успешно обменивал на чай и шелка сибирские меха, скупаемые у якутов за бесценок. Жили мы на широкую ногу, по-европейски. Пять младших сестёр по нескольку раз в день меняли наряды, которые ежемесячно выписывались из столицы, и походили друг на друга не только внешностью, но и весёлым шумным нравом, звонкими голосами и способностью смеяться по любому поводу. По вечерам в доме собирались гости, сыновья купцов, легко владеющие языками и искусством комплимента, прекрасно танцующие и музицирующие на фортепиано. Родители, убедившись в пользе образования, не жалели никаких денег, посылая детей на учёбу во Францию, Англию, Германию. Я закончил Морской кадетский корпус и поначалу мичманом, а затем уже капитан-лейтенантом служил на фрегате «Александр Невский», избороздив моря и океаны: ходил в Америку и Японию, к берегам Австралии и Южной Африки. Во время революционного бунта на корабле спрыгнул за борт и спасся вплавь. Снял на берегу с убитого красноармейца форму, где и были документы на имя Евгения Николаевича: военный

билет, свидетельство об окончании педагогического техникума, комсомольский билет. Прошёл курсы повышения квалификации, женился и был отправлен учительствовать в Сибирь. Про старенький портфель ты, Виктор, метко заметил — его я на свалке нашёл и ещё, почитай, два года по деревне с ним ходил. Бабушка твоя, Катерина Петровна, мудрой женщиной была, она-то меня с первых дней раскусила. «Сынок, сынок, видно белую офицерскую кость, ох как видно», — отвела меня в сторону и напрямую сказала. Катанки мне поношенные подарила, тулуп деревенский, спину посоветовала сутулить, ногами по-деревенски шоркать. Вас, ребят, я действительно учил на совесть, старался в каждом талант найти, увлечь чем-то интересным, рассказывал всё, что в своё время от гувернёров слышал. Вы мне моих младших братьев и сестёр напоминали, об их судьбах я так ничего и не узнал. Втянулся, полюбил своих учеников, сибирскую природу, но недолго мне пришло учительствовать. Второй учебный год до конца не доработал, в апреле месяце получил письмо от невесты настоящего Евгения Николаевича. Девушка тоже курсы повышения квалификации прошла, узнала, куда меня два года назад отправили, и в соседнюю деревню Слизнево учительствовать попросилась. Пишет: «Еду, любимый! Встречай 1 мая в Красноярске на вокзале». А на календаре уж двадцать шестое апреля! Как вовремя письмо пришло. Видел бы ты, Витя, как твой хвалёный учитель убегал из Овсянки! За два часа собрался, тетради непроверенные с собой взял, портфель в дороге порвался, тетради рассыпал, в апреле в катанках подшитых в бега пустился. Это сейчас смешно рассказывать, а тогда за такие подвиги могли и к стенке поставить. Жаль, что с бабушкой твоей не успел попрощаться, супруге сложно было объяснить причину внезапного отъезда. Документы все наши учительские в Овсянке остались; приехали в Москву, я сторожем-истопником при больнице устроился, супруга — санитаркой, флигелёк нам тут же небольшой дали, жили десять лет без прописки. А мне это и на руку, никто из родственников не найдёт. Подрабатывал я переводами с немецкого, французского, английского. Война началась, меня в генштаб армии переводчиком взяли, пленных допрашивал, документы немецкие переводил, себе все документы восстановил. После Победы демобилизовался, комнату в коммуналке получил, переводчиком в Третьяковскую галерею устроился. Сейчас фирму свою открыл, письма помогаю писать девчонкам, ищущим женихов за границей, ответы перевожу, перед отъездом языку их обучаю. В общем, работы хватает, на седьмом десятке квартиру себе купил собственную.

— Хорошо всё, что хорошо кончается, — порадовался я за своего свата.

— А в Овсянке-то обижаются, что уехал, не попрощавшись, учебный год до конца не доработал? — грустно спросил Евгений Николаевич.

— Да что вы! Все вас только добрым словом вспоминают! Потом уже местные наши учителя были, никто с детьми так целыми днями не возился, им бы быстрей уроки отвести и по хозяйству управляться, — успокоил я свата.

— Скучал я первое время без школы, и сейчас даже на фотографию гляну — и так грустно становится. А супруга моя как твой рассказ прочитала — почитай, неделю проплакала.

— Приезжайте к нам в Овсянку летом! Девчонок из нашей начальной школы человек десять точно соберём, из парней я один остался, да Санька где-то в бегах. Его отец ещё до войны кнутом выпорол за то, что он девчонку опозорил, и сбежал наш Санька на пароходе с матросами. Сразу после войны стали на имя матери переводы приходить. Потому и верит она, что Санька её жив. А кому же ещё переводы присылать, если не ему? А девчонку ту Левонтий в семью принял, свои дети разъехались, а она так с Васёной и живёт, сынок их с Санькой уже институт закончил, травматологом в Красноярске работает. Приезжайте обязательно!

Свадьбу отгуляли в университетской столовой. Меня на почётное место чуть ли не силой тащили. Подарок знатный ректор молодым подарил — ключи от трёхкомнатной квартиры! Хотел сначала двухкомнатную квартиру дать, а потом решил: берите сразу трёхкомнатную, на перспективу. Полетели мы с супругой домой грустные немного: ведь дочь теперь далеко от нас живёт. И в то же время радостные: мы с хорошими людьми породнились, в надёжные руки дочь отдали.

Лето следующего года выдалось богатым новыми событиями в моей жизни. Встречу выпускников Овсянской начальной школы решили назначить на первые выходные октября. Огороды все успеют убрать, и тёплые деньки ещё стоят вовсю. Девчонки отнеслись с радостью к моему предложению, с энтузиазмом взялись за организацию встречи. Через неделю сообщили мне, что Нина Заречная из Игарки приедет, пока пароходы ещё ходят. Ивонна из Прибалтики прилетит. Были в те в годы в нашем селе ссыльные прибалтийцы, все они назад и уехали, как разрешение получили, одна невестка Левонтия Мирослава осталась с малышом. Трёх девчонок из Красноярска я на своей служебной «Волге» подброшу. Ещё по Красноярскому краю человек десять набралось: Абакан, Черногорск, Железногорск, по деревням наши выпускницы живут.

Кафе заказали, сбор — в полдень 3 октября. И так этой встрече все были рады, всё удивлялись, как раньше не додумались встретиться. О том, что учитель с учительницей приедут, я в торжественной обстановке сообщил уже в конце сентября;

их приезд ещё большей важности нашей встрече добавил.

Момент долгожданной встречи настал. Разодетые в пух и прах, с высокими причёсками девчонки, я в строгом костюме, учитель с учительницей в центре стола ещё задолго до полудня собрались в кафе. Уже вытащены фотографии детей и внуков, начались бесконечные разговоры. На меня набросились всем скопом: «Фотографии детей где?» Сватья моя, Евгения Николаевна, выручила, достала целую пачку фотографий: я дочь к алтарю веду, Николай с Катериной под венцом, ректор ключи от квартиры вручает. Как будто вчера всё это было, а уже внучке Виктории три месяца. Внука я сразу запретил Виктором называть, много я в детстве горя хлебнул, сиротой остался. А родилась девочка, насчёт Виктории запрета не было — вот и назвали.

Ждём только Нину из Игарки. По телефону обещала приехать с сюрпризом. Я «Волгу» свою с водителем на пристань отправил, вот-вот должны подъехать. Подъезжают; в автомобиле кто-то третий. Мужчина, высокий, худощавый, цвет лица — какой бывает у людей, проведших долгие годы за полярным кругом. Тамошнее солнце навсегда придаёт специфический оттенок коже. Выскочил быстренько, Нинке руку подал, сценически поклонился и воскликнул:

— Господа хорошие! Встречайте забедованного!

А голос-то знакомый! Мы все разом и выдохнули: Санька!

Мирославе букет роз подарил, за сына благодарил. А после того как выдал фразу:

— Лепилы — на зоне уважаемые люди, — тем же букетом под всеобщий хохот по шее получил.

Санька увидел фотографии, разложенные на столе, с гордой улыбкой вытащил из нагрудного кармана фотографию глазастой девочки-подростка, удивительно похожей на него в детстве. Внебрачная дочь — предмет его особой гордости. Выпив пару рюмок за встречу, Санька поехал к матери, пообещав вернуться к вечеру с фотографом.

— Должок за мной. Знаменитый писатель меня уже на весь Советский Союз прославил, горе у него какое — по моей вине на фотографию не попал, — подмигнул мне друг детства.

Рассказала нам Нина, как Саньку встретила в Игарке:

— Я санитаркой в больнице работаю. Привезли его ночью. Расписанный синими наколками, с распоротым в драке животом, ещё полный боевого азарта пациент лежал на операционном столе. Врач копался в его окровавленном животе, а пациент уже болтал со смешливой медсестрой. Я узнала Саньку, своего одноклассника, пригласила на встречу, и вот мы здесь.

Ближе к вечеру приехал Санька с фотографом, снял он нас всех в лучшем виде. А вечером сидели мы на берегу Енисея чисто мужской компанией, и признался Санька нам с Евгением Николаевичем, что ему, законному, коронованному вору, прошедшему зоны, водившему зеков на бунты, боязно встречаться с сыном. Как могли, поддержали мы своего товарища; с утра уехал он к сыну в Красноярск.

Есть теперь у меня другая фотография. Качество у неё отличное. На ней нас всего пятнадцать человек. Я бегаю глазами по фотографии: вот Нинка Заречная, Ольга Волкова, Машка Сидорова. В гуще ребят, в самой серёдке — учитель и учительница. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. В последнем ряду — я и Санька. Известный писатель и законный вор — лучшие друзья детства. Мы весело смеёмся и бесконечно рады встрече.

Александра Радионова

11 класс, Красноярский литературный лицей

Мальчик в белой рубашке

Фантазия на тему

Садилось за горизонт солнце. Вспарывало земное брюхо яркими лучами, золотило снопы. Воздух наполнялся стрёкотом вечерних насекомых, которые назойливо кружили в высокой сухой траве. Сбитые детские ступни неловко топали по тропке, шедшей вдоль поля.

Становилось всё темнее. Смолкли далёкие голоса людей, возвращавшихся домой после тяжёлой работы. Ветер шевелил колосья и обдувал прохладным дыханием, пробирался под рубаху, уносил вдаль звуки. А маленький мальчик всё шёл вперёд, упрямо сжав ладошки в кулак. Там мамка припасла для младшенького своего молоко да шанежку. Из последних сил, на чистом упрямстве шёл Петенька по тропке, которая вела его всё дальше и дальше. Запылилась рубашонка, запутались в светлых кудрях былинки, да только братья обещали. С молоком матери впитывают деревенские дети, что коли даёшь слово, так исполни. И верит наивное детское сердце, что ждёт его впереди припасённое угощение.

Скрылся золотой шар, завыли вдалеке собаки. Где-то там был дом: мама, старшие братья, Шарик. Далеко, за краем солнца, за краем бесконечного синего неба. Не дойти.

Обливалось слезами материнское сердце в глухой тоске. Да только что поделаешь? Кричи не кричи, вой, умоляй баб отправиться в поле искать мальчика в белой рубашке, но как найти его в густой темноте? Одна надежда, что заметил его кто-нибудь, взял с собой её дитятко, под сердцем ношеное.

Глухо дребезжала по дороге телега, устало вздыхала вечерняя земля под копытами лошади. Гнедая кобыла отгоняла хвостом насекомых, склонила голову к земле и еле-еле плелась домой. Мерно, неторопливо вращались колёса. Старые, морщинистые руки, слегка дрожа, держали узду. Так бы и ехал дальше дед, вздыхая, прикрыв ясные глаза обветренными веками. Да только прорезал вечернюю тишину детский плач. Встрепенулся дед, прислушался, цыкнул на сонную кобылу.

Петенька плюхнулся на сухую землю, засучил ножонками, заорал басовитым рёвом о земной несправедливости, об обиде своей, о золотом поле, о молоке да шанежке, о натруженных тёплых материнских руках.

— Чего ж орёшь-то? Мамка твоя где?

Трёт глазёнки, захлёбывается рёвом чадо.

— Эх, горе ты моё горемычное.

Подняли Петеньку чужие руки, притянули к себе, окутали теплом. И снова задребезжала по дороге телега. Снова била себя по бокам кобыла, отгоняя назойливых насекомых.

Не было ему ещё и пятнадцати, когда в сорок пятом от старости и голода умер Иван Алексеич. Садилось за горизонт солнце, качалось, дышало золотое море, пели песни возвращающиеся с жатвы деревенские. Молодые сильные руки Петьки связывали снопы. Теперь и он приобрёл себе прозвище. Стал Потапычем. За характер тяжёлый, но справедливый. Насупится, бывало, упрётся, и никому уже его не разуверить. Если даст слово, то сдержит, не забудет. Пройдёт через все препятствия, останется верным и честным.

Но где-то в глубине души, в глубине памяти смотрят не по-детски мудрые глаза из-под пушистых белёсых ресниц. Обнимает янтарное солнце одинокую фигурку, уходящую ввысь по горной дороге.

Любовь Кулакова

8 класс, г. Боготол, школа № 2

Васютка в каменной стране

После счастливого возвращения из тайги Васютка рассказал отцу про озеро, в котором много рыбы и к которому можно подплыть на лодке.

А через два дня он повёл к нему бригаду рыбаков. А когда озеро показалось вдалеке, кто-то из рыбаков сказал: «Вот и озеро Васюткино…» С тех пор так и повелось. А вскоре это название появилось на карте. Среди голубых пятнышек в низовьях Енисея есть и то, которое называют Васюткиным озером. Так Васютка стал знаменитым в своём посёлке и не только.

Теперь каждое лето Васютка жил в тайге с матерью и отцом. Мальчик никогда не скучал. Он мечтал сделать ещё что-нибудь необычное. Ведь смог же он открыть неизвестное рыбное озеро; почему бы не совершить ещё что-нибудь такое этакое? Но придумать ничего не удавалось, тем более что родители строго следили за Васюткой и одного в тайгу не отпускали даже за орехами. Теперь за орехами или глухарями Васютка ходил с молодым семнадцатилетним рыбаком Николкой Рыжим (так звали его в бригаде).

Николка и Васютка, как всегда, отправились за орехами; день был пасмурный, воздух сырой. Настроение Васютки было тоскливым, он не очень-то хотел идти, тем более в такую погоду. А тут ещё Николка давай над ним подшучивать: мол, маменькин сыночек, никуда одного его не отпускают. А вот он, Николка, уже настоящий рыбак, потому что в бригаде работает, и родители его далеко. Васютка старался не обращать внимания, но Николка не унимался. Тогда Васютка кинул мешки и побежал обратно домой. Он бежал быстро и не оборачивался, ему было всё равно — бежит или нет за ним Николка. Вдруг под ногами что-то хрустнуло, Васютка упал и кубарем покатился вниз. Очнулся он и увидел, что висит на толстом сучке дерева над каким-то обрывом, а внизу синеет вода. Васютка боялся пошевелиться, но ветер становился всё сильнее, и Васютку раскачивало из стороны в сторону, затрещала рубаха. Мальчик зажмурил глаза: «Будь что будет!» — и быстро полетел вниз.

Очнулся он в каменном лесу. Стояла подозрительная тишина. Васютка осмотрелся, хотел закричать, но вспомнил, как прошлый раз, заблудившись в тайге, он сумел выбраться. Куда идти, и что это за лес каменный? Васютка сел на камень и задумался. Вдруг громкий звук раздался сверху — это огромный глухарь кружил над Васюткой и злобно издавал звук, похожий на слово «попался». Не успел мальчик вскочить, как птица схватила его когтями и понесла над полями, оврагами, лесами. Вдали показалось большое гнездо, птица опустилась в него. Неизвестно откуда набежало много человечков в перьях и с птичьими головами. Они окружили Васютку и стали клевать его; скорее, это было похоже на пинки.

Раздался звонок, и Васютка увидел того же огромного глухаря в царской мантии. Все утихли и построились в две линии. Васютка стоял посередине и ни о чём не хотел думать, но печальные мысли не оставляли его.

— Итак, мы встретились, — прогудел царь-глухарь.

Васютка посмотрел на него и увидел, что глаза глухаря наливаются кровью.

— Вы, люди, убиваете нас, теперь ты ответишь за всех, — сказал глухарь.

— Отпустите меня, пожалуйста,— прошептал Васютка.
— Отпустить? А ты не убивал птиц? Не жарил глухарей на костре?
— Я… я… не буду… не буду,— бормотал мальчик.
— Отпустить, пощадить… да… да-да, но ты должен добыть каменный коготь, тогда, может быть, мы пощадим тебя,— проговорил царь-глухарь.
— Где находится каменный коготь?
— Внутри горы Тавтог.
— Как же я попаду в эту гору? Там есть вход?
— Нет. Ты должен сам проделать этот вход.
— Но как?
— Не знаю. Но ты смог ведь выбраться из тайги, да ещё и озеро открыл. Ты смышлёный мальчик, вот и подумай. А если не добудешь, мы скормим тебя нашим птенцам,— проговорил глухарь и грозно посмотрел на Васютку.

Стражники-глухари отвели мальчика в тёмную комнату и закрыли до утра. Васютка расплакался: теперь ему точно не выбраться, справиться с горой одному тоже невозможно. Он лёг на пол, закрыл глаза. Мысли не лезли в голову; наверное, он сильно боялся, какая-то пустота наполнила всё его тело. Он заснул.
— Спит, не боится, какой он смелый, ах, ах…
— Мне он тоже нравится.

Васютка открыл глаза. Возле его головы летали две зелёные светящиеся стрекозы-девочки с прозрачными крылышками.
— Смотри, он проснулся.
— Вы кто? — спросил Васютка, садясь.
— Мы — хранительницы тайн,— ответила одна девочка.

Васютка обрадовался:
— Может, вы знаете, как добыть каменный коготь?
— Это нелегко, но возможно. Мы поможем тебе, если ты пообещаешь никогда не убивать птиц в лесу.
— Обещаю, обещаю,— почти закричал Васютка.
— Когда ты доберёшься до горы Тавтог, выбери место, где есть трещина, и ударь палкой, а дальше действуй и думай сам,— прошептали стрекозы и исчезли.

Отворилась дверь, стражники повели Васютку к горе. Гора Тавтог была огромная, её вершина упиралась в небо. Васютка вспомнил слова стрекоз и нашёл трещину, взял толстую палку и ударил. Огромный кусок горы откололся и скатился вниз. Васютка ударил по другой трещине, другой кусок отвалился — и вдруг яркое пламя вырвалось из горы. Васютка не успел отбежать, как из пламени вылетел свирепый змей с двумя головами, птичьими клювами и огромными крыльями. Крылья закрыли, как показалось Васютке, всё небо над головой. Змей изрыгал пламя из своих клювов. И готов был разорвать Васютку, но тот спрятался за камень и быстро соображал. На поясе вместо ремня была верёвка; Васютка отвязал её, сделал петлю и накинул её на лапу змею. Петля зацепила правую лапу змея, Васютка потянул верёвку, петля затягивалась всё сильнее и сильнее. Змей закаркал страшным голосом и стал терять силы, он несколько раз дёрнул верёвку. В петле осталась лапа с каменным когтем, а змей упал на камень, и Васютка увидел, как яркие искры посыпались фейерверком в разные стороны, они поднимались до самого неба. Одна искра упала на Васютку, в глазах у него потемнело, голова закружилась, он мягко опустился на камень и потерял сознание.

Очнулся Васютка от сильного толчка, открыл глаза и увидел отца, Рыжего Николку и ещё двух рыбаков. Отец улыбался, а в глазах стояли слёзы.
— Напугал, сорванец. Куда же ты запропастился? Мы тебя третий день ищем, думали уже…

Васютка хотел вскочить, но сил не было. Васютка почувствовал, что в зажатом кулаке у него что-то есть. Он разжал кулак. На ладони лежал камень.
— Папа, что это? — спросил Васютка.

Отец внимательно рассмотрел камень, показал своим товарищам.
— Это же лазуритовая руда,— сказал старый рыбак Петрович.
— Где ты это взял, сынок? — изумлённо спросил отец.
— Здесь,— неуверенно ответил Васютка.

Отец и рыбаки осмотрелись. В пяти метрах была вырыта яма, и на её дне блестела лазуритовая руда.
— Васютка, да ты у меня настоящий следопыт. Ты открыл месторождение руды,— отец обнял сына, прижал к себе.— Но больше я тебя в лес не отпущу. Мы уже думали, что тебя не найдём.

Отец взял сына на руки, посадил в телегу, сам сел рядом. Лошадь медленно поплелась домой. Рыбаки шли сзади. Дома Васютку ждала мать, которая от радости и плакала, и смеялась. Но на следующий день отправила сына в город к бабушке, чтобы он провёл у неё остаток каникул.

А месторождение руды Васютка действительно открыл. Теперь там ведут раскопки и добывают руду. Жаль, что это месторождение не назвали в честь Васютки.

ЕРМАКОВСКАЯ ШКОЛА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

В конце февраля 2014 года после двухлетнего перерыва в Ермаковском районе, на самом юге Красноярского края, в знаменитой на всю страну Жеблахтинской школе, которой нынче исполнилось 90 лет, возобновил работу центр литературного

образования школьников, когда-то получивший гордое имя «Литературный лицей». Есть на то добрая воля и руководства Ермаковского района, и учителей, и — прежде всего — желание самих начинающих литераторов. В общении с представителями всех заинтересованных сторон, так или иначе причастных к этому событию, я убедилась: желание детей здесь превалирует над всеми остальными мотивами. Литературный лицей в Ермаковском районе стал легендой, передаваемой из уст в уста уже поколениями учащейся братии. Звонкое эхо достижений прежних лицеистов и горячий интерес подрастающих в начальной школе потенциальных авторов сделали своё дело. Ермаковская школа русской словесности — теперь проект именуется так — начала отсчёт своей истории. В октябре здесь очень успешно прошла очередная «лицейская сессия». Большинство школ района прислали в Жеблахты учеников, проявляющих склонность и способности к литературному творчеству. Конечно, это особенные школьники, как говорится, «отборный жемчуг». Наверное, было бы ошибкой судить по ним о состоянии умов всех школьников района. И всё же, когда я смотрю на этих детей, великое будущее России становится для меня бесспорным.

Марина Саввиных

Дмитрий Иванов

8 лет, Большереченская школа

Война

Дети, а вы знаете, что в прошлом была жестокая и грустная беда? Была война. Солдаты шли на смерть, спасая Россию. И слава вам, покойники, за то, что спасли Русь. Пускай же мир цветёт! Пускай война уйдёт!

Зимняя ночь

Снег пошёл, и замели метели поля и леса. Над прекраснейшими ветвями замёрзшей сосны бешеный ветер гонял метели. Снега заблестели под светом луны. Разукрасилось небо блестящей звездой.

Осеннее время

Осенняя пора настала. И лето грустно шло куда-то, смотря на осень и рыдая. Теперь все в школу снова побегут. Будет учитель говорить на уроке о золотых листьях. Туман поплыл по лесу, и кажется, что там сердитый Змей Горыныч.

Морская волна

Море красиво. Море любимо. Волнистое море и жёлтый песок. Морская волна! Заколдованный пляж! Я поражён!

Кирилл и Филипп

У двух подруг было два сына — Кирилл и Филипп. Кирилл был хорошим, а Филипп — жадным и злым. Он обижал девочек и дёргал их за косички. А Кирилл дарил им цветы, помогал им во всех трудных делах, помогал бабушкам, маме и её подруге. Кирилл и Филипп были друзьями и играли вместе. Только Кирилл играл с девочками, а Филипп их бил, смеялся, если они упадут, забирал у них мяч, дразнил их, обижал маленьких детей. Он был хулиганом, дураком, ничего не знал, что правильно делать. Кирилл научил его, что правильно делать, и он стал таким же, как Кирилл.

Малая, большая, великая…

Шестиклассники о родном крае

…В крае у меня есть много чего: и царь-рыба, и самые знаменитые на всю страну горы — Спящий Саян. На нём есть Висячий Камень, о котором сложено много легенд. В одной из них говорится о том, как однажды Спящий Саян проснётся. Будто придёт беременная женщина в белом халате и столкнёт Висячий Камень. Он упадёт в озеро Радужное, которое находится под Камнем. Брызги долетят до Саяна. Он проснётся и встанет. Но что будет после этого, ни одна легенда не говорит.

Арина Чеколдина

…Моя малая родина — село Нижний Суэтук. Оно основано казаками. Каждый год у нас в селе проводится праздник «Казачий разгуляй». Село очень красивое. Здесь есть две горы, а за горой — озеро. У нас обитают маралы. А ещё у нас в деревне есть фермер, Николай Фролов, — он чинит машины!

Марина Понцева

…Моя малая родина — село Разъезжее. У нас много красивых мест. Одно из них — мост Влюблённых на Большой речке. С этого моста открывается прекрасный вид. А есть место, которое я называю своим, потому что с самого детства, с того времени, как мы приехали в село, я с братом туда ходила. С бугорков и горок там стекала чистая, совсем прозрачная вода. До тех пор, пока не приехали экскаваторы, которые всё там перекопали и засыпали. Всё это сделал человек! И я согласна со словами Ф. И. Тютчева:

Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь,
В ней есть язык.

Ксения Писарева

…Я живу в селе Мигна и очень его люблю. В нём есть магазины, почта, больница, большая двухэтажная школа-одиннадцатилетка. На улицах много деревьев и цветов. Свежий воздух. Рядом лес. Только каждый день рубят деревья, приезжают лесовозы и увозят наш лес. Меньше стало грибов, птиц и зверей. А домашних животных в Мигне очень много. Они могут просто ходить по улицам и никого не боятся. По осени и зимой иногда приходят волки. Однажды ночью волки пришли прямо на нашу улицу и загрызли трёх барашков. У нас две речки — Бараксан и Мигна. Они сливаются в одну, и через деревню протекает речка Мигна. Летом в ней купается детвора. Приходят на водопой лошади. Сидят с удочками рыбаки. В селе живёт примерно тысяча человек. И каждый год приезжают новенькие. Их приглашают работать в колхозе и дают жильё. Я родилась в Мигне и не представляю, как бы я жила где-нибудь ещё. После окончания школы мне надо будет ехать в город учиться. Тогда моё сердце разделится на две половинки. Одна останется на моей маленькой родине. И мне будет спокойно и хорошо возвращаться домой.

Екатерина Золотухина

…Великая Отечественная война оставила горький отпечаток в каждой семье. В декабре моему дедушке исполнится семьдесят три года. И на протяжении всех этих лет дедушка носит тяжёлый след Второй мировой войны в своём сердце. Дед Виктор родился 10 декабря 1941-го года. А его отец уже воевал. Прадедушка Семён был призван на фронт городским военным комиссариатом. В марте 1942 года прадедушка пропал без вести. По сей день дед Витя разговаривает со своим отцом, глядя на пожелтевшие фотографии. Дед рассказывает нам об отце со слов покойной прабабушки Матрёны. Каждый раз смотрю на деда и вижу, как слёзы подкатываются у него к уголкам глаз. Перед моими глазами всё чаще и чаще встаёт образ моего прадедушки Семёна. Вижу отважного, смелого солдата, рядового, стрелка Семёна Ефимовича Ленкова. В прабабушкином деревянном сундуке лежат несколько писем с фронта и похоронка. На мемориальной доске обелиска в центре села высечена фамилия моего без вести пропавшего прадедушки. Дед Витя обращался в военкомат, но пока нет результатов. До сих пор мы не знаем, где он похоронен. Но наша большая семья надеется, что прадедушку похоронили по-человечески. Нас у дедушки с бабушкой три внука и семь внучек. Мы решили объединиться и все вместе помочь деду Вите в поисках той самой могилы, где покоится тело прадедушки. В этом году прадедушке Семёну исполнилось бы сто три года. Если бы не война… может быть, жил бы прадедушка до сих пор. Рассказывал бы нам о войне, о страхе и смелости, о мудрости и предательстве. Но вчера, сегодня и завтра я с гордостью храню его имя. Нам, внукам и внучкам, стоит гордиться и дедом Витей. Он вырос без отца, живёт достойной, справедливой жизнью. Они с бабушкой Галей вырастили троих сыновей и двух дочерей. Мы, внуки и внучки, гордимся бабушкой и дедушкой.

Тимофей Свешников

Алексей Толстоноженко

5 класс

Хитрый Карандаш и глупая Кошка

Жили в одной квартире Карандаш, который любил рисовать, и глупая Кошка, которой всего было мало. Однажды Карандаш занимался любимым делом — рисовал. А Кошка хотела себе и зеркало, и полотенце, и велосипед, и очки, и телефон, и целое облако мороженого. Вот она и говорит Карандашу:
— Карандаш, я тебя мышам скормлю, если ты не нарисуешь то, что я хочу.
— Ох, не надо, я сейчас всё нарисую!

Кошка прыгнула на подоконник и стала ждать. Карандаш всё очень быстро нарисовал: и зеркало, и полотенце, и велосипед, и очки, и телефон, и целое облако мороженого. Кошка от радости слетела с подоконника прямо в облако и стала есть мороженое. И до того наелась, что горло заболело.

С тех пор Кошка не пристаёт к Карандашу со своими желаниями.

Сергей Чубик

5 класс

Приключения кошки

Моя кошка проснулась с утреца пораньше. И увидела себя в зеркале. Испугалась кошечка и побежала в мою комнату. Залезла на мой стол, увидела цветной карандаш и давай с ним играть. Карандаш упал со стола и покатился на кухню. Кошка — за ним. Видит — карандаш закатился под стол, и его не достать. Прыгнула кошка на кухонный стол, нашла полотенце — и с ним играть начала. Играла-играла — и совсем запуталась. Еле выпуталась из полотенца. Вскочила на подоконник. Сидит, умывается да поглядывает в окно. А за окном — облака плывут. Разные. Она даже увидела своё облако, облако в виде кошки.

А ещё моя кошка любит дедушкины очки. Пока дед спит, она тихонько надевает его очки. Ей это так нравится! Но когда дедушка встаёт, она как угорелая несётся на улицу… и уже — горе мне! — по дороге снесла мой велосипед! Ну вот… колесо

спустило! Но я решил: не буду разочаровываться. Пойду я в магазин, куплю мороженое.

Ксения Писарева

6 класс

Сказка о волшебном сундучке

Жил-был добрый молодец со своею женой Ульяной. Жили небогато. Была у них избушка, да такая ветхая, что вот-вот развалится. Ульяна была хоть и красива, но было в ней много зла, и не любила она мужа-то своего и постоянно его бранила:

— Дурачина ты неотёсанный, ни работы, ни достатка у тебя нет. Наверное, уйду я от тебя в избу получше, к барину в жёны. У него и деньги водятся, и дом большой, буду я там как царица жить.

Очень уж любил наш молодец свою Ульяну. Пошёл он к царю и говорит:

— Нет ли у тебя, царь-батюшка, для меня работы?

А царь ему и отвечает:

— Есть. Да только сможешь ли ты её выполнить?

— Да постараюсь,—говорит молодец,—а то жена от меня уйдёт.

— Ох, понимаю я тебя… Ну, значит, так: поезжай в Тридесятое царство, там на дне моря-океана лежит перстень моей жены-царицы. Привезёшь его—домой вернёшься богатым. Сроку—три дня.

Бежит молодец домой, влетает в избу, а жена опять кричит ему:

— Где деньги?

Он ей всё растолковал, и она его за дверь выставила и говорит:

— Давай быстрее! Я царицей стать хочу!

Ну что делать? Пошёл наш молодец в Тридесятое царство. Идёт-идёт, а навстречу ему—заяц. И молвит вдруг человечьим голосом:

— Помоги мне! За мной волк с лисой гонятся, съесть хотят!

— Ладно, прыгай в сапог.

Тут подбегают лиса с волком, поклонились молодцу и говорят:

— Тут заяц не пробегал?

— Да не видал я…

— Ну, тогда мы дальше пойдём,—сказали они и убежали.

Заяц из сапога вылез, поблагодарил молодца и показал в лесу место, где спрятан волшебный сундучок.

— Сундучок исполнит три твоих желания. Только открой и желание загадай—вмиг всё будет как ты хочешь.

Поблагодарил молодец зайца и пошёл дальше, а заяц поскакал своей дорогой.

Долго ли, коротко ли—устал молодец. Сел под деревом у дороги. «Дай,—думает,—проверю, правду ли мне заяц сказал». Открыл сундучок и говорит:

— Хочу, чтобы перстень царицы оказался в моём кармане!

Не успел вымолвить, как словно что-то в бок его толкнуло. Сунул руку в карман, а там перстень царский, золотой, с дорогими каменьями.

Вот хорошо! Да ведь завтра уже срок кончится. Как же ему до дома добраться?

Снова открыл сундучок:

— Сделай так, сундучок, чтобы я дома оказался!

Не успел моргнуть—а уже стоит он у царского крыльца.

Засветло пришёл к царю, тот его похвалил и наградил.

Идёт молодец домой и думает, какое же третье желание загадать.

Ульяна с порога сразу спрашивает:

— Где деньги?

Отдал он жене всё до капельки. Но ей и этого мало.

— Ступай опять к царю!—говорит.

Тут молодец как закричит:

— Хватит, Ульяна! Всё-таки я в доме хозяин. Не нужна мне такая злая жена!

Открыл сундук и промолвил:

— Пусть исчезнет Ульяна из моей жизни навсегда!

Только сказал—и Ульяна, и сундучок исчезли, как не бывало.

А через год наш молодец женился на умной доброй девушке. И стали они жить счастливо, понимая друг друга.

Наташа Ленкова

5 класс

• • •

Над лесами,
Над полями,
Над высокими горами
Птицы белые летели,
На лужок они присели,
Странным голосом запели
Ввысь!
Вмиг вспорхнули птицы эти,
Улетели на рассвете…
У-нес-лись!

• • •

Дождик вымыл все окошки
И теперь бежит ручьём.
Лапки вымокли у кошки,
Но ей это нипочём!

стр. 169 **Анненков Арсений Игоревич**
Москва, 1971 г. р.

Родился в Уфе. Окончил Московский гуманитарный университет по специальности «журналист — литературный редактор», аспирантуру факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Стихи публиковались в газетах «Московский комсомолец», «Известия», «Трибуна», журнале «Смена», «Альманахе поэзии» (США) и др. Член Союза российских писателей.

стр. 36 **Арутюнов Сергей Сергеевич**
Москва, 1972 г. р.

Родился в Красноярске. В 1999 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, публицист, педагог. Руководитель творческого семинара в МЛИ им. А. М. Горького. Публиковался во многих литературных изданиях. Автор восьми изданных книг.

стр. 78 **Астраханцев Александр Иванович**
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др. Автор девяти книг прозы. Последние книги — «Антимужчина» (Москва, «Голос-пресс», 2011), «Портреты. Красноярск, XX век» (Красноярск, «КАСС», 2011). Зам. главного редактора журнала «День и ночь». Член Союза российских писателей. Председатель правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ.

стр. 57 **Ахпашева Наталья Марковна**
Абакан, 1960 г. р.

Родилась в хакасском селе Аскиз. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института, Литературный институт им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук. Работает в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова (Абакан). Выпустила более тридцати стихотворных публикаций в сборниках и периодических изданиях, выходивших в Москве, Кемерово, Новосибирске, Красноярске, Томске, Барнауле, Кызыле, Абакане. Автор пяти поэтических книг. Член Союза писателей России.

стр. 27 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой» и «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — им. Павла Бажова (2008), им. Алексея Решетова (2013) и общенациональной премии им. Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I-й степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты»

стр. 119 **Берязев Владимир Алексеевич**
Новосибирск, 1959 г. р.

Родился на юге Кузбасса, в шахтёрском городе Прокопьевске. Поэт, эссеист, переводчик, публицист. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг «Окоём» (1986), «Золотой Кол» (1989), «Могила Великого Скифа» (1996), «Посланец» (1997), «Тобук» (2003), «Кочевник» (2004), «Золотоносная мгла» (2008), «Ангел расстояния» (2009). Главный редактор и директор журнала «Сибирские огни». Секретарь правления Союза писателей России. Лауреат первой премии МА «Сибирское соглашение» — «Сибирь — территория надежд» — в номинации «Публицистика» (2002). В 2007 году получил премию журнала «Аманат» и Международного клуба Абая за роман в стихах «Могота».

стр. 171 **Бушуева (Китаева) Мария**
Москва

Прозаик. Автор нескольких книг, в том числе романа «Отчий сад» (2012), сборника (две повести и рассказ) «Модельерша» (2007), романа «Лев, глотающий солнце», публикаций в периодике («Московский вестник», «Юность», «Алеф» и др.). Несколько рассказов были включены в сборник избранной прозы (2007). Под именем

Мария Китаева издала в региональном издательстве роман «Дама и ПДД» (2006), публиковалась в сетевых журналах. Автор известной в кругу специалистов литературоведческой монографии «„Женитьба“ Гоголя и абсурд» (ГИТИС, 1998). По первой профессии — психолог, прошла специализацию как психотерапевт (неврозы), также занималась проблемами экстрасенсорного восприятия и парапсихологией.

стр. 145
Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане, куда попал вместе с родителями ещё в дошкольном возрасте. Окончил школу, после работал бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты в Пермской, Костромской, Саратовской областях. Вернулся в Казахстан, работал сварщиком в тракторной бригаде. В профессиональной журналистике с 1972 года. Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). Окончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). В 1989 году приглашён в газету «Советская Эвенкия» на севере Красноярского края. Сейчас — редактор этой газеты, но под другим названием: «Эвенкийская жизнь». Без отрыва от основной работы, а порой и прямо на ней, написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Автор нескольких сборников Член Союза российских писателей.

стр. 123
Газизова Лилия
Казань

Поэт. Родилась в Казани. Окончила Казанский медицинский институт в 1990 году и Литературный институт им. А. М. Горького в 1996 году. Шесть лет проработала детским врачом. Публиковалась в «Литературной газете», «Литературной России», в журналах «Юность», «Дети Ра», «Даугава», «Дружба», «Простор», «Татарстан», «Идель», «Казань» и др. Автор четырёх стихотворных книг. Лауреат литературной премии им. Г. Р. Державина (2003).

стр. 182
Гаммер Ефим
Иерусалим, Израиль, 1945 г. р.

Родился в Оренбурге, жил в Риге, окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета, автор 15 книг, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству, обладатель Гран-при и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии. Работает на радио «Голос Израиля». Шеф-редактор и ведущий авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп», член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников, входит в редколлегии журналов «Литературный Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается» (Израиль) и «Приокские зори» (Россия). Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Латвии, Дании, Финляндии, Украины, Молдовы и других стран, переводится на иностранные языки.

стр. 51
Годованец Юрий Анатольевич
Москва

Поэт, критик. Вырос в городе Каменце-Подольском (Украина). Окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова (отделение истории искусства). В Советском Союзе возглавлял службу контроля за вывозом и ввозом художественных ценностей. Имеет опыт законотворческой деятельности (Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»). Кандидат культурологии. В настоящее время работает в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, заместитель начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства. Автор поэтических книг «Медовый век» и «Свежая жесть».

стр. 129
Горнов Григорий
Москва, 1989 г. р.

Родился в Москве. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького (семинар С. Арутюнова). Публикации в «Литературной газете», в журналах «Студенческий меридиан», «Новая реальность», «День и ночь» и др.

стр. 121
Гройсман Вадим Аронович
Израиль, 1963 г. р.

Родился в Киеве. Поэт, переводчик. В 1985 году окончил Московский горный институт, в 1994 году — Еврейский университет в Иерусалиме по специальности «Русская литература», в 2005-м — по специальности «Библиотечное дело». Работал горным мастером, кладовщиком, преподавателем иврита. С 2005 по 2013 год работал библиотекарем в Институте по изучению иудаизма им. С. Шехтера. Автор пяти книг стихов. Член Союза писателей Израиля.

стр. 6
Гуцко Денис Николаевич
Ростов-на-Дону, 1969 г. р.

Родился в Тбилиси. Окончил геолого-географический факультет Ростовского государственного университета по специальности «Экология и прикладная геохимия». Служил в Советской Армии. Российский писатель, участник Форума молодых писателей России, лауреат Международной открытой литературной премии «Куликово поле» в номинации «Публицистика» (2014). Автор журналов «Дружба народов» и «Волга». Стипендиат

Министерства культуры РФ по итогам второго Форума. Лауреат премии «Букер—Открытая Россия» (2005) за роман «Без пути-следа». В том же году роман «Без пути-следа» был издан в составе дилогии «Русскоговорящий», объединившей роман с повестью «Там, при реках Вавилона». Автор книг «Русскоговорящий», «Покемонов день», «Домик в Армагеддоне».

стр. 27

Душенов Константин Юрьевич

Санкт-Петербург, 1960 г. р.

Родился в Ленинграде. Российский общественный деятель, публицист, директор агентства аналитической информации «Русь Православная». Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Автор книг, статей и фильмов патриотического направления.

стр. 61

Зиганшин Камиль Фарухшинович

Уфа, 1960 г. р.

Родился в селе Кандры-Аминево Кандринского района БАССР (ныне село Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан). Писатель. Заслуженный работник культуры РБ (2004). Лауреат многочисленных премий. Много путешествовал по России и другим местам планеты (Гималаи, Непал, Танзания, остров Занзибар, Патагония, Огненная Земля, Перу, вулканы Чили, Боливия, вулкан Килиманджаро, Аляска, Эквадор, Гватемала). В 2011 году принимал участие в двух этапах кругосветной экспедиции «Огненный пояс Земли», организованной Русским географическим обществом. Свои впечатления о путешествиях описал в книге «От Арарата до Олимпа—путь к миру», в путевых заметках. Автор книг «Маха, или История жизни куницы», «Боцман, или История жизни рыси», «Таёжные истории» (на башкирском языке), «Щедрый Буге», «Скитники», «Золото Алдана» и т. д. Член Союза писателей РБ (1995).

стр. 3

Зиновьев Николай Александрович

Краснодарский край, 1960 г. р.

Учился на филологическом факультете Кубанского государственного университета. Работал грузчиком, электросварщиком. Первая книга стихов вышла в 1987 году. С тех пор издано 14 поэтических сборников (Москва, Кубань, Иркутск, Киев, Новосибирск). Член Союза писателей России с 1993 года. Лауреат нескольких литературных премий. Стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Всерусский собор», «Дон», «Москва», «Роман-журнал XXI век», «Родная Кубань», «Волга—XXI век», «Казаки», «Сибирь», «Сельская новь», «Подъём», «Дальний Восток» и др., а также в газетах «Российский писатель», «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы» и др.

стр. 173

Зубарева Вера Кимовна

Филадельфия, США

Родилась в Одессе. Доктор филологических наук, поэт, писатель, литературовед, режиссёр. Главный редактор журнала «Гостиная». Президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Преподаёт в Пенсильванском университете искусство принятия решений в литературе, кино и шахматах. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики, режиссёр художественного фильма по мотивам пьес Чехова «Четыре незадачливых семейства». Лауреат международных литературных премий, в том числе муниципальной премии имени Константина Паустовского (2010). Пишет и публикуется на русском и английском языках. Первый поэтический сборник «Аура» (1990) вышел с предисловием Беллы Ахмадулиной.

стр. 14

Карлова Ольга Анатольевна

Красноярск, 1957 г. р.

Родилась в Абакане. Выпускница Красноярского государственного педагогического института. Кандидат филологических и доктор философских наук. Профессор. Автор нескольких литературоведческих и культурологических монографий, а также многочисленных публикаций в региональной и центральной прессе. С 2004 года работала в правительстве Красноярского края. С 2013 по 2014 год—ректор Красноярского государственного педуниверситета им. В. П. Астафьева. Член-корреспондент Муниципальной академии Российской Федерации. Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.

стр. 49

Кердан Александр Борисович

Екатеринбург, 1957 г. р.

Родился в городе Коркино Челябинской области. Окончил высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру Военного университета. 27 лет прослужил в Вооружённых силах. Полковник запаса. Доктор культурологии. Автор 40 книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Западной Сибири. Произведения переведены на английский, итальянский, грузинский, азербайджанский и другие языки. Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и международных литературных премий. Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала.

стр. 76

Курганов Сергей Юрьевич

Харьков, Украина, 1954 г. р.

Родился в Харькове. В 1976 году окончил физико-математический факультет Харьковского государственного педагогического института им. Г. С. Сковороды. Автор книг и научных статей

в области педагогики и педагогической психологии, изданных на Украине, в России и США, а также стихов, рассказов и эссе, публиковавшихся в литературных журналах, в том числе в журнале «День и ночь». С 1987 по 1997 год работал в красноярской гимназии «Универс» (№1) и на психолого-педагогическом факультете Красноярского государственного университета. Этот период жизни и творчества автора отражён в документальной прозе «Сохрани мою речь» и «Импрессионисты» (последняя — в соавторстве с М. Саввиных).

стр. 140
Луценко Мария
Киев, Украина, 1978 г. р.

Поэт, музыкант и фотограф. Окончила литературный класс Киевской средней школы №33, а также Киевскую школу искусств по классу фортепиано. Училась в музыкальном училище Глиэра (вокальный класс). В 1997 году поступила на кафедру культурологии и археологии в Киево-Могилянскую академию (факультет искусствоведения). Первые публикации — в журнале «Радуга» (2008) и альманахе «Каштановый дом» (Киев, 2009). Последующие публикации — в питерских журналах «Бег» и «Окно», альманахе «Жарки Сибирские», интернет-журнале «Гостиная», журнале «На любителя», одесском журнале «Южное Сияние», а также в других украинских и зарубежных интернет-изданиях. С 2013-го — член Южнорусского союза писателей.

стр. 127
Лясковская Наталья Викторовна
Москва

Родилась на Украине, в городе Умань Черкасской области. Работала на заводе, на почте, мастером-позолотчиком на реставрации церквей, художником по стеклу. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар поэзии Е. А. Винокурова). Работала в центральных изданиях разной направленности. Несколько лет исполняла обязанности литературного редактора и коммуникатора в кинопродюсерском центре «Всё хорошо». Более 10 лет — председатель жюри городского фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии». Автор нескольких поэтических книг для взрослых и детей, публикаций в центральной и региональной прессе, участник нескольких знаковых поэтических антологий, составитель раздела современной поэзии в культовом издании «Русская поэзия. XX век». Переводчик с украинского, болгарского, польского. Обладатель отличного диплома Софийского университета им. Климента Охридски по славистике. Переводчик-синхронист Верховного суда РФ с украинского и болгарского языков. Руководитель пресс-службы Международного союза православных женщин. Член Совета союза православных женщин. Автор книги «Матрона Московская», сценария о Матроне Московской. Член Союза писателей России.

стр. 141
Мартынов Евгений Александрович
Зеленогорск, 1930 г. р.

Родился в деревне Сибирская Саргатка Омской области. Окончил Омское речное училище, машиностроительный институт. Работал в литейных цехах заводов Омска, Новосибирска и Бердска мастером и начальником цеха, преподавателем электромеханического техникума в Бердске и Зеленогорске, директором спортсооружений, слесарем, воспитателем Школы космонавтики, преподавателем и мастером производственного обучения по изготовлению художественных изделий из керамики УПК. Автор нескольких поэтических сборников, среди которых: «Про Зеленогорск», «Чем солнце не гончарный круг?», «Такое детство», «Вечность», «В поисках веры», «Походы были», «Огниво», «Саяны будят», «Взвесь на ладонях» и др. Автор романов «Промысел Божий» и «Таинство и тайна». Публикации в коллективных сборниках и журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Совершенно открыто», альманахе «Тритон». Член Союза российских писателей.

стр. 118
Мельников Дмитрий Петрович
Москва, 1967 г. р.

Поэт. Родился в Ташкенте. В 1985 году поступил в Ташкентский медицинский институт, в 1989-м — на филфак Ташкентского государственного университета. В 1994 году, окончив факультет, переселился в Москву. Автор двух книг стихотворений: «Иди со мной» (2001) и «Родная речь» (2006). Публикации в журнале «Знамя» и др. Работал литературным редактором, верстальщиком, художником-дизайнером. В настоящее время — дизайнер-полиграфист.

стр. 59
Мингазова Светлана Васильевна
Казань, 1946 г. р.

Поэт. Родилась в селе Сурское Ульяновской области. С 1953 по 1969 год жила с родителями в Железногорске Красноярского края. Окончила Красноярский строительный институт. В 1969 году вышла замуж и переехала в Казань на постоянное место жительства. Работала инженером, начальником производственного отдела, зам. начальника проектно-сметного отдела в строительных и проектных организациях Казани и на обустройстве нефтяных месторождений Тюменского Севера (1974–1980). В настоящее время работает инженером в ООО «Научно-производственное предприятие „ГКС“». Лауреат премии казанского городского конкурса бардовской песни и поэзии «Песня, гитара и я» (2009). С 2009 года занимается в казанском литературном объединении им. М. Зарецкого.

стр. 26, 46, 77, 148, 161, 174

Минин Евгений Аронович

Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Известный поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово\Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии-2009», «Кольцо „А“», «Побережье», «Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета», издаваемые в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» (Россия) и «Флорида» (США), а также в газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия» (Россия) и «Секрет» (Израиль). Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Директор Международного союза литераторов и журналистов (APIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), лауреат премии «Поэт года-2007» Международного союза литераторов и журналистов (APIA).Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010). Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы.

стр. 55

Мялин Владимир Евгеньевич

Москва, 1961 г. р.

Член творческого клуба «МП». Участник антологии современной русской поэзии «Созвучье слов живых». Публиковался в газетах «Народный учитель», «Учитель Узбекистана» (1986), в журналах «Русский писатель» (Санкт-Петербург), «Московский Парнас», «Бег» (Санкт-Петербург), «Арион», «Волга», «День и ночь». Автор книги стихотворений «Из ближнего рая». Член Союза писателей России.

стр. 22

Наумова (Саввиных) Марина Олеговна

Красноярск, 1956 г. р.

Родилась в Красноярске. Выпускница Красноярского педагогического института (ныне педагогический университет им. В. П. Астафьева). Лауреат нескольких литературных конкурсов. Издано девять книг стихов, прозы, публицистики, множество статей о творчестве современных русских писателей, предисловия и послесловия к всевозможным сборникам. Автор проекта и первый директор Красноярского литературного лицея (1998–2011). С 2002 по 2005 год — председатель правления КРОО «Писатели Сибири». С 2007 года — главный редактор журнала «День и ночь». С 2011 года — член президиума Международного союза писателей XXI века. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Член Союза российских писателей, Южнорусского союза писателей и Международного союза писателей Иерусалима.

стр. 9

Новиков Дмитрий Геннадьевич

Петрозаводск, 1960 г. р.

Родился в Петрозаводске. Учился на медицинском факультете Петрозаводского госуниверситета, служил на Северном флоте, занимался бизнесом. Заслуженный работник культуры Карелии. Печататься начал в 2000 году. Автор книги «В сетях Твоих» (2012). Произведения публикуются в рубрике «Абзац» интернет-журнала «Республика». Лауреат Международной открытой литературной премии «Куликово поле» в номинации «Проза» (2014).

стр. 32

Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Родился в Москве. В 1995 году окончил ММУ №1 им. И. П. Павлова, долгое время работал по специальности «ортопед». В настоящее время оканчивает Литературный институт им. А. М. Горького, обучается в мастерской Сергея Арутюнова. Работает преподавателем истории в ГБОУ СОШ №1263. Автор стихотворной книги «Московский кочевник». Лауреат премии им. А. П. Платонова в номинации «Очерк» (2011). Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Юность», «Переправа», в антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..» и антологии стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А. М. Горького «Поклонимся великим тем годам…».

стр. 124

Петрушкин Александр Александрович

Кыштым, 1972 г. р.

Родился в городе Озёрске Челябинской области. Российский поэт, прозаик, драматург, критик. Публиковался в журналах и альманахах «Урал», «Крещатик», «День и ночь», «Аврора», «Нева», «Дети Ра», «Воздух», «Знамя», «Text only», «Топос», «Новые облака» и др. Лауреат уральского фестиваля поэзии «Глубина» (2007), литературных премий журналов «Дети Ра» (2008), «Зинзивер» (2010). Финалист литературной премии «ЛитератуРРентген» в номинации «Фиксаж» (лучший нестоличный издатель поэзии). Куратор проектов культурной программы «Антология». Руководитель поэтического семинара городов северной зоны (поэты Челябинской и Свердловской областей), координатор независимой поэтической премии «П», куратор

евразийского журнального портала «Мегалит», главный редактор литературного журнала «Новая реальность». Автор сборников стихов «(В)водный ангел» (2005), «Анатомия» (2006), «Я полагаю, что молчанья нет» (2007), «Кыштым: избранные стихотворения 1999–2008 годов», «Пойми, никто не виноват» (2010), «Маргиналии» (2011).

стр. 167
Посметный Олег
Норильск, 1967 г. р.

Живёт и работает в Заполярье. Пишет стихи. Данная публикация — первая в литературном журнале.

стр. 25
Рожкова Елена Сергеевна
Ачинск, 1961 г. р.

Выпускница Лесосибирского педагогического института КГУ. Педагог, искусствовед. Автор более сорока публикаций по вопросам образования и искусства в профессиональных журналах, бюллетенях и сборниках. Директор Ачинского педагогического колледжа.

стр. 162
Рудягина Олеся
Кишинёв, Молдова, 1963 г. р.

Родилась в Кишинёве (Молдавия). Поэт, публицист. Окончила Молдавскую государственную консерваторию по классу фортепиано. Автор пяти поэтических книг. С 2005 года — председатель Ассоциации русских писателей Республики Молдова. Учредитель и главный редактор литературно-художественного и публицистического журнала «Русское поле». Удостоена первого специального приза Международного литературного конкурса «Русская премия»: «За вклад в сбережение и развитие традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» (Москва, 2010). Стихи и публицистика печатались в журнале СП Молдовы «Кодры», в «Литературной газете», в коллективных сборниках и альманахах, в журналах «Балтика» (Эстония), «Знамя», «Юность», «Московский вестник», «Дети Ра», «Новая Юность» (Россия), «Новая Немига литературная» (Беларусь), в антологии «Современное русское зарубежье», в альманахах «Братина» (Москва), «Оклик» (Сан-Франциско) и др. Член Союзов писателей Молдовы и России.

стр. 34
Сейдаметова Карина Константиновна
Москва, 1984 г. р.

Родилась в Новокуйбышевске Самарской области. Выпускница Литературного института имени А. М. Горького (семинар Э. В. Балашова). Автор поэтических сборников «Позимник», «Соборный свет» и публикаций в журналах «Дон», «Наш современник», «Сура», в «Литературной газете». Стипендиат Министерства культуры РФ (2011). Лауреат всероссийской поэтической премии имени Ю. П. Кузнецова журнала «Наш современник» (2011). Член Союза писателей России.

стр. 149
Серов Юрий Викторович
Мытищи, 1987 г. р.

Родился в Орске Оренбургской области. Окончил Московский институт права. Участник творческих объединений «3537» (2007–2009) и «Проект РТУТЬ» (с 2009-го). Финалист конкурса «Вдохновение» (номинация «Сказка для детей»; Москва, 2009); дважды финалист конкурса «Молодой литератор» по Приволжскому федеральному округу (Нижний Новгород, 2009, 2010); участник 9 и 10 Форумов молодых писателей России и стран СНГ (Липки, 2009, 2010). Публиковался в сборнике «Литературный конкурс „Вдохновение“», журнале «Новый берег», книге «Молодой литератор. Выпуск второй», газетах «Литературные известия» и «Литературная Россия», альманахе «ОРЬ», журнале «Doctor Travel». Автор книги «Время пришло».

стр. 131
Смирнов Сергей Александрович
Норильск, 1953 г. р.

Псевдоним — Бажутин, фамилия прадеда. Прозаик, поэт, автор песен. Родился в Норильске. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Работал геологом в Средней Азии, на Крайнем Северо-Востоке, в Арктике. Рассказы публиковались в анадырской газете «Крайний Север», в норильских литературных альманахах.

стр. 137
Теплицкий Виктор
Красноярск, 1970 г. р.

Священник. Родился в Красноярске. Учился в Сибирском технологическом институте, служил в Советской Армии. В 1992 году принял крещение и оставил институт. Работал дворником, грузчиком, посещал церковные богослужения. Окончил Высшие богословские пастырские курсы в 1999 году. В настоящее время служит священником в храме Николая Чудотворца, возглавляя одновременно молодёжный отдел Красноярско-Енисейской епархии. Печатался в литературном журнале «День и ночь», в литературно-художественном и религиозно-философском журнале «Новое и старое». Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат Всероссийской литературной премии Фонда им. В. П. Астафьева в номинации «Иной жанр» за драму «Королевское сердце» (2005).

стр. 53
Фрумкин Юлиан Иосифович
Санкт-Петербург, 1942 г. р.

Родился в Краснокамске Пермской области. Поэт, прозаик. Ветеран войск подразделений особого риска, непосредственный участник испытаний ядерного оружия на 1-м ядерном полигоне «Новая Земля». Основатель питерского клуба поэтов «Невостребованная Россия» (1997). Лауреат премии журналов «Зинзивер» (2006) и «Футурум

АРТ» (2011). Автор книг стихов «Время на вырост» (1994), «Преломление слова» (2001), «Лето Господне» (2003). Член редколлегии и постоянный автор литературного альманаха «Острова/Islands» (США). Публикации в журналах «Звезда», «Дети Ра», «Нева», «Зинзивер», «Слово\Word» (США), сетевых альманахах «Мегалит» и «Порт-Фолио» (Канада) и др. Член Международной федерации русских писателей, Союза писателей XXI века.

стр. 40 **Фурман Марк Айзикович**
Владимир, 1936 г. р.

Родился в Кишинёве. Окончил Горьковский медицинский институт в 1964 году. В 1964–1969 годах работал в городе Шумерля Чувашской АССР районным судебно-медицинским экспертом, на станции скорой медицинской помощи. Судебно-медицинский эксперт областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач России. С конца 60-х годов занимается журналистикой. Публикации в журналах «Огонёк», «Человек и закон», «Журналист», в газетах «Известия», «Неделя», «Совершенно секретно», «Медицинская газета», в литературных журналах «Дружба народов», «Нева». По сюжетам автора снимался телесериал «Эксперты», телефильмы «Охота на слонов» и «Тайна Ганиной ямы» — о расследовании гибели царской семьи. Автор книг «Записки эксперта», «Убийство под микроскопом», «Последний день стюардессы», «Если будет угодно богам…», «Записки конвоира», «Вне игры, или Кровь и деньги большого футбола» (в соавторстве с Б. В. Смирновым), «Концерт в криминальной оправе». Лауреат всероссийских и областных конкурсов Союза журналистов России. Член Союза журналистов России, Союза российских писателей.

стр. 180 **Черкас Наталья Владимировна**
Москва

Родилась в Сибири, выросла на Кубани. В 1986 году окончила филологический факультет Дальневосточного государственного университета (Владивосток). Пишет стихи и прозу. Автор юмористического цикла сказок «Жизнь замечательных людей». Публиковалась в альманахах «Серая лошадь», «Амур», журналах «Свой круг», «Лампа и дымоход», «Веси», «Север», «Слово\Word», на интернет-порталах «Московский комсомолец» (приложение «МК-Сетература») и «Мегалит» — «Русская жизнь» (2012).

стр. 18 **Щербаков Александр Илларионович**
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр. 47 **Щипахина Людмила Васильевна**
Москва, 1933 г. р.

Родилась в Свердловске. Поэт, публицист. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Будучи студенткой третьего курса, совершила дальнее плавание в составе экипажа теплохода «Архангельск». Впечатления от этого путешествия составили основу повести «Завтра и всегда» и книги стихов «В дороге». После окончания Литературного института жила в Ленинграде. Изучила испанский язык и многократно бывала в Латинской Америке. Во время войны была в районе военных действий на границе с Гондурасом. Посетила Эквадор, Перу, Аргентину, Кубу. Автор более 40 книг стихов и переводов. Награждена двумя орденами «Дружба народов», орденом «Знак Почёта», несколькими медалями и почётными грамотами, в том числе «Золотое перо» (Польша), «Золотое перо» (Эквадор). Литературные награды: Международная премия им. М. А. Шолохова, Всероссийская премия А. Твардовского, Всеукраинская премия им. Владимира Даля, премия им. Константина Симонова, литературная премия им. Сергея Есенина. Секретарь правления Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов. Член исполкома Международного сообщества писательских союзов, сопредседатель комиссии по туркменской литературе. Заслуженный работник культуры Туркменистана.

стр. 20 **Яблонская Марина**
Красноярск

Журналист, публицист. Работает в красноярской муниципальной газете «Городские новости».

стр. 175 **Яранцев Владимир Николаевич**
Новосибирск, 1958 г. р.

Родился в Калинине (Тверь). Критик, литературовед. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Кандидат филологических наук. Автор книги «Ещё предстоит открыть» (2008). Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни», «День и ночь», «Алтай», «Складчина», «Огни Кузбасса» и др. Член Союза писателей России.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов

по поэзии

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

СЕКРЕТАРЬ

Юлия Вятчина

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков — Набережные Челны
Сергей Арутюнов — Москва
Юрий Беликов — Пермь
Вера Зубарева — Филадельфия
Анатолий Кирилин — Барнаул
Владимир Костылев — Арсеньев
Валентин Курбатов — Псков
Андрей Лазарчук — Санкт-Петербург
Евгений Минин — Иерусалим
Виталий Молчанов — Оренбург
Дмитрий Мурзин — Кемерово
Миясат Муслимова — Махачкала
Александр Петрушкин — Кыштым
Лев Роднов — Ижевск
Евгений Степанов — Москва
Михаил Тарковский — Бахта
Вероника Шелленберг — Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. М. Клешко

Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края

Е. Г. Паздникова

Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

Т. Н. Садырина

Декан филологического факультета КГПУ им. Виктора Петровича Астафьева.

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использованы картины Румяны Внуковой.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 2463042749

Расчётный счёт 40702810800600000186
в Новосибирском филиале
ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

БИК 045004762

Корреспондентский счёт
30101810900000000762

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 660028, Красноярск, а/я 11937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 17.11.2014

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577

Румяна Внукова | Жёны-мироносицы | 2003

Румяна Внукова | Серия «Вро́цлав». Дождь у Зала Столетия

На первой странице обложки: Летний вечер | 2014